БАЛЬЗАК

20

БАЛЬЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 24 ТОМАХ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960

Философские этюды

ПОИСКИ АБСОЛЮТА

Госпоже Жозефине Деланнуа,
урожденной Думерк.

Дай бог этому произведению жить долее, чем мне самому. Тогда и признательность моя к вам, которая, надеюсь, сравняется с вашим добрым, почти материнским отношением ко мне, просуществует сверх срока, определенного нашим чувствам. Эта высшая привилегия — продлевать жизнь сердца в наших произведениях — могла бы (если только быть уверенным, что ею обладаешь) вполне утешить в тех муках, которых она стоит всякому, кто ревностно ее добивается. Еще раз повторяю: дай бог!

Де Бальзак.

В городе Дуэ, на Парижской улице, существует дом, внешний вид которого, внутреннее расположение и детали больше, чем в каком бы то ни было жилище, сохранили характер старых фламандских построек, столь наивно приспособленных к патриархальным нравам этой страны; но прежде чем его описывать, быть может, следует, в интересах писателей, обосновать необходимость подобных дидактических вступлений, вызывающих протест иных людей, несведущих и жадных, которым подавай чувства без основ, их породивших, цветок — без посеянного зерна, ребенка — без беременности матери. Неужели же искусству быть сильнее природы?

События человеческой жизни, и общественной и ча-

стной, так тесно связаны с архитектурой, что большинство наблюдателей могут восстановить жизнь нации или отдельных людей во всем ее подлинном укладе по остаткам общественных зданий или изучая домашние реликвии. Археология для природы социальной — то же, что сравнительная анатомия для природы органической. В какой-нибудь мозаике обнаруживается все общество так же, как в скелете ихтиозавра даны все живые существа. С какого бы конца ни начинать, все связано, все сплетено одно с другим. Причина позволяет угадывать следствие, и всякое следствие позволяет восходить к причине. Ученый воскрешает таким образом облик старины, вплоть до какой-нибудь бородавки. Отсюда и приобретают, конечно, удивительный интерес описания архитектуры, если только фантазия писателя нисколько не искажает ее основ; ведь всякий может при помощи строгих выводов связать картину настоящего с прошлым; а для человека прошлое до странности похоже на будущее; рассказать ему, что было, не значит ли это почти всегда сказать, что будет? Наконец, картина тех мест, где протекает жизнь, редко кому не напомнит о его неисполненных обетах или юных надеждах. Сравнение настоящего, обманывающего тайные желания, и будущего, которое может их осуществить,— это неистощимый источник меланхолии или сладостного удовлетворения. Так, почти невозможно не растрогаться перед картинами фламандской жизни, когда хорошо переданы ее подробности. Почему? Быть может, потому, что среди различных типов существования она прочнее всего полагает предел человеческой неустойчивости. Она не обходится без всех этих семейных праздников, без домашнего уюта и жирного довольства, свидетельствующего о постоянном благополучии, и отдыха, близкого к блаженству; но особенно в ней выражается покой и монотонность наивно-чувственного счастья, не знающего пылких желаний, потому что они уже заранее удовлетворяются. Какую бы цену ни придавал страстный человек смятению чувств, он все же никогда не может равнодушно видеть образы той социальной природы, где биение сердца так равномерно, что люди поверхностные обвиняют ее в холодности. Ведь толпа обычно предпочитает силу кипучую, переливающуюся через край, силе ровной и постоянной. Толпе не хватает ни

времени, ни терпения удостовериться в том, какая огромная мощь скрыта под внешней обыденностью. Таким образом, чтобы поразить толпу, увлекаемую потоком жизни, у страсти, как и у великого художника, есть одно лишь средство — перешагнуть за предел, что и делали Микеланджело, Бьянка Капелло, г-жа де Лавальер, Бетховен и Паганини. Однако великие приверженцы строго рассчитанного искусства думают, что никогда не нужно переходить границы, и почитают только способность достигать совершенства в выполнении, а тем самым сообщать всякому произведению глубокое спокойствие, которое очаровывает людей незаурядных. Образ жизни фламандцев, бережливых по всему существу своему, вполне отвечает понятиям о том блаженстве, о котором мечтают толпы, применительно к жизни гражданской и домашней.

Весь фламандский обиход запечатлен изысканной материальностью. Английскому комфорту свойственно пристрастие к сухим оттенкам, жестким тонам, тогда как во Фландрии старинное внутреннее убранство домов радует мягкими красками, подлинным уютом; оно говорит о труде без усталости; трубки курильщиков свидетельствуют об удачном применении неаполитанского far niente [1]; в убранстве обнаруживается мирное художественное чутье, его необходимая предпосылка — терпение и необходимое условие его долговечности — добросовестность. Весь характер фламандский — в двух словах: терпение и добросовестность, которые, может показаться, исключают собою богатые оттенки поэзии и делают нравы страны столь же скучными, как ее широкие равнины, столь же холодными, как ее пасмурное небо. Ничего подобного на самом деле нет. Цивилизация воспользовалась своим могуществом, видоизменив здесь все, даже следствия климата. Если внимательно рассматривать произведения рук человеческих, созданные в различных местах земного шара, то прежде всего бываешь поражен тем, что в полосе умеренного климата им свойственны серые и бурые краски, тогда как в жарких странах они отличаются самыми яркими красками. Нравы, несомненно, должны сообразоваться с таким законом природы. Обе

---

[1] Ничего неделания *(итал.)*.

Фландрии, где в старину господствовали темные тона и проявлялся вкус к однообразной окраске, позаботились о том, чтобы оживить мрачную, как сажа, атмосферу страны бурными политическим треволнениями, которые подчиняли их то бургундцам, то испанцам, то французам, побратались с немцами и голландцами. От Испании они заимствовали роскошь багреца, блестящий атлас, многоцветные ковры, перья, мандолины и придворные манеры. От Венеции взамен своего полотна и кружев они получили фантастические стеклянные изделия, в которых вино светится и как бы становится приятнее на вкус. От Австрии у них осталась тяжеловесная дипломатия, придерживающаяся правила: семь раз отмерь, один отрежь. Благодаря сношениям с Индией проникли сюда причудливые выдумки Китая и японские диковинки. Однако, несмотря на терпеливую готовность фламандцев все собирать, ни от чего не отказываться, все переносить, на обе Фландрии нельзя было иначе смотреть, как на какой-то общеевропейский склад, вплоть до тех пор, пока открытие табака не связало дымом разрозненные черты их национального облика. С этих пор, как ни была раздроблена его территория, весь народ фламандский объединился в пристрастии к трубке и пиву.

Когда эта страна, по природе своей тусклая и лишенная поэзий, ввела у себя в обиход благодаря своей неизменной домовитости роскошь и идеи своих господ и соседей, в ней сложились своеобразная жизнь и характерные нравы, нисколько не запятнанные рабским подражанием. Искусство ее, воспроизводя исключительно внешние формы, лишилось всякой идеальности. Так что от этой родины пластической поэзии не требуйте ни комедийного огонька, ни драматической напряженности действия, ни смелых взлетов эпопеи или оды, ни гения музыкального; но она щедра на открытия и ученые рассуждения, требующие времени и света лампы. На всем здесь печать наслаждения земными радостями. Человек видит здесь исключительно то, что есть, мысль его всеми своими изгибами так заботливо приспосабливается к нуждам жизни, что ни в одном своем произведении она не улетает за пределы реального мира. Единственная политическая идея, устремленная в будущее, порождена была в этом народе тоже по существу экономическими со-

ображениями; революционная сила возникла у него от хозяйственного желания сесть с локтями за стол и самому распоряжаться под навесами своих стойл. Чувство благополучия и внушенный богатством дух независимости породили здесь раньше, чем где бы то ни было, ту потребность в свободе, которая позже стала мучить Европу. Таким образом, при постоянстве идей и упорстве, какое фламандцам дает воспитание, они некогда стали грозными защитниками своих прав. У этого народа ничто не делается кое-как — ни дома, ни мебель, ни плотины, ни обработка земли, ни восстание. Поэтому он сохраняет за собою монополию на все, за что бы ни брался. Производство кружев, требующее терпения от сельского хозяина, а еще больше от мастера, и производство полотна передаются по наследству, как родовые богатства. Если бы нужно было показать человеческое постоянство в самой чистой его форме, то, может быть, всего правильнее было бы взять для этого портрет доброго нидерландского бургомистра, способного, как это часто случалось, честно и скромно умереть ради выгод Ганзейского союза. Но тихая поэтичность такой жизни еще обнаружится сама собою в описании дома, одного из последних в Дуэ домов, еще сохранявших свой патриархальный характер в те времена, когда начинается наша повесть.

Из всех городов Северного департамента — увы! — Дуэ больше всех изменяется на современный лад, дух новшества произвел здесь самые быстрые завоевания, и любовь к общественному прогрессу здесь наиболее распространена. С каждым днем в Дуэ исчезают старинные постройки и стираются былые нравы. Парижские моды, тон, манеры здесь преобладают, и вскоре от старой фламандской жизни у обитателей Дуэ только и останется, что сердечность и гостеприимство, испанская вежливость, голландская пышность и опрятность. Кирпичные дома уступят место особнякам из белого камня. Неуклюжесть батавских форм исчезнет, побежденная изменчивым изяществом французских новинок.

Дом, где произошли события, описанные в нашей повести, находится почти на середине Парижской улицы и уже более двухсот лет известен в Дуэ под именем «дома Клаасов». Ван-Клаасы принадлежали некогда к тем

знаменитейшим семьям ремесленников, которым Нидерланды обязаны коммерческим первенством, сохранившимся за ними в ряде производств. Долгое время в городе Генте за Клаасами оставалось, передаваясь от отца к сыну, руководительство богатым братством ткачей. Во время восстания этого большого города против Карла V, пожелавшего отменить его привилегии, самый богатый из Клаасов был так скомпрометирован, что, предвидя катастрофу и будучи принужден разделить участь своих товарищей, он тайно послал свою жену, детей и богатства под защиту Франции, прежде чем войска императора осадили город. Предвидения синдика ткачей вполне оправдались. Его, так же как и нескольких других горожан, вопреки условиям капитуляции, повесили как бунтовщика, хотя на самом деле он был защитником гентской независимости. Смерть Клааса и его товарищей принесла плоды. Впоследствии за эти бесцельные казни испанский король поплатился утратой большей части своих нидерландских владений. Кровь, пролитая на землю мучениками,— это такой посев, плоды которого пожинаются скорее всего. Хотя Филипп II, наказывавший участников восстания вплоть до второго поколения, простер свой железный скипетр и над Дуэ, Клаасы сохранили свои богатства, породнившись с весьма знатным родом де Молина, старшая ветвь которого, тогда еще бедная, разбогатела настолько, что выкупила графство Ноуро, принадлежавшее ей в королевстве Леон только по титулу.

В начале XIX века, после многих превратностей, описание которых не представляет интереса, представителем рода Клаасов, в той его ветви, что поселилась в Дуэ, был Валтасар Клаас-Молина, граф де Ноуро, предпочитавший именоваться попросту Валтасар Клаас. От огромного состояния, скопленного его предками, приводившими в движение тысячи ткацких станков, Валтасару осталось до пятнадцати тысяч ливров дохода с земель в окрестностях Дуэ и дом на Парижской улице, обстановка которого, в свою очередь, стоила целого состояния. Что же касается владений в королевстве Леон, то они были предметом тяжб между Молина фламандскими и той ветвью этого рода, что осталась в Испании. Выиграв процесс, Молина леонские приняли титул графов де Ноуро, хотя только Клаасы имели право его носить; однако тще-

славие бельгийских горожан превышало кастильскую спесь. И вот, когда заведены были записи гражданского состояния, Валтасар Клаас пренебрег лохмотьями своей испанской знатности ради гентской своей славы. Патриотическое чувство так сильно в семьях, подвергшихся изгнанию, что до последних дней XVIII века Клаасы оставались верны своим традициям, нравам и обычаям. Они роднились только с исконной буржуазией: требовалось наличие известного числа старшин и бургомистров в роду невесты, чтобы Клаасы приняли ее к себе в семью. Они брали себе жен в Брюгге или Генте, в Льеже или в Голландии, чтобы увековечить обычаи своего домашнего очага. К концу прошлого века круг близких им людей, все более и более сужавшийся, ограничивался семью-восемью семействами, принадлежащими к судейской знати, нравы которой, тога с широкими складками и официальная полуиспанская важность гармонировали с их привычками. Обитатели города питали к роду Клаасов благоговейное почтение, перешедшее в своеобразный предрассудок. Непоколебимая честность, безупречная порядочность Клаасов, неизменная чинность в быту — все это делало их таким же предметом исстари укоренившегося суеверия, как и традиционный праздник Гейана, суеверия, прекрасно выражающегося в словах: «дом Клаасов». Исконным духом Фландрии веяло от этого жилища, представлявшего для любителей старины типичный образец скромных домов, какие строили себе в средние века богатые горожане.

Главным украшением фасада была двустворчатая дубовая дверь с крупными шляпками гвоздей, вбитых в шахматном порядке, в центре которой Клаасы горделиво вырезали два скрещенных ткацких челнока. Дверной свод, сложенный из песчаника, завершался заостренной аркой, на которой, в особой башенке, увенчанной крестом, водружена была статуэтка св. Женевьевы, занятой прядением. Время, конечно, наложило свой отпечаток на тонкие украшения двери и башенки, но прислуга так заботливо за ними присматривала, что еще и теперь прохожие могли рассмотреть их во всех подробностях. Также и наличник, состоявший из нескольких сдвинутых вместе колонок, сохранил свой темно-серый цвет и блестел, точно его покрыли лаком. С обеих сторон двери в нижнем эта-

же было по два окна, таких же, как и все остальные окна в доме. Их обрамление из белого камня заканчивалось под подоконником пышной раковиной, а наверху — двумя аркадами, в которые вдавалась вертикальная линия креста, делившего окно на четыре неравные части, потому что поперечная перекладина помещалась на такой высоте, чтобы получался крест,— что придавало нижним частям окна размеры вдвое большие против закругленных верхних. Двойная аркада была окаймлена бордюром из трех нависающих друг над другом рядов кирпичей, которые то выступали вперед, то вдавались в стену почти на дюйм, образуя греческий орнамент. Маленькие ромбовидные стекла были вставлены в чрезвычайно тонкий, окрашенный в красный цвет железный переплет. Стены из кирпичей, скрепленных белой известью, поддерживались каменной связью на углах и по фасаду. Во втором этаже было пять окон, в третьем только три, а на чердак свет проникал через большое круглое отверстие, состоящее из пяти частей, окаймленное песчаником и помещенное, подобно розе над входом соборного портала, в середине треугольного фронтона, образующего щипец. На кровле имелся флюгер в виде веретена с пряжей. Обе боковые стороны этого большого треугольника, образуемого стеной со щипцом, были сложены в виде прямоугольных уступов, вплоть до верхней линии второго этажа, где справа и слева дом был украшен по углам фантастической звериной пастью для стока дождевой воды. По низу дома шел ряд песчаниковых глыб в виде завалинки. Наконец еще один след старинных нравов: с обеих сторон двери, между окнами, выходил на улицу деревянный трап, окованный широкими железными полосами, через который спускались в подвалы. Еще со времени постройки дома фасад тщательно чистили два раза в год. Если выпадал кусочек извести, его сейчас же опять вмазывали. С окон, с подоконников, со столбов сметали пыль заботливей, чем с самого драгоценного мрамора в Париже. Во внешнем облике дома не было, таким образом, ни малейшего упадка. Правда, кирпичные стены потемнели от времени, но дом берегли, как старую картину, как старую книгу, которые дороги любителю и вечно оставались бы новыми, если бы не подвергались в нашем климате действию вредоносных газов, угрожающих и нам самим.

Облачное небо, влажный фламандский воздух и тень на узкой улице очень часто лишали это строение блеска, присущего изысканной опрятности, которая, впрочем, придавала ему унылый и холодный вид. Поэт предпочел бы, чтобы какая-нибудь травка пробилась в окнах башенки или мох — в выемке песчаника; он пожелал бы, чтобы растрескалась кирпичная кладка, чтобы ласточка свила себе гнездо под аркадами окна, меж красных кирпичей их тройного орнамента. Таким образом, тонкая отделка и опрятный вид фасада, потертого от постоянной чистки, придавали ему суховатую порядочность и чинную почтенность, из-за которых, вероятно, романтик стал бы искать себе другую квартиру, если бы ему пришлось поселиться напротив этого дома. Когда посетитель тянул за сплетенный из проволоки шнурок звонка, висевший вдоль дверного косяка, и явившаяся на звонок служанка открывала ему дверь с решетчатым оконцем посередине, дверь тотчас же от собственной тяжести вырывалась из рук и хлопала так, точно была сделана из бронзы,— до такой степени громко и тяжко отдавался звук под сводами просторной галереи, мощенной плитками, и в глубине дома. Галерея эта, расписанная под мрамор, всегда прохладная и посыпанная мелким песком, вела в большой квадратный внутренний двор, выложенный широкими муравленными плитами зеленоватого цвета. Налево находились бельевая, кухня, людская, направо — дровяной сарай, склад каменного угля и службы, у которых двери, окна и стены покрыты были росписью и поддерживались в исключительной чистоте. Свет, проникая во двор, окруженный четырьмя красными стенами с белыми полосами, отражался и принимал розовые оттенки, сообщавшие фигурам и мельчайшим деталям этой росписи таинственную грацию и фантастичность.

Другой дом, совершенно схожий со зданием, выходившим на улицу, и именуемый во Фландрии *задней квартирой*, возвышался в глубине двора и служил исключительно для жизни семьи. В нижнем этаже первой комнатой была приемная, освещаемая двумя окнами со стороны двора и двумя другими, выходившими в сад, который был такой же ширины, как дом. Две стеклянные двери, расположенные друг против друга, вели — одна в сад, другая — во двор, а так как находились они на

одной линии с дверью, ведущей на улицу, чужой человек уже при входе мог охватить глазом и весь внутренний вид жилища и даже увитую зеленью стену в глубине сада. Передний дом, предназначавшийся для приемов и имевший в третьем этаже покои для приезжих, заключал в себе, разумеется, художественные произведения и великие накопленные богатства; но ни в глазах Клаасов, ни с точки зрения знатока ничто не могло сравниться с сокровищами, украшавшими комнату, где в течение двух веков протекала жизнь семейства. Клаасу, умершему ради свобод Гента, ремесленнику, о котором получилось бы слишком слабое представление, если б историк упустил сказать, что его состояние достигало сорока тысяч серебряных марок, заработанных на изготовлении парусов для нужд всемогущего венецианского флота,— этому Клаасу другом был знаменитый резчик по дереву Ван-Гуизий из Брюгге. Не раз скульптору случалось обращаться к кошельку ремесленника. Незадолго до гентского восстания разбогатевший к тому времени Ван-Гуизий приготовил своему другу неожиданный подарок: вырезал для него из цельного черного дерева главные сцены из жизни Артевелде, пивовара, некоторое время бывшего королем обеих Фландрий. Эта деревянная обшивка, состоявшая из шестидесяти панно, изображала до тысячи четырехсот персонажей и считалась важнейшим произведением Ван-Гуизия. Капитан, сторживший граждан, которых Карл V приказал повесить в день своего въезда в родной город, предоставлял, говорят, Ван-Клаасу возможность бежать, если тот подарит ему произведение Ван-Гуизия; но ткач уже отослал панно во Францию. Зала, вся целиком украшенная этими панно, которые в память казненного мученика сам Ван-Гуизий вставил в деревянные рамы, окрашенные ультрамарином с золотыми жилками, является, конечно, наиболее совершенным произведением мастера, и самые маленькие кусочки этих панно теперь ценятся на вес золота. С простенка над камином смотрел Ван-Клаас, написанный Тицианом в костюме председателя суда по делам о разделах имущества, и, казалось, руководил еще семейством, которое чтило в нем великого предка. Высокий камин, сложенный из простого камня, в прошлом веке был облицован белым мрамором; на нем стояли старинные часы и

два пятисвечника с витыми отрогами дурного вкуса, но из массивного серебра. Четыре окна были декорированы широкими занавесками из красной с черными цветами камки на белой шелковой подкладке; той же тканью была обита и мебель, которою зала была заново обставлена при Людовике XIV. Явно современный паркет состоял из белых, большого размера деревянных плиток, окаймленных дубом. Потолок, разделенный на несколько картушей, в центре которых был резной маскарон работы Ван-Гуизия, оставили неприкосновенным, и он сохранил темные тона голландского дуба. В четырех углах залы возвышались колонки с подсвечниками, такими же, как на камине; середину залы занимал круглый стол. Вдоль стен были симметрично расставлены карточные столы. В те годы, к которым относится наше повествование, на двух золоченых консолях с досками белого мрамора стояло по стеклянному шару, наполненному водой, где над песком и раковинами плавали красные, золотистые и серебристые рыбки. Комната была блистательной и в то же время мрачной. Потолок неизбежно поглощал лучи, не давая никакого отражения. Если со стороны сада лился обильный свет, играя на резьбе черного дерева, то окна, выходившие во двор, давали его так мало, что на противоположной стене лишь чуть-чуть сверкали золотые жилки. Поэтому в зале, столь великолепной в ясный день, чаще всего господствовали тусклые краски, блеклые, меланхолические тона, какие осеннее солнце разбрасывает по макушкам леса. Излишне описывать здесь подробно дом Клаасов, в других покоях которого будут происходить разные сцены нашего повествования; пока достаточно общего знакомства.

В конце августа 1812 года, после воскресной вечерни, возле окна, обращенного к саду, в глубоком кресле сидела женщина. Косые лучи солнца, падавшие из сада, пронизывали весь дом, пересекали залу, умирали причудливыми отблесками на деревянной резьбе, украшавшей стены со стороны двора, и окружали женщину пурпурными бликами, которые отбрасывала камковая занавеска на окне. Если бы даже посредственный художник написал так эту женщину, он, наверное, создал бы поразительное произведение, изобразив ее лицо, полное скорби и меланхолии. Положением тела и вытянутых ног

изобличалось подавленное состояние человека, который столь сосредоточенно отдался одной упорной мысли, что даже утратил ощущение своего физического существа; мысль ее озаряла своим светом будущее,— так на берегу моря часто можно видеть луч солнца, который пронзает облака и прочерчивает на горизонте полосу света. Руки женщины свешивались с подлокотников, голова, точно она была слишком тяжела, откинулась на спинку кресла. Белое, очень широкое перкалевое платье не давало возможности судить о пропорциях тела, а стан скрывали складки шарфа, небрежно завязанного на груди. Даже если бы свет и не обозначил рельефно ее лица, как бы нарочито его выделяя, и тогда всякий сосредоточил бы свое внимание исключительно на нем; в его оцепенении, длительном и, несмотря на жгучие слезы, холодном, выражалась такая подавленность, которая поразила бы и самого беззаботного ребенка. Ужасающее зрелище представляла эта беспросветная скорбь, которая могла переливаться через край лишь в редкие минуты и снова застывала на лице, точно лава вокруг вулкана. Можно было подумать: то умирающая мать принуждена покинуть своих детей в пропасти нищеты и никому не может поручить их. В чертах этой дамы, уже лет сорока, но теперь более красивой, чем когда-либо в юности, не было ничего характерного для фламандской женщины. Густые черные волосы буклями падали на плечи, окаймляя щеки. Лоб ее, очень выпуклый и узкий в висках, был желтоват, но под ним блестели черные пламенные глаза. Ее лицо, чисто испанское, смуглое, без ярких красок, попорченное оспой, останавливало на себе взгляд совершенством своей овальной формы, контуры его, несмотря на искаженные черты, сохранили в себе тонкость и величественное изящество, порой ясно проступавшее, если какое-нибудь движение души возвращало ему первоначальную чистоту. Больше всего благородства придавал ее мужественному лицу орлиный нос, и хотя высокая горбинка указывала на недостатки его строения, все же преобладало изящество, недоступное описанию; носовая перегородка была так тонка, что просвечивала розовым. Широкие, в морщинках губы хотя и обнаруживали гордость, внушенную знатным происхождением, но запечатлены были природной добротой и дышали приветливостью. Мож-

но было оспаривать красоту этого лица, одновременно полного силы и мягкости, но оно приковывало к себе внимание. Женщина эта, невысокая, горбатая и хромая, долго просидела в девицах еще и потому, что ей упорно отказывали в уме; однако некоторых мужчин сильно привлекало ее лицо выражением горячей страстности и неистощимой нежности; они так и оставались под ее очарованием, удивительным при стольких недостатках. Она очень походила на своего деда, герцога Каса Реаль, испанского гранда. Исходившее от ее лица очарование, которое в былые годы столь деспотически овладевало душами, влюбленными в поэзию, в эту пору было еще сильнее, чем в любой момент ее прошлой жизни, но направлено, так сказать, в пустоту, выражая колдовскую волю, всемогущую по отношению к людям, однако бессильную перед судьбой. Когда ее взор отрывался от стеклянного шара, от рыбок, на которых она смотрела, не видя их, она поднимала глаза, как бы в отчаянии взывая к небесам. Ее мучения, казалось, были такого рода, что в них можно было признаться только богу. Молчание нарушалось лишь сверчками, да кузнечиками, трещавшими в садике, откуда шел жар, как из печи, да глухим позвякиванием серебра, тарелок и стуком стульев, так как в соседней комнате слуга накрывал к обеду. В это мгновение опечаленная дама прислушалась и, казалось, пришла в себя; она взяла платок, вытерла слезы, попробовала улыбнуться и прогнала выражение скорби, запечатлевшееся во всех ее чертах, напустив на себя такое равнодушие, как будто жизнь ее была избавлена от всяких тревог. Оттого ли, что, постоянно сидя дома из-за своей немощи, она привыкла подмечать некоторые явления, не приметные для других, но драгоценные для тех, кто одержим необычайными чувствами, оттого ли, что природа вознаградила ее за телесные недостатки, дав ей ощущения более тонкие, чем у существ, по внешнему виду более совершенных,— так или иначе, но она услыхала мужские шаги в галерее, построенной над кухнями и комнатами для прислуги и соединявшей передний дом с задним. Шум шагов становился все более внятным. Вскоре и чужой человек, лишенный способности преодолевать душою пространство, соединяясь со вторым своим «я», что часто присуще страстным натурам вроде этой женщины, легко

услыхал бы мужские шаги на лестнице, ведущей из галереи в залу. При звуке этих шагов существо самое невнимательное было бы охвачено множеством мыслей, ибо невозможно было слышать его хладнокровно. Походка торопливая или прерывистая пугает. Когда человек вскакивает и бежит с криком: «Пожар!» — его шаги говорят так же красноречиво, как и голос. Если так, то и походка, противоположная по своему характеру, должна производить не менее сильное впечатление. Важная медлительность и спокойная поступь этого человека, вероятно, раздражали бы людей, непривычных к размышлениям; зато натуры нервные или наблюдательные испытали бы чувство, близкое к ужасу, при размеренном звуке шагов, казалось, лишенных жизни, но заставлявших трещать половицы, точно о них кто-то ударял поочередно двумя железными гирями. Вы признали бы в этих шагах нерешительную и тяжелую походку старика или величественную поступь мыслителя, влекущего с собою целые миры. Сойдя с последней ступеньки и рассеянно шагая по плиткам, он на минутку остановился у широкой площадки, где кончался коридор, ведущий в людскую, и откуда равным образом можно было проникнуть как в залу, так и в столовую через двери, спрятанные за искусной резьбой. В это мгновение легкая дрожь, вроде той, какую вызывает электрическая искра, пробежала по женщине, сидевшей в кресле; но одновременно нежнейшая улыбка оживила ее губы, а лицо, взволнованное предвкушением радости, засияло, как у прекрасной итальянской мадонны; и сразу же она обрела в себе силу затаить свои мучительные страхи в глубине души; потом повернула голову к шевельнувшейся резной панели, за которой скрывалась дверь в углу залы, и действительно кто-то открыл эту дверь, и притом столь порывисто, что бедная женщина вздрогнула.

Валтасар Клаас появился, сделал несколько шагов, не взглянув на нее, а может быть, и взглянув, да не заметив, и остановился посередине залы, поддерживая правой рукой слегка наклоненную голову. Ужасное страдание, с которым эта женщина не могла свыкнуться, хотя испытывала его многократно каждый день, сжало ей сердце, прогнало с лица улыбку и провело на смуглом лбу между бровями ту борозду, которая, возникая вновь и вновь,

с течением времени запечатлевается навсегда, как след сильных страстей; глаза наполнились слезами, но она быстро их вытерла, взглянув на Валтасара. Невозможно было не испытать глубокого волнения при виде главы дома Клаасов. В молодости он, должно быть, походил на того прекрасного мученика, который грозил Карлу V вновь начать дело Артевелде; но сейчас ему можно было дать лет шестьдесят, хотя ему было лишь около пятидесяти, и преждевременная старость уничтожила это благородное сходство. Его высокий стан слегка горбился— то ли занятия принуждали Клааса сутулиться, то ли спинной хребет его искривился под тяжестью головы. У него были широкая грудь, мощный торс, но нижняя часть тела, хотя и мускулистая, была слабо развита, и это несоответствие в телосложении, прежде, по-видимому, совершенном, занимало умы, старавшиеся объяснить причины такой фантастической внешности какой-нибудь особенностью в образе жизни. Густые белокурые волосы, остававшиеся в небрежении, падали по плечам на немецкий манер, но в беспорядке, гармонировавшем с его странным обликом. На широком лбу выступали шишки, где Галль помещал миры поэзии. Ясная и глубокая синева его глаз вдруг загоралась так ярко, как то бывает у восторженных исследователей оккультных явлений. Его нос, прежде, вероятно, безупречной формы, теперь удлинился, а ноздри как будто все больше и больше расширялись с годами из-за непроизвольного напряжения обонятельных мускулов. Сильно выдавались волосатые скулы, отчего еще более, казалось, западали щеки, уже поблекшие; красиво очерченный рот был сжат между носом и коротким, резко приподнятым подбородком. Лицо его было скорее длинным, чем овальным: так что научная система, приписывающая всякому человеческому лицу сходство с головой животного, нашла бы себе лишнее подтверждение в Валтасаре Клаасе, у которого в лице было что-то лошадиное. Кожа плотно обтягивала кости, точно ее непрестанно сушил тайный огонь; а по временам, когда он смотрел куда-то в пространство, как бы ища там осуществления своих надежд, так и казалось, что он ноздрями извергает пламя, пожиравшее его душу. Его бледное, изборожденное морщинами лицо, его лоб, весь собранный складками, как у старого короля, исполненного за-

бот, а больше всего — глаза, сверкающие от целомудренного огня, порождаемого тиранической идеей, и от внутреннего горения обширного ума,— дышали глубокими чувствами, присущими великим людям. Темные круги у впалых глаз, казалось, были вызваны только бессонными ночами и ужасным воздействием вечно обманываемой и вечно возрождавшейся надежды. Всепоглощающий фанатизм художника или ученого, кроме того, обнаруживался в постоянной и странной его рассеянности, о которой свидетельствовали его одежда и манера держать себя, соответствовавшие его великолепной и чудовищной внешности. Широкие волосатые руки его были грязны, за длинными ногтями виднелись черные полоски. Башмаки его были не чищены или без шнурков. Во всем доме только хозяин мог позволить себе эту странную вольность — быть неопрятным. Панталоны из черного сукна, все в пятнах, расстегнутый жилет, криво повязанный шейный платок, вечно разорванный зеленоватый фрак дополняли то причудливое сочетание жалкого и значительного, которое у всякого другого свидетельствовало бы о нищете, порожденной пороками, но у Валтасара Клааса было небрежностью гения. Как часто порок и гений порождают одни и те же результаты, вводящие в заблуждение толпу! Не является ли гениальность тем излишеством, которое пожирает время, деньги, тело и еще скорее приводит в госпиталь, чем дурные страсти? Кажется, люди питают даже больше уважения к порокам, чем к гению, ибо последнему они отказывают в кредите. По-видимому, тайные труды ученого столь нескоро приносят выгоду, что общество боится рассчитываться с ним при жизни; оно предпочитает ограничить свою расплату тем, что не прощает ему ни его бедности, ни несчастий. Хотя Валтасар Клаас никогда не помнил о настоящем, все же, если он отрывался от таинственных своих созерцаний, если нежность и общительность оживляли его задумчивое лицо, если его пристальный взор, выражая сердечное чувство, терял свой суровый блеск, если он оглядывался вокруг себя, возвращаясь к жизни реальной и обыденной, трудно было тогда не воздать чести пленительной красоте его лица и отпечатлевшемуся на нем изяществу ума. Увидев его тогда, все пожалели бы, что он не принадлежит более свету, и всякий сказал бы: «Должно быть, он очень кра-

сив был в молодости». Обычная ошибка! Никогда Валтасар Клаас не был более поэтичен, чем теперь. Несомненно, Лафатеру захотелось бы изучить его лицо, говорящее о терпении, о фламандской порядочности, о непорочной душевной жизни, где все было широко и величественно, где страсть казалась спокойной потому, что она была сильна. Нравы этого человека, вероятно, были чисты, слово свято, дружба постоянна, преданность совершенна; но воля, которая направляет эти качества ко благу родины, общества или семьи, роковым образом дала им иное назначение. Этот гражданин, которому надлежало блюсти счастье семьи, умножать благосостояние, направлять своих детей к прекрасному будущему, жил вне круга своих обязанностей и привязанностей, в общении с каким-то родственным ему гением. Священнику он показался бы исполненным благодати, художник поклонился бы ему как великому мастеру, энтузиаст принял бы его за ясновидящего Сведенборговой церкви. Разорванный, нелепый, изношенный костюм его странно контрастировал в описываемую минуту с чарующей изысканностью женщины, которая так скорбно им восхищалась. Люди, страдающие физическими недостатками, но умные или наделенные прекрасной душой, проявляют в своем костюме изощренный вкус. Они либо одеваются совсем просто, понимая, что их очарование всецело в области духовной, либо умеют отвлечь чужие глаза от неправильности своего телосложения какими-нибудь изящными чертами своего облика, привлекающими взгляд и дающими пищу уму. Эта женщина не только отличалась душевным благородством, она любила Валтасара Клааса тем женским инстинктом, который является прообразом разума ангельского. Воспитанная в среде знаменитейших бельгийских семей, она могла бы развить свой вкус, даже если бы не обладала им от природы; а когда ее наставником сделалось желание постоянно нравиться любимому человеку, то она стала одеваться восхитительно, причем, несмотря на два недостатка в сложении, элегантность ее не казалась неуместной. Ее стан портили, впрочем, только плечи, одно из которых было заметно выше другого. Взглянув через окно на двор, потом в сад, словно желая убедиться, что никого здесь нет, кроме Валтасара. она бросила на него взгляд, полный покор-

ности, отличающей фламандских женщин, ибо уже давно у нее любовью вытеснена была гордость испанской знати, и сказала нежно:

— Валтасар, ты очень занят?.. Вот уже тридцать третье воскресенье ты не ходишь ни к обедне, ни к вечерне.

Клаас ничего не ответил; его жена опустила голову, сложила руки и ждала; она знала, что молчание означает не презрение, не пренебрежение к ней, а тиранически овладевшую им озабоченность. Валтасар был из тех, кто долго хранит в душе юношескую деликатность, он счел бы себя преступником, если бы выразил мысль хоть сколько-нибудь обидную для женщины, подавленной сознанием физического своего недостатка. Среди всех мужчин только он, вероятно, знал, что одно слово, один взгляд могут омрачить годы счастья и что обида становится еще горше от резкого контраста с обычной мягкостью, ибо, по самой природе нашей, мы сильнее огорчаемся диссонансом в счастье, чем наслаждаемся неожиданной радостью среди горя. Несколько мгновений спустя Валтасар, казалось, пробудился, быстро огляделся и сказал:

— Вечерня? Ах, дети у вечерни...

Он сделал несколько шагов, чтобы посмотреть на сад, где повсюду росли великолепные тюльпаны; затем вдруг остановился, будто натолкнулся на стену, и воскликнул:

— Почему не образуется соединение в положенное время?

«Неужели он сходит с ума?» — ужаснулась жена.

Чтобы почувствовать весь интерес сцены, вызванной таким положением, непременно нужно бросить взгляд на прежнюю жизнь Валтасара Клааса и внучки испанского герцога Каса-Реаль.

В 1783 году Валтасар Клаас-Молина де Ноуро, которому минуло тогда двадцать два года, был, что мы называем во Франции, красавцем. Чтобы закончить свое образование, он приехал в Париж, где усвоил прекрасные манеры в обществе г-жи д'Эгмонт, графа де Горна, князя д'Аренберга, испанского посланника, Гельвеция, французов бельгийского происхождения или особ, приехавших из Бельгии, которых по древности их рода или богатству причисляли к знати, задававшей тон в те

времена. Молодой Клаас нашел среди них родственников и друзей, и они ввели его в высший свет, когда тот был накануне своего падения; но первоначально Валтасара, как и большую часть юношества, сильнее соблазняли слава и науки, чем суета. Он охотно посещал ученых, в особенности Лавуазье, тогда привлекавшего общественное внимание скорее несметными богатствами генерального откупщика, чем открытиями в химии, меж тем как впоследствии великий химик заслонил в нем ничтожного генерального откупщика. Валтасар страстно увлекся той наукой, развитию которой способствовал Лавуазье, и стал самым пылким его учеником; но он был молод, красив, как Гельвеций, и парижанки вскоре научили его дистиллировать только острословие и любовь. С жаром принявшись было за занятия и тем заслужив от Лавуазье похвалы, он покинул своего учителя, чтобы послушать наставниц в области тонкого вкуса, у которых молодые люди проходили последний курс жизненной науки и приобщались к обычаям высшего общества, составляющего в Европе единое семейство. Опьяняющие мечты о светских успехах были недолговечны; вдохнув парижского воздуха, Валтасар уехал, утомленный пустым существованием, не соответствовавшим ни его пылкой душе, ни любящему сердцу. Домашняя жизнь, столь тихая, столь спокойная, о которой он вспоминал при одном имени Фландрии, показалась ему более подходящей к его характеру и стремлениям его сердца. Никакая позолота парижских салонов не изгладила очарования потемневшего зала и садика, где столь счастливо протекало его детство. Нужно не иметь ни домашнего очага, ни отечества, чтобы остаться в Париже. Париж — это город для космополитов или для людей, обручившихся со светской жизнью и простирающих к ней объятия науки, искусства и власти.

Сын Фландрии вернулся в Дуэ, как голубь у Лафонтена возвращается к себе в гнездо; он плакал от радости, въезжая туда в тот самый день, когда в Дуэ устраивают процессию Гейана. Этот праздник, предмет веселого суеверия для всего города, триумф фламандских воспоминаний, вошел в обычай ко времени переезда семейства Клаасов в Дуэ. После смерти отца и матери дом Клаасов опустел, и Валтасару пришлось неко-

торое время заниматься делами. Когда первое горе прошло, он почувствовал, что ему надо жениться, чтобы придать законченность тому блаженному образу жизни, под обаяние которого он снова подпал; желая следовать семейным обычаям, он, по примеру своих предков, отправился, в поисках жены, в Гент, в Брюгге и в Антверпен; но ни одна из встретившихся Валтасару девиц не пришлась ему по вкусу. Без сомнения, у него были какие-то особенные взгляды на брак, ибо с юности его обвиняли в том, что он не ходит проторенными путями. Однажды у своего родственника в Генте он услыхал разговор о какой-то девице из Брюсселя, ставшей предметом весьма оживленных споров. Одни находили, что красоту Жозефины Темнинк заслоняли ее телесные недостатки, другие, даже несмотря на это, считали Жозефину совершенством. Старый родственник Валтасара Клааса сказал гостям, что красива она или нет, зато душа у нее такая, что, будь он помоложе, он сам женился бы на ней; он сообщил, как она отказалась недавно от наследства, оставленного ей отцом и матерью, чтобы устроить своему младшему брату достойный его имени брак, поступившись ради счастья брата своим собственным счастьем и принеся ему в жертву всю свою жизнь. Трудно было предполагать, чтобы она вышла замуж теперь, будучи не первой молодости и без средств, раз она не нашла себе партии, когда была молодой наследницей большого состояния. Через несколько дней Валтасар Клаас искал руки двадцатипятилетней Жозефины Темнинк, которою он сразу увлекся. Она сочла это случайной прихотью и отказалась выслушать речи г-на Клааса; но страсть так заразительна, и бедной девушке, неправильно сложенной и хромой, любовь, внушенная ею красивому молодому человеку, несет столько обольщений, что она позволила ухаживать за собою.

Понадобилась бы целая книга, чтобы как следует изобразить любовь молодой девушки, которая смиренно подчинилась мнению, провозгласившему ее некрасивой, тогда как она чувствует в себе силу непреодолимого очарования, порождаемую глубокими чувствами. Недостаточно было бы перечислить дикие приступы ревности при виде чужого счастья, мучительное желание ото-

мстить сопернице, похищающей хоть бы единый взгляд,— словом, неизвестные большинству женщин волнения и страхи, о которых здесь следовало бы, пожалуй, не только упомянуть. Сомнение, столь драматичное в любви, составляло бы ключ чрезвычайно тщательного анализа, где кое-кто узнал бы утерянную, но не забытую поэзию своих юношеских чувств; высокие восторги, сокрытые в глубине сердца и никогда не выдаваемые выражением лица; боязнь не быть понятым и безграничную радость оттого, что тебя поняли; неуверенность души, углубленной в себя, и магнетическое сияние, придающее глазам бесконечные оттенки; мысли о самоубийстве, вызываемые одним словом и рассыпающиеся от интонации в голосе, столь же разнообразной, как и чувство, о постоянстве которого она свидетельствует вопреки всем подозрениям; робкие взгляды, за которыми скрыта твердая решимость; внезапное желание высказаться и действовать, подавляемое своей же собственной силой; внутреннюю красноречивость фраз, не имеющих особого значения, но произносимых взволнованным голосом; таинственные проявления той первоначальной стыдливости души, той божественной скромности, которая заставляет человека великодушно оставаться в тени и придает изысканную сладость невысказанным признаниям,— словом, всю красоту юной любви и все слабости ее могущества.

Жозефина де Темнинк была кокеткою лишь из-за душевного величия. Ощущение своего явного несовершенства сделало ее такой же недоступной, какой бывает красавица. Боязнь когда-нибудь не понравиться пробудила ее гордость, уничтожила доверчивость и дала ей мужество прятать в глубине сердца радость первого успеха, который любят подчеркивать всеми своими манерами другие женщины, создающие себе из него горделивый убор. Чем сильнее влекла ее к Валтасару любовь, тем трудней было Жозефине решиться выразить ему свои чувства. Не становились ли у нее жалкими уловками те жесты, взгляды, ответы или вопросы, которые были бы лестны мужчине, исходи они от хорошенькой женщины? Красивой женщине свет не отказывает в доверии, прощает какую-нибудь глупость или неловкость, и она сколько ей угодно может быть сама собою,— тогда как одного взгляда достаточно, чтобы согнать прелестную

улыбку с уст некрасивой женщины, придать робость ее глазам, подчеркнуть неловкость ее жестов, сковать ее смущением. Разве она не знает, что только ей запрещено делать ошибки, так как окружающие не верят, что она может загладить их, и не дадут ей к тому случая? Разве необходимость в любую минуту держаться безупречно не должна угашать ее способности, сковывать холодом их развитие? Такая женщина может жить только в атмосфере ангельской снисходительности. Но где вы найдете сердца, проявляющие снисходительность без примеси горькой и обидной жалости? Подобные мысли, усвоенные ею, когда она узнала цену ужасной светской вежливости и знаков внимания, более жестоких, чем оскорбления, ибо своей нарочитостью они только лишний раз напоминают человеку о его несчастье,— подавляющим образом действовали на Жозефину Темнинк, постоянно вызывали в ней ту стесненность, от которой в глубь души уходили самые прелестные чувства и холодными становились манеры, речь и взгляд. Украдкой она была влюблена, осмеливалась становиться красноречивой или красивой только в уединении. Несчастная при ярком свете дня, она была бы восхитительна, если бы ей позволили жить только ночью. Часто, чтобы подвергнуть испытанию любовь Клааса, даже с риском ее потерять, она пренебрегала уборами, которые отчасти могли бы скрыть ее недостатки. Ее испанские глаза становились обворожительными, когда она замечала, что Валтасар находит ее прекрасной в небрежном костюме. И все же недоверие портило ей редкие мгновения, когда она дерзала отдаваться счастью. Вскоре она стала спрашивать себя, не хочет ли Клаас жениться на ней, чтобы иметь при себе рабу, нет ли у него каких-либо скрытых недостатков, вынуждающих его удовольствоваться бедной девушкой, которая обижена природой. Порою эти постоянные тревоги придавали неслыханную цену тем часам, когда она верила в длительность, в искренность любви, которая должна была стать ее мщением свету. Преувеличивая свою некрасивость в беседах с возлюбленным, она вызывала его на споры, чтобы проникнуть в глубь его души, и в таких случаях у Валтасара вырывались истины, мало для нее лестные; но ей нравилось его смущение, когда она заставляла его признаться, что прежде всего в жен-

щине любят прекрасную душу и преданность, сулящую постоянное спокойное счастье, что после нескольких лет брака для мужа совершенно безразлично, будет ли его жена самой восхитительной женщиной на земле или самой безобразной. Собрав все, что только есть правдивого в парадоксах, имеющих целью сбавить цену красоте, Валтасар вдруг замечал нелюбезность подобных суждений, и вся доброта его сердца обнаруживалась в тех деликатных оговорках, которыми он умел доказать Жозефине Темминк, что для него она совершенство. В преданности, являющейся, может быть, вершиною женской любви, у нее не было недостатка, ибо бедняжка всегда отчаивалась в том, что ее полюбят; она прельстилась возможностью борьбы, в которой чувство должно одержать верх над красотою; затем нашла величие в том, чтобы отдать свое сердце, не веря в любовь; наконец, счастье, пускай даже и недолгое, слишком дорого стоило бы ей, чтобы она отказалась его вкусить. Неуверенность и борьба чувств сообщили этому возвышенному существу очарование и неожиданную страстность, которые внушили Валтасару любовь почти рыцарскую.

Они поженились в начале 1795 года. Супруги поехали в Дуэ, желая провести первые дни своей совместной жизни в патриархальном доме Клаасов, к сокровищам которого Жозефина Темминк присоединила несколько прекрасных картин Мурильо и Веласкеса, бриллианты своей матери и великолепные подарки, присланные ей братом, получившим титул герцога Каса-Реаль. Не многие женщины были счастливее г-жи Клаас. Ее счастье оставалось безоблачным пятнадцать лет и, подобно солнечному свету, пронизывало все ее существование вплоть до мелочей. У большинства мужчин обнаруживаются неровности характера, от которых происходят постоянные несогласия; мужья лишают, таким образом, домашнюю жизнь гармонии, то есть идеального семейного счастья; ведь большинству мужчин свойственны мелкие недостатки, а от них рождаются дрязги. Один будет честен и деятелен, но черств и жесток, другой будет добр, но упрям; этот станет любить свою жену, но будет отличаться бесхарактерностью; тот, поглощенный честолюбием, будет любить так, точно он отбывает повинность, и, доставляя жене тщеславные утехи богатства, лишит

ее простых радостей жизни; словом, мужчины в нашем обществе по существу своему несовершенны, и их нельзя за это очень упрекать. Люди, живущие умом, изменчивы, как барометр; истинно добр бывает только гений. Таким образом, настоящее счастье обретается на двух концах духовной лестницы. Дурак или человек гениальный — только они сохраняют — один из-за своей слабости, другой благодаря своей силе — то ровное расположение духа, ту постоянную мягкость, которыми сглаживаются шероховатости жизни. У одного — безразличие и вялость, у другого — кротость и постоянство высокого мышления, принципы которого, являясь их носителем, он применяет и в повседневной жизни. Тот и другой равно просты и наивны; только у одного это — пустота, у другого — глубина. Поэтому ловкие женщины бывают склонны за неимением великого человека избрать дурака, как наименьшее из зол. И вот Валтасар сразу проявил величие своей души в самых мелких жизненных обстоятельствах. Ему хотелось создать из супружеской любви нечто подобное творению искусства и, как свойственно высоко достойным людям, не терпящим ничего несовершенного, дать ей развиться во всей ее красоте. Его ум постоянно вносил разнообразие в спокойное счастье, его благородный характер проявлялся в уступчивости. Поэтому, хотя он и разделял философские убеждения XVIII века, но еще в 1801 году, пренебрегая опасностью со стороны революционных законов, дал у себя приют католическому священнику, считаясь с той чисто испанской, фанатической приверженностью к римско-католической вере, которую его жена всосала с молоком матери; а затем, когда культ во Франции был восстановлен, каждое воскресенье сопровождал он жену свою к обедне. Его привязанность никогда не теряла страстности. Никогда он не позволял себе в домашнем быту покровительственного тона, обычно нравящегося женам: по отношению к его жене это было бы похоже на жалость. Словом, искуснейшим образом теша ее самолюбие, он обращался с нею, как с равною себе, и порою мило на нее дулся,— как мужчина позволяет себе дуться на красавицу жену, показывая, что он не боится ее превосходства. Улыбка счастья всегда украшала его губы, и речь его неизменно дышала нежностью. Он любил

свою Жозефину ради нее и ради себя, с тем пылом, который служит непрестанной хвалой достоинствам и прелести женщины. Верность, часто подсказываемая мужьям общественными отношениями, религией или расчетом, у него производила впечатление чего-то непроизвольного и не чуждалась тех шаловливых ласк, которые свойственны бывают весне любви. Выполнение долга — вот единственное брачное обязательство, в котором не было надобности для обоих этих равно любящих существ, ибо Валтасар Клаас нашел в Жозефине Темнинк постоянное и полное осуществление своих надежд. Сердце его утолялось, не зная пресыщения; как мужчина он был счастлив. Испанская кровь семейства Каса-Реаль давала себя знать в Жозефине, наделила ее инстинктивной способностью бесконечно разнообразить наслаждения, но Жозефина оказалась способна и на ту безграничную преданность, в которой проявляется гений женщины, как в грации проявляется ее красота. Она любила со слепым фанатизмом и во имя своей любви, по первому его знаку, радостно пошла бы на смерть. Деликатность Валтасара обострила в ней все самые великодушные чувства женщины и внушила ей властную потребность дарить больше, чем получать. Взаимный обмен счастьем, которое расточали они друг другу, заметно поколебал ее замкнутость, так что и в словах ее, и во взорах, и в малейшем движении стала обнаруживаться ее возраставшая любовь. Благодарность друг к другу оплодотворяла и разнообразила жизнь сердца у обоих супругов, а уверенность в том, что для любимого человека ты составляешь все, изгоняла мелочность и делала знаменательной каждую подробность их жизни. А кроме того, разве горбатая женщина, которую муж считает стройной, хромая женщина, которую мужчина не хотел бы видеть иною, женщина пожилая, которая кажется ему молодою,— не вправе почитать себя счастливейшим созданием среди всех женщин? Страсти человеческой некуда идти дальше. Не является ли славою для женщины сделать предметом поклонения то, что в ней кажется недостатком? Забыть, что хромая не может ступать правильно,— это минутный самообман; но любить ее потому, что она хромая,— это обожествление ее уродства. Может быть, в евангелии женщин следовало бы выгравировать такое изречение: бла-

женны некрасивые, ибо царство любви принадлежит им. По правде говоря, красота должна считаться несчастьем для женщины, ибо это преходящее цветение чрезмерно воздействует на внушаемое ею чувство: не похожа ли такая любовь на брак по расчету? Зато любовь, которую внушит или сама испытает женщина, лишенная хрупких преимуществ, столь привлекательных для сынов Адама, есть любовь истинная, страсть подлинно таинственная, пылкие объятия душ, чувство, для которого никогда не приходит день разочарования. Такая женщина обладает прелестью, неведомой свету, ускользающей от его контроля, она прекрасна тогда, когда это нужно, и минуты, заставляющие забывать о ее несовершенствах, рождают в ней столь гордое чувство, что она будет всегда добиваться победы. Поэтому почти все привязанности, наиболее знаменитые в истории, были внушены женщинами, у которых толпа нашла бы недостатки. Клеопатра, Джованна Неаполитанская, Диана де Пуатье, мадемуазель де Лавальер, мадам де Помпадур — словом, большинство женщин, прославившихся в области любви, не были лишены несовершенств и телесных недостатков,— тогда как большинство женщин, красота которых слывет совершенной, были несчастны в любви. Это странное на первый взгляд явление объясняется, вероятно, особыми причинами. Быть может, для мужчины больше значат чувства, чем наслаждения? Быть может, обаяние красавицы, всецело телесное, имеет границы, тогда как духовное в своей основе обаяние женщины, посредственно красивой, бесконечно? Не таков ли смысл повествования, лежащего в основе «Тысячи и одной ночи»? Будь женой Генриха III дурнушка, она не испугалась бы топора и победила бы непостоянство своего господина.

По странности, легко, впрочем, объяснимой, раз речь идет о девушке испанского происхождения, г-жа Клаас не была образованна. Она умела читать и писать, но вплоть до двадцатилетнего возраста, когда родные взяли ее из монастыря, знакома была только с аскетическими сочинениями. Вступив в свет, она сначала возжаждала светских развлечений и усвоила только пустые познания в искусстве одеваться; а так как она, глубоко сознавая свое невежество, не смела вмешиваться в разговор, то ее считали неумной. Однако мистическое вос-

питание привело к тому, что чувства у нее сохранились во всей своей силе и нисколько не испортился ее природный ум. Глупенькая и некрасивая богатая невеста во мнении света, она стала умной и красивой для своего мужа. Хотя в первые годы их брака Валтасар старался дать жене познания, которых ей не хватало для того, чтобы хорошо чувствовать себя в обществе, но, вероятно, было слишком поздно,— у нее сохранилась только память сердца. Жозефина ничего не забывала из того, что говорил ей Клаас касательно их обоих; она помнила мельчайшие обстоятельства своей счастливой жизни, а вчерашний урок не могла удержать в памяти. Подобное невежество стало бы причиной серьезных разногласий между другими супругами; но у г-жи Клаас было такое наивное понимание страсти, так благоговейно, так свято она любила, и желание сберечь свое счастье делало ее столь догадливой, что она, казалось, всегда понимала своего мужа, и редко ее невежество обнаруживалось слишком явственно. К тому же, когда двое любят друг друга настолько, что ежедневно для них возрождается первый день их страсти, это плодотворное счастье обладает поразительными особенностями, воздействующими на весь уклад жизни. Разве тогда не возвращается детство, которому нет ни до чего дела, кроме смеха, радости, удовольствия? А затем, когда жизнь очень деятельна, когда огонь ее горит, человек предоставляет ему пылать и не задумывается, не спорит, не соразмеряет ни средств, ни целей. Впрочем, ни одна дщерь Евы не понимала лучше г-жи Клаас своего женского призвания. У нее была присущая фламандкам покорность, которая придает столько привлекательности домашнему очагу, а оттененная гордостью, свойственной испанкам, она становилась еще милее. Жозефина умела заставить уважать себя, внушала к себе почтение одним взглядом, в котором сияло сознание своего достоинства и знатности, но пред Клаасом она склонялась; и в конце концов вознесла его так высоко, так близко к богу, давая ему отчет во всех делах своих и помышлениях, что любовь ее приобрела уже оттенок благоговения и от этого еще возросла. Она горделиво переняла все навыки фламандской буржуазии и почитала вопросом самолюбия добиться того, чтобы дом был полная

чаша, поддерживать все его убранство в безупречной чистоте, иметь вещи только безусловно добротные, подавать на стол только самые тонкие блюда и все устраивать в согласии с жизнью сердца. У них было четверо детей — два мальчика и две девочки. Старшая, названная Маргаритой, родилась в 1796 году, младшему, мальчику, минуло три года, звали его Жан-Валтасар. Материнское чувство г-жи Клаас почти равнялось ее любви к супругу. Поэтому, особенно за последние дни, в душе ее происходила ужасная борьба между двумя чувствами, одинаково сильными, из которых одно как бы враждовало с другим. Слезы и ужас, запечатлевшиеся на ее лице в тот момент, с которого мы начали рассказ о домашней драме, таившейся в этом мирном доме, вызваны были опасением Жозефины, что дети принесены ею в жертву мужу.

В 1805 году брат г-жи Клаас умер, не оставив детей. Испанский закон не признавал за сестрой права наследовать земельные владения брата, связанные с передачей родового титула; но герцог отказал ей до шестидесяти тысяч дукатов особым завещательным распоряжением, которого не оспаривали наследники по боковой линии. Хотя никакие соображения расчетливости не пятнали чувства, соединявшего ее с Валтасаром Клаасом, все же Жозефина почувствовала некоторую удовлетворенность, получив состояние, равное состоянию мужа, и была счастлива, имея возможность отплатить кое-чем тому, кто с таким благородством дал ей все. Итак, брак, в котором люди расчетливые видели безумие, оказался превосходным и с точки зрения расчета. Какое употребление дать этой сумме, было довольно трудно решить. Дом Клаасов так богато был убран мебелью, картинами, предметами художественными и ценными, что, казалось, невозможно было добавить что-нибудь достойное такого убранства. Благодаря присущему этой семье чувству изящного в нем скопились целые сокровища. Одно поколение Клаасов увлеклось собиранием прекрасных картин; а затем, раз уж возникла необходимость пополнять начатое собрание, вкус к живописи сделался наследственным. Сто картин, украшавших галерею, которая соединяла задний дом с приемными апартаментами, расположенными во втором этаже пе-

реднего дома, так же, как полсотни других полотен, размещенных в парадных залах, потребовали трехвековых терпеливых поисков. То были знаменитые произведения Рубенса, Рейсдаля, Ван-Дейка, Терборха, Герарда Доу, Тенирса, Мьериса, Пауля Поттера, Вувермана, Рембрандта, Гоббемы, Кранаха и Гольбейна. Картины итальянские и французские были в меньшем числе, но все подлинные и значительные. У другого поколения появилась фантазия собирать сервизы японского и китайского фарфора. Такой-то Клаас был страстным любителем мебели, такой-то — серебра, словом, у каждого была своя мания, своя страсть, одна из самых поразительных черт фламандского характера. Отец Валтасара, последний обломок славного голландского общества, составил одну из самых богатых коллекций знаменитых тюльпанов. Помимо этих наследственных богатств, которые представляли собою огромный капитал и великолепно украшали старый дом — простой, как раковина, извне и, как раковина, игравший перламутровыми переливами богатейших красок внутри,— Валтасар Клаас владел еще деревенским домом на Оршийской равнине. Далекий от того, чтобы, подобно французам, расходовать все доходы, он следовал старинному голландскому обычаю тратить только их четверть; двенадцать сотен дукатов в год позволяли ему быть в своих расходах на одном уровне с богатейшими людьми города. С опубликованием Гражданского кодекса подобное благоразумие оказалось вполне оправданным. Предписывая равный раздел имущества, глава о наследовании оставила бы детей почти бедняками и со временем рассеяла бы сокровища старинного музея Клаасов. Валтасар, с согласия г-жи Клаас, распорядился ее состоянием так, чтобы каждому из детей обеспечить имущественное положение, занимаемое отцом. В доме Клаасов упорно сохранялся скромный обиход, что давало возможность приобретать лесные угодья, которые несколько пострадали от минувших войн, однако при хорошем уходе должны были через десять лет приобрести огромную ценность.

Высшее общество Дуэ, в котором вращался Клаас, так оценило прекрасный характер и достоинства его жены, что, по своего рода молчаливому соглашению, она была освобождена от светских обязанностей, ко-

торым в провинции придают такое значение. Во время зимнего сезона, проводимого ею в городе, она редко посещала общество, и общество стало собираться у нее. Она принимала по средам и давала в месяц три парадных обеда. Все поняли, что она чувствует себя свободнее дома, где, кроме того, ее удерживали страстная любовь к мужу и заботы, которых требовало воспитание детей. Так вплоть до 1809 года шла жизнь семейства, столь мало сообразовавшегося с общепринятыми мнениями. Существование этих двух людей, внутренне богатое любовью и радостью, внешне походило на всякое другое. В страстной любви Валтасара Клааса к жене, которую она умела продлить, казалось, как он сам это говорил, нашло себе применение его врожденное постоянство, и взрастить свое счастье, уж, во всяком случае, было не менее важно, чем выращивать тюльпаны, к чему с детства имел он склонность, так что это избавило его от необходимости предаться, по примеру своих предков, какой-нибудь мании.

В конце этого года ум и образ жизни Валтасара подверглись зловещим переменам, начавшимся так естественно, что г-жа Клаас первоначально не сочла нужным его расспрашивать. Как-то вечером ее муж отошел ко сну в задумчивости, уважать которую она считала своим долгом. Женская деликатность и привычка к подчинению заставляли ее молча дожидаться признаний Валтасара; любовь мужа, столь надежная, не давала ей никакого повода к ревности и позволяла рассчитывать на его откровенность. Она знала, что если решится из любопытства задать ему вопрос, то он, конечно, ответит, а все-таки от первых жизненных впечатлений в ней навсегда осталась какая-то неуверенность. Кроме того, душевный недуг мужа прошел через несколько фаз и лишь постепенно проступал все явственней и явственней, достигая невыносимой силы, разрушившей счастье семьи. Как ни был занят Валтасар, он, однако, в течение нескольких месяцев оставался все таким же разговорчивым и внимательным, а перемена характера сказывалась пока только в частых проявлениях рассеянности. Г-жа Клаас долгое время не теряла надежды узнать от самого мужа тайну его занятий; быть может, думала она, он не хотел о них рассказывать, пока не добьется благоприятных результатов,— ведь

многие мужчины из гордости умалчивают о борьбе, которую они ведут, и предпочитают показываться только в качестве победителя. Тем ярче должно было просиять домашнее счастье в день триумфа, что Валтасар замечал пробел в своей любовной жизни, с которым, конечно, не могло примириться его сердце. Ведь Жозефина достаточно знала своего мужа и понимала, как он, должно быть, упрекал себя за то, что уже несколько месяцев его Пепита чувствовала себя менее счастливой. И вот она хранила молчание, испытывая своеобразную радость от мук, претерпеваемых из-за него и ради него, ибо в ее страсти был оттенок испанского благочестия, которое никогда не отделяет веры от любви и не понимает чувства без страданий. Она ожидала, что привязанность мужа к ней вернется, и говорила себе каждый вечер: «Это будет завтра!»— думая о своем счастье, как думают о человеке, находящемся в отлучке. Среди тайных тревог зачала она свое последнее дитя. С ужасающей ясностью увидела она тогда, какую скорбь сулит ей будущее. Жизнь ее с мужем складывалась теперь так, что любовь была для него только развлечением, разве лишь бо́льшим, чем какое-либо другое. Женская гордость, оскорбленная впервые, помогла ей измерить всю глубину неведомой пропасти, навсегда отделившей ее от прежнего Клааса. С этих пор состояние Валтасара еще ухудшилось. Тот, кто прежде всей душой отдавался семейным радостям, кто, бывало, целыми часами играл с детьми, возился с ними на ковре в зале и в песке на садовых дорожках, кому, казалось, и жизни не было вдалеке от черных глаз его Пепиты,— тот даже не заметил беременности жены, забыл о своей семье, забыл о себе самом. Чем больше г-жа Клаас медлила с расспросами о предмете его занятий, тем меньше чувствовала она в себе смелости. При одной мысли о занятиях мужа кровь у нее вскипала и голос замирал. Наконец, она подумала, что перестала нравиться мужу, и серьезно тогда встревожилась. Опасение это заняло ее мысли, привело ее в отчаяние, в возбуждение, повлекло за собою немало меланхолических часов и горьких размышлений. Она оправдывала Валтасара, обвиняя во всем себя, считая себя некрасивой и старой; потом ей пришло в голову, что он, из великодушия, уни-

зительного для нее, хочет хотя бы формально остаться ей верным, а потому и ищет забвения в работе, и она решила возвратить ему независимость при помощи тайного развода, заключающего в себе разгадку того по видимости счастливого существования, какое ведут многие семьи. Все же, прежде чем сказать «прости» супружеской жизни, она попыталась заглянуть в глубину его сердца, но оно оказалось закрытым. Она видела, как мало-помалу Валтасар стал безразличен ко всему, что он прежде любил: позабыл о цветущих тюльпанах и не обращал никакого внимания на детей. Вероятно, он предавался какой-то страсти, не имеющей отношения к жизни сердца, но, по мнению женщин, не менее иссушающей. Любовь никем не была похищена — она просто уснула. От такого утешения горе не уменьшалось. Длительность этого кризиса объясняется одним словом — *надежда;* в ней и заключена тайна подобных семейных отношений. Когда бедная женщина доходила уже до отчаяния, придававшего ей решимость расспросить мужа, вдруг именно тогда выпадали ей сладостные минуты, доказывавшие, что, если Валтасар и находится во власти дьявольских мыслей, все же они время от времени не мешают ему вновь становиться самим собою. В эти минуты, когда небо вновь для нее прояснялось, она слишком спешила насладиться своим счастьем и не хотела нарушать его, докучая своему мужу, а когда она, все же чувствуя в себе смелость расспросить Валтасара, уже готова была заговорить с ним, он тотчас от нее ускользал — внезапно уходил или погружался в пучину размышлений, от которых ничто не могло его оторвать. Вскоре душевная жизнь стала оказывать разрушительное воздействие и на тело — воздействие, сперва неприметное, но тем не менее ощутимое для любящей женщины, ибо она старалась угадать тайную мысль мужа по малейшим признакам. Часто ей трудно было удержаться от слез, видя, как он после обеда усаживался в кресло возле камина, мрачный, задумчивый, остановив взгляд на темном панно, не замечая царящего вокруг молчания. Со страхом наблюдала она за еле уловимыми переменами, портившими его лицо, в котором она своим любящим взглядом находила столько высокой красоты; с каждым днем все больше теряло оно свою одушев-

ленность, и застывшие черты становились невыразительными. Порою глаза как бы стекленели,— казалось, что взгляд его обращен куда-то внутрь. Если бедная Пепита, уложив детей, проведя столько часов в молчании, терзаясь своими ужасными мыслями, отваживалась спросить: «Друг мой, ты болен?» — то Валтасар нередко ничего не отвечал; а если и отвечал, то вздрагивал, как будто его внезапно разбудили, и сухо, глухим голосом произносил «нет», тяжело отзывавшееся в измученном сердце жены.

Как ей ни хотелось скрыть от друзей нелепое положение, в котором она очутилась, все же пришлось об этом говорить. Как всегда бывает в небольших городах, странности Валтасара стали предметом обсуждения почти во всех гостиных, а в некоторых кружках знали и такие подробности, которые были неизвестны г-же Клаас. И вот, решив нарушить молчание, предписываемое чувством приличия, иные из друзей выразили такое сильное беспокойство, что она поспешила оправдать странности своего мужа. Господин Клаас принялся, объясняла она, за большую работу, целиком его поглотившую, но зато ее успех послужит славе его семейства и его отечества.

Честолюбию жителей Дуэ, где более чем в каком-либо другом городе царит любовь к родной стране и желание ее прославить, весьма льстило такое таинственное объяснение и воздействовало на умы благоприятным для Клааса образом. Предположения его жены были до некоторой степени обоснованы. Разного рода рабочие долго что-то делали на чердаке переднего дома, куда Валтасар уходил с самого утра. Все дольше и дольше задерживаясь там, к чему мало-помалу привыкли жена его и слуги, Валтасар стал, наконец, проводить там целые дни. Но неслыханное горе! Только из унизительных для самолюбия жены объяснений приятельниц, удивленных ее неведением, г-жа Клаас узнала, что муж ее беспрестанно покупал в Париже физические инструменты, дорого стоившие химические вещества, книги, машины и, как говорили, разорялся ради поисков философского камня. Ей нужно, мол, подумать о детях, добавляли приятельницы, подумать и о своем собственном будущем; преступно было бы с ее стороны не упо-

требить все свое влияние на то, чтобы отвратить мужа от избранного им ложного пути. Хотя г-жа Клаас, обретя в себе высокомерие знатной дамы, прекратила эти нелепые разговоры, однако, при всем своем внешнем спокойствии, она была охвачена ужасом и решила отказаться от политики полной покорности. Однажды она подстроила так, что создалась обстановка, когда жена бывает на равной ноге с мужем, и, набравшись храбрости, отважилась спросить у Валтасара, почему он так переменился и зачем постоянно уединяется. Фламандец нахмурился и ответил:

— Милая, тебе ничего не понять.

Как-то раз Жозефина стала настойчиво домогаться, чтобы он открыл ей тайну, нежно жалуясь, что не разделяет всех мыслей того, с кем разделила жизнь.

— Если это тебя так интересует,— ответил Валтасар, продолжая держать ее у себя на коленях и перебирая ее черные локоны,— скажу тебе, что я вернулся к химии и стал счастливейшим человеком в мире.

Через два года после той зимы, когда Клаас стал химиком, все в его доме изменилось. Потому ли, что общество было обижено всегдашней рассеянностью ученого или боялось его стеснить, потому ли, что от тайных своих тревог г-жа Клаас стала менее любезной, но теперь к ней наведывались только близкие друзья. Валтасар нигде не бывал, он запирался в своей лаборатории на целый день, иногда оставался там и всю ночь и в лоне семейства появлялся только к обеду.

В следующем году он не пожелал провести, как прежде, летние месяцы в деревне, где и жене его не хотелось жить одной. Иногда Валтасар уходил из дому побродить и возвращался только на второй день, предоставляя г-же Клаас всю ночь томиться смертельным беспокойством; она рассылала людей разыскивать его по городу, но все было напрасно, а из-за того, что городские ворота вечером закрывались, как во всех крепостях, она не имела возможности посылать на поиски за городскими стенами. У несчастной женщины не было тогда даже тоскливой надежды, какую дает нам ожидание, и она страдала до утра. Клаас, опо-

здавший по забывчивости вернуться в город раньше, чем запрут ворота, спокойно являлся утром, не подозревая, какие мучения доставляет он семье своей рассеянностью, а счастье вновь его видеть вызывало у жены кризис не менее опасный, чем ее страхи; она молчала, не смея его расспрашивать, так как на ее вопрос после первой такой отлучки он лишь удивленно ответил:

— Что тут такого? Нельзя и прогуляться?..

Страсть не умеет обманывать. Тревогами г-жи Клаас оправдывались, таким образом, те слухи, которые ей хотелось опровергнуть. В молодости она достаточно узнала, что такое вежливое сострадание света; чтобы вторично не испытывать его на себе, она еще больше замкнулась в своем домашнем кругу, покинутом всеми, даже последними друзьями. Беспорядочность в костюме, которая всегда так роняет достоинство человека из высшего общества, дошла у Валтасара до крайности и служила новым, притом немаловажным, поводом к тревоге для его жены, привыкшей к изысканной, фламандской чистоплотности. Первое время Жозефина, сговорившись с Лемюлькинье, лакеем мужа, приводила в порядок платье Валтасара, который ежеднезно обращал его в самое плачевное состояние,— но в конце концов пришлось от этого отказаться. Однажды, когда перепачканную, растерзанную и дырявую одежду мужа она, тайком от него, заменила новой, он в тот же день превратил все в лохмотья. После пятнадцатилетнего счастья эта женщина, ни разу не испытавшая ревности, вдруг обнаружила, что она, по-видимому, не занимает никакого места в сердце, где прежде царила. По происхождению она была испанкой, и чувства испанки возроптали в ней, когда она обнаружила соперницу в науке, похитившей у нее мужа, муки ревности стали снедать ее сердце, обновляя ее любовь. Но как состязаться с наукой? Как побороть ее власть, непрестанную, тираническую и все растущую? Как уничтожить невидимую соперницу? Как может женщина, силы которой ограничены природой, бороться с мыслью, которая неистощима в наслаждениях и всегда нова в своей прелести? Что предпринять против заманчивости идей, которые от преодоления трудностей становят-

ся еще свежее и прекраснее, увлекая человека так далеко от мира, что он все забывает, вплоть до нежнейших своих привязанностей? Наконец, однажды, несмотря на строгие распоряжения, данные Валтасаром, жена его решила по крайней мере не упускать его из виду, оставаться вместе с ним взаперти на чердаке, куда он удаляется, и вплотную схватиться с противницей, помогая мужу в те долгие часы, которые он расточал своей ужасной повелительнице. Она задумала тайно проскользнуть в таинственную, полную соблазна мастерскую и добиться позволения остаться там навсегда. Итак, она попыталась разделить с Лемюлькинье право входить в лабораторию, но, чтобы не делать его свидетелем угрожающей ей ссоры, выжидала, когда муж отпустит лакея. Со злобным раздражением присматривалась она с некоторых пор, в какие часы уходит и приходит слуга; не знал ли он всего, что она желала узнать, что утаивал от нее муж и о чем она не смела спросить! Лемюлькинье пользуется бо́льшим доверием, чем она, супруга!

И вот, трепещущая, почти счастливая, Жозефина пришла к мужу, но тут она первый раз в жизни узнала, что такое гнев Валтасара; едва она приоткрыла дверь, как он бросился на нее, схватил ее и грубо оттолкнул на лестницу, по которой она чуть не скатилась до самого низа.

— Слава богу, ты жива! — воскликнул Валтасар, поднимая ее.

Госпожа Клаас, вся осыпанная осколками какого-то стеклянного колпака, увидала перед собой бледное, без единой кровинки, испуганное лицо мужа.

— Милая, я запретил тебе приходить сюда,— сказал он, без сил опускаясь рядом с ней на ступеньку.— Только святые спасли тебя сейчас от смерти. По какой счастливой случайности я смотрел на дверь? Мы едва не погибли.

— Я была бы так счастлива,— сказала она.

— Мой опыт пропал,— продолжал Валтасар.— Только тебе могу я простить огорчение, которое мне причинила эта жестокая неудача. Быть может, я разложил бы азот!.. Иди, займись своими делами.

Валтасар опять ушел к себе в лабораторию.

— *Быть может, я разложил бы азот!* — повторила бедная женщина, вернувшись в свою комнату, и залилась слезами.

Эта фраза была для нее невразумительна. Мужчины, привыкшие благодаря своему образованию разбираться в чем угодно, не знают, как для женщины ужасно, когда она не в силах бывает понять мысль любимого человека. Эти небесные создания снисходительнее нас, и, если язык их душ оказывается для нас непонятным, они не дают нам это заметить, они боятся показать превосходство своих чувств и скрывают свои горести с такой же радостью, с какой умалчивают о затаенных своих наслаждениях, но, более нас требовательные в любви, они хотят близости не только сердечной,— они требуют себе и все мысли мужчины. То, что г-жа Клаас ничего не понимала в науке, которой занимался муж, порождало в ее душе досаду более сильную, чем могла бы ее пробудить красота соперницы. В борьбе женщины с женщиной та, кто истинно любит, всегда сохраняет одно преимущество — способность любить сильнее, чем соперница; но неудача, испытанная г-жой Клаас, подчеркивала ее беспомощность, унижала в ней все чувства, которые помогают нам жить. Жозефина была невежественна! Это разлучало ее с мужем. Но сильнее всего ее мучило сознание, что Валтасар часто бывал между жизнью и смертью и, находясь поблизости, но так от нее отдалившись, подвергался опасностям, которых она не могла ни разделить, ни понять. Все это было подобием ада — душевной тюрьмой, безысходной и ужасной мукой. Г-же Клаас захотелось по крайней мере понять, чем привлекательна эта наука, и она тайно принялась изучать химию по книгам. Дом стал тогда похож на монастырь.

Через такие степени несчастья прошло семейство Клаасов, прежде чем дойти до состояния, так сказать, гражданской смерти, постигшей его к тому моменту, с которого начинается наша повесть.

Это ужасное положение еще осложнилось. Как все женщины страстной души, г-жа Клаас отличалась неслыханным бескорыстием. Кто истинно любит, тот знает, какой пустяк — деньги по сравнению с чувствами, как не вяжется одно с другим. Однако Жозефина не мог-

ла подавить жестокое сомнение, узнав, что муж ее занял под залог имущества триста тысяч франков. Этими закладными документально подтверждались тревожные слухи и предположения, ходившие по городу. Понуждаемая вполне естественным беспокойством, г-жа Клаас должна была, несмотря на всю свою гордость, расспросить нотариуса мужа, отчасти посвятив его в тайну своих огорчений, отчасти позволив ему их угадать, а в довершение всего — выслушать такой унизительный вопрос:

— Как это господин Клаас до сих пор ничего вам не сказал?

К счастью, нотариус Валтасара приходился ему почти родственником, и вот каким образом. Дед Клааса женился на некоей Пьеркен из Антверпена, принадлежащей к той же семье, что и Пьеркены из Дуэ. Со времени этого брака последние. хотя и были в далеких отношениях с Клаасами, считались их родней. Пьеркен, молодой человек двадцати шести лет, только что унаследовавший дело своего отца, был единственным гостем, имевшим доступ в дом Клаасов. Уже несколько месяцев г-жа Клаас жила в таком полном уединении, что нотариусу пришлось подтвердить ей известие о крахе, бывшее достоянием всего города. Он сообщил, что ее муж, по-видимому, задолжал значительные суммы фирме, поставлявшей ему химические материалы. Наведя справки о состоятельности Клааса и о доверии, которым он пользовался, торговый дом принимал все его заказы и без опасений отправлял ему посылки, несмотря на значительные размеры долга. Г-жа Клаас поручила Пьеркену затребовать счета на заказы, выполненные для ее мужа. Через два месяца господа Проте и Шифревиль, фабриканты химических продуктов, прислали итоговый счет, достигавший почти ста тысяч франков. Г-жа Клаас и Пьеркен изучали приложенную опись с возраставшим изумлением. Если им остались непонятными многие ее пункты из-за терминов, научных или коммерческих, все же они с испугом увидели, что в счет включены партии разного рода металлов и бриллианты, хотя и в малых количествах. Величина долга легко объяснялась разнообразием заказов, предосторожностями, которых требовала доставка некоторых ве-

ществ или пересылка дорогостоящих аппаратов, непомерной дороговизной некоторых химических продуктов, добываемых с трудом или же чрезвычайно редких, наконец, стоимостью физических и химических приборов, сделанных по указаниям Клааса. В интересах своего родственника нотариус навел справки относительно Проте и Шифревиля, и доброе имя этих негоциантов не позволяло сомневаться в правильности их расчетов с Клаасом, тем более что они часто даже избавляли его от лишних расходов, осведомляя о результатах, достигнутых парижскими химиками. Г-жа Клаас просила нотариуса не рассказывать местному обществу об этих приобретениях мужа,— иначе его сочли бы безумным; однако Пьеркен ответил, что, не желая наносить ущерб доверию, которым пользовался Клаас, он до последнего момента откладывал составление нотариальных обязательств, в настоящее время неизбежных ввиду значительности сумм, данных его клиентами Клаасу под честное слово. Он открыл своей родственнице размеры бедствия, предупреждая, что если она не найдет способа помешать мужу так безумно растрачивать свое состояние, то через шесть месяцев наследственное имущество будет обременено закладными, превышающими его стоимость... Что-де касается его самого, Пьеркена, то он уже предупреждал Клааса, со всей осторожностью, необходимой в отношении к человеку, столь справедливо уважаемому,— но не достиг ни малейшего успеха: раз навсегда Валтасар ответил ему, что трудится для славы и благосостояния своего семейства.

Итак, уже два года г-жу Клаас терзали сердечные муки, присоединяясь одна к другой, так что горести новые отягчались всеми прежними горестями, а теперь к ним присоединился еще страх, отвратительный, непрестанный страх перед грозившим ей будущим. У женщин бывают предчувствия столь верные, что это граничит с чудом. Почему в большинстве случаев женщины скорее боятся, чем надеются, когда дело идет о жизненных вопросах? Почему они верят только в те великие идеи, которые посвящены будущему, обещанному религией? Почему столь искусно угадывают они имущественные катастрофы или кризисы в наших судьбах? Быть может, чувство, соединяющее их с любимым человеком,

дает им возможность удивительно хорошо взвесить его силы, оценить его способности, понять его вкусы, страсти, пороки и добродетели; постоянное изучение причин, возможность наблюдать их день за днем, вероятно, дает женщинам роковой дар предугадывать их последствия во всевозможных положениях. То, что они видят в настоящем, позволяет им судить о будущем с прозорливостью, естественно объяснимой совершенством их нервной системы, которая позволяет им улавливать малейшие симптомы в области мысли и чувств. Все у них вибрирует в унисон с большими душевными потрясениями. Они предчувствуют, они провидят. И вот, хотя г-жа Клаас была разлучена с мужем уже два года, она предугадывала потерю их состояния. Она правильно оценила неистовство мысли, овладевшее Валтасаром, и его неизменное упорство: если он действительно ищет способ делать золото, то преспокойно бросит в тигель и последний свой кусок хлеба; но чего он ищет? До сих пор материнское чувство и супружеская любовь так сливались в сердце этой женщины, что дети, равно любимые ею и мужем, никогда не вставали между ними. Но порою вдруг она становилась матерью более, чем женою, хотя чаще бывала женою более, чем матерью. И, как ни была она готова пожертвовать своим состоянием и даже детьми ради счастья того человека, который ее избрал, полюбил, обоготворил и для которого она еще и теперь была единственной женщиной в мире,— все же угрызения совести, причиняемые ей тем, что ее материнская любовь была недостаточно сильна, повергали ее в мучительные колебания. И вот, как женщина — она страдала за свою любовь, как мать — страдала за своих детей, а как христианка — страдала за всех. Она молчала и сдерживала в душе жестокую бурю. Муж, единственный, кто властен решать участь всей семьи, обязанный отчетом только богу, был вправе по своей воле устраивать их жизнь. Да и могла ли она упрекать Валтасара за то, что он пользуется ее состоянием, если в течение десяти лет брачной жизни он дал столько доказательств своего бескорыстия? Ей ли быть судьею в том, что он задумал? Но совесть, в согласии с чувством и законом, говорила ей, что родители только охраняют состояние детей и не имеют права отнимать

у них материальное благополучие. Чтобы уклониться от решения этих важных вопросов, она предпочитала закрывать глаза, подобно людям, отводящим взор от пропасти, на дно которой, как знают они сами, придется им упасть. Уже шесть месяцев муж не давал ей денег на домашние расходы. Она распорядилась тайно продать в Париже богатые бриллиантовые уборы, которые брат подарил ей в день свадьбы, и ввела в доме строжайшую экономию. Она отпустила гувернантку детей и даже кормилицу Жана. Такая роскошь, как собственные экипажи, встарь была неизвестна буржуазии, скромной в своих нравах и гордой в чувствах, и в доме Клаасов ничто не было приспособлено для этого нынешнего нововведения; Валтасар был принужден устроить конюшню и каретный сарай в чужом доме по другую сторону улицы; его занятия не позволяли ему теперь следить за этой частью хозяйства, по характеру своему требующей мужского глаза; г-жа Клаас отказалась от обременительных расходов на экипаж и прислугу, впрочем, ставших и бесполезными при ее уединенном образе жизни; но, несмотря на убедительность последнего соображения, она не пыталась прикрывать вынужденные меры благовидным предлогом. До сих пор ее слова опровергались фактами, поэтому лучшим исходом для нее стало молчание. Перемены в образе жизни Клаасов не нуждались в оправдании: у фламандцев, как и у голландцев, почитается безумием расходовать все свои доходы. Но, с другой стороны, старшей дочери Маргарите исполнялось шестнадцать лет, и Жозефине хотелось устроить ей хорошую партию, ввести ее в свет, как то подобало девушке, бывшей в родстве с Молина, Ван-Остром-Темнинками и семейством Каса-Реаль.

Перед тем самым днем, к которому относится начало нашей повести, все деньги, полученные от продажи бриллиантов, были израсходованы. А в три часа, ведя детей к вечерне, г-жа Клаас встретила Пьеркена, который шел было к ней, и он проводил ее до церкви св. Петра, шепотом рассказывая о ее денежных делах.

— Кузина,— сказал он,— мне так дорога дружба связывающая меня с вашим семейством, что я считаю

своим долгом открыть вам всю опасность создавшегося положения и прошу вас переговорить с мужем. Кто, кроме вас, может удержать его на краю пропасти, к которой вы приближаетесь? Доходов с заложенного имущества не хватает даже для выплаты процентов по взятым взаймы суммам, так что вам теперь от этих доходов не остается ничего. Если вы срубите принадлежащие вам леса, то лишитесь единственного шанса на спасение, который оставался бы вам в будущем. Мой кузен Валтасар в настоящий момент является должником парижской фирмы Проте и Шифревиль на сумму в тридцать тысяч франков. Как вы их заплатите? На что вы будете жить? И что станется с вами, если Клаас будет по-прежнему выписывать реактивы, стеклянные сосуды, вольтовы столбы и прочую дребедень? Все ваше имущество, за исключением дома и движимости, разлетелось газом и углями. Когда третьего дня зашла речь о закладе дома, знаете, каков был ответ Клааса? «О черт!» Вот первые признаки разума, которые он проявил за три года.

Госпожа Клаас горестно пожала руку Пьеркена, подняла глаза к небу и сказала:

— Сохраните все это в тайне.

Несмотря на свою набожность, бедная женщина, потрясенная, уничтоженная ясным смыслом того, что она услышала, не могла молиться; она сидела на стуле меж детей, раскрыв молитвенник, но не перевернула ни странички; она впала в созерцание, такое же всепоглощающее, как размышления ее мужа. Испанское чувство чести, фламандская порядочность звучали в ее душе голосом могучим, как орган. Разорение ее детей совершилось! Между ними и честью их отца не приходилось уже выбирать. Ее ужасала неизбежность близкой борьбы с мужем. Он был так велик в ее глазах, внушал к себе такое уважение, что боязнь вызвать его гнев волновала ее не меньше, чем мысль о величии господа бога. Ведь ей предстояло отказаться от неизменной покорности перед супругом, которую она дотоле свято соблюдала. Интересы детей принуждают ее перечить склонностям человека, обожаемого ею. Пришлось бы нередко докучать ему деловыми вопросами, заставляя его покидать высокие сферы науки, где он парит; насильно от-

влекать от улыбающегося ему будущего, чтобы погрузить в житейские заботы, самые отвратительные для художников и великих людей? Для нее Валтасар Клаас был гигантом науки, человеком, которого ждет слава; только ради грандиозных замыслов мог он забыть о своей Пепите; а затем он так глубоко разумен, не однажды он так талантливо освещал и разбирал при ней самые разнообразные вопросы, что его обещания прославить и обогатить семью в результате своих трудов представлялись вполне искренними. Мало было назвать огромной любовь его к жене и к детям, она не знала границ. Его чувства не могли угаснуть, они, без сомнения, еще возросли, найдя себе иное выражение. И вот она, столь благородная, столь великодушная и робкая, заставит теперь этого великого человека непрестанно слышать слово «деньги» и звон денег; она откроет перед ним язвы нищеты, постарается, чтобы вопли о бедствии заглушили для него мелодический голос славы! Быть может, тогда Валтасар станет меньше любить ее? Не будь у нее детей, бесстрашно и охотно приняла бы она новую участь, приуготовляемую ей мужем. Женщина, выросшая в богатстве, быстро понимает, какая пустота таится под материальными благами; и когда ее сердце, усталое, но не увядшее, подскажет ей, какое счастье заключено в постоянном подлинном единении чувств,— тогда ее не пугает скромность жизненного обихода, раз он соответствует желаниям человека, бесспорно ее любящего. Существование вне своей личности — вот удивительный источник всех мыслей и радостей такой женщины. Лишиться этого существования — вот что ее страшит. Итак, теперь дети отдаляли Пепиту от ее настоящей жизни так же, как Валтасара отдаляла от Пепиты наука; и вот, вернувшись от вечерни и бросившись в кресло, она отослала детей, строго запретив им шуметь; затем она велела сказать мужу, что просит его прийти; но, несмотря на всю настойчивость старого лакея Лемюлькинье, Валтасар оставался в лаборатории. У г-жи Клаас было, таким образом, время поразмыслить. И она тоже не помнила ни дня, ни часа, предавшись своим думам. Мысль о долге в тридцать тысяч франков и о том, что нечем платить, пробудила все прошлые горести, объединив их с горестями настоящими и

будущими. Все это множество расчетов, мыслей и чувствований было ей не по силам, она заплакала. Когда вошел Валтасар, лицо которого больше чем когда-либо поразило ее страшным выражением полной самоуглубленности и отрешенности, когда он ей ничего не ответил,— она сначала была зачарована неподвижностью его тусклого и пустого взгляда, разрушительной силой мыслей, кипевших за его облысевшим лбом. Столь тяжко было это впечатление, что ей захотелось умереть. Но таким беспечным голосом заговорил он о своих научных нуждах,— в тот момент, когда сердце у нее сочилось кровью,— что она вновь обрела смелость: она решила бороться против ужасающей силы, похитившей у нее возлюбленного, у детей — отца, у семьи — богатство, у всех — счастье. Однако она не могла подавить охвативший ее трепет, ибо во всей ее жизни еще не было сцены столь торжественной. Разве этот страшный момент не заключал в зачатке все ее будущее, не был итогом всего ее прошлого?

Итак, все, кто слаб, или по природе робок, или живо чувствует, что для него велики самые малые трудности жизни, или невольно трепещет перед властителем своей судьбы, могут понять, что за мысли тысячами кружились в голове у этой женщины, что за чувства тяжким гнетом ложились на ее сердце, когда муж ее медленно направился к двери, ведущей в сад. Большинству женщин знакомы те тревоги и мучительные колебания, с которыми боролась г-жа Клаас. Так вот, даже и те, чьи сердца бывали взволнованы только необходимостью объявить мужу о каком-нибудь чрезмерном расходе или о неоплаченном счете из модной лавки,— и те поймут, как сильно бьется сердце, когда дело идет обо всей жизни. Красивая женщина могла бы позволить себе броситься к ногам мужа, скорбные позы сослужили бы ей службу, тогда как сознание своих физических недостатков еще усиливало страхи г-жи Клаас. И когда она увидела, что Валтасар намеревается уйти, первым ее движением было броситься к нему; но жестокая мысль подавила ее порыв: ей придется встать во весь рост! Не покажется ли она смешной человеку, который уже не ослеплен любовью и может увидеть все в настоящем свете! Жозефина готова была бы пожертвовать всем — и богатством

и детьми, только бы не нанести ущерба своей женской власти. В этот торжественный час она не хотела допустить ни малейшей неосторожности и лишь громко позвала:

— Валтасар!

Он машинально обернулся и кашлянул, но, не обращая внимания на жену, пошел сплюнуть в один из четырехугольных ящиков, стоявших вдоль стен на некотором расстоянии друг от друга, как во всех жилищах Голландии и Бельгии. Человек, ни о ком не думавший, никогда не забывал о плевательницах,— так укоренилась в нем привычка. Что касается бедной Жозефины, которой совершенно понятна была эта странность, то все сердце в ней ныло при виде постоянной заботы мужа о предметах домашней обстановки, а на этот раз страдания были столь невыносимы, что она вышла из себя и, давая волю всем своим оскорбленным чувствам, нетерпеливо крикнула:

— Я к вам обращаюсь, извольте слушать!

— Что это значит? — ответил Валтасар, быстро повернувшись и метнув на жену взгляд, настолько выразительный, что он поразил ее подобно сверкнувшей молнии.

— Прости, друг мой,— сказала она бледнея.

Она хотела подняться и протянуть ему руку, но бессильно откинулась на спинку стула.

— Я умираю! — сказала она голосом, прерывавшимся от рыданий.

Тут, при виде ее, с Валтасаром произошла резкая перемена, как это бывает со всеми людьми рассеянными, и он как бы угадал тайну того душевного кризиса, который испытывала жена; он тотчас взял ее на руки, открыл дверь, выходившую в маленькую прихожую, и так быстро взбежал по старой деревянной лестнице, что целое полотнище с треском оторвалось от платья жены, вцепившегося за пасть одного из тех чудовищных зверей, которые служили столбиками перил. Он ударил ногой в дверь из передней в их покои, чтобы отворить ее; но оказалось, что спальня жены заперта.

Тихо положил он Жозефину на кресло, говоря про себя:

— Боже мой, где же ключ?

— Спасибо, друг мой,— ответила г-жа Клаас, открывая глаза,— впервые за долгое время я почувствовала себя возле твоего сердца.

— Господи,— крикнул Клаас,— да где же ключ? Люди идут...

Жозефина знаком указала на ключ, привязанный на ленте у ее пояса. Открыв дверь, Валтасар быстро опустил жену на диван, вышел навстречу перепуганным слугам, поднимавшимся по лестнице, и отослал их, велев скорее накрывать к обеду, а сам поспешно вернулся к жене.

— Что с тобой, жизнь моя? — сказал он, садясь возле нее и целуя ее руку.

— Теперь ничего,— отвечала она,— теперь все прошло. Мне только хотелось бы обладать всемогуществом божьим, чтобы бросить к твоим ногам золото всей земли.

— К чему золото? — спросил он, привлекая жену к себе, и, обняв ее, снова поцеловал в лоб.— Разве не одаряешь ты меня величайшими богатствами, любя меня, как ты любишь, милое, драгоценное создание? — продолжал он.

— Ах, Валтасар, почему ты не рассеешь тревог, постигших всю нашу семью, как ты прогнал своим голосом печаль из моего сердца? Но что бы там ни было, ты все тот же, я это вижу!

— О каких тревогах ты говоришь, милая?

— Мы же разорены, друг мой!

— Разорены? — повторил он.

Он засмеялся, стал ласкать руку жены, держа ее в обеих ладонях, и сказал таким нежным голосом, какого давно уже она не слыхала:

— Но ведь, может быть, уже завтра, ангел мой, в наших руках окажется несметное богатство. Вчера, ища разгадки гораздо более важной тайны, я, кажется, нашел средство кристаллизовать углерод — вещество, из которого состоит алмаз... Дорогая жена, через несколько дней ты простишь мое невнимание к тебе! Кажется, я бываю иногда невнимателен. Ведь сегодня я обошелся грубо с тобой? Будь снисходительна к человеку, который никогда не переставал думать о тебе, работал только для тебя, для всех нас...

— Полно, полно! — сказала она.— Обо всем этом поговорим нынче вечером, друг мой. Я страдала от безмерного горя, теперь мне больно от безмерной радости.

Она не ожидала, что его лицо опять может быть так оживлено любовью, такой же нежной, как прежде, что голос его зазвучит так же мягко, как бывало, что она вновь обретет все, казавшееся потерянным.

— Нынче вечером. Да, да, мы поговорим. Если я задумаюсь и забуду, напомни мне. Нынче вечером брошу мои исчисления, мои работы, отдамся семейным радостям, наслаждениям сердца,— ведь мне так нужно это, Пепита, я так жажду этого!

— Ты скажешь мне, что ты ищешь, Валтасар?

— Бедное дитя, ведь ты ничего не поймешь.

— Ты думаешь?.. Ах, друг мой, вот уже почти четыре месяца я изучаю химию, в надежде, что буду способна говорить с тобою о ней. Я прочла Фуркруа, Лавуазье, Шапталя, Ноллэ, Руэлля, Бертоле, Гей-Люссака, Спаланцани, Левенгука, Гальвани, Вольта — словом, все книги, относящиеся к науке, которой ты поклоняешься. Теперь можешь открыть мне свои тайны.

— О, ты ангел! — воскликнул Валтасар, падая к ногам жены и проливая слезы умиления, так что она вся задрожала.— Теперь мы будем во всем понимать друг друга.

— Ах,— воскликнула она,—я бросилась бы в адский огонь, пылающий в твоих печах, чтобы услыхать такие слова из твоих уст, чтобы видеть тебя таким!

Услыхав в передней шаги старшей дочери, она бросилась туда.

— Что ты, Маргарита? — спросила она.

— Маменька, пришел Пьеркен. Если он останется обедать, нужно будет столовое белье, а вы забыли выдать его нынче утром.

Госпожа Клаас вытащила из кармана связку ключей, отдала их дочери и, указывая на шкафы антильского дерева, которые шли вдоль стены передней, сказала ей:

— Возьми из скатертей «Грендорж», направо.

Затем она возвратилась к мужу и с нежной и лукавой улыбкой попросила его:

— Раз дорогой мой Валтасар опять со мною, отдай

мне его целиком! Друг мой, пойди к себе и, будь добр, приоденься. За обедом у нас будет Пьеркен. Сними же истрепанное платье. А посмотри, что это за пятна! Ведь это серная кислота или хлоралгидрат,— видишь, как пожелтели дыры по краям? Тебе надо помолодеть. Я переоденусь и тогда пошлю к тебе Лемюлькинье.

Валтасар хотел пройти от жены прямо к себе в комнату, но забыл, что с этой стороны она заперта. Он пошел через переднюю.

— Маргарита, положи белье на кресло и помоги мне одеться, я не хочу звать Марту,— сказала г-жа Клаас дочери.

Валтасар схватил Маргариту, весело повернул ее к себе и сказал:

— Здравствуй, дитя мое, ты прехорошенькая в этом муслиновом платье и с розовым поясом!

Потом он поцеловал ее в лоб и пожал ей ручку.

— Маменька, папа сейчас поцеловал меня,— сказала Маргарита, входя к матери,— он смотрит таким веселым, таким счастливым!

— Дитя мое, твой отец великий человек. Скоро три года, как он работает ради славы и преуспеяния семьи и теперь полагает, что достиг цели своих изысканий. Этот день должен быть для всех нас настоящим праздником...

— Маменька,— ответила Маргарита,— вся прислуга так огорчалась, видя его нахмуренным, что мы не будем одиноки в своей радости... Ах, наденьте другой пояс, посвежее.

— Хорошо, только скорей, мне надо еще поговорить с Пьеркеном. Где он?

— В зале, играет с Жаном.

— А где Габриэль и Фелиция?

— Они в саду, я слышу их голоса.

— Так скорее иди туда и последи, чтобы они не рвали тюльпанов! Твой отец еще не видел тюльпанов в этом году и, может быть, захочет посмотреть на них нынче, когда встанет из-за стола. Скажи Лемюлькинье, пусть отнесет отцу все необходимое, чтобы привести себя в порядок.

Когда Маргарита вышла, г-жа Клаас взглянула на детей через окна, выходящие в сад, и увидала, что

они рассматривают насекомое с блестящими зелеными, в золотых пятнышках, крыльями, которое в народе называют «швец».

— Ведите себя хорошо, милые мои,— сказала она, поднимая двигавшуюся в пазах раму, чтоб проветрить комнату.

Потом она тихонько постучалась в дверь к мужу, желая убедиться, что он опять не отвлекся чем-нибудь. Он открыл, и она весело сказала, заметив, что он переодевается:

— Ведь ты ненадолго оставишь меня одну с Пьеркеном? Приходи скорей.

Она спустилась так проворно, что, услыхав ее шаги, посторонний человек и не догадался бы о ее хромоте.

— Когда барин переносил вас, барыня, в спальню,— сказал лакей, встретившийся ей на лестнице,— платье зацепилось, и добро бы только дрянной лоскут оторвался,— да вот сломали челюсти у этой фигуры, кто ее теперь поправит? Лестницу попортили, перила были такие красивые!

— Ничего, славный мой Мюлькинье, и не думай ее поправлять, это не беда!

«Что такое случилось? — размышлял Лемюлькинье.— Почему это не беда? Уж не отыскал ли барин свой Абсолют?»

— Здравствуйте, Пьеркен,— сказала г-жа Клаас, открывая дверь в залу.

Нотариус подбежал, чтобы подать своей родственнице руку, но Жозефина любила опираться только на руку своего мужа, поэтому она с улыбкой поблагодарила Пьеркена и сказала:

— Вы, вероятно, пришли по поводу тридцати тысяч франков?

— Да, вернувшись домой, я получил уведомление от торгового дома Проте и Шифревиль о том, что они предъявили господину Клаасу к оплате шесть векселей по пяти тысяч франков каждый.

— Но нынче об этом Валтасару не говорите,— предупредила она.— Оставайтесь у нас обедать. Если он случайно спросит вас, зачем вы пришли,— пожалуйста, сошлитесь на какой-нибудь благовидный предлог. Дайте мне письмо, я сама поговорю с ним. Все обстоит пре-

красно,— продолжала она, видя, как изумился нотариус.— Через несколько месяцев мой муж, вероятно, расплатится со всеми своими долгами.

Услыхав эту фразу, произнесенную шепотом, нотариус посмотрел на Маргариту, входившую через садовую дверь вместе с Габриэлем и Фелицией, и сказал:

— Ваша дочь никогда еще не была так хороша, как сейчас.

Госпожа Клаас, усевшаяся в кресле с маленьким Жаном на коленях, подняла голову и взглянула на дочь и нотариуса с притворным безразличием.

Пьеркен был среднего роста, ни толст, ни худ, его красивое, но заурядное лицо выражало печаль,— свидетельствовавшую, впрочем, скорее об огорчениях, чем о меланхолии,— и мечтательность, скорее неопределенную, чем насыщенную мыслями; он слыл мизантропом, но был слишком корыстен, слишком жаден, чтобы всерьез ссориться со светом. Взгляд, обычно уходящий куда-то в пространство, безразличное выражение лица, подчеркнутая молчаливость, казалось, свидетельствовали о глубине души, на самом же деле скрывали под собой пустоту и ничтожество нотариуса, занятого исключительно только соблюдением материальных интересов, впрочем, не настолько еще старого, чтобы не испытывать зависти. Его стремление сблизиться с домом Клаасов можно было бы объяснить безграничной преданностью, если бы здесь не служила подоплекой жадность. Он казался щедрым, но прекрасно все рассчитывал. Сам того не сознавая, он в зависимости от обстоятельств держался с Клаасами по-разному: бывал, как то свойственно обычно всем дельцам, резок, груб и ворчлив, когда думал, что Клаас разорился; а потом в его манерах начинали сквозить любезность, сговорчивость, почти раболепие, как только являлось предположение, что работы родственника сулят удачу. То он видел в Маргарите Клаас инфанту, к которой и приблизиться нельзя простому нотариусу, то считал ее бедной девушкой, которая была бы чрезвычайно счастлива его предложением. Он был простодушным провинциалом, истым фламандцем, даже не лишенным чувства преданности и доброты; но его наивный эгоизм не давал этим достоинствам развиться в полную меру, а

некоторые смешные черты портили его. Г-жа Клаас вдруг вспомнила, каким сухим тоном разговаривал с ней нотариус на паперти св. Петра, и заметила, как от одной ее фразы изменилось все его обращение; она догадалась о его замыслах и внимательно взглядывала на дочь, желая прочесть в ее душе, что та думает о кузене,— однако, кроме полнейшего безразличия, ничего в ней не приметила. Некоторое время разговор вращался около городских новостей, потом хозяин дома спустился из своей спальни, откуда, к невыразимому удовольствию жены, уже несколько минут как доносился скрип сапог по паркету. В этом скрипе угадывалась походка, какая бывает у человека молодого и подвижного, она возвещала о полном преображении, и г-жа Клаас так нетерпеливо ожидала прихода мужа, что едва уняла дрожь, когда он стал спускаться с лестницы. Валтасар вскоре появился в модном тогда костюме. На нем были до блеска начищенные сапоги, с отворотами, позволявшими видеть верхнюю часть белых шелковых чулок, панталоны из синего казимира с золотыми пуговицами, белый, в цветочках, жилет и синий фрак. Он побрился, причесал волосы, надушил голову, обстриг ногти и вымыл руки с такой тщательностью, что для тех, кто недавно его видел, показался неузнаваемым. Дети его, жена и нотариус вместо полубезумного старика увидали сорокалетнего мужчину, на лице у которого была написана обаятельная приветливость и любезность. Худоба и впалые щеки, изобличавшие усталость и страдания, придавали ему, казалось, даже особую приятность.

— Здравствуйте, Пьеркен,— сказал Валтасар Клаас.

Вновь став отцом и мужем, химик взял младшего своего сына с колен жены и стал его подкидывать в воздух.

— Посмотрите на этого малыша,— сказал он нотариусу.— При виде этого прелестного существа не возникает ли у вас желание жениться? Поверьте, мой милый, семейные радости могут во всем утешить. Гоп-ля! Гоп-ля! — приговаривал он, высоко поднимая Жана и опуская его на землю.— Гоп-ля!

Ребенок заливался смехом, то взлетая к потолку, то опускаясь до пола. Мать отвернулась, чтобы не выдать

душевного волнения, вызванного в ней этой игрою, казалось бы, такой простой, но представлявшей для нее целый домашний переворот.

— Посмотрим, что ты за человек,— сказал Валтасар, ставя сына на паркет и бросаясь в кресло. Ребенок подбежал к отцу, его привлекал блеск золотых пуговиц, украшавших панталоны над отворотами сапог.

— Ах ты, малыш! — сказал отец, обнимая его.— Настоящий Клаас, молодец! Ну, Габриэль, как поживает дядюшка Морильон? — сказал он старшему сыну, трепля его за ухо.— Доблестно одолеваешь переводы с латинского и на латинский? Собаку съел в математике?

Потом Валтасар поднялся, подошел к Пьеркену и сказал с присущей ему приветливой вежливостью:

— Дорогой мой, у вас, вероятно, есть ко мне дела? — Затем взял его под руку и увлек в сад, добавив:— Взгляните на мои тюльпаны...

Госпожа Клаас проводила мужа глазами и не могла сдержать радости, видя, что он опять молод и приветлив, что он опять стал самим собою; она поднялась с кресла, обняла дочь за талию и, целуя ее, сказала:

— Милая Маргарита, дитя мое дорогое, сегодня я люблю тебя еще больше, чем всегда.

— Давно уже я не видала, чтобы отец был так мил,— заметила дочь.

Лемюлькинье доложил, что обед подан. Чтобы не идти под руку с Пьеркеном, г-жа Клаас взяла сама руку Валтасара, и все семейство перешло в столовую.

Эта комната, где на потолке выступали обнаженные балки, правда, украшенные росписью, каждый год промывавшиеся и прочищавшиеся, была украшена высокими дубовыми поставцами, где виднелись любопытнейшие экземпляры посуды, переходившей по наследству. Стены были обиты лиловой кожей, по которой золотом были вытиснены охотничьи сцены. Над поставцами там и сям блестели искусно расположенные перья необыкновенных птиц и редкие раковины. От начала XVI века сохранились здесь кресла прямоугольной формы, с витыми столбиками и небольшой спинкой, обитые гобеленовой тканью и отделанные бахромою, кресла, столь распространенные в

старину, что Рафаэль изобразил одно из них на картине, именуемой «Мадонна в кресле». Дерево почернело, но золоченые гвоздики сияли точно новые, заботливо подновляемая обивка радовала глаз своим красным цветом. Вся Фландрия оживала здесь вместе с нововведениями, пришедшими некогда из Испании. На столе графины и бутылки отличались тем почтенным видом, какой придает им старинная пузатая форма. Бокалы были именно те бокалы давних времен, высокие, на ножках, какие можно видеть на всех картинах голландской или фламандской школы. Фаянсовая посуда, украшенная цветными фигурами в манере Бернара де Палисси, вышла из английского завода Веджвуда. Массивные серебряные приборы, граненые и с выпуклым орнаментом, настоящее фамильное серебро, состоящее из предметов разнообразных на вид, разной формы и чекана, напоминали о начале благосостояния Клаасов и о постепенном росте их богатства. Салфетки были бахромчатые, на испанский манер. Что касается столового белья, то всякий поймет — его великолепие было для Клаасов вопросом чести. Это убранство стола, это серебро предназначались для повседневного употребления. В переднем доме, где давались праздники, была особо роскошная утварь, и то, что все ее чудеса предназначались лишь для торжественных дней, сообщало ей печать величия, исчезающую при ежедневном употреблении, когда вещи, так сказать, роняют свое достоинство. В заднем доме все носило отпечаток патриархального простодушия. Наконец, прелестная подробность: в саду по стене дома, под самыми окнами. тянулась виноградная лоза, своими отростками окаймлявшая окна со всех сторон.

— Вы остаетесь верны традициям,— сказал Пьеркен, получая тарелку тимьянового супа, в который фламандские и голландские поварихи кладут шарики, скатанные из мяса, и ломтики поджаренного хлеба,— вот воскресный суп, какой бывал в обычае у наших отцов. Только в вашем доме да у моего дяди Дэраке и подается этот традиционный нидерландский суп... Ах, виноват, старик Саварон де Саварюс с гордостью угощает им у себя в Турнэ, но в остальных местах старая Фландрия исчезает. Теперь мебель делается в античном стиле, только и видишь, что каски, щиты, копья и ликторские фас-

ции. Всякий перестраивает свой дом, продает старую мебель, переплавляет серебро или выменивает на севрский фарфор, который не стоит ни старого саксонского, ни китайского. О, что до меня, то я фламандец душою. Сердце обливается кровью, когда вижу, что медники покупают по цене дерева или железного лома нашу прекрасную мебель, инкрустированную медью или оловом. Мне кажется, происходят резкие перемены в быте. Все, вплоть до искусства, решительно ухудшается. Раз приходится торопиться, ничто не получает добросовестной отделки. Во время моей последней поездки в Париж меня сводили посмотреть картины, выставленные в Лувре. Честное слово, только для ширм годятся все эти холсты, без воздуха, без глубины. Художники боятся колорита. И они-то хотят, я слыхал, низвергнуть нашу старую школу... Ай-ай!..

— Старые наши художники,— ответил Валтасар,— изучали различные сочетания и устойчивость красок, подвергая их действию солнца и дождя. Но вы правы, материальные средства искусства теперь культивируются меньше, чем когда бы то ни было.

Госпожа Клаас не слушала разговора. Как только нотариус сказал, что фарфоровые сервизы в моде, у нее появилась блестящая мысль продать массивное серебро, полученное в наследство после брата,— она надеялась таким образом расквитаться с тридцатитысячным долгом мужа.

— Ага! — говорил Валтасар нотариусу, когда г-жа Клаас опять стала прислушиваться к разговору.— О моих работах поговаривают в Дуэ?

— Да,— ответил Пьеркен,— все недоумевают, на что вы тратите столько денег. Вчера я слыхал, как господин старший председатель высказывал сожаление, что такой человек, как вы, ищет философский камень. Тогда я позволил себе заметить, что вы слишком образованны, чтобы упрямо добиваться неосуществимой цели, что вы слишком христианин, чтобы вступать в борьбу с самим богом, и, как все Клаасы, слишком расчетливы, чтобы бросать деньги на какую-то ерунду. Однако, признаться, я разделял общее сожаление по поводу того, что вы удаляетесь от общества. И в самом деле, вас точно нет в городе. Право, сударыня, вам было бы прият-

но, если бы вы услыхали похвалы, которые каждый спешил воздать вам и господину Клаасу.

— Вы показали себя добрым родственником, опровергая обвинения, скверные хотя бы тем, что они делают меня смешным,— ответил Валтасар.— А, так в Дуэ считают, что я разорен! Ну, так вот, дорогой Пьеркен, через два месяца у нас с госпожою Клаас годовщина свадьбы, и я задам такой праздник, что своим великолепием он вернет мне то почтение, какое дорогие мои соотечественники питают к талерам.

Госпожу Клаас бросило в краску. Уже два года как не вспоминалось о годовщине свадьбы. Подобно тому, как у сумасшедшего бывают минуты просветления, когда их способности приобретают необыкновенный блеск, Валтасар никогда еще не проявлял такой чуткой нежности. Он был полон внимания к детям, и речи его пленяли любезностью, умом, тонкостью замечаний. Проявление отеческих чувств, так долго не обнаруживавших себя, было лучшим праздником для жены, к которой он обращал слова и взгляд, вновь выражавшие неизменную глубокую привязанность, что идет от сердца к сердцу и доказывает чудесную общность душевной жизни.

Старый Лемюлькинье, казалось, помолодел, он входил и уходил с необычной для себя веселостью, вызванной осуществлением его тайных надежд. Столь внезапная перемена в обращении хозяина была для него еще более знаменательна, чем для г-жи Клаас. Там, где семейство видело счастье, слуга видел богатство. Помогая Валтасару в его работах, он заразился его безумием. Потому ли, что он уловил смысл его исканий из слов, вырывавшихся у химика, когда цель ускользала из рук, потому ли, что врожденная склонность человека к подражанию помогла ему усвоить идеи того, с кем он дышал одним и тем же воздухом,— Лемюлькинье проникся к своему господину суеверным чувством, в котором к страху и восхищению примешивался и эгоизм. Лаборатория стала для него тем же, чем бывает для простого народа лотерейное бюро,— организованною надеждой. Каждый вечер он ложился с одной и той же мыслью: «Завтра, быть может, мы будем купаться в золоте». И наутро он просыпался с верою, такой же живой, как накануне. Его имя указывало на вполне фламандское про-

исхождение. Когда-то простолюдины именовались просто по кличкам, произошедшим от их профессии или места рождения, от их физических особенностей или душевных качеств. Прозвище становилось фамилией семьи, которой они обзаводились, выйдя на волю. Во Фландрии торговца льняными нитками называли «лемюлькинье»; такой, вероятно, и была профессия того предка, который, выйдя из крепостного состояния, стал горожанином, что впоследствии не помешало внуку торговца нитками из-за каких-то неудач вернуться к крепостному состоянию, с той только разницей, что он получал жалованье. История Фландрии, ее пряжи и ее торговли вкратце заключалась, таким образом, в этом старом слуге, которого ради благозвучия часто звали просто «Мюлькинье». Его характер и внешность были не лишены оригинальности. Широкое и длинное лицо, имевшее форму треугольника, испещряли следы оспы, которая, оставив на нем множество белых и блестящих рубцов, придала ему фантастический вид. Худой и высокий, он выступал с важным и таинственным видом. Глазки желтоватого цвета, как и его гладкий парик, никогда прямо не смотрели. Таким образом, и внешность его вполне соответствовала вызываемому им чувству любопытства. Выполняемые им обязанности препаратора, посвященного в тайны своего господина, о работах которого он упорно молчал, придавали ему отпечаток чего-то колдовского. Когда он проходил по Парижской улице, обыватели провожали его любопытным и боязливым взглядом, ибо ответы, которыми он иногда удостаивал их, были похожи на изречения Сивиллы и таили в себе намеки на сокровища. Гордый сознанием, что хозяин без него не может обойтись, он командовал другими слугами, был довольно придирчив и, пользуясь своей властью, добивался разного рода льгот, делавших его почти что хозяином в доме. В противоположность всем фламандским слугам, которые чрезвычайно привязаны к семье своих хозяев, он любил только Валтасара. Какая бы печаль ни удручала г-жу Клаас, какое бы приятное событие ни происходило в доме, Лемюлькинье ел хлеб с маслом и пил пиво, сохраняя обычную свою флегму.

После обеда г-жа Клаас предложила пить кофе перед клумбой тюльпанов, расположенной посредине сада.

Глиняные горшки с тюльпанами, названия которых были выбиты на шиферных дощечках, врыты были в землю таким образом, что составляли пирамиду; на вершине ее росла разновидность тюльпана «драконова пасть», которая имелась только у Валтасара. Этот цветок, носивший название tulipa Claesiana [1], соединял в себе семь цветов, и его длинные вырезные лепестки казались позолоченными по краям. Отец Валтасара, не раз отказывавшийся продать тюльпан даже за десять тысяч флоринов, принимал такие меры предосторожности против похищения хотя бы одного из его семян, что держал цветок в зале, любуясь им нередко целыми днями. Стебель у тюльпана был высокий, совершенно прямой, крепкий, восхитительного зеленого цвета; пропорции растения соответствовали чашечке, отличавшейся яркой чистотой красок, которая придавала когда-то такую большую ценность этим пышным цветам.

— Да здесь тюльпанов на целых тридцать — сорок тысяч франков,— сказал нотариус, поглядывая то на кузину, то на клумбу, отливавшую тысячей красок.

Цветы, похожие в лучах заходящего солнца на драгоценные каменья, так восхищали г-жу Клаас, что она не уловила смысл этого замечания, отзывавшего нотариальной конторой.

— К чему все это? — продолжал нотариус, обращаясь к Валтасару.— Вам бы их продать.

— Ба! Разве я нуждаюсь в деньгах! — ответил Клаас с пренебрежением, как человек, для которого сорок тысяч франков сущий пустяк.

На минуту все умолкли, только дети кричали:

— Посмотри же, мама, на этот тюльпан!

— О! Вот красивый!

— А тот как называется?

— Что за бездна, в которой теряется ум человеческий! — воскликнул Валтасар, в отчаянии заламывая руки.— Соединение кислорода и водорода в различных соотношениях порождает в той же самой среде и из того же самого начала эти краски, каждая из которых свидетельствует об особом результате соединения.

---

[1] Тюльпан Клааса *(лат.)*.

Жена вполне понимала термины, употребляемые Клаасом, но он говорил так быстро, что она не успела ухватить мысль; Валтасар вспомнил, что она изучала его любимую науку, и сказал, делая ей таинственный знак:

— Ты могла бы понять мои слова, но не тот смысл, который я в них вкладываю.

И он, казалось, снова погрузился в свои обычные размышления.

— Да, вероятно,— сказал Пьеркен, беря чашку кофе из рук Маргариты.— Гони природу прочь, она прискачет снова! — добавил он шепотом, обращаясь к г-же Клаас.— Будьте добры, переговорите с ним вы, сам дьявол не вытащит его теперь из этой созерцательности. Тут уж до завтра ничего не поделаешь.

Он простился с Клаасом, притворившимся, что он ничего не слышит, поцеловал маленького Жана, которого держала на руках мать, и, сделав глубокий поклон, удалился. Когда входная дверь за ним захлопнулась, Валтасар взял жену за талию и, чтобы рассеять в ней тревогу по поводу его напускной задумчивости, сказал ей на ухо:

— Я знал, как его спровадить.

Госпожа Клаас повернула голову к мужу, не стыдясь слез, выступивших у нее на глазах: так сладостны были эти слезы! Потом она приникла лбом к плечу Валтасара и спустила Жана с колен.

— Вернемся в залу,— сказала она, помолчав.

Весь вечер Валтасар был безумно весел; он придумывал всяческие игры для детей и сам так разыгрался, что не заметил, как два-три раза отлучалась жена. В половине десятого, когда Жана уже уложили, Маргарита помогла своей сестре Фелиции раздеться и вернулась в залу, но увидела, что отец и мать заняты беседой; мать сидела в большом кресле, отец держал ее за руку. Боясь помешать родителям, она собиралась уже уйти, ничего им не сказав, но г-жа Клаас заметила ее и позвала:

— Поди сюда, Маргарита, поди, милое мое дитя.— Потом она привлекла ее к себе и, с глубокой нежностью поцеловав в лоб, добавила: — Книгу возьми с собою в комнату и ложись пораньше.

— Спокойной ночи, дорогая,— сказал Валтасар.

Маргарита поцеловала отца и ушла. Клаас с женою остались одни, они некоторое время смотрели, как угасают в саду последние отблески заката на темном, уже неясном узоре листвы. Когда почти совсем стемнело, Валтасар взволнованно сказал жене:

— Пойдем наверх.

Еще задолго до того, как в английских нравах укрепилось отношение к спальне жены, как к месту священному, у фламандцев эта комната была недоступна посторонним. Хранительницы семейного уюта не чванились в этой стране своей добродетелью, но усвоенная с детства привычка и домашние суеверия превращали спальню в прелестное святилище, где воздух был напоен чувствами нежными, где простота соединялась со всем, что есть приятного и священного в совместной жизни. При тех особых условиях, в которых очутилась г-жа Клаас, всякая женщина пожелала бы окружить себя самыми изящными вещами; но она это сделала с особенно изысканным вкусом, зная, как вся обстановка влияет на чувства. Что для хорошенькой женщины было бы роскошью, то для нее становилось необходимостью. Она поняла важность слов: «Красивой женщиной можно себя сделать»,— того изречения, которым руководилась во всем своем обиходе первая жена Наполеона, часто впадая при этом в фальшь, тогда как г-жа Клаас всегда была естественна и искренна. Валтасар хорошо знал спальню своей жены, но до такой степени забыл о бытовой стороне жизни, что, входя, он ощутил сладостную дрожь, точно видел все в первый раз. Праздничная радость торжествующей женщины сияла роскошными красками тюльпанов, подымавшихся из длинных горлышек больших и искусно расставленных ваз китайского фарфора, изливаясь потоками света, эффекты которого можно было сравнить только с самыми радостными звуками фанфар. Свечи сообщали гармонический блеск шелковым, жемчужного цвета, тканям, однотонность которых оживлялась отблесками золота, скромно украшавшего некоторые предметы, и различными оттенками цветов, похожих на драгоценные каменья. Все это убранство внушено было тайною мыслью о нем, только о нем!.. Более красноречиво Жозефина не могла бы сказать Вал-

тасару, что он был источником всех ее радостей и горестей. Вид этой комнаты погружал душу в чудесное состояние и изгонял все печальные мысли, оставляя в ней только чувство ровного и чистого счастья. От ткани обоев, купленной в Китае, шел сладкий запах, который пронизывал все тело, но не был навязчив. Наконец, тщательно задернутые занавески выдавали желание уединиться, ревнивое намерение сберечь здесь малейшие звуки голоса и держать здесь в плену взоры вновь завоеванного супруга. Гладко-гладко причесав свои прекрасные черные волосы, падавшие по сторонам лба, как иссиня-черные крылья, закутавшись до самой шеи в пеньюар, украшенный длинной пелериной с нежной пеной кружев, г-жа Клаас пошла задернуть ковровую портьеру, которая не пропускала извне ни звука. Дойдя до двери, она послала мужу, сидевшему у камина, веселую улыбку, которой умеет передать неотразимую прелесть надежды умная женщина, полная такой душевной красоты, что и лицо у нее порою становится прекрасным. Наибольшее очарование женщины состоит в постоянном призыве к великодушию мужчины, в таком милом признании своей слабости, чем она вызывает в нем гордость и пробуждает великодушнейшие чувства. Разве признание в слабости не несет в себе магических обольщений? Когда кольца портьеры с глухим шумом скользнули по деревянному пруту, г-жа Клаас обернулась к мужу и, точно желая скрыть в эту минуту свои физические недостатки, оперлась рукой на стул, чтобы подойти грациозно. То была просьба о помощи. Погруженный тогда в созерцание ее лица, оливковая смуглость которого выступала на сером фоне, привлекая и радуя взгляд, Валтасар встал, взял жену на руки и отнес ее на диван. Этого она и хотела.

— Ты обещал посвятить меня в тайну своих исканий,— сказала она, взяв его руку и удерживая ее в электризующих своих руках.— Согласись, друг мой, я достойна знать все это, так как имела мужество изучить науку, осужденную церковью, чтобы быть в состоянии понять тебя. Я любопытна, ничего не скрывай от меня. Расскажи мне, что произошло с тобой в то утро, когда ты встал озабоченный, хотя накануне я оставила тебя таким счастливым.

— Оказывается, ты так кокетливо оделась, чтобы беседовать о химии?

— Друг мой, выслушать твою исповедь, чтобы еще глубже заглянуть тебе в душу,— разве это для меня не высшее наслаждение? Разве это не такое согласие душевное, которое заключает в себе и порождает все блаженство жизни? Твоя любовь возвращена мне теперь целиком, во всей своей чистоте. Я хочу знать, какая идея была настолько могуча, чтобы лишить меня твоей любви на такой долгий срок. Да, больше, чем ко всем женщинам мира, я ревную тебя к мысли. Любовь огромна, но не беспредельна, тогда как наука ведет в безграничные глубины, и я не увижу твоих одиноких странствований по ним. Мне ненавистно все, что встает между нами. Если бы ты добился славы, к которой стремишься, я была бы несчастна: ведь она принесла бы тебе столько радости! Только я, сударь, должна быть источником ваших наслаждений.

— Нет, ангел мой, не идея направила меня на этот прекрасный путь, а человек.

— Человек?! — воскликнула она в ужасе.

— Помнишь, Пепита, польского офицера, которому мы дали у себя приют в тысяча восемьсот девятом году?

— Помню ли! — сказала она.— Как часто досадовала я на то, что память снова и снова вызывает передо мной эти глаза, пылавшие, как языки пламени, впадины над бровями, черными, как адские угли, этот большой, совсем голый череп, торчащие кверху усы, угловатое худое лицо!.. А его походка, пугающая своим спокойствием!.. Если бы нашлось место в гостиницах, конечно, он здесь не ночевал бы...

— Польского дворянина звали Адам Вежховня,— продолжал Валтасар.— Когда вечером ты оставила нас одних в зале, мы случайно заговорили о химии. Нищета оторвала его от занятий этой наукой, он стал солдатом. Мы признали друг в друге посвященных, кажется, по поводу стакана сахарной воды. Когда я приказал Мюлькинье принести колотого сахару, капитан изумленно посмотрел на меня.

«Вы изучали химию?» — спросил он меня. «У Лавуазье»,— ответил я. И из груди его вырвался вздох, такой вздох, какой обнаруживает в человеке целый ад,

таящийся в мыслях или заключенный в сердце,— словом, это было нечто пылкое, сосредоточенное, невыразимое словом. Он не договорил, он передал свою мысль взглядом, оледенившим меня. Наступило молчание, а затем он рассказал, что после того, как Польша была обречена на гибель, он нашел себе убежище в Швеции. Там он старался утешиться, занимаясь химией, к которой всегда чувствовал непреодолимое влечение.

«Ну вот, я вижу,— добавил он,— вы узнали, как и я, что аравийская камедь, сахар и крахмал дают в порошке абсолютно тождественную субстанцию и качественно один и тот же результат при анализе».

Опять наступила пауза, а затем, в упор поглядев на меня, он доверительно стал нашептывать мне торжественные слова, от которых теперь в памяти у меня остался только общий смысл, но так властно звучал его голос, такой пыл чувствовался в интонациях, такая сила в жестах, что все у меня внутри перевернулось и каждое слово было для моего рассудка, как удар кузнечного молота. Вот вкратце его рассуждения, в которых мне чудился тот пылающий уголь, что бог вложил в уста Исайи, ибо благодаря работе у Лавуазье я мог оценить все их значение.

«Тождественность этих трех субстанций, по видимости столь различных,— сказал он,— привела меня к мысли, что все вещества в природе должны иметь одно и то же начало. Труды современной химии доказали истинность этого закона в наиболее важной части явлений природы. Химия делит все существующее на две различных области: на природу органическую и природу неорганическую. Охватывая все растительные и животные существа, в которых обнаруживается более или менее совершенная организация, или, точнее, большая или меньшая подвижность, определяющая большую или меньшую чувствительность,— органическая природа есть, конечно, важнейшая часть нашего мира. И вот, анализ свел все продукты этой природы к четырем простым веществам, из которых три—газы: азот, водород и кислород,—четвертое же — тело твердое, но не металл, а углерод. Напротив, неорганическая природа, столь мало разнообразная, лишенная движения и чувства, которой можно отказать и в способности к росту, так легкомысленно приписанной

ей Линнеем, насчитывает пятьдесят три простых вещества, различные комбинации которых образуют все ее создания. Правдоподобно ли, что средства более многочисленны там, где результаты меньше? И вот, мнение моего старого учителя таково, что эти пятьдесят три вещества имеют общее начало; некогда видоизменявшееся благодаря какой-то ныне угасшей силе, которую гений человеческий должен оживить. Итак, предположите на мгновение, что деятельность этой силы вновь пробуждена,— тогда у нас возникла бы единая химия. Природа органическая и неорганическая покоилась бы, вероятно, на четырех началах, а если нам удалось бы разложить азот, который мы должны рассматривать как начало отрицательное, то их будет только три. И вот мы уже близки к великой «троичности» древних мудрецов и средневековых алхимиков, над которыми мы напрасно смеемся. Современная химия здесь осгановилась. Это много и мало. Много — потому, что химия привыкла не отступать ни перед какой трудностью. Мало — в сравнении с тем, что остается сделать. Этой прекрасной науке хорошую услугу оказал случай. Не представлялся ли алмаз, эта слеза кристаллизовавшегося чистого углерода, последней субстанцией, какую только можно создать? Старые алхимики, считавшие золото разложимым, а следовательно, воссоздаваемым, отступали перед мыслью делать алмазы; однако мы открыли природу алмаза и закон, лежащий в основе его состава. Я же,— сказал он,— пошел дальше! Опыт мне показал, что таинственную троичность, которой интересуются с незапамятных времен, нельзя найти при нынешних анализах, не подчиненных единой цели. Прежде всего обратимся к одному из опытов. Посейте зерна кресс-салата (ведь следует взять одну из субстанций органической природы),— посейте их в серный цвет (надо, равным образом, взять простое тело). Поливайте зерна дистиллированной водой, чтобы не дать проникнуть в продукты произрастания ни одному неизвестному элементу! Зерна прорастают, ростки появляются в среде известной, питаясь только элементами, известными из анализа. Срежьте в разных местах стебли растения в количестве, достаточном для получения нескольких драхм пепла, чтобы производить опыт над известной массой; и что же? — когда вы сожжете стебли,

то при анализе пепла обнаружите кремневую кислоту, алюминий, фосфорнокислый и углекислый кальций, углекислый магний, сернокислый и углекислый калий и окись железа, как если бы кресс рос на обычной почве, где-нибудь на берегу реки. А ведь эти субстанции не существуют ни в сере, которая является простым телом и служила почвой для растения, ни в воде, употреблявшейся для орошения и по составу своему известной; но так как в зерне их тоже нет, то мы не можем объяснить присутствие их в растении иначе, как допуская существование элемента, общего веществам, содержащимся в кресс-салате, и веществам, служившим ему средой. Таким образом, воздух, дистиллированная вода, сера и субстанции, обнаруженные анализом в крессе, то есть поташ, известь, магнезия, алюминий и т. д., вероятно, содержали в себе общее начало, переходящее из одного вещества в другое в условиях атмосферы, насыщенной солнечными лучами. Из этого безупречно убедительного опыта,— воскликнул он,— я вывел существование *Абсолюта!* Отчетливое и ясное решение задачи об Абсолюте — в субстанции, общей всем веществам, видоизменяемой единою силой и могущей, на мой взгляд, *быть искомой*. Там вы встретите таинственную троичность, перед которою во все времена человечество склоняло колена: *первичная материя, средство, результат*. Вы найдете это грозное число *три* во всех человеческих делах, оно главенствует в религиях, науках и законах. На этом,— сказал он мне,— труды мои остановились из-за войны и бедности... Вы ученик Лавуазье, вы богаты, распоряжаетесь своим временем, я могу поделиться с вами своими предположениями. Вот какова цель, к которой мои личные опыты уже приблизились. *Первичная материя* должна быть началом, общим трем газам и углероду. *Средство* должно быть началом, общим электричеству отрицательному и электричеству положительному. Старайтесь открыть доказательства, которые обоснуют эти две истины, и вы будете знать высшую причину всех явлений природы. О! для того, кто носит здесь,— сказал он, ударяя себя по лбу,— последнее слово творения, предчувствуя Абсолют, разве может считаться жизнью участие в движении людских скопищ, которые в установленный час бросаются друг на друга, не зная, что они делают? Моя нынешняя жизнь

представляет собою нечто совершенно обратное сновидению. Мое тело ходит взад и вперед, действует, находится среди огня, пушек, людей, пересекает всю Европу по воле власти, которой я подчиняюсь, презирая ее. Но моя душа чужда этим действиям, она остается недвижимой, погруженной в идею, бесчувственной ко всему из-за этой идеи, из-за поисков Абсолюта,— того начала, благодаря которому из совершенно подобных зерен, помещенных в одну и ту же среду, одни дают цветы белые, другие— желтые! То же самое применимо к шелковичным червям: они питаются одинаковыми листьями и в строении своем не имеют явных различий, однако одни из них выделяют шелк желтый, другие — шелк белый; применимо это, наконец, и к самим людям, у которых часто бывают дети, совершенно непохожие ни на мать, ни на отца — притом отца несомненного. Логический вывод из этого факта не содержит ли в себе основу всех явлений природы? Да и нашим представлениям о боге не соответствует ли более всего вера в то, что он все создал средством простейшим? В традиционном преклонении пифагорейцев перед числом *один*, откуда выходят все числа и которое представляет собою единство материи, перед числом *два*, первым соединением и типом возможных соединений, перед числом *три*, которое во все времена было знаком бога, то есть материи, силы, явления,— не резюмировалось ли смутное постижение Абсолюта? Недаром у Шталя, Бехера, Парацельса, Агриппы — всех великих искателей оккультных причин — был пароль «Трис-мегист», что означает: «великая троичность». Невежды, привыкшие осуждать алхимию, то есть трансцендентную химию, не знают, конечно, что нашими нынешними работами оправдываются страстные поиски, которым предавались эти великие люди! Открыв Абсолют, я принялся бы за движение. Ах! Пока я кормлюсь порохом и посылаю солдат на бессмысленную смерть, мой старый учитель накапливает открытие за открытием, он летит к Абсолюту! А я умру, как собака, где-нибудь возле батареи!..»

Когда этот несчастный великий человек немного успокоился, он так трогательно, по-братски сказал:

«Если у меня возникнет идея нужного опыта, я перед смертью завещаю ее вам».

— Ах, Пепита,— сказал Валтасар, сжимая руку же-

не,— слезы бешенства текли по его впалым щекам, когда он бросил в мою душу огонь этих мыслей, которые несмело нащупывал уже Лавуазье, не отваживаясь, впрочем, вполне им предаться...

— Как! — воскликнула г-жа Клаас, нетерпеливо прерывая мужа,— этот человек, проведя всего одну ночь под нашей кровлей, мог похитить у нас твою любовь, мог единой фразой, единым словом уничтожить счастье всей семьи? Милый Валтасар! Да осенил ли он себя крестным знамением? Да разглядел ли ты его как следует? Только у искусителя могут быть такие желтые глаза, мечущие Прометеев огонь. Да, только нечистый дух мог оторвать тебя от меня. С того дня ты перестал быть отцом, мужем, главой семейства...

— Вот оно что! — сказал Валтасар, вставая посреди комнаты и бросая на жену пронизывающий взгляд.— Ты порицаешь мужа за то, что он поднялся над другими людьми, чтобы бросить к твоим ногам божественную багряницу славы, как малую жертву сокровищам твоего сердца! Значит, ты не знаешь, что я сделал за последние три года? Я ступал гигантскими шагами, Пепита,— сказал он, одушевляясь.

Жена увидела, что огонь гения сверкал теперь на его лице ярче прежнего огня любви, и она заплакала, слушая Валтасара.

— Я соединил хлор и азот, я разложил некоторые тела, считавшиеся прежде простыми, я открыл новые металлы. Кстати,— продолжал он, увидав, что жена плачет,— я ведь разложил слезы на составные части. Слезы содержат немного известковой фосфорнокислой соли, хлористый натр, слизь и воду.

Он продолжал говорить, не замечая ужасной конвульсии, исказившей лицо Жозефины; он воссел на крылатого коня — Науку, которая уносила его далеко от мира материального.

— Этот анализ, милая моя, одно из лучших доказательств системы Абсолюта. Всякая жизнь предполагает сгорание. От степени активности очага зависит большая или меньшая длительность жизни. Так, разрушение минерала бесконечно замедляется, ибо сгорание в нем потенциально, скрыто и неощутимо. Так, растения, непрерывно обновляясь благодаря некоему сочетанию,

следствием которого является влажность, живут неограниченное время, и существуют растения — современники последнего катаклизма. Но когда природа, усовершенствовав систему органов, с неизвестными нам целями вкладывает в нее ощущение, инстинкт или разум, составляющие три явственные ступени органического мира, в подобных случаях каждый из этих трех типов организмов требует сгорания, активность которого прямо пропорциональна достигнутому результату. Человек, представляющий собою высшую точку развития разума и единственную систему органов, которая своей деятельностью порождает способность почти что созидательную — мысль! — является среди всех творений животного мира именно таким, где самой напряженной степени достигает сгорание, оказывающее сильнейшее действие, о чем, так сказать, свидетельствуют соли фосфорнокислая, сернокислая и углекислая, обнаруживаемые в его теле при помощи анализа. Эти субстанции не суть ли следы, оставшиеся от действия электрического тока, служащего началом всяческого оплодотворения? Не обнаруживаются ли в человеке более разнообразные комбинации электричества, чем во всяком ином животном? Быть может, способность поглощать большие количества абсолютного начала в нем сильнее, чем во всякой иной твари, и он их усваивает, чтобы при помощи машины, более совершенной, выработать свою силу, свои идеи! Я полагаю, что это так. Человек — своего рода колба. Таким образом, по-моему, у идиота мозг содержит в себе наименьшее количество фосфора или иного продукта электромагнетизма; мозг сумасшедшего содержит его слишком много, у обыкновенного человека его мало, мозг человека гениального насыщен им в достаточной степени. Если люди заняты только любовью или едой, если они только таскают тяжести или танцуют, значит, они сместили силу, являющуюся результатом работы их электрического аппарата. Таким образом, наши чувства...

— Довольно, Валтасар! Мне становится страшно, ты святотатствуешь! Как! Значит, моя любовь...

— ...это выделяющееся из организма эфирное вещество,— продолжал Клаас,— оно-то и есть самая сущность Абсолюта. Подумай только, что, если я — я первый! — я найду, найду... найду!..

Когда он на три различных тона произносил это слово, лицо его постепенно приобретало выражение человека, вдохновленного свыше.

— Тогда я создаю металлы, бриллианты, я творю, как сама природа! — воскликнул он.

— А станешь ли ты от этого счастливее? — вскрикнула Жозефина с отчаянием.— Проклятая наука! Проклятый демон! Ты забываешь, Клаас, что предаешься греху гордыни, в котором был виновен сатана. Ты восстаешь против бога.

— Э, бог!

— Он отрицает бога! — воскликнула она, ломая руки.— Клаас, бог располагает той силой, которой у тебя не будет никогда.

Услыхав этот аргумент, сводивший к нулю науку, столь дорогую ему, Клаас взглянул на жену и вздрогнул.

— Какой? — спросил он.

— Единой силой — силой движения. Вот что я уловила из книг, которые ты принудил меня прочесть. Подвергни анализу цветы острова Малаги, и его плоды, и вино, ты обнаружишь, конечно, их составные части, которые, как это происходит с твоим кресс-салатом, возникают в среде, казалось бы, им чуждой; допустим, ты даже найдешь их в природе; но, соединив их, создашь ли ты такие цветы, такие плоды и вино? Будет ли в твоем распоряжении непостижимое воздействие солнца и воздуха Испании? Разложить — не значит создать.

— Если найду воздействующую силу, то создам.

— Ничто его не остановит! — крикнула Пепита с отчаянием в голосе.— О, наша любовь убита, я потеряла ее...

Она заплакала, и, сверкая сквозь слезы, глаза ее, одушевленные печалью и святой любовью, исторгавшейся из них, были прекрасней, чем когда-либо.

— Да,— продолжала она, рыдая,— ты умер для всего. Я вижу, наука в тебе сильнее тебя самого, ты улетел с нею слишком высоко, чтобы когда-нибудь спуститься с высоты и снова стать спутником бедной женщины. Какое счастье могу я дать тебе? Ах! Я хотела бы верить — печальное утешение! — что бог тебя создал для того, чтобы ты показал его творения и воспел ему хвалу, что в грудь твою он вложил непреодолимую силу, властвую-

щую над тобой. Но нет, по благости своей он оставил бы в твоем сердце стремление хоть изредка обращаться мыслями к жене, обожающей тебя, и к детям, которым ты должен служить опорой. Да, только дьявол может быть тебе помощником в твоих одиноких скитаниях по безвыходным пропастям среди мрака, где тебя ведет не вышний свет веры, а роковая уверенность в своих силах! Иначе разве мог бы ты не заметить, мой друг, что за три года поглотил девятьсот тысяч франков? Отнесись ко мне справедливо, о ты, бог мой на земле, я не упрекаю тебя ни в чем. Будь мы одни, я, стоя на коленях, отдала бы тебе все наши богатства и сказала: «Бери, бросай в свою печь, развей их дымом!» И смеялась бы, смотря, как развевает его ветер. Если бы ты был беден, я без стыда пошла бы просить милостыню, чтобы добыть уголь для твоей печи. Наконец, Клаас, если бы мне самой нужно было броситься в печь, чтобы помочь тебе найти проклятый Абсолют, я с наслаждением бросилась бы туда, раз свою славу и все свое счастье ты видишь в открытии этой тайны. Но дети наши, Клаас! Наши дети! Что станется с ними, если ты не отгадаешь адской тайны в ближайшее время? Знаешь, зачем приходил Пьеркен? Приходил просить об уплате тридцати тысяч франков, которые ты задолжал, не располагая средствами, чтобы погасить долг. Твоя собственность более тебе не принадлежит. Чтобы Пьеркен не привел тебя в смущение своими расспросами, я сказала, что эти тридцать тысяч у тебя есть; но их нужно раздобыть,— и я задумала продать наше старинное серебро.

Она увидала, что глаза мужа вот-вот увлажнятся слезами, и, полная отчаяния, бросилась к его ногам, с мольбою простирая руки.

— Друг мой,— воскликнула она,— приостанови свои поиски, мы накопим нужную сумму, чтобы возобновить их впоследствии, раз ты не можешь отказаться от продолжения своей работы. О! Я не осуждаю ее! Если хочешь, я сама стану раздувать огонь в твоих печах, только не доводи наших детей до нищеты; ты уже не можешь их любить, наука пожрала твое сердце,— так, по крайней мере, не обрекай их на бедность, если уж не дал им счастья, которое ты обязан был им дать. Слишком часто жертвовала я материнским чувством ради тебя. Да, хо-

телось бы мне не быть матерью, чтобы иметь возможность более тесно приобщиться к твоей душе, к твоей жизни! И вот, ради спокойствия своей совести я должна защищать от тебя счастье твоих детей прежде, чем свое собственное.

Ее волосы распустились и рассыпались по плечам, тысяча чувств, как тысяча стрел, исторгалась из ее глаз, она восторжествовала над соперницей. Валтасар поднял ее, отнес на диван и опустился на пол у ее ног.

— Значит, я доставил тебе горе? — сказал он таким голосом, как будто очнулся от тяжелого сна.

— Бедный Клаас, ты еще немало горя доставишь нам, помимо своей воли,— ответила она, проводя рукой по его волосам.— Сядь рядом со мной,— продолжала она, указывая место на диване.— Ну вот, я все и забыла, раз ты возвращаешься к нам. Друг мой, мы все поправим. Только ты не станешь отдаляться от жены? Правда? Скажи «да». Согласись, великий мой, прекрасный Клаас, подчинить свое сердце женскому влиянию, столь благодетельному для несчастных художников, для страждущих великих людей! Будь со мною груб, ударь меня, если хочешь, но позволь мне кое в чем не соглашаться с тобой ради твоего же блага. Никогда я не злоупотреблю властью, которую ты мне предоставишь. Будь знаменит, но будь также и счастлив. Не забывай нас ради химии! Послушай, мы будем очень сговорчивы, мы не будем оспаривать прав науки, не попытаемся занять ее место в твоем сердце; но будь справедлив, отдай нам нашу половину! Скажи, разве это не высшее бескорыстие с моей стороны?

Она вызвала улыбку на лице Валтасара. С присущим женщинам чудесным искусством она перевела серьезнейший вопрос в область шутки, где женщины чувствуют себя в своей сфере. Хотя по видимости она смеялась, однако сердце у нее сжималось так сильно, что с трудом восстановилось его обычное ровное и тихое биение; зато в глазах Валтасара опять появилось то выражение, которым она восхищалась и гордилась,— и, угадав, что воскресла ее прежняя власть, уже, казалось, утраченная, г-жа Клаас сказала с улыбкой:

— Поверь мне, Валтасар, природа создала нас для чувств, и хотя тебе угодно, чтобы мы были только элек-

трическими машинами, ни твои газы, ни твои эфирные вещества не объяснят нам дара предвидеть будущее.

— Нет, объяснят, при помощи сродства,— вмешался он.— Сила ви́дения, присущая поэту, и сила умозаключения, присущая ученому, основаны на явном сродстве, неосязаемом, невесомом, которое толпа относит к явлениям духовным, хотя в действительности оно представляет собою явление физическое. Пророки видят и умозаключают. К несчастью, эти виды сродства слишком редки и слишком мало доступны восприятию, чтобы подвергнуться анализу или наблюдению.

— А, значит, вот это,— сказала она, целуя его, чтобы прогнать столь некстати пробужденную химию,— тоже сродство?

— Нет, это сочетание; две субстанции с одним и тем же знаком не вызывают никакой реакции...

— Ну, молчи,— сказала она,— а то я умру от горя. Да, дорогой, я не перенесла бы, увидав, что моя соперница не оставляет тебя и среди восторгов любви.

— Но, жизнь моя, я думаю только о тебе, мои труды — это стремление прославить нашу семью; все мои надежды связаны с мыслью о тебе.

— Взгляни-ка на меня!

В эти минуты бурного волнения она стала красива и молода, и перед Клаасом блистало очарованием ее лицо над облаком муслина и кружев.

— Да, конечно, я был неправ, что покидал тебя ради науки. Ну что ж, Пепита, если теперь заботы вновь будут поглощать меня, отвлекай меня от них, я так хочу.

Она опустила глаза и позволила ему взять ее руку, самое прелестное в ней, руку сильную и вместе с тем нежную.

— Но я хочу большего! — сказала она.

— Красавица моя, милая! Ведь ты всего можешь добиться.

— Я хочу разрушить твою лабораторию и посадить на цепь твою науку,— сказала она, бросая на него пламенный взор.

— Прекрасно, к черту химию!

— Эта минута заставляет меня забыть все горести,— продолжала она.— Теперь я в силах вытерпеть от тебя, если ты захочешь, новые страдания.

При этих словах Валтасар готов был заплакать.

— Ты права, я видел вас сквозь какую-то завесу и не слышал вас...

— Если бы дело шло только обо мне,— ответила она,— я продолжала бы страдать молча, не возвышая голоса перед моим властелином; но надо подумать о детях, Клаас. Уверяю тебя, если ты будешь все так же расточать свои богатства, то к какой бы славной цели ты ни стремился, свет не примет ее во внимание, и его хула падет на твою семью. Не довольно ли и того, что ты, такой значительный человек, не замечал опасности, пока жена не обратила на нее твоего внимания? Не будем больше обо всем этом говорить,— добавила она, бросая ему улыбку и взгляд, полный кокетливости.— Пусть нынче, мой Клаас, ничто не омрачает нашего счастья.

После вечера, столь важного в жизни этой семьи, Валтасар Клаас, вероятно уступивший настояниям Жозефины и что-то обещавший ей относительно прекращения своих работ, совсем не поднимался к себе в лабораторию и все время оставался возле жены. На следующий день семья стала готовиться к отъезду в деревню, где она и пробыла почти два месяца, так что в город приезжали только для приготовлений к празднику, которым Клаас хотел ознаменовать, как это бывало прежде, годовщину их брака. Валтасар изо дня в день получал доказательства того, что дела его пришли в полное расстройство из-за его опытов и его беспечности. Жена была далека от того, чтобы растравлять его рану упреками, и, раз беда свершилась, старалась хоть как-нибудь поправить положение. Из семи слуг, которые были у Клааса в день последнего приема, остались только Лемюлькинье, кухарка Жозета и старая горничная по имени Марта, которая не покидала своей хозяйки с тех пор, как та вышла из монастыря; с таким малым количеством слуг невозможно было принять у себя высшее общество города. Г-жа Клаас устранила все трудности, предложив пригласить повара из Парижа, приспособить к услужению сына их садовника и позаимствовать слугу у Пьеркена. Таким образом, никто не заметил бы их стесненного положения. Двадцать дней, пока готовились к

торжеству, г-жа Клаас искусно заполняла досуг своего мужа: то она поручала ему выбор редкостных цветов для украшения главной лестницы, галереи и приемных комнат; то она посылала его в Дюнкерк раздобыть несколько штук тех чудовищных рыб, что составляют гордость званых обедов в Северном департаменте. Такой праздник, какой собирался устроить Клаас, был делом важным, он требовал множества забот и деятельной переписки, ибо во Фландрии традиции гостеприимства ставят на карту честь семьи, и парадный обед там подобен битве, в которой хозяевам и слугам надо победить гостей. Устрицы привозились из Остендэ, тетерева выписывались из Шотландии, фрукты — из Парижа; словом, и в самых незначительных мелочах нельзя было допустить посрамления наследственного пышного обихода. К тому же балы дома Клаасов в некотором роде славились. Так как Дуэ был тогда главным городом департамента, то этим званым вечером открывался зимний сезон и давался тон всем вечерам в округе. В течение пятнадцати лет Валтасар старался отличиться, и это ему настолько удавалось, что каждый раз о празднике рассказывали на двадцать миль кругом, говорили о туалетах, о приглашенных, о мельчайших подробностях, о виденных там новинках, обо всем, что там происходило. Итак, приготовления к празднику помешали Клаасу думать о поисках Абсолюта. Возвращаясь к мыслям о доме и к общению с людьми, ученый вновь обрел все самолюбие главы семьи, фламандца, хозяина, и ему приятно было удивить страну. Он решил сообщить этому вечеру особый характер какой-нибудь новой выдумкой и среди всех фантазий роскоши остановился на самой красивой, богатой и мимолетной, превратив дом в сад, полный редких растений, и приготовив букеты цветов для дам. Праздничное убранство отличалось неслыханной роскошью, которая должна была проявляться во всем. Но в день бала, под вечер, пришел двадцать девятый бюллетень, и распространились известия о поражениях, нанесенных великой армии в России, и о катастрофе на Березине. Глубокая и подлинная печаль охватила граждан города Дуэ, которые из чувства патриотизма единодушно отказались танцевать. Среди писем, пришедших в Дуэ из Польши, было одно на имя Валтасара. Г-н Вежховня, умирая в Дрез-

дене, как он писал, от раны, полученной в одном из последних сражений, пожелал передать в наследство тому, кто оказал ему гостеприимство, некоторые свои мысли касательно Абсолюта, скопившиеся у него со времени их встречи. Письмо погрузило Клааса в глубокую задумчивость, которая могла бы сделать честь его патриотизму, но жена его не обманулась. Для нее праздник стал вдвойне трауром. На вечернем приеме, которым напоследок блеснул дом Клаасов, лежал поэтому отпечаток мрачной грусти, несмотря на все великолепие, несмотря на собрание редкостей, скопленное шестью поколениями — причем каждое предавалось своему особому увлечению,— а теперь восхищавшее жителей Дуэ в последний раз.

Царицей дня была Маргарита, ей пошел семнадцатый год, и родители ввели ее в свет. Она привлекла все взгляды крайней безыскусственностью, девичьей чистотой и особенно тем, что весь облик ее был в полной гармонии с самим домом. То была юная фламандская девушка, какою изображали ее художники-фламандцы: приятно округлое, свежее личико, каштановые волосы, гладко причесанные и разделенные пробором, глаза серые с зелеными искорками, прекрасные плечи и не вредившая красоте полнота; вид застенчивый, но на высоком и гладком лбу — решимость, скрывавшаяся под внешним спокойствием и мягкостью. Не выказывая печали и меланхолии, она, по-видимому, мало склонна была и к веселости. Рассудительность, любовь к порядку, чувство долга — три главные свойства фламандского характера — одухотворяли лицо, по первому впечатлению холодное, но привлекавшее взор нежностью контуров и спокойным достоинством, несшим в себе залог семейного счастья. По странности, еще не объясненной физиологами, дочь не унаследовала ни одной черты ни от матери, ни от отца, но в ней как будто ожила бабка с материнской стороны, та Конинкс из Брюгге, чей портрет благоговейно хранился и мог свидетельствовать об этом сходстве.

Ужин придал празднику некоторое оживление. Если военные неудачи не позволяли развлекаться танцами, то всякий полагал, что они не должны портить аппетита. После ужина патриоты быстро удалились. Безразличные остались вместе с игроками и несколькими друзьями Кла-

аса; но мало-помалу дом, столь блестяще освещенный, где толпилась вся знать Дуэ, погрузился в молчание; к часу ночи галерея опустела, постепенно в комнатах погасал свет. Наконец, и внутренний двор, некоторое время такой шумный и ярко освещенный, стал вновь темным и мрачным — пророческий образ будущего, ожидавшего семью. Когда Клаасы вернулись в свои комнаты, Валтасар дал жене прочесть письмо поляка, она вернула его печальным жестом: она предвидела будущее.

Действительно, с этого дня Валтасар плохо скрывал томившую его скорбь и скуку. По утрам, после семейного завтрака, он некоторое время играл в зале с сыном Жаном, беседовал с дочерьми, которые занимались шитьем, вышиванием или плетением кружев; но вскоре он утомлялся этими играми и беседами и, казалось, принимал в них участие лишь по обязанности. Когда жена, одевшись, опять сходила вниз, она всегда заставала его сидящим в кресле напротив Маргариты и Фелиции, совершенно безразличным к надоедливому стуку их коклюшек. Когда получалась газета, он медленно ее читал, подобно удалившемуся от дел купцу, который не знает, как убить время. Потом вставал, смотрел в окно на небо, опять садился, задумчиво мешал угли в камине, как человек, во власти тиранической мысли, который все делает бессознательно. Горячо сожалела г-жа Клаас, что у нее скудное образование и плохая память. Ей трудно было долго поддерживать интересный разговор; впрочем, едва ли это было возможно между двумя существами, которые все друг другу сказали и принуждены искать себе предметы развлечения вне жизни сердца и вне домашнего быта. У жизни сердца есть свои минуты, и она требует противопоставлений; мелочи быта ненадолго займут высокий ум, привыкший к быстрым решениям; а светская жизнь невыносима для душ любящих. Живя уединенно, два существа, всецело постигшие друг друга, должны, таким образом, искать себе наслаждений в сокровеннейших областях мысли, ибо невозможно противопоставлять что-нибудь незначительное тому, что огромно. Затем, раз мужчина привык иметь дело с чем-нибудь великим, его невозможно развлечь, если только в глубине своей натуры он не сохраняет того простодушия, той покладистости, которые делают людей ге-

ниальных очаровательно ребячливыми; но часто ли встречается подобная детскость сердца у тех, чье призвание— все видеть, все знать, все понимать?

В течение первых месяцев г-жа Клаас выходила из трудного положения при помощи неслыханных усилий, внушаемых ей любовью и необходимостью. То она решалась научиться играть в триктрак, в который она никогда не умела играть, и — чудо вполне объяснимое — наконец постигла эту игру. То она заинтересовывала Валтасара воспитанием дочерей, прося, чтобы он руководил их чтением. Эти источники истощились. Настал момент, когда Жозефина очутилась перед Валтасаром в таком же положении, как г-жа де Ментенон в присутствии Людовика XVI, но с той разницей, что для развлечения засыпающего мужа ей не хватало величия власти и хитрых придворных, умевших играть комедии — вроде посольств сиамского короля или персидского суфия. У монарха, разорившего всю Францию и принужденного обращаться к уловкам дворянских сынков, чтобы достать денег, уже остались позади и молодость и успехи, и, при всем величии своем, он чувствовал ужасающее бессилие; королевская нянька, умевшая укачивать детей, не всегда умела убаюкать отца, который страдал оттого, что не считался ни с обстоятельствами, ни с людьми, ни с жизнью, ни с богом. Клаас же страдал от излишнего могущества ума. Под гнетом охватившей его мысли он мечтал о празднествах науки, и сокровищах для человечества, и о славе для себя. Он страдал, как страдает художник, борющийся с нищетой, или Самсон, привязанный к колоннам храма. Результат оказался один и тот же для обоих властителей, хотя властитель мысли был подавлен своей силою, а Людовик — своей слабостью. Что могла поделать Пепита, одинокая в борьбе с тоской по науке, томившей Клааса? Использовав средства, предоставляемые семейными делами, она призвала себе на помощь свет, приглашая к себе на чашку кофе дважды в неделю. В Дуэ приглашают на кофе, а не на чай. «Кофе» — это вечеринка, на которой целый вечер гости пьют изысканные вина и ликеры, переполняющие погреба в этой благословенной стране, лакомятся сластями, черным кофе или замороженным кофе с молоком, а тем временем дамы поют романсы, обсуждают вопросы о туалетах или переска-

зывают городские сплетни. Это все те же картины Мьериса или Терборха, только без красных перьев на остроконечных серых шляпах, без гитар и прекрасных костюмов XVI века. Но несмотря на старания Валтасара как следует играть роль хозяина, несмотря на взятую напрокат приветливость и искусственный огонь остроумия, усталость, одолевавшая его на следующий день, выдавала всю глубину его недуга.

Постоянные праздники давали лишь видимое облегчение болезни и еще подчеркивали ее серьезность. Они были словно ветки, на которые наталкивался Валтасар, скатываясь в пропасть,— они замедлили падение, но сделали его еще более мучительным. Клаас не заговаривал о прежних своих занятиях, не выражал сожалений, чувствуя, что для него нет возможности возобновить опыты, однако движения его стали вялы, голос ослабел, силы упали, точно он перенес тяжелую болезнь. Тоска его порой сказывалась даже в том, как он брал щипцы, чтобы бесцельно построить в камине какую-то фантастическую пирамиду из кусков каменного угля. Когда наступал вечер, он чувствовал заметное удовлетворение: вероятно, сон освобождал его от докучливой мысли; наутро он вставал печальный, видя перед собой день, который надо прожить, и, казалось, измерял, сколько ему нужно убить времени, как усталый спутник мерит взглядом пустыню, которую надо перейти. Если г-жа Клаас и знала причину этого уныния, то старалась не замечать размеров производимых им опустошений. Полная решимости перед страданиями ума, она была бессильна перед великодушием сердца. Она не смела расспрашивать Валтасара, когда тот слушал рассказы дочерей или смех Жана с видом человека, занятого своими мыслями, но, содрогаясь, наблюдала, как он отгоняет от себя меланхолию и, чтобы никого не огорчать, из чувства великодушия старается казаться веселым. Шутки отца с обеими дочерьми, игры с Жаном вызывали слезы на глазах Жозефины, она уходила, чтобы скрыть, как волнует ее героизм, цена которого хорошо известна женщинам и который разбивает им сердце: г-же Клаас хотелось тогда сказать: «Убей меня и делай, что захочешь!» Мало-помалу глаза Валтасара утратили свой живой огонь и приняли тот мутный оттенок, от которого

так печальны становятся глаза стариков. Оказывал ли он знаки внимания жене, говорил ли что-нибудь, все в нем отдавало принужденностью. Подобные симптомы, усилившись к концу апреля, испугали г-жу Клаас, это зрелище стало для нее невыносимым, и тысячу раз упрекала она себя, восхищаясь тем, как муж хранит фламандскую верность своему слову. Однажды, когда Валтасар показался ей удрученным больше, чем когда-либо, она, уже не колеблясь, решила всем пожертвовать, чтобы вернуть его к жизни.

— Друг мой,— сказала она ему,— ты свободен от клятвы.

Валтасар посмотрел на нее с изумлением.

— Ты думаешь о своих опытах? — продолжала она.

Он ответил притворно беспечным жестом, и ей стало больно. Нисколько не упрекая его, г-жа Клаас, имевшая достаточно времени, чтобы измерить глубину пропасти, в которую им обоим предстояло скатиться, взяла его руку и с улыбкой пожала ее.

— Спасибо, друг, я уверена в своей власти,— сказала она,— ты принес мне в жертву больше, чем жизнь. Моя очередь жертвовать. Хотя я уже продала кое-какие свои алмазы, все же, если добавить те, что остались от брата, их хватит, чтобы добыть деньги, необходимые для твоих работ. Я предназначала эти уборы нашим дочерям, но ведь больший блеск придаст им твоя слава, а кроме того, ты им все возместишь когда-нибудь алмазами еще более прекрасными!

Радость, внезапно осветившая лицо мужа, довела до крайнего предела отчаяние Жозефины; со скорбью она увидала, что страсть сильнее его самого. Клаас верил в свою идею и бесстрашно пускался в путь, который для его жены был пропастью. Ему — вера, ей — сомнение, ей — тягчайшая ноша: не страдает ли всегда женщина за обоих? В эту минуту ей хотелось верить в успех, чтобы оправдать перед собою свое соучастие в возможной растрате их состояния.

— Всей моей жизни мало, чтобы любовью отблагодарить тебя за твое самоотречение, Пепита,— сказал растроганный Клаас.

Едва произнес он эти слова, как вошли Маргарита и Фелиция и поздоровались с ними. Г-жа Клаас в смяте-

нии опустила глаза, не смея взглянуть на детей, у которых только что было отнято состояние ради химеры; а муж взял детей на колени и весело болтал с ними, счастливый, что может излить обуявшую его радость. С тех пор г-жа Клаас разделяла с мужем его напряженную жизнь. Будущее детей, общественное положение их отца были для нее двумя двигателями, столь же могучими, как слава и наука для Клааса. И вот несчастная женщина не знала больше ни минуты покоя, после того как все их алмазы были проданы в Париже хлопотами аббата де Солиса, ее духовника, и фабриканты химических продуктов возобновили свои поставки. Беспрестанно тревожась за мужа, которого терзал демон науки и неистовое стремление к исследованиям, она жила в постоянном страхе перед будущим и проводила целые дни в оцепенении, пригвожденная к креслу самой силой своих желаний, которые, в противоположность желаниям Валтасара, не находили себе пищи в лабораторных работах и мучили ее душу, усиливая сомнения и страхи. Минутами, упрекая себя за снисходительность к страстным, но безнадежным поискам, которые осуждал г-н де Солис, она вставала, подходила к окну, выходящему во внутренний двор, и с трепетом бросала взгляд на трубу лаборатории. Если оттуда выходил дым, она смотрела на него с отчаянием, мысли, самые противоположные, волновали ее сердце и ум. Она видела, как рассеивается дымом состояние ее детей, но она спасала жизнь их отцу: не первый ли ее долг сделать счастливым его? Такая мысль успокаивала ее на минуту. Она получила право входить в лабораторию и оставаться там; но вскоре ей пришлось отказаться от этого печального преимущества. Слишком сильно страдала она, видя, что Валтасар не обращает на нее внимания, что часто ее присутствие даже стесняет его; она испытывала там ревнивое раздражение, яростное желание взорвать дом; она там умирала от тысячи неслыханных мучений.

Лемюлькинье стал для нее тогда своего рода барометром: когда он сновал по дому, накрывая к завтраку или обеду, она, слыша, как он насвистывает, догадывалась, что опыты мужа были удачны и появилась надежда на близкий успех; если же Лемюлькинье становился мрачен, угрюм, она бросала на него скорбный взгляд: зна-

чит, Валтасар неудовлетворен. В конце концов хозяйка и лакей стали понимать друг друга, несмотря на гордость одной и надменную покорность другого. Слабая, беззащитная перед страшным упадком душевных сил, она изнемогала от беспрестанной смены надежды и отчаяния, которая у нее отягощалась тревогами любящей жены и беспокойством матери, дрожавшей за семью. Если прежде у нее холодело сердце от тягостной тишины, царившей в доме, то теперь она молчала сама, не замечая, как стало мрачно вокруг нее, как целые дни в зале не увидишь улыбки, не услышишь ни единого слова. Уступая грустной необходимости, подсказанной материнским предвидением, она приучала обеих дочерей к домашним работам и старалась привить им навыки в каком-нибудь женском ремесле, чтобы они могли прокормиться, если впадут в нищету. Так под внешним спокойствием этой семьи таились жестокие волнения. К концу лета Валтасар израсходовал все деньги, что были получены за алмазы, проданные в Париже при посредстве старого аббата де Солиса, и сверх того задолжал двадцать тысяч франков фирме Проте и Шифревиль.

В августе 1813 года, почти год спустя после сцены, описанной нами в начале повести, хотя Клаас и сделал к этому времени несколько прекрасных опытов, которыми, к сожалению, пренебрег, но попытки его были безрезультатны в основной области его изысканий. В день, когда он закончил ряд своих работ, его сокрушило чувство бессилия: убедившись в бесплодной растрате значительных сумм, он впал в отчаяние. То была страшная катастрофа. Он покинул свой чердак, медленно сошел в залу, бросился в кресло и сидел среди детей несколько минут, как мертвый, не отвечая на вопросы, которыми засыпала его жена; слезы его душили, он бросился в свою комнату, чтобы предаться горю без свидетелей; Жозефина пошла за ним, увела его к себе в спальню, и здесь, наедине с нею, Валтасар дал волю своему отчаянию. Эти мужские слезы, эти речи впавшего в уныние художника, это раскаяние отца семейства были так страшны, нежны и безумны, что больше причинили боли г-же Клаас, чем все прошедшие горести. Жертва стала утешать палача.

— Я жалкий человек, я играю жизнью своих детей и

твоею; чтобы вам сохранить счастье, мне надо убить себя! — вымолвил Валтасар, и эти слова, произнесенные с ужасающей убежденностью, поразили ее в самое сердце, а так как, при характере мужа, можно было опасаться, что он тотчас же осуществит это решение, внушенное отчаянием, то она пережила такое потрясение, которое поражает самый источник жизни; и тем более было оно губительно, что Пепита скрыла свои жестокие муки под напускным спокойствием.

— Друг мой,— ответила она,— я советовалась не с Пьеркеном, которому дружеские связи с нами не мешают втайне испытывать некоторое удовольствие при виде нашего разорения, а со стариком, который добр ко мне, как отец. Аббат де Солис, мой духовник, дал мне совет, который спасет нас от разорения. Он приходил посмотреть твои картины. Те, что висят в галерее, стоят достаточно, чтобы выплатить все суммы, взятые тобою под закладные, и твои долги Проте и Шифревилю,— ведь, наверное, у тебя имеется еще какой-нибудь неоплаченный счет?

Клаас сделал утвердительный знак, опуская уже поседевшую голову.

— Де Солис знаком с Гаппе и Дункером из Амстердама; они с ума сходят по картинам и, как все выскочки, любят щеголять великолепием, которое пристало только старинным домам; за наши картины они уплатят полную их стоимость. Так мы восстановим наши доходы, а часть этой суммы, составляющей около ста тысяч дукатов, тебе можно будет взять для продолжения опытов. Обе дочери и я удовольствуемся немногим. Со временем, если соблюдать экономию, можно будет вставить в пустые рамы другие картины. Ты опять заживешь счастливо.

Валтасар поднял голову и радостно, а вместе с тем несколько боязливо посмотрел на жену. Роли переменились. Жена стала покровительницей мужа. При всей своей нежности, при всей сердечности своих отношений с Жозефиной, он, обнимая ее, не замечал, как она вздрагивала от ужасной конвульсии, как у нее подергивались нервной дрожью кожа головы и рот.

— Я не смел тебе сказать, что нахожусь только на волосок от Абсолюта. Чтобы превратить в газ металлы,

мне остается лишь подвергнуть их действию огромного жара в среде, где нет давления атмосферы, словом, в абсолютной пустоте.

Госпожа Клаас не выдержала, услышав подобный эгоистический ответ. Она ожидала страстной благодарности за свои жертвы, а столкнулась с химической задачей... Она сразу покинула мужа, спустилась в залу, упала в кресло, перепугав своих дочерей, и залилась слезами; Маргарита и Фелиция опустились возле нее по обеим сторонам на колени, припали к ее руке и зарыдали вместе с нею, еще не зная причин ее горя и только спрашивая беспрестанно:

— Что с вами, маменька?

— Бедные дети! Пришла моя смерть, я чувствую это.

От ее слов вздрогнула Маргарита, впервые заметившая на лице матери следы той особенной бледности, какая бывает у людей смуглых.

— Марта! Марта! — закричала Фелиция.— Идите сюда, вы нужны маменьке.

Старая дуэнья прибежала из кухни и, увидав, что на цветущем, смугловато-румяном лице г-жи Клаас проступила зеленоватая бледность, воскликнула по-испански:

— Тело Христово! Барыня умирает!

Она стремительно вышла, велела Жозете согреть воды для ножной ванны и вернулась к хозяйке.

— Не пугайте барина, ничего ему не говорите, Марта! — воскликнула г-жа Клаас.— Бедные дочки! — сказала она, прижимая к сердцу Маргариту и Фелицию движением, полным отчаяния.— Хотелось бы мне пожить подольше, чтобы видеть вас счастливыми и замужем. Марта,— продолжала она,— скажите Лемюлькинье, чтобы он сходил к господину де Солису и попросил его от моего имени прийти к нам.

Все это было громовым ударом, который отозвался в доме вплоть до кухни. Жозета и Марта, обе преданные г-же Клаас и ее дочерям, были потрясены, ведь другой привязанности у них не было. При страшных словах: «Барыня умирает, барин ее убил; скорее готовьте горчичную ванну для ног!» — у Жозеты вырвалось немало восклицаний по адресу Лемюлькинье. Холодный и бесчувственный Лемюлькинье закусывал на краешке стола

перед окном, в которое шел со двора свет в кухню, чистенькую, как будуар франтихи.

— Так и должно было кончиться,— говорила Жозета, поглядывая на лакея и становясь на табурет, чтобы снять с полки котелок, блестевший, как золото.— Ни одна мать не могла бы хладнокровно смотреть, как отец забавы ради пускает по ветру денежки, да какие еще денежки!

Жозета, у которой лицо, обрамленное круглым чепчиком с рюшем, похоже было на немецкие щипцы для орехов, бросила на Лемюлькинье язвительный взгляд, и ее воспаленные маленькие глазки зеленого цвета, казалось, источали яд. Старик лакей нетерпеливо пожал плечами, как мог бы это сделать по меньшей мере Мирабо, потом отправил в свой огромный рот кусок хлеба с маслом.

— Вместо того, чтобы досаждать барину, дала бы барыня ему денег, и все мы вскоре купались бы в золоте! Самой малости недостает нам, чтобы открыть...

— Так за чем же дело стало? У вас есть капиталец в двадцать тысяч франков, почему вы их не предложите барину? Он ваш хозяин. И раз вы так верите в его победу...

— Ничего вы не понимаете, Жозета, кипятите свою воду,— ответил фламандец, прерывая кухарку.

— Уж одно-то я понимаю: было в доме столового серебра на тысячу марок, а вы с барином все расплавили, и только дай вам волю, вы так ловко полуфранковик в грош превратите, что вскоре ровно ничего у вас не останется.

— А барин,— вмешалась Марта,— уморит барыню, чтобы избавиться от такой жены, которая его сдерживает и не дает все пустить прахом. Видно, бес в нем сидит. Да и вы, Мюлькинье, помогая ему, душу свою погубите, уж этого не миновать, если только есть у вас душа,— ведь вот все горюют, а вы прямо ледышка. Барышни слезами заливаются. Бегите же за аббатом де Солисом.

— Я занят у барина, прибираю в лаборатории,— сказал лакей.— Не близко отсюда до Эскершенского квартала. Идите сами.

— Ну, посмотрите на это чудовище! — сказала Мар-

та.— А кто сделает ножную ванну барыне? Что ж, хотите, чтоб она умерла! Кровь ей бросилась в голову...

— Мюлькинье,— сказала Маргарита, входя в соседнюю комнату,— на обратном пути от господина де Солиса вы зайдете к доктору, господину Пьеркену, попросите прийти как можно скорее.

— Ага, пойдете! — сказала Жозета.

— Барышня, барин приказал мне прибирать в лаборатории,— сказал Лемюлькинье, обернувшись к служанкам и бросив на них деспотический взгляд.

— Папенька,— сказала Маргарита Клаасу, который в это время спускался по лестнице,— не можешь ли ты отпустить Мюлькинье? Нам нужно послать его в город.

— Пойдешь, чучело! — сказала Марта, услыхав, что Клаас предоставляет Лемюлькинье в распоряжение дочери.

Из-за того, что лакей мало заботился о доме, постоянно возникали ссоры между обеими женщинами и Лемюлькинье, и в противовес его холодности Жозета и дуэнья стали проявлять еще большую преданность. Эта борьба, по видимости, такая мелочная, впоследствии имела значительное влияние на будущее семьи Клаасов, когда им понадобилась помощь в несчастье. Валтасар стал опять так рассеян, что не заметил болезненного состояния Жозефины. Он взял Жана на колени и машинально стал его качать, думая о проблеме, разрешением которой он отныне имел возможность заняться. Он видел, как принесли ножную ванну жене, которая, будучи не в силах подняться, так и осталась лежать в кресле. Он смотрел на дочерей, видел, что они хлопочут вокруг матери, но даже не подумал, чего ради они так усердствуют. Когда Маргарита или Жан что-нибудь говорили, г-жа Клаас приказывала им умолкнуть, кивая на Валтасара. Было над чем призадуматься Маргарите, очутившейся между матерью и отцом и достаточно взрослой, достаточно разумной, чтобы поразмыслить о его поведении. Наступает момент в семейной жизни, когда дети волей-неволей становятся судьями родителей. Г-жа Клаас понимала опасность такого положения. Из любви к Валтасару она старалась оправдать в глазах Маргариты те черты отца, которые разумной шестнадцатилетней девушке могли показаться недо-

статками. И вот, при всех этих обстоятельствах глубокое уважение к Валтасару, проявлявшееся у г-жи Клаас готовностью стушеваться, чтобы не нарушать его размышлений, сообщало детям своего рода благоговейный страх перед отцом. Но как ни была заразительна такая готовность жертвовать собою, она только увеличивала у Маргариты восхищение матерью, с которой ее теснее связывала повседневная жизнь. Такое чувство основывалось на том, что девушка чутьем поняла, как жестоко страдает мать, и, естественно, искала этому причин. Никакая сила человеческая не могла помешать тому, чтобы случайная фраза Марты или Жозеты открыла Маргарите, из-за чего уж четыре´года семья находится в таком положении. Несмотря на всю сдержанность г-жи Клаас, ее дочь понемногу, медленно, нитка за ниткой исследовала таинственную ткань семейной драмы. Маргарите предстояло сделаться теперь преданной наперсницей матери, а впоследствии, при развязке,— самым суровым судьей отца. И вот г-жа Клаас всячески старалась привить Маргарите свою преданность Валтасару. Видя решительный характер дочери, ее благоразумие, она дрожала при мысли, что может возникнуть борьба между Валтасаром и Маргаритой, когда та после смерти матери заменит ее в домашних делах. Бедная женщина дошла до того, что последствий своей смерти боялась больше, чем самой смерти. Вся забота ее о Валтасаре проявилась в решении, которое она только что приняла. Освободив от долгов имущество мужа, она этим обеспечивала его независимость, а отделив доходы детей от доходов мужа, предупреждала всякие споры; перед тем как навеки закрыть глаза, она надеялась видеть Валтасара счастливым; она, наконец, рассчитывала передать душевную свою чуткость Маргарите, которая исполняла бы роль его ангела-хранителя, наделенного властью оберегать и опекать всю семью. Не значило ли это из глубины могилы проливать свет любви на тех, кто ей был дорог? Вместе с тем ей не хотелось уронить отца в глазах дочери, посвятив ее преждевременно в те опасения, которые внушала ей страсть Валтасара к науке; она изучала душу и характер Маргариты, чтобы понять, может ли юная девушка по своей воле заменить мать своим братьям и сестре, кроткую и нежную жену — своему отцу. Так последние дни

г-жи Клаас были отравлены расчетами и страхами, в которых она не могла признаться никому. Недавняя сцена нанесла ей смертельный удар, и она тревожилась о будущем; между тем Валтасар, отныне чуждый всему, что имело отношение к бережливости, к богатству и к чувствам семейственности, думал лишь о том, как отыскать Абсолют... Царившее в зале глубокое молчание нарушалось только монотонным движением Клааса, который продолжал покачивать ногой, не заметив, что Жан давно уже соскочил с его колена. Сидя около матери, глядя на ее бледное, страдальческое лицо, Маргарита время от времени поворачивалась к отцу, дивясь его бесчувственности. Вскоре с громким стуком захлопнулась дверь парадного подъезда, и семейство увидало, что аббат де Солис, опираясь на руку племянника, медленно пересекает двор.

— А, и Эммануил пришел! — сказала Фелиция.

— Прекрасный молодой человек! — сказала г-жа Клаас, заметив Эммануила де Солиса.— Рада буду повидать его.

Маргарита покраснела, услыхав непреднамеренную похвалу. Два дня тому назад этот молодой человек пробудил в ее сердце незнакомые чувства и расшевелил ум, до тех пор бездеятельный. Когда священник явился к своей духовной дочери, произошли события неприметные, но занимающие в жизни важное место, последствия которых оказались настолько значительны, что необходимо изобразить два новых персонажа, вошедших в семейный круг. Г-жа Клаас держалась принципа выполнять свои религиозные обязанности втайне. Ее духовник, которого у нее дома почти и не знали, появился лишь во второй раз; но здесь, как и повсюду, все невольно поддались чувству умиления и восхищения при виде дяди и племянника. У аббата де Солиса, восьмидесятилетнего седовласого старца, было изможденное лицо, где жизнь, казалось, сосредоточилась лишь в глазах. С трудом ступали его тонкие ноги, одна ступня, похожая на безобразный обрубок, была запрятана в какой-то бархатный мешок; старику приходилось пользоваться костылем, когда он не мог опереться на руку племянника. Его согбенная спина и все иссохшее тело являли зрелище страждущего и хрупкого естества, над которым господствовали железная

воля и поддерживавший ее непорочный дух, полный глубокой веры. Этот испанский священник, замечательный по своим обширным познаниям, подлинному благочестию и огромным связям, последовательно побывал доминиканским монахом, высшим духовником в Толедо и главным викарием Мехельнского архиепископства. Не будь Французской революции, покровительство рода Каса-Реаль возвело бы его к высшим церковным степеням; но он так был огорчен смертью молодого герцога, своего ученика, что проникся отвращением к деятельной жизни и весь отдался воспитанию своего племянника, очень рано осиротевшего. После завоевания Бельгии он поселился неподалеку от г-жи Клаас. С молодости аббат де Солис преклонялся перед св. Терезою, и это привело его к мистической стороне христианства, отвечавшей и склонностям его ума. Во Фландрии, где г-жа Буриньон, так же как писатели квиэтисты и иллюминаты, нашла больше всего приверженцев, он встретил множество католиков своего толка и тем охотнее здесь остался, что его приняли как патриарха в этой особой общине, где продолжают придерживаться учения мистиков, несмотря на суровые преследования цензуры, постигшие Фенелона и г-жу Гийон. Нравы его были строги, жизнь — примерна; говорили, что у него бывают экстатические наития. Хотя человек строгой религиозности обязан отрешиться от мирской суеты, он все же, из любви к своему племяннику, проявлял расчетливость. Когда заходила речь о каком-нибудь благотворительном начинании, старик облагал взносами прихожан своей церкви, прежде чем обратиться к собственным своим средствам, и патриархальная власть его была столь общепризнанна, намерения его столь чисты, прозорливость его столь безошибочна, что всякий оказывал уважение его просьбам. Чтобы получить понятие о контрасте между дядей и племянником, следовало бы сравнить старика с дуплистой ивой на берегу ручья, а молодого человека с цветущим шиповником, прямой изящный стебель которого тянется кверху из дупла этой ивы, как будто стремясь вновь выпрямить ее обомшелый ствол.

Сурово воспитанный дядей, который охранял его, как матрона охраняет деву, Эммануил был исполнен той тонкой чувствительности, того мечтательного целомудрия, ко-

торые на краткий миг расцветают у каждого в юности, но укореняются в душах, вскормленных религиозными принципами. Старый священник подавлял в своем воспитаннике стремление к чувственным радостям, постоянными трудами и почти монашеской дисциплиной готовя его к тяготам жизни. Подобное воспитание, которое должно было в полной невинности вручить Эммануила свету и дать ему счастье, если он будет удачлив в первой своей любви, облекло его ангельской чистотой, сообщавшей ему девическое очарование. Его глаза, робкие, но таившие в своей глубине силу и мужество, излучали свет, который трепетно отдавался в душах, как звенящий хрусталь распространяет волнообразные колебания, воспринимаемые слухом. Лицо его, правильное, но выразительное, отличалось чрезвычайной четкостью контуров, приятной соразмерностью черт и глубоким спокойствием, свидетельствующим о безбурной душевной жизни. Все в нем было гармонично. От черных волос, от темных глаз и бровей еще заметней была белизна лица и живой румянец. Голос у него был именно такой, какого можно было ожидать при столь красивом лице. Мелодичному голосу и нежному, ясному взгляду соответствовали его женственные движения. Казалось, он сам не знал, как привлекательны полумеланхолическая сдержанность его манер, его немногословная речь и почтительная заботливость о дядюшке. Видеть, как он следит за неровной походкой старого аббата, применяясь к болезненным ее неправильностям, предусмотрительно избегая всего, что грозило бы дяде ушибом, выбирает для старика самый удобный путь,— было достаточно, чтобы обнаружить в Эммануиле то великодушие, которое делает человека высшим существом. Любя своего дядю и никогда его не осуждая, повинуясь ему и никогда не оспаривая его приказаний, он проявлял такое величие души, что всякий нашел бы предопределение в сладостном имени, данном ему крестной матерью. Когда старик, дома или в гостях, проявлял порою свой доминиканский деспотизм, то Эммануил таким благородным движением поднимал голову, показывая свою готовность поддержать старика, если тот с кем-нибудь схватится, что все чувствительные люди бывали взволнованы, как художник при виде велико-

го произведения,— ибо непосредственные восприятия жизни могут вызвать не менее прекрасный отзвук в душе, чем ее художественные воплощения.

Эммануил сопровождал дядю, когда старик пришел к своей духовной дочери, чтобы осмотреть картины дома Клаасов. Узнав от Марты, что аббат де Солис находится в галерее, Маргарита, которой хотелось повидать эту знаменитость, искала предлога, чтобы присоединиться к матери и удовлетворить свое любопытство. Вошла она не очень-то чинно, придав себе тот легкомысленный вид, под которым юные девушки так хорошо скрывают свои намерения, и вдруг увидела возле одетого в черное, согбенного, иссохшего, мертвенно-бледного старика свежее, прелестное лицо Эммануила. Равно юные, равно наивные взоры обоих этих существ выразили одинаковое изумление. Несомненно, Эммануил и Маргарита уже видали друг друга в мечтах. Оба они опустили глаза одним и тем же движением, потом подняли их, посылая друг другу одно и то же признание. Маргарита взяла мать под руку, заговорила с ней шепотом, так сказать, спряталась под материнское крылышко, в то же время по-лебединому вытянув шею, чтобы снова увидеть Эммануила, который все поддерживал под руку дядю. Свет в галерее, искусно выделяя каждое полотно, все же не был силен и благоприятствовал беглым взглядам, составляющим радость робких людей. Конечно, ни он, ни она даже и в мыслях не дошли до того «да», с которого начинается страсть; но оба почувствовали то глубокое, волнующее сердца смущение, в котором юность не признается даже сама себе, то ли смакуя его, то ли стыдясь его. В юности у всех на смену первому впечатлению, уже предопределяющему буйный расцвет долго сдерживаемой чувствительности, приходит растерянность и почти ошеломленность, как это бывает с детьми, когда они впервые слышат музыку. Иные дети рассмеются и задумаются, другие сначала задумаются и только потом рассмеются; но те, чья душа призвана жить поэзией или любовью, долго слушают и хотят, чтобы музыка звучала еще и еще, и об этом просят взглядом, в котором уже сияет наслаждение, уже загорается любопытство к бесконечному. Если мы горячо любим те места, где в детстве нас посвятили в красоты гармонии, если мы с восхищением вспоминаем о

музыканте и даже об инструменте, то как запретить душе полюбить существо, которое впервые открыло нам музыку жизни? Не становится ли для нас отечеством то сердце, от которого впервые пахнуло на нас любовью? Эммануил и Маргарита были друг для друга чистым голосом музыки, пробуждающим чувство, десницею, поднимающей облачные покровы, чтобы показать берега, затопленные полуденными лучами. Когда г-жа Клаас остановила старика перед полотном Гвидо, изображающим ангела, Маргарита повернула голову, чтобы увидать, каково будет впечатление Эммануила, а молодой человек искал глазами Маргариту, чтобы сравнить немую мысль картины с мыслью, воплощенной в живом существе. Этот невольный, но очаровательный комплимент был понят и оценен. Старый аббат степенно хвалил прекрасную композицию, и г-жа Клаас отвечала ему; но девушка и юноша молчали. Такова была их встреча. Таинственный свет галереи, тишина дома, присутствие родных — все способствовало тому, чтобы глубже запечатлеть в сердце легкие черты туманного видения. Тысяча смятенных мыслей, хлынувших дождем в душу Маргариты, тихо разлились прозрачною влагой и блеснули под ярким лучом, когда Эммануил, что-то неясно произнося, прощался с г-жою Клаас. Свежий, бархатный звук его голоса, наполняя сердце неслыханным очарованием, придал еще большую силу внезапному откровению, вызванному встречей с Эммануилом, который должен был еще позаботиться о том, чтобы пожать его плоды; ведь мужчина, избранный судьбою, чтобы пробудить к любви сердце юной девушки, сам часто не знает о впечатлении, произведенном им, и оставляет его незакрепленным. Маргарита в смущении ответила Эммануилу поклоном и прощальным взглядом, выражавшим, казалось, печаль о том, что исчезает чистое, чарующее видение. Как ребенку, ей хотелось снова и снова слушать мелодию. Прощались внизу старой лестницы, перед дверью в залу; и Маргарита из окна валы следила взором за дядей и племянником, пока не захлопнулась парадная дверь. Г-жа Клаас слишком была занята важными вопросами, о которых беседовал с ней духовник, чтобы следить за лицом дочери. Когда де Солис и его племянник явились во второй раз, она не настолько еще оправилась от потрясения, чтобы заметить

вспыхнувший на лице Маргариты румянец, признак первой радости, первого брожения чувств в ее девственном сердце. Когда доложили о старом аббате, Маргарита нагнулась над работой и, казалось, до такой степени занята была ею, что поклонилась дяде и племяннику, не поднимая взгляда. Клаас машинально ответил на поклон аббата де Солиса и вышел из залы, как человек, поглощенный своими заботами. Благочестивый доминиканец сел рядом со своей духовной дочерью, бросив на нее взгляд, проникавший в глубь души; достаточно ему было увидать Клааса и его жену, чтобы догадаться о катастрофе.

— Дети мои, идите в сад,— сказала мать.— Маргарита, покажи Эммануилу отцовские тюльпаны.

Смутившись, Маргарита взяла под руку Фелицию и взглянула на молодого человека, который покраснел и направился к двери, прихватив с собою Жана, чтобы меньше смущаться. Когда все четверо очутились в саду, Фелиция и Жан пошли своей дорогой, бросив Маргариту; оставшись почти наедине с молодым де Солисом, она повела его к клумбе тюльпанов, которую из года в год, всегда одинаково, устраивал Лемюлькинье.

— Вы любите тюльпаны? — спросила Маргарита, не сразу прерывая глубокое молчание, которое и Эммануил, казалось, не спешил нарушить.

— Прекрасные цветы, но чтобы их любить, вероятно, нужен особый вкус к ним, нужно уметь оценить их красоты. Меня они ослепляют. От привычки работать в темной небольшой комнате, в которой я живу у дяди, я предпочитаю цветы, нежно ласкающие взор.

Сказав так, он посмотрел на Маргариту, но во взгляде его, полном неясных желаний, не заключалось никакого намека на то, что матовой белизной, спокойствием и нежной окраской лицо ее напоминало цветок.

— Значит, вы много работаете? — продолжала Маргарита, подводя Эммануила к зеленой деревянной скамейке со спинкой.— Отсюда вы будете видеть тюльпаны издали, и они не так утомят ваше зрение. Вы правы, от этих красок рябит в глазах и становится больно смотреть.

— Да, я много работаю,— ответил молодой человек, помолчав минуту и подравнивая ногой песок на дорож-

ке.— Работаю над разными вопросами... дядя хотел меня сделать священником...

— Ох! — наивно воскликнула Маргарита.

— Я противился, я не чувствовал призвания. Но много нужно было мужества, чтобы идти наперекор желаниям дяди. Он так добр, он так меня любит! Недавно он нанял человека, чтобы спасти меня от солдатской службы, меня, бедного сироту...

— К чему же вы себя предназначаете? — спросила Маргарита, но осеклась и смущенно добавила: — Простите, должно быть, вы находите меня слишком любопытной.

— О! — сказал Эммануил, глядя на нее и с восхищением и с нежностью,— еще никто, кроме дяди, не задавал мне такого вопроса. Я учусь, чтобы стать учителем. Что поделаешь? Я небогат. Если мне удастся стать старшим учителем какой-нибудь гимназии во Фландрии, у меня будут скромные средства к существованию, и я женюсь на какой-нибудь простой женщине, которую буду очень любить. Вот чего я ожидаю от жизни. Может быть, потому я и предпочитаю цветок, похожий на мелкую ромашку, который все топчут в Оршийской долине, пре-

красным тюльпанам, расцвеченным сапфирами, изумрудами, золотом и пурпуром: ведь эти нарядные тюльпаны — символ роскошной жизни, меж тем как этот скромный цветочек олицетворяет жизнь тихую, патриархальную, жизнь бедного учителя, каким мне и придется стать.

— До сих пор эти мелкие цветы я называла всегда маргаритками,— сказала она.

Эммануил де Солис залился румянцем и, не зная, что ответить, только старательно разравнивал ногами песок. Затрудняясь, на какой остановиться фразе из тех, что приходили в голову и все казались ему глупыми, он, чтобы прервать неловкое молчание, наконец выговорил:

— Не смел произнести ваше имя...— и не кончил.

— Вы будете учителем? — переспросила она.

— О! Я стану учителем только для того, чтобы занять какое-то положение, но я примусь за работы, которые откроют передо мною большое, широкое поприще... Мне очень нравятся занятия историей.

— Ах!

Это полное тайных мыслей «ах!» еще более смутило молодого человека; без всякой причины он рассмеялся и заметил:

— По вашему приказу я говорю о себе, а следовало бы мне говорить с вами только о вас.

— Маменька и ваш дядя, думаю, кончили беседу,— сказала она, взглянув через окно в залу.

— Мне кажется, ваша матушка очень переменилась.

— Она мучается, но не хочет сказать из-за чего, и нам остается только страдать, видя ее страдания.

Госпожа Клаас в самом деле только что кончила весьма щекотливое совещание по поводу такого вопроса совести, решить который мог только аббат де Солис. Предвидя полное разорение, она, без ведома Валтасара, мало заботившегося о делах, хотела из денег, вырученных за картины, которые де Солис брался продать в Голландии, удержать значительную сумму, чтобы припрятать ее и сберечь для семьи на черный день. По зрелом размышлении, обсудив обстоятельства, в которых находилась его духовная дочь, старый доминиканец одобрил такое благоразумное решение. Он ушел, взяв на себя продажу, которая должна была произойти втайне, чтобы не слишком повредить имени Клааса. Старик послал племянника с рекомендательным письмом в Амстердам, и там Эммануилу, который с восторгом оказал эту услугу дому Клаасов, удалось выручить за их картины, проданные известным банкирам Гаппе и Дункеру, восемьдесят пять тысяч голландских дукатов номинально и сверх того пятнадцать тысяч дукатов, секретно переданных г-же Клаас. Благодаря широкой известности этих картин для совершения сделки достаточно было ответа Валтасара на письмо банкирского дома Гаппе и Дункера. Эммануил де Солис был уполномочен Клаасом на получение за картины денег, которые и переслал тайком, чтобы граждане города Дуэ не знали о продаже. К концу сентября Валтасар расплатился с долгами, выкупил имение и вновь принялся за работу; но дом Клаасов лишился лучшей своей красы. Ослепленный страстью, Клаас ни о чем не жалел, он настолько верил в возможность возместить эту потерю, что велел при продаже картин заключить сделку с правом выкупа. А Жозефине сто кусков холста, покрытых живописью, казались пустя-

ком по сравнению с семейным счастьем и спокойствием мужа; галерею она заполнила картинами, висевшими в приемных комнатах, а чтобы скрыть пустоту на стенах переднего дома, обновила его убранство. Расплатившись с долгами, Валтасар получил в свое распоряжение до двухсот тысяч франков для дальнейших опытов. Аббат де Солис и его племянник хранили у себя пятнадцать тысяч дукатов, оставленных Жозефиной про запас. Чтобы увеличить эту сумму, аббат продал дукаты, которые вследствие событий континентальной войны возросли в цене. Вырученные им экю, стоимостью в сто семьдесят тысяч франков, закопали в погребе дома, где жил аббат де Солис. Г-жа Клаас познала печальную радость наблюдать, как почти восемь месяцев Клаас упорно занимался. Но удар, нанесенный ей, был так жесток, что она впала в состояние болезненной тоски, ухудшающееся с каждым днем. Наука настолько поглотила Валтасара, что ни несчастья, пережитые Францией, ни первое падение Наполеона, ни возвращение Бурбонов не отвлекли его от занятий; он перестал быть мужем, отцом, гражданином, он стал только химиком. К концу 1814 года г-жа Клаас дошла до такого упадка сил, что ей уже не позволяли встать с постели. Не желая прозябать в своей спальне, где когда-то она жила счастливо, где воспоминания об исчезнувшем счастье невольно внушали сравнение с настоящим, крайне ее угнетавшее, она переселилась в залу. Такое желание, продиктованное ей сердцем, нашло поддержку у врачей, находивших, что в зале больше воздуха, что эта комната веселее и сейчас больше подходит для г-жи Клаас, чем ее спальня. Кровать, в которой эта несчастная женщина доживала свой век, поставили между камином и окном, выходившим в сад. Здесь провела г-жа Клаас последние свои дни в святых занятиях духовного руководительства обеими дочерьми, которым ей хотелось оставить отблеск своего душевного огня. Супружеская любовь, слабее проявляясь, позволила развернуться любви материнской. Чувства матери долго в ней заглушались, но тем более прекрасны были они теперь. Как всем великодушным людям, г-же Клаас была свойственна возвышенная щепетильность, которую она принимала за угрызения совести. Считая, что она ограбила своих детей, не отдав им всей нежности, на которую они

имели право, она старалась искупить воображаемую вину, и теперь дети восхищались ее заботами о них, ее внимательностью; ей хотелось, чтобы они, так сказать, жили в самом ее сердце, хотелось покрыть их слабеющими своими крыльями и в один день излить на них свою любовь за все те дни, когда она не думала о них. Страдания придавали ее ласке, ее словам умилительную теплоту, шедшую прямо из души. Еще прежде, чем произнести нежные слова своим трогательным голосом, она уже ласкала детей глазами, и рука ее, казалось, постоянно призывала на них благословение.

Итак, восстановив было свой пышный образ жизни, дом Клаасов вскоре прекратил приемы, и замкнутость его стала еще полнее. Валтасар уже не праздновал годовщины свадьбы. но город Дуэ этому не удивлялся. Сначала болезнь г-жи Клаас явилась достаточным оправданием такой перемены; затем расплата с долгами приостановила злословие; наконец, постигшие Фландрию политические превратности, война Ста дней, иноземная оккупация отвлекли от химика общее внимание. В течение этих двух лет город так часто бывал накануне своего падения, так беспрерывно занимали его то французы, то вражеские войска, столько побывало здесь иностранцев, столько деревенских жителей нашло здесь себе приют, интересы стольких людей были задеты, стольким людям угрожала гибель, столько произошло перемен и несчастий, что всякий думал лишь о себе. Лишь аббат де Солис и его племянник да оба брата Пьеркен навещали г-жу Клаас, для которой зима 1814—1815 года была мучительнейшей агонией. Муж редко приходил поговорить с ней. Правда, после обеда он часами просиживал неподалеку от нее, но так как у нее не хватало сил поддерживать долгий разговор, он произносил две-три фразы, вечно одни и те же, садился, умолкал, и в зале воцарялось ужасающее молчание. Разнообразилась эта монотонная жизнь лишь тем, что иногда аббат де Солис с племянником приходили провести вечер в доме Клаасов. Пока аббат играл в триктрак с Валтасаром, Маргарита разговаривала с Эммануилом у постели матери, которая улыбалась невинным их радостям, не давая заметить, каким печальным и в то же время благостным для измученной ее души было свежее веяние девственной

любви, переливающейся через край то в одном, то в другом слове. Какая-нибудь интонация голоса, таившая в себе чары для этих юных существ, разбивала ей сердце, перехваченный ею взгляд, которым они говорили без слов, повергал ее, полумертвую, в воспоминания о счастливой молодости, и тем более горьким становилось настоящее. У Эммануила и Маргариты было достаточно чуткости, чтобы воздерживаться от милых ребячеств любви и не растравлять ран больного сердца, о которых они инстинктивно догадывались. Еще никто не отметил, что у чувств есть своя собственная жизнь, что природа их зависит от обстоятельств, среди которых они родились; они хранят и черты тех мест, где выросли, и отпечаток идей, повлиявших на их развитие. Есть страсти, никогда не утрачивающие первоначальной пылкости,— и такой была страсть г-жи Клаас к мужу; есть чувства, которым все улыбается, они всегда сохраняют свою утреннюю веселость, жатва радостей никогда не обходится у них без смеха и праздников; но встречается и любовь, которой суждено существовать лишь в оправе меланхолии, в обрамлении горя; трудно, недешево даются ей радости, омраченные опасениями, отравленные муками совести или полные отчаяния. Любовь, глубоко таившаяся в сердце Эммануила и Маргариты, хотя оба они еще не понимали, что дело идет о любви, это чувство, расцветшее под мрачным сводом галереи Клаасов, рядом со старым суровым аббатом, в минуту молчания и покоя, их любовь, серьезная и скромная, но обильная нежными оттенками, сладостными желаниями, вкушаемыми тайно, как гроздь, украдкой сорванная в винограднике,— их любовь восприняла те темные тона, те серые оттенки, которые господствовали вокруг при ее зарождении. Не смея у скорбного ложа решиться на какое-либо живое проявление любви, эти юные существа, сами того не зная, лишь умножали свои радости, не давая им выхода и тем запечатлевая их в глубине сердца. Радостями полны были для них и заботы о больной, которые любил разделять Эммануил, счастливый тем, что может присоединиться к Маргарите, заранее становясь сыном ее матери. Меланхолическая благодарность на устах молодой девушки заменяла сладенькие речи влюбленных. Когда они обменивались взглядом, их радостные

вздохи из глубины сердца мало отличались от вздохов, исторгаемых зрелищем материнской скорби. Редкие счастливые минуты косвенных признаний, недосказанных слов обета, подавленных порывов откровенности можно сравнить с аллегориями Рафаэля, написанными на черном фоне. В обоих жила одна и та же уверенность, в которой они не признавались друг другу; они знали, что где-то над ними светит солнце, но представить себе не могли, какой ветер разгонит тяжелые черные тучи, нависшие над их головами; они сомневались в будущем и, боясь, что страдания всегда будут их спутником, робко пребывали в сумерках, не смея произнести: «Кончим день вместе?»

За своею нежностью к детям г-жа Клаас, впрочем, благородно прятала те мысли, в которых не признавалась и сама себе. Судьба детей не вселяла в нее ни трепета, ни ужаса, они были для нее утешением, но не были для нее всей ее жизнью: ими она жила, а умирала из-за Валтасара. Как бы тяжело ни было для нее присутствие мужа, погруженного в раздумье по целым часам и лишь время от времени безразлично взглядывавшего на нее, но только в эти жестокие минуты забывала она о своих горестях. Равнодушие Валтасара к умирающей жене показалось бы преступным любому постороннему свидетелю; но г-жа Клаас и ее дочери к этому привыкли, они знали его сердце и прощали ему. Если среди дня у г-жи Клаас наступал новый опасный приступ, если она чувствовала себя хуже и, казалось, вот-вот умрет, во всем доме и во всем городе один только Клаас не знал об этом; знал Лемюлькинье, его лакей; но ни дочери Клааса, которым мать приказывала молчать, ни сама жена не сообщали ему об опасностях, которым подвергалось существо, некогда столь пылко любимое. Как только раздавались шаги его в галерее, когда он шел обедать, г-жа Клаас была счастлива: она его увидит; она собиралась с силами, чтобы вкусить эту радость. В то мгновение, когда он входил, ее бледное, помертвелое лицо вспыхивало румянцем, под которым исчезали следы недуга; ученый подходил к постели, брал ее за руку и видел обманчивую наружность; ему одному Жозефина могла показаться здоровой. Когда он спрашивал: «Дорогая, как вы себя чувствуете?» — она отвечала: «Лучше, мой

друг»,— и этот рассеянный человек думал, что завтра она встанет, поправится. Валтасара настолько поглотили занятия, что болезнь, грозившую жене смертью, он принимал за простое недомогание. Для всех умирающая, в его глазах она полна была жизни. Последний год привел к тому, что существование супругов пошло совсем врозь. Спал Клаас отдельно от жены, вставал рано утром и запирался у себя в лаборатории или в кабинете; виделся он с нею только в присутствии дочерей или двух-трех друзей и поэтому отвык от нее. У двух существ, некогда приучившихся думать заодно, теперь лишь изредка бывали минуты непринужденных, задушевных встреч, составляющих жизнь сердца; наконец, прекратились и эти редкие радости. Телесные страдания пришли на выручку бедной женщине и помогли ей выносить утрату, иначе, если бы в ней еще сохранилась жизнь, сама эта разлука убила бы ее. Она чувствовала невыносимые боли и порою бывала рада, что их не видит тот, кого она все еще любила. Когда по вечерам играли в триктрак, она наблюдала за Валтасаром и, зная, что он по-своему счастлив, сама разделяла это счастье, добытое ею для него. Она довольствовалась таким убогим наслаждением, она не спрашивала себя, любят ли ее, она старалась верить в его любовь и скользила по тонкому слою льда, не смея твердо на него стать, боясь проломить его и утопить сердце в ужасной пустоте. Так как этот покой ничем не нарушался, так как недуг, медленно снедавший г-жу Клаас, способствовал душевной умиротворенности, удерживая супружескую любовь в пассивном состоянии, то больная кое-как дотянула до начала 1816 года.

В конце февраля нотариус Пьеркен нанес удар, который вскоре свел в могилу женщину с ангельской, почти безгрешной душою, как говорил аббат де Солис.

— Знаете,— сказал ей нотариус на ухо, улучив минуту, когда дочери не могли слышать их разговора,— господин Клаас поручил мне занять триста тысяч франков под залог его имущества, примите меры, чтобы не были разорены ваши дети.

Жозефина сложила руки и возвела глаза вверх, потом поблагодарила нотариуса любезным кивком головы и печальной улыбкой, растрогавшей его. Слова его были ударом кинжала, смертельным для Пепиты. В тот день

она отдалась размышлениям, от которых переполнялось печалью ее сердце, она оказалась в положении путника, когда он, потеряв равновесие от толчка легкого камешка, падает в пропасть, по краю которой долго и смело шагал. Когда нотариус ушел, г-жа Клаас велела Маргарите подать письменные принадлежности, собралась с силами и стала писать завещание. Не раз она останавливалась и смотрела на дочь. Час признаний настал. С тех пор как заболела мать, Маргарита вела все хозяйство и настолько оправдывала надежды умирающей, что г-жа Клаас без отчаяния взирала на будущее, видя себя возрожденной в этом ангеле, любящем и сильном. Разумеется, обе женщины предчувствовали, какими скорбными мыслями придется им поделиться друг с другом, дочь смотрела на мать, едва только та посмотрит на нее, и у обеих на глаза навертывались слезы. Несколько раз, когда Жозефина отрывалась от бумаги, Маргарита произносила: «Мама?» — точно желая поговорить; потом останавливалась, будто ей не хватало дыхания, но мать, поглощенная предсмертными мыслями, не спрашивала, что значит этот вопрос. Наконец, г-жа Клаас стала запечатывать письмо; Маргарита, державшая перед ней свечу, скромно отошла, чтобы не видеть надписи.

— Можешь прочесть, дитя мое! — сказала мать душераздирающим голосом.

Маргарита увидела, что мать надписывает: «Дочери моей Маргарите».

— Когда отдохну, поговорим,— сказала г-жа Клаас, пряча письмо под подушку.

Потом голова ее упала, точно в этом последнем напряжении истощились ее силы, и несколько часов Жозефина спала. Когда она проснулась, обе дочери и оба сына стояли на коленях у кровати и жарко молились. Это было в четверг. Габриэль и Жан только что пришли из коллежа, их привел Эммануил де Солис, уже шесть месяцев как назначенный учителем истории и философии.

— Милые дети, нужно нам проститься! — воскликнула она.— Вы-то меня не забываете, а тот, которого я...

Она не договорила.

— Эммануил,— сказала Маргарита, видя бледность матери,— пойдите скажите отцу, что маменьке стало хуже.

Молодой Солис поднялся по лестнице и при посредстве Лемюлькинье вызвал из лаборатории Валтасара, который на настоятельные просьбы молодого человека ответил:

— Сейчас приду.

— Друг мой,— сказала г-жа Клаас Эммануилу, когда тот вернулся,— уведите мальчиков и сходите за вашим дядей. Настало, кажется, время причаститься в последний раз, я хотела бы принять причастие из его рук.

Оставшись наедине с дочерьми, она сделала знак Маргарите, та поняла и отослала Фелицию.

— И мне нужно с вами поговорить, милая маменька,— сказала Маргарита и, не думая, что матери так плохо, углубила рану, нанесенную Пьеркеном.— Уже десять дней нет денег на домашние расходы, да прислуге я задолжала жалованье за шесть месяцев. Хотела уже два раза попросить денег у отца, но не посмела. Вы не знаете! Ведь картины из галереи и все вина из погреба уже проданы.

— Ни слова об этом он мне не сказал! — воскликнула г-жа Клаас.— Боже мой! Вовремя призываешь ты меня к себе. Бедные дети, что с вами станется? — Она возносила горячую молитву, и глаза ее светились лаской и раскаянием.— Маргарита,— продолжала она, вынимая письмо из-под подушки,— ты вскроешь его и прочтешь только в том случае, если после моей смерти вы очутитесь в полнейшей бедности, другими словами, без куска хлеба. Милая Маргарита, люби отца, но не оставляй своими заботами и сестру с братьями. Через несколько дней — может быть, через несколько часов — ты станешь хозяйкой в доме! Будь бережлива. Если тебе придется пойти против воли отца,— а это может случиться: ведь он истратил большие суммы, работая над открытием, которое должно доставить ему огромную славу и богатство, и, вероятно, если ему понадобятся деньги, он у тебя попросит,— прояви тогда всю дочернюю нежность, сумей примирить нужды семьи, которую ты одна будешь опекать, с долгом перед отцом, великим человеком, который жертвует своим счастьем, своей жизнью ради прославления семьи; если он в чем и виноват, то лишь по видимости,— намерения его всегда благородны, он такой необыкновенный человек, сердце его полно любви; вы

снова увидите его добрым, нежным, вы-то увидите! Я должна была сказать все это тебе, Маргарита, на краю могилы. Если хочешь облегчить мне предсмертные страдания, обещай, дитя, занять мое место возле отца, не причинять ему огорчений; не упрекай его, не суди его! Словом, будь мягкой, снисходительной посредницей, пока он не завершит работу и не станет вновь во главе семьи.

— Понимаю, милая маменька,— сказала Маргарита, целуя воспаленные глаза умирающей,— все будет так, как вам угодно.

— Не выходи замуж, ангел мой, до тех пор,— продолжала г-жа Клаас,— пока Габриэль не в состоянии будет вместо тебя ведать делами и домом. Если ты выйдешь замуж, быть может, твой муж не станет разделять твоих чувств, внесет смуту в семью, будет досаждать отцу.

Маргарита взглянула на мать и спросила:

— Вы мне больше ничего не посоветуете относительно моего замужества?

— Разве у тебя есть колебания, дитя мое? — в ужасе воскликнула умирающая.

— Нет,— отвечала дочь,— обещаю повиноваться вам.

— Бедная девочка, я не умела жертвовать собою ради вас,— добавила мать, проливая горячие слезы,— а теперь я прошу тебя жертвовать собою ради всех! Счастье делает человека эгоистом. Да, Маргарита, я была слабовольна, потому что была счастлива. Будь сильна, сохраняй благоразумие и за тех, у кого его не хватит. Поступай так, чтобы твоим братьям и сестре не в чем было обвинить меня. Люби отца, но не противоречь ему... слишком.

Она уронила голову на подушку и ни слова не добавила; силы ей изменили. Происходившая в ее душе борьба между чувствами жены и матери была слишком тяжела. Через некоторое время явилось духовенство во главе с аббатом де Солисом, и зала наполнилась домочадцами. Когда приступили к совершению обряда, г-жа Клаас, разбуженная духовником, оглядела окружающих и не увидела среди них Валтасара.

— А господин Клаас? — сказала она.

В этих словах заключалась и жизнь ее и смерть, она

произнесла их так жалобно, что все присутствующие содрогнулись. Несмотря на свой преклонный возраст, Марта бросилась, как стрела, вбежала по лестнице и настойчиво постучала в дверь лаборатории.

— Барин, барыня умирает! Без вас не начинают соборовать! —крикнула она громко и негодующе.

— Сейчас спущусь,— ответил Валтасар.

Минуту спустя пришел Лемюлькинье и сказал, что барин идет следом за ним. Беспрестанно взглядывала г-жа Клаас на дверь залы, но муж ее появился лишь после того, как обряд был совершен. Аббат де Солис и дети окружили изголовье умирающей. Увидав, что входит муж, Жозефина покраснела, и слезы покатились у нее по щекам.

— Ты, вероятно, заканчивал опыт *по разложению азота*,— сказала она с ангельской кротостью, от которой содрогнулись все присутствующие.

— Это уже сделано! — воскликнул он радостно.— Азот содержит в себе кислород и еще некую невесомую субстанцию, которая, вероятно, составляет основу...

Поднялся гул возмущения, прервавший его и вернувший ему сознание окружающего.

— Что вы сказали? — спросил он.— Так тебе хуже? Что такое здесь происходит?

— Происходит вот что,— с негодованием сказал ему на ухо аббат де Солис,— ваша жена умирает, и ее убили вы!

Не дожидаясь ответа, аббат де Солис взял под руку Эммануила и вышел, вслед за ним вышли дети, проводившие его до самого двора. Валтасар стоял как громом пораженный, он взглянул на жену, и слезы выступили у него на глазах.

— Ты умираешь, и я тебя убил? — вскричал Клаас.— Что он говорит?

— Друг мой,— отвечала она,— я жила только твоей любовью, и, сам того не зная, ты отнял у меня жизнь.

— Уйдите,— сказал Клаас вошедшим детям.— Разве хоть на мгновение переставал я тебя любить? — продолжал он, садясь у изголовья жены, взяв ее руки и целуя их.

— Друг мой, не стану упрекать тебя ни в чем. Ты дал мне много, слишком много счастья; я не могла

вынести сравнения между началом нашей с тобой жизни, такой полной, и последними годами, когда ты перестал быть самим собою и жизнь эта сделалась такой опустошенной. Чувства, как и физические явления, не остаются без последствий. Уже шесть лет ты мертв для любви, для семьи, для всего, что составляло наше счастье. Не буду говорить о том блаженстве, которое составляет удел юности, в позднюю пору жизни оно и должно прекратиться; но от него остаются плоды, питающие нашу душу, безграничная доверчивость, нежная привязанность; так вот, ты похитил у меня и эти сокровища, принадлежащие нашему возрасту. Я ухожу вовремя: у нас не было уже никакой общей жизни, ты таил от меня свои мысли, свои поступки. Как это случилось, что ты стал бояться меня? Разве порицала я тебя когда-нибудь хоть единым словом, хотя бы взглядом или жестом? И что же? Ты продал последние картины, продал даже вина из погреба и снова берешь взаймы под залог имения, а мне об этом ни слова?.. Ах! Я уйду из жизни, полная отвращения к ней. Если ты делаешь ошибки, если ты ослеп в погоне за невозможным, разве я не доказала тебе, что во мне довольно любви, чтобы кротко делить с тобою ошибки, все время идти с тобой рядом, даже если ты поведешь по пути преступления? Ты слишком меня любил когда-то; в том моя слава, в том мое горе. Болезнь моя длится уже давно, Валтасар; она началась в тот день, когда на этом же месте, где я умираю, ты ясно показал мне, что больше принадлежишь науке, чем семье. И вот жены твоей нет больше в живых, а состояние твое растрачено. Состояние и жена тебе принадлежали, ты мог ими распоряжаться, но в тот день, когда меня не станет, мое состояние перейдет к детям и станет для тебя неприкосновенно. Что будет с тобою? Теперь я обязана сказать тебе правду, умирающие дальновидны! Что отныне будет противовесом проклятой страсти, на которой ты построил свою жизнь? Если ты пожертвовал мною, то дети для тебя ничтожное препятствие, ведь я должна отдать тебе справедливость и признать, что была для тебя дороже всего. Два миллиона, шесть лет работы брошены в пучину, и ничего ты не нашел...

При этих словах Клаас уронил седую голову и закрыл лицо руками.

— И ничего ты не добьешься, кроме позора для себя, нищеты для детей,— продолжала умирающая.— Уже зовут тебя в насмешку Клаас-алхимик, а позже скажут: Клаас-сумасшедший! Я-то в тебя верю. Я знаю, что ты велик, учен, гениален; но для толпы гениальность подобна безумию. Слава — солнце мертвых; при жизни ты будешь несчастен, как все великие люди, и разоришь детей. Я ухожу, не порадовавшись твоей известности, которая утешила бы меня в утрате счастья. И вот, милый Валтасар, чтобы смерть стала мне не так горька, мне нужна уверенность в том, что у наших детей будет кусок хлеба; но ничто не может успокоить мою тревогу, и ты не можешь...

— Клянусь,— сказал Клаас,— в том...

— Не надо клятв, друг мой, как бы не пришлось их нарушить,— прервала она.— Ты обязан был проявить заботу о нас, а почти семь лет мы ее лишены. Вся жизнь для тебя в науке. У великого человека не должно быть ни жены, ни детей. Идите в одиночестве путями нищеты! Ваши добродетели — не те, что у обыкновенных людей, вы принадлежите всему миру и не можете принадлежать ни жене, ни семье. Возле вас сохнет земля, как возле больших деревьев! Я, бедное деревце, не могла подняться так высоко и умираю, когда ты достиг лишь середины жизни. Я ждала последнего дня, чтобы высказать тебе эти ужасные мысли, открывшиеся мне только при вспышках скорби и отчаяния. Пощади моих детей! Да звучат эти слова в твоем сердце! Я буду твердить их до последнего вздоха. Ты видишь, жена твоя уже мертва! Медленно, постепенно угашал ты в ней чувства, лишал ее радостей! Увы! Без этой жестокой предосторожности, невольно проявленной тобою, разве я прожила бы так долго? Но ведь бедные дети меня не покидали — они выросли, пока я страдала, и мать пережила во мне жену. Пощади, пощади наших детей!

— Лемюлькинье! — крикнул Валтасар громовым голосом.

Старый слуга сразу появился.

— Немедленно все уничтожьте там наверху, машины, аппараты; действуйте осторожно, но разломайте все. Я отказываюсь от науки,— сказал Клаас жене.

— Слишком поздно,— отвечала Жозефина и взгля-

нула на Лемюлькинье.— Маргарита! — воскликнула она, чувствуя, что умирает.

Маргарита появилась на пороге и пронзительно закричала, увидев тускнеющие глаза матери.

— Маргарита! — повторила умирающая.

В этом последнем восклицании заключался такой страстный призыв к дочери, г-жа Клаас придала ему такой повелительный характер, что оно прозвучало подлинным завещанием. Сбежалось встревоженное семейство, и все увидели, что г-жа Клаас умирает,— последние ее жизненные силы истощились в разговоре с мужем. Валтасар и Маргарита, стоявшие недвижимо — она у изголовья, он у ног,— не могли поверить в смерть этой женщины, все добродетели, вся неистощимая нежность которой известны были только им. Отец и дочь обменялись недоверчивыми взглядами: дочь судила отца, отец уже опасался, что дочь станет орудием мщения. Хотя воспоминания о любви, которой жена наполняла его жизнь, собрались толпою, осаждая его память и придавая последним словам покойницы священную силу, так что всегда должен был слышаться ему этот голос,— однако Валтасар не мог поручиться за себя; воля его была слаба для поединка с его гением; а затем ему послышался грозный ропот его страсти, боровшейся с его раскаянием, внушавшей ему ужас перед самим собой. Когда не стало Жозефины, всякий понял, что у дома Клаасов была душа и что душа эта исчезла. Горе семьи было так сильно, что зала, где все еще как будто чувствовалось присутствие благородной женщины, оставалась запертой: никто не решался туда войти.

Общество не проявляет ни одной из тех добродетелей, которых требует от людей; всякий час совершает оно преступления, хотя и пользуется для этого только словом: шуткой подготовляет оно дурные поступки, насмешкой унижает все прекрасное; оно смеется над сыновьями, чрезмерно плачущими об отцах, предает анафеме тех, кто плачет недостаточно; а затем оно забавляется, оценивая еще не охладевшие трупы. Вечером того дня, когда скончалась г-жа Клаас, ее друзья бросили несколько цветков на ее могилу между двумя партиями в вист и воздали должное прекрасным ее качествам, ходя с червей или с пик. А после кое-каких слезливых фраз, после всех этих

азбучных изречений, выражающих общее прискорбие, которые с той же интонацией, столь же прочувствованно в любой час произносятся во всех городах Франции,— все принялись подсчитывать наследство. Начал Пьеркен, указав при обсуждении этого события, что смерть превосходной женщины является для нее благом — слишком много горя доставлял ей муж; что для детей это еще большее благо,— она не могла бы отказать обожаемому мужу в деньгах, меж тем как теперь Клаас уже не имеет права распоряжаться ими. И вот все принялись оценивать наследство бедной г-жи Клаас, прикидывать, сколько у нее сбережений — сберегла ли что-нибудь, или не сберегла? — составлять опись драгоценностям, выставлять напоказ ее платья, перерывать ящики, в то время как семейство, постигнутое горем, плакало и молилось вокруг смертного ложа. Взглядом эксперта-оценщика Пьеркен исчислял, что наследники г-жи Клаас, выражаясь его языком, ничего не потеряли и что ее состояние должно доходить до полутора миллионов, возмещаемых либо лесами Вэньи, которые за двенадцать лет достигли огромной стоимости (при этом он стал высчитывать, сколько было строевого лесу, сколько было оставлено поросли, сколько старых деревьев, сколько молодняка),— либо имением Валтасара, который еще располагает возможностью уплатить наследникам разницу, если при ликвидации не окажется с ними в расчете. Маргарита Клаас была, как выражался он на своем жаргоне, невеста на четыреста тысяч франков.

— Но ей необходимо выйти замуж теперь же,— добавил он,— и таким образом получить свободу действий, иметь право продать с аукциона лес Вэньи, выделить имущество малолетних и употребить его так, чтобы отец его не касался, в противном случае Клаас, конечно, способен разорить своих детей.

Все стали прикидывать, кто из здешних молодых людей мог бы претендовать на руку Маргариты Клаас, но никто не оказал нотариусу любезности счесть его достойным искателем ее руки. Нотариус же находил основания отвергать каждую из предлагаемых партий, как недостойную Маргариты. Собеседники, улыбаясь, посматривали друг на друга и с удовольствием продолжали разыгрывать эту провинциальную шутку. В смерти г-жи Клаас

Пьеркен видел событие, благоприятное для своих притязаний, и ради собственных выгод уже разнимал ее труп на куски.

«Добрая женщина была горда, как павлин, и никогда не выдала бы за меня дочь! — думал он, вернувшись домой и ложась спать.— Эге! Не начать ли мне теперь маневры таким манером, чтобы жениться на ней? Папаша Клаас совсем угорел от своего углерода и о детях уже не заботится; если я попрошу у него руки Маргариты, убедив ее заранее в настоятельной необходимости выйти замуж, чтобы спасти состояние братьев и сестры, то он будет рад освободиться от дочери, чтобы не подвергаться опасности ее придирчивого надзора».

Он заснул, предвкушая семейные радости, обеспеченные контрактом, обдумывая, какие выгоды даст ему это дело и какие гарантии счастья найдет он в девице, супругом которой намеревался стать. Трудно было встретить в провинции молодую особу, способную затмить Маргариту нежной красотой и воспитанием. По скромности, по изяществу можно было ее сравнить с милым цветком, который не смел назвать при ней Эммануил, боясь обнаружить таким образом тайные желания сердца. Постоянная в своих чувствах, твердая в религиозных убеждениях, она должна была стать целомудренной супругой и могла не только льстить тщеславию, проявляемому в той или иной степени всяким мужчиной при выборе жены, но и удовлетворить гордость нотариуса благодаря тому, что во Фландрии ее семья, вдвойне родовитая, пользовалась огромным почетом, который с нею предстояло разделить ее мужу. На следующий день Пьеркен вынул у себя из кассы несколько билетов по тысяче франков и дружески предложил их Валтасару, чтобы избавить его от денежных хлопот в такие печальные дни. Валтасар, как предполагал нотариус, должен был, тронутый деликатностью его забот, расхвалить дочери и доброту нотариуса и вообще его самого. Ничего подобного не случилось. Клаас с дочерью нашли этот поступок вполне естественным; до такой степени они предались горю, что им некогда было думать о Пьеркене. В самом деле, так глубоко было отчаяние Валтасара, что даже люди, склонные порицать его поведение, все ему простили — не столько во имя науки, которая еще могла бы его извинить, сколько ради

его скорби, которая ничего не могла исправить. Свет удовлетворяется гримасами; он довольствуется тою же монетой, какою сам платит, а пробы не проверяет; для него горе — зрелище, нечто вроде развлечения, из-за которого он всякого простит, даже преступника; в своей жадности до эмоций он без различия оправдывает и тех, кто его рассмешил, и тех, кто его растрогал до слез, и не спрашивает отчета в употребленных ими средствах.

Маргарите исполнилось девятнадцать лет, когда отец передал ей управление всем домом, авторитет ее благоговейно признавали и сестра и братья, которым в последние минуты своей жизни г-жа Клаас наказала повиноваться старшей сестре. Трауром оттенялась белизна и свежесть ее лица, так же как печалью еще подчеркивались ее кротость и терпеливость. Уже с первых дней она дала немало доказательств той женской бодрости, той постоянной ясности души, которые, должно быть, есть у ангелов, призванных изливать мир на страждущие сердца, касаясь их своей зеленой пальмовой ветвью. Но если она, уже в столь юном возрасте уразумев свой долг, привыкла утаивать горести, они от того становились еще более жгучими; внешнее спокойствие не соответствовало ее впечатлительности: ей было дано рано познать грозные вспышки чувства, сдерживать которые сердце не всегда бывает в силах; из-за отца ей приходилось беспрестанно страдать от столкновения между своим великодушием, свойственным юности, и настоятельными требованиями необходимости. Расчеты по дому, одолевшие ее на следующий же день после смерти матери, познакомили ее с житейскими делами в ту пору, когда молодым девушкам знакомы только удовольствия. Ужасная школа страданий, неизбежная для всех ангельских натур! Нет более упрямой страсти, чем любовь, подкрепляемая жадностью к деньгам и тщеславием: Пьеркен рьяно пытался завлечь наследницу в свои сети. Едва прошло несколько дней траура, как он уже искал случая поговорить с Маргаритой и приступил к делу так ловко, что она могла бы обмануться; но любовь одарила ее прозорливостью, не позволила ей поверить видимости, тем более подкупающей, что в данном случае Пьеркен пускал в ход свойственную ему доброту — доброту нотариуса, который ду-

мает, что попечение о талерах и есть любовь. Опираясь на сомнительное родство, на установившееся у Клаасов обыкновение поручать ему все дела и вводить его в тайны семьи, уверенный в дружеском уважении к себе со стороны отца, пользуясь беспечностью ученого, у которого не было никакого определенного проекта касательно дочери, и не предполагая, что у Маргариты может быть какая-нибудь сердечная склонность, он обнаружил перед нею свои намерения, открыто подменяя страсть соображениями обоюдной выгоды, самыми ненавистными для юных сердец. Но он-то и оказался наивным, меж тем как она прибегла к притворству — именно потому, что он рассчитывал иметь дело с беззащитной девушкой и не принял во внимание, какие преимущества дает слабость.

— Дорогая кузина,— сказал он Маргарите, прогуливаясь с нею по дорожке садика,— вам известно мое чистосердечие, и вы знаете, как велика моя готовность уважать скорбь, постигшую вас в настоящий момент. Для нотариуса у меня слишком чувствительная душа, я живу только сердцем, а принужден постоянно заботиться о чужих материальных интересах, вместо того чтобы предаваться нежным чувствам, составляющим счастье в жизни. Поэтому мне очень больно, что я вынужден говорить с вами о планах, не соответствующих состоянию вашей души,— однако это необходимо. Я много думал о вас за последние дни. Я только что узнал, что по странной случайности состоянию ваших братьев, сестры, а также и вашему собственному угрожает опасность. Хотите вы спасти семью от полного разорения?

— А что нужно для этого сделать? — спросила она, почти испугавшись его слов.

— Выйти замуж,— ответил Пьеркен.

— Нет, не выйду! — воскликнула она.

— Выйдете,— продолжал нотариус,— когда зрело обдумаете, в каком критическом положении вы находитесь...

— Каким образом мой брак может спасти?..

— Вот в этом-то все дело, Маргарита,— прервал нотариус.— Брак дает независимость!

— А зачем мне независимость? — спросила Маргарита.

— Затем, чтобы вступить во владение имуществом, милый мой друг,—сказал нотариус победоносным тоном.— В таком случае к вам перейдет ваша часть материнского наследства. Чтобы выделить ее, нужна ликвидация, а для ликвидации ведь придется продать с публичных торгов лес Вэньи! Раз это будет сделано, то все наследственные ценности будут обращены в деньги, и ваш отец в качестве опекуна обязан будет поместить долю ваших братьев и сестры так, что для химии она уже будет недосягаема.

— А в противном случае что произойдет? — спросила она.

— А то,— сказал нотариус,— что ваш отец будет управлять имением. Если ему вновь будет угодно делать золото, он может продать лес Вэньи, и вы все останетесь нагишом, как маленький Иоанн Креститель. Лес стоит в настоящий момент около миллиона четырехсот тысяч франков; но не сегодня-завтра ваш отец срубит его начисто, и ваши тысяча триста арпанов не будут стоить и трехсот тысяч франков. Не лучше ли избежать почти верной опасности и теперь же произвести раздел в связи с вашим вводом во владение? Таким образом вы спасете леса от порубки, которую отец ваш мог бы впоследствии произвести в ущерб вам. Теперь же, пока химия погружена в сон, он непременно обратит деньги, полученные при ликвидации, в бумаги государственного казначейства. Фонды ходят теперь по пятидесяти девяти, у детишек будет почти по пяти тысяч ливров доходу на каждые пятьдесят тысяч франков; а ввиду того, что нельзя вынимать капитал, принадлежащий малолетним, у ваших братьев и сестры к их совершеннолетию состояние удвоится. Тогда как иначе, честное слово... Ну, вот... Впрочем, ваш отец поубавил имущество вашей матери, инвентаризация покажет, каков дефицит. Если он окажется должником, вы получите закладную на его имения и что-нибудь спасете.

— Фи! — сказала Маргарита.— Это было бы оскорблением для отца! Слишком недавно прозвучали последние слова моей матери, чтобы я могла забыть их. Мой отец не способен ограбить детей,— сказала она, и слезы скорби выступили у нее.— Вы не знаете его, господин Пьеркен.

— Но если ваш отец, милая Маргарита, вновь примется за химию, то...

— Мы будем разорены, не так ли?

— О! Совершенно разорены! Поверьте, Маргарита,— сказал он, прижимая ее руку к сердцу,— я не выполнил бы своего долга, если бы не настаивал. Только ваши интересы...

— Послушайте,— холодно сказала Маргарита, отнимая руку,— подлинные интересы семьи требуют, чтобы я не выходила замуж. Таково было мнение маменьки.

— Друг мой, это самоубийство, вы в воду бросаете наследство матери! — вскричал он со всей искренностью, как делец, огорченный гибелью целого состояния.— В таком случае я признаюсь, какую исключительную дружбу я питаю к вам! Вы не знаете, как я вас люблю! Обожаю вас с того дня, когда ваш отец устроил последний бал! Вы были восхитительны. Отнеситесь с доверием к деловым соображениям, когда они высказываются от всего сердца, дорогая Маргарита...

Он помолчал.

— Да, мы созовем семейный совет и, не спрашивая вас, сделаем вас правомочной.

— Что это такое быть правомочной?

— Это значит пользоваться своими правами.

— Если я могу стать правомочной, не выходя замуж, почему же вы хотите, чтоб я вышла?.. И за кого?

Пьеркен попытался нежно взглянуть на нее, но такое выражение столь мало соответствовало жесткому взору этого человека, привыкшего разговаривать лишь о деньгах, что Маргарита заподозрила расчет в такой внезапной нежности.

— Вы могли бы выйти за того, кто вам понравится... в нашем городе...— продолжал он.— Муж вам необходим, даже в практическом смысле. Вам придется иметь дело с отцом. Если вы будете одна, сможете ли вы противиться ему?

— Да, я сумею защитить братьев и сестру, когда понадобится!

«Черт возьми, вот болтушка!» — подумал Пьеркен.

— Нет, вы не сумеете ему противиться,— ответил он вслух.

— Поговорим о чем-нибудь другом,— сказала она.

— Прощайте, дорогая, постараюсь быть полезным вам помимо вашего желания и докажу, как я люблю вас,— я защищу вас помимо вашего желания от беды, которую все в городе предвидят.

— Благодарю за заботливость, но умоляю вас не задумывать и не предпринимать ничего такого, что хоть сколько-нибудь может огорчить отца.

Маргарита задумчиво глядела вслед Пьеркену: его металлический голос, его движения, отличавшиеся, правда, гибкостью, но лишь гибкостью пружины, его взгляд, выражавший скорее угодливость, чем мягкость,— она сравнивала с той мелодической поэзией без слов, которой облечены были чувства у Эммануила. Существует удивительный магнетизм, позволяющий безошибочно расценить все, что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили. Звуку голоса, взгляду, страстным жестам влюбленного можно подражать, молодую девушку ловкий актер может обмануть,— но чтобы добиться успеха, не должен ли он быть в единственном числе? А если возле девушки есть душа, вибрирующая в унисон с ее чувствами, разве она не распознает сейчас же выражение истинной любви? Эммануила, как и Маргариту, в это время угнетали тучи, роковым образом с самой их встречи мрачно нависшие над ними и закрывшие от них голубое небо любви. Обожание, которое он питал к своей избраннице, было безнадежным, а потому тихим и сокровенным, благоговейным в своих проявлениях. Не будучи богат, по общественному своему положению стоя очень далеко от Маргариты, он ничего не мог ей предложить, кроме знатного имени, и не рассчитывал стать ее мужем. Он все-таки ждал от Маргариты каких-нибудь знаков ободрения, но на глазах слабеющей, умирающей матери та не решалась их подать. Одинаково чистые, они, таким образом, еще не произнесли ни единого слова любви. Их радости были радостями неразделенными, которые людям несчастным приходится вкушать наедине с собою. Оба трепетали, но трепетали порознь, хотя и предавались одной и той же лучезарной надежде: казалось, они боятся самих себя, уже слишком часто чувствуя, что они созданы друг для друга. Так, Эммануил опасался хотя бы коснуться руки своей повелительницы, которой он воздвиг святилище в своем сердце. При самом безобидном прикосно-

вении слишком сильно вспыхнула бы его страсть, и он перестал бы владеть своими разбушевавшимися чувствами. Но, хотя ни разу они не обменялись теми свидетельствами, слабыми, но огромными, невинными, но глубокими, которые позволяют себе самые робкие влюбленные, все же они настолько жили один в сердце другого, что были оба готовы на величайшие жертвы — единственное наслаждение, доступное им. Со смертью г-жи Клаас их потаенная любовь задыхалась под траурным крепом. Та сфера, где они жили, из темной сделалась чёрной, свет там застили слезы. Сдержанность Маргариты сменилась почти холодностью: ей надлежало соблюсти данную матери клятву; и, сделавшись свободнее, чем прежде, она ста́ла строже. Эммануил разделял со своей возлюбленной ее скорбь, понимая, что малейшая любовная мольба, самая обычная настойчивость была бы оскорблением законов сердца. Таким образом, та большая любовь стала еще более скромной, чем когда-либо. Их нежные души звучали по-прежнему в лад; но их разделяло горе, как раньше разделяли юношеская робость и уважение к страданиям умирающей,— поэтому они все еще ограничивались чудесным языком взглядов, немым красноречием поступков, говорящих о преданности, постоянным общением — высшей гармонией молодости, первыми ребяческими шагами любви. Каждое утро Эммануил являлся узнать, что нового у Клааса и Маргариты, но входил в столовую только в том случае, если приносил письмо от Габриэля или сам Валтасар просил его зайти. Первый же взгляд, брошенный им на девушку, говорил ей о тысяче мыслей, полных сочувствия к ней: о том, что ему мучительна сдержанность, требуемая приличиями, что он не забыл Маргариты, что он делил с нею печаль — словом, росу своих слез проливал он на сердце подруги в этом взгляде, где не сквозил никакой расчет. Славный юноша до такой степени жил настоящим, так дорожил счастьем, которое считал скоротечным, что порою Маргарита упрекала себя за то, что она великодушно не протянет руки со словами: «Будемте друзьями!»

Пьеркен не оставлял Маргариты в покое, выказывая упрямство, которое является не чем иным, как тупой терпеливостью дурака. Он применял к Маргарите обыч-

ные мерки, принятые у большинства при оценке женщин. Он думал, что если заронил ей в душу слова: *брак, свобода, богатство*, то они дадут ростки в ее душе и расцветут решением, могущим обратиться ему на пользу, и воображал, что холодность ее притворна. Но, несмотря на то, что он окружал ее заботами и галантным вниманием, ему плохо удавалось скрыть свои деспотические замашки, порожденные привычкой решать единым махом самые важные вопросы семейной жизни. Утешая ее, он прибегал к избитым фразам, обычным для людей его профессии, которые улиткой вползают в чужую душу и оставляют длинный след сухих слов, способных обесцветить всю святость горя. Нежность его была сродни желанию подольститься. Уже при выходе, надев галоши и взяв в руки зонтик, он оставлял за порогом свою напускную меланхолию. Тем тоном, на который ему давала право давнишняя близость, он пользовался как орудием, чтобы глубже проникнуть в круг семьи и склонить Маргариту на брак, о котором заранее трубил по всему городу. Итак, любовь настоящая, преданная, почтительная разительно отличалась от любви эгоистичной и расчетливой. Все по-своему было цельно и у Пьеркена и у Эммануила. Один разыгрывал комедию страстной любви и малейшими своими преимуществами пользовался, чтобы иметь возможность жениться на Маргарите, другой прятал свою любовь, боялся показать свою преданность. Спустя некоторое время после смерти матери, в один и тот же день, Маргарита могла сравнить двух этих мужчин, которые только и были доступны ее оценке. Она была обречена вести уединенный образ жизни и до сих пор не могла бывать в свете, а обстоятельства закрыли двери в дом Клаасов для всех, кто мог предложить ей свою руку. Однажды после завтрака, в прекрасное апрельское утро, пришел Эммануил, в ту минуту когда Клаас выходил из дому. Так невыносимо чувствовал себя Валтасар дома, что ежедневно он надолго уходил гулять вдоль городского вала. Эммануил хотел было идти вместе с Валтасаром, но колебался, как будто собираясь с духом, затем он робко взглянул на Маргариту и остался. Маргарита догадалась, что учитель хочет поговорить с ней, и предложила ему пройти в сад. Она отослала Фелицию к Марте, которая работала в передней второго этажа; в

саду Маргарита села на скамью, где могли ее видеть сестра и старая дуэнья.

— Господина Клааса поглотило горе так же, как прежде поглощали его ученые изыскания,— сказал молодой человек, глядя, как Валтасар медленно идет по двору. — Все в городе его жалеют; он ходит как потерянный; затем вдруг остановится, смотрит и ничего не видит...

— У всякого горе выражается по-своему,— сказала Маргарита, подавляя слезы.— Что хотели вы мне сказать? — помолчав, продолжала она с холодным достоинством.

— Имею ли я право,— отвечал Эммануил взволнованно,— обратиться к вам с теми словами, которые вы сейчас услышите? Прошу вас видеть с моей стороны только желание быть вам полезным, и позвольте мне считать, что учитель может интересоваться судьбой своих учеников настолько, чтобы беспокоиться и об их будущем. Вашему брату Габриэлю минуло пятнадцать лет, он теперь в старших классах, и, разумеется, необходимо направлять его занятия в соответствии с поприщем, которое он изберет. Но в таком вопросе все зависит от вашего отца; а если он об этом не подумает, не будет ли это несчастьем для Габриэля? И вместе с тем не оскорбится ли ваш отец, если вы дадите ему понять, что он не заботится о сыне? Поэтому вам, пожалуй, стоило бы расспросить брата о его вкусах, побудить его самого выбрать себе поприще, так что, если отец впоследствии захочет сделать из него судью, администратора, военного, у Габриэля будут уже налицо специальные познания. Вряд ли вы или господин Клаас хотели, чтобы он жил в праздности...

— О нет! — сказала Маргарита.— Благодарю вас, Эммануил, вы правы. Моя мать, приказывая нам плести кружева, так заботливо обучая нас рисованию, шитью, вышивке, игре на фортепьяно, часто говаривала нам, что неизвестно, какое будущее нас ожидает. Габриэль должен стать самостоятельным человеком и завершить свое образование. Но какая же карьера всего лучше?

— Габриэль в своем классе идет первым по математике,— сказал Эммануил, трепеща от счастья.— Если он захочет поступить в Политехническую школу, я думаю, там он приобретет познания, полезные при всякой карье-

ре. По окончании он будет иметь возможность выбрать, что больше всего ему по душе. Нисколько не предопределяя его будущего, вы не потеряете даром времени. Кто с отличием кончает Политехническую школу, того охотно принимают всюду. Из нее вышло немало администраторов, дипломатов, ученых, инженеров, генералов, моряков, судей, промышленников и банкиров. Совсем не редкость увидать, что молодой человек из богатой или родовитой семьи усердно работает, готовясь поступить туда. Если Габриэль решит это сделать, я просил бы вас... не предоставите ли вы мне возможность... Скажите «да!».

— Что вы хотите?

— Быть его репетитором,— сказал он, весь дрожа.

Маргарита взглянула на де Солиса, пожала ему руку и произнесла:

— Да! — Она помолчала и прибавила взволнованно:— Как я ценю вашу чуткость! Вы предложили именно то, что я могу от вас принять! В ваших словах видна искренняя забота о нас. Благодарю вас.

Хотя эти слова были сказаны совсем просто, Эммануил отвернулся, чтобы скрыть слезы, выступившие у него на глазах от радости, что он сделал приятное Маргарите.

— Я приведу вам обоих ваших братьев,— сказал он, немного успокоившись,— завтра отпускной день.

Он встал, поклонился Маргарите, которая пошла его проводить; со двора он увидел, что она стоит в дверях столовой и дружески кивает ему.

После обеда явился к Клаасу нотариус и уселся в саду между ним и Маргаритой, на ту же скамейку, где сидел Эммануил.

— Дорогой кузен, нынче я зашел поговорить о делах... Сорок три дня прошло со времени кончины вашей жены...

— Не считал их,— сказал Валтасар, отирая слезы, навернувшиеся у него при этом официальном слове «кончина».

— О!—сказала Маргарита, взглянув на нотариуса.— Как это вы можете?..

— Ведь люди нашей профессии, мадмуазель Маргарита, обязаны высчитывать сроки, определенные законом. Дело идет именно о вас и ваших сонаследниках. Так

как у господина Клааса только несовершеннолетние дети, ему надлежит в сорокапятидневный срок после кончины супруги составить инвентарную опись, чтобы определить стоимость имущества, находящегося в совместном владении. Разве не нужно знать, в каком оно состоянии, хорошем или плохом, чтобы принять его или выступить в защиту законных прав несовершеннолетних наследников?

Маргарита поднялась.

— Останьтесь, кузина,— сказал Пьеркен. — Эти дела касаются вас обоих, и вас и вашего отца. Вы знаете, какое участие я принимаю в вашем горе; но необходимо нынче же обсудить все обстоятельства, иначе вам, той и другой стороне, грозят большие беды! В настоящий момент я исполняю долг домашнего нотариуса.

— Он прав,— сказал Клаас.

— Срок истекает через два дня,— продолжал нотариус.— Итак, я должен уже завтра приступить к составлению инвентарной описи, хотя бы только для того, чтобы отсрочить оплату прав на наследство, которой потребует от вас государственное казначейство; у казначейства нет сердца, оно не считается с чувствами и в любое время налагает на вас лапу. Далее, каждый день, с десяти до четырех, я буду работать здесь со своим письмоводителем и оценщиком, господином Рапарлье. Когда кончим в городе, отправимся в деревню. Что же касается леса Вэньи, об этом поговорим особо. Итак, перейдем к другому пункту. Нам предстоит созвать семейный совет, чтобы назначить заместителя опекуна. Господин Коninкс из Брюгге является самым близким вашим родственником,— но он теперь бельгиец! Вам следовало бы, кузен, написать ему в связи со всем этим, выяснить, не намерен ли он поселиться во Франции, где он владеет прекрасными имениями. Вы могли бы убедить его переехать вместе с дочерью во французскую Фландрию. Если он откажется, я позабочусь о созыве совета согласно степеням родства.

— Зачем нужна опись? — спросила Маргарита.

— Чтобы определить имущественные ценности, права, актив и пассив. Когда все это приведено в ясность, семейный совет в интересах несовершеннолетних принимает решения. которые считает...

— Пьеркен,— сказал Клаас, поднимаясь со скамейки,— приступайте к действиям, которые вы найдете необходимыми для охраны прав моих детей. Только избавьте нас от огорчения видеть, как распродается то, что принадлежало дорогой моей...

Он не кончил, он произнес эти слова так благородно и проникновенно, что Маргарита взяла руку отца и поцеловала.

— До свидания, до утра! — сказал Пьеркен.

— Приходите к нам завтракать,— сказал Валтасар.

Потом Клаас, казалось, напряг память и вдруг воскликнул:

— Да, но согласно брачному контракту,— а ведь он заключен по обычаям Геннегау,— я избавил жену от инвентарной описи, чтобы ее не беспокоить, да, вероятно, и сам не производил никаких описей.

— Ах! какое счастье! — сказала Маргарита.— С ними было бы нам столько неприятностей.

— Хорошо, познакомимся завтра с вашим брачным контрактом,— ответил нотариус, слегка смутившись.

— Так вы с ним не знакомы? — спросила Маргарита.

Этим замечанием разговор был прерван. Нотариус смешался и умолк.

«Тут сам черт мутит,— размышлял он, проходя по двору.— Такой рассеянный человек, а как нарочно все вспомнил именно в ту минуту, когда против него готовы принять меры предосторожности. Дети будут ограблены! Это верно, как дважды два четыре. Вот и говорите о делах с девятнадцатилетними чувствительными барышнями! Я ломал себе голову, как спасти имущество детей, опираясь на установленные нормы и заручившись поддержкой старика Конинкса... А тут, извольте! Я погиб во мнении Маргариты, она теперь спросит у отца, почему я настаиваю на описи, которую она считает излишней. И скажет ей Клаас, что нотариусы одержимы манией составлять акты и что мы прежде всего нотариусы, а не родственники, не кузены, не друзья,— словом, наговорит всяких глупостей...»

Он хлопнул дверью, посылая к черту клиентов, разоряющихся из-за чувствительности. Валтасар был прав. Ни в какой инвентарной описи надобности не оказалось. Имущественные взаимоотношения отца и детей,

таким образом, остались неопределенными. Прошло несколько месяцев, в доме Клаасов все шло по-прежнему. Габриэль, искусно руководимый де Солисом, который сделался его наставником, прилежно работал, изучал иностранные языки и готовился к экзамену в Политехническую школу. Фелиция и Маргарита жили очень замкнуто, а на летние месяцы переезжали для экономии в загородный дом отца. Клаас занялся делами, выплатил долги, взяв значительную сумму под залог, и съездил в лес Вэньи. К середине 1817 года печаль его несколько улеглась, но в одиночестве ничто не спасало его от однообразия жизни, которое стало ему в тягость. Сначала он мужественно боролся с пробуждавшейся мало-помалу Наукой и запрещал себе помышлять о Химии. Потом начал думать о ней. Но заниматься практическими опытами он не решился, ограничившись теорией. Непрерывные занятия пробудили его страсть, и она начала его одолевать.

Он стал рассуждать, обязан ли прекратить свои изыскания, и вспомнил, что жена не потребовала с него клятвы. Хотя он и обещал самому себе не гнаться за решением проблемы, но нельзя ли нарушить слово, раз он предвидит успех? Ему уже исполнилось пятьдесят девять лет. К этим годам овладевшая им мысль приобрела ту навязчивость, которая свидетельствует о начинающейся мономании. Обстоятельства, как нарочно, еще содействовали искушению. Воцарившийся в Европе мир способствовал обмену открытиями и идеями, обогатившими за время войны науку различных стран, которые совсем не общались друг с другом почти двадцать лет. А наука на месте не стояла. Клаас обнаружил, что, помимо воли химиков, сам прогресс химии направил научную мысль к предмету его исканий. Люди, углубленные в подлинную науку, полагали, как и он, что свет, теплота, электричество, гальванизм и магнетизм суть различные следствия одной и той же причины, что различие, существующее между телами, которые до сих пор считались простыми, должно происходить от различия в дозах неизвестного вещества. Из-за боязни, как бы кто-нибудь другой не открыл превращения металлов и состава электричества — а эти два открытия приводили к решению проблемы химического Абсолюта,— еще возросло его сумасше-

ствие (если пользоваться выражением обитателей Дуэ), и его тоска достигла крайней степени, что поймет всякий человек, страстно преданный науке или познавший тиранию идей. Таким образом, вскоре Валтасара опять увлекла его страсть, тем более сильная, чем долее она дремала. Маргарита, внимательно следившая, как менялось душевное состояние отца, открыла двери залы. Пребывание там, где умерла г-жа Клаас, оживило у Валтасара скорбные воспоминания о ней, и Маргарите действительно удалось пробудить в отце печаль, замедлить падение его в бездну, которое тем не менее было неизбежно. Она решила бывать в обществе и принудила Валтасара развлекаться. Хорошие партии, несколько раз предлагавшиеся ей, на недолгое время заняли ум Клааса, хотя Маргарита и объявила, что не выйдет замуж прежде, чем ей минет двадцать пять лет. Несмотря на усилия дочери, несмотря на свою жестокую внутреннюю борьбу, в начале зимы Валтасар возобновил тайком свои работы. Но от любопытных женщин трудно утаить подобные занятия. И вот однажды, одевая Маргариту, Марта сказала ей:

— Барышня, мы погибли! Чудище Мюлькинье, сущий дьявол в человечьем обличье,— ведь никогда я не видала, чтобы он крестным знамением себя осенил! — уже водворился на чердаке. Вот барин и отбывает прямою дорогой в ад... Дай бог, чтоб он не уморил вас, как уморил бедную барыню!

— Не может этого быть,— сказала Маргарита.

— Взгляните-ка сами.

Маргарита подбежала к окну и действительно заметила, что легкий дымок выходит из трубы лаборатории.

«Через несколько месяцев мне минет двадцать один год,— подумала она,— я положу предел этому расточительству».

Предавшись своей страсти, Валтасар, конечно, еще меньше стал считаться с интересами детей, чем считался с женой. Преграды не так были велики, совесть стала сговорчивей, страсть сильнее. И вот он устремился по пути славы, труда, надежды и нищеты с неистовством человека, убежденного в своей правоте. Уверенный в успехе, он принялся работать день и ночь с увлечением, пугавшим дочерей, которые не знали, как мало вредит

человеку работа, раз она ему нравится. Тотчас же, как только отец возобновил опыты, Маргарита упразднила всякое излишество в столе, стала бережлива до скупости, в чем ей старательно помогали Жозета и Марта. Этой перемены, благодаря которой все было сведено к строго необходимому, Клаас даже не заметил. Ведь к завтраку он не приходил, только к самому обеду спускался из лаборатории и, молча посидев несколько часов в зале с дочерьми, шел спать. На прощание он машинально подставлял для поцелуя щеку. Его поведение привело бы к большим домашним бедам, если бы Маргарита не была подготовлена к тому, чтобы занять в доме место матери, и если бы тайная любовь не предохраняла ее от опасности чрезмерной свободы. Пьеркен перестал навещать родственниц, считая, что они совершенно будут разорены. Над земельными владениями Валтасара, приносившими шестнадцать тысяч франков дохода и стоившими до двухсот тысяч экю, тяготели уже закладные на триста тысяч франков. Принимаясь за химию, Клаас взял в долг значительную сумму. Доходов только-только хватало на выплату процентов, но так как, со свойственной людям предусмотрительностью, Валтасар оставил арендную плату Маргарите на домашние расходы, то нотариус вычислил, что через три года все пойдет прахом: что не растратит Валтасар, то пожрут судебные чиновники. Холодность Маргариты довела Пьеркена до безразличия, почти враждебного. Чтобы оставить за собою право отказаться от руки девушки, если она слишком обеднеет, он, скорчив сострадательную мину, говорил о Клаасах:

— Бедняги разорились; я все, что только мог, предпринимал для их спасения; ничего не поделаешь! Маргарита отказалась от всех законных комбинаций, которые уберегли бы ее от нищеты...

Эммануил, по протекции дяди, назначенный директором коллежа в Дуэ и по своим достоинствам вполне заслуживший такое место, каждый вечер приходил навестить сестер, которые звали к себе дуэнью, как только отец ложился спать. И Эммануил никогда не медлил возвестить о своем приходе тихим стуком дверного молотка. За эти три месяца, встречая одобрение в той ласковой и молчаливой признательности, с какой Маргарита при-

нимала его заботы, он обрел самого себя. Его душа, чистая, как алмаз, излучала ясный свет, силу и постоянство которого Маргарита могла оценить, зная, что их источник неистощим. С восхищением следила она, как один за другим распускаются цветы, аромат которых доносился до нее уже раньше. Каждый день Эммануил осуществлял еще какую-нибудь из надежд Маргариты и в волшебных странах любви зажигал новый свет, пробивавшийся сквозь облака, прояснявший небо и озарявший огромные богатства, до тех пор погруженные во мрак. Чувствуя себя теперь более свободно, Эммануил мог обнаружить прелестные черты своей натуры, прежде скромно таившиеся: экспансивную юношескую веселость, простодушие, каким может наделить только жизнь, посвященная науке, сокровища ума, чуткого и не испорченного светом, невинную шутливость, которая так к лицу юной любви. Еще большее согласие установилось между ними в их чувствах, они вместе заглянули в глубину своих сердец и обрели там одни и те же думы — думы, сияющие, как жемчужины, думы сладостные, свежие, как те созвучия, что, по преданию, слышны бывают на дне моря и завораживают искателей жемчуга. Они ближе узнали друг друга, обмениваясь замечаниями, поочередно обнаруживая взаимное любопытство, которое у них обоих становилось восхитительнейшим проявлением чувства. И было все это без ложной стыдливости, но не без кокетливости. Два часа, проводимые с Эммануилом каждый вечер в присутствии сестры и Марты, придавали Маргарите силу, чтобы сносить наступившую для нее жизнь, полную тревоги и самоотречения. Эта невинная, все возрастающая любовь была для нее поддержкой. В проявлениях любви Эммануила сказывалось очаровательное, врожденное изящество, приятный, тонкий ум, сообщавший различные оттенки однообразию чувства, как грани придают красоту однообразному блеску драгоценного камня, зажигая игру огоньков; все то обаяние, которое составляет секрет любящего сердца и подчиняет женщину чуткой руке, постоянно обновляющей форму, голосу, придающему одной и той же фразе все новые и новые модуляции. Любовь — не только чувство, она, кромо того, и мастерство. В самом простом слове, в знаке внимания, в каком-нибудь пустяке женщина узнает воз-

вышенного художника, способного касаться ее сердца, не раня его. Чем дальше, тем прелестнее выражалась любовь Эммануила.

— По дороге к вам я обогнал Пьеркена,— сказал он однажды вечером,— он идет с плохими вестями, лучше я сам их сообщу. Господин Клаас продал ваш лес спекулянтам, которые распродали его по частям, деревья уже срублены и вывезены. Отец ваш получил триста тысяч франков наличными, ими он расплатился с долгами в Париже, а чтобы совершенно погасить долги, он принужден был перевести выплату ста тысяч франков на покупщиков, за которыми еще остается сто тысяч экю.

Вошел Пьеркен.

— Ну вот, милая Маргарита,— сказал он,— вот вы и разорены, я предсказывал это, а вы не хотели слушать. Недурной аппетит у вашего отца. Ваши леса он проглотил сразу. Господин Конинкс, второй опекун, теперь находится в Амстердаме, где заканчивает ликвидацию своего состояния, эту-то минуту и выбрал Клаас, чтобы нанести удар. Нехорошо. Я только что написал старику Конинксу, но когда он приедет, все уже пойдет прахом. Вам придется вчинить отцу иск, процесс будет недолог, но позорен, а господин Конинкс не имеет права отказаться от него, таков закон. Вот плоды вашего упрямства. Признаете теперь, сколь я был предусмотрителен, сколь предан вашим интересам?

— А я к вам с хорошими новостями,— сказал молодой де Солис мягким своим голосом.— Габриэль принят в Политехническую школу. Все препятствия к его приему устранены.

Маргарита улыбкой поблагодарила друга и сказала:

— Мои сбережения пригодятся! Марта! Завтра же начнем снаряжать Габриэля. Бедняжка Фелиция, придется нам поработать,— добавила она, целуя сестру в лоб.

— Завтра он приедет сюда на десять дней, в Париже он должен быть пятнадцатого ноября.

— Прекрасный путь избрал Габриэль,— сказал нотариус, смерив взглядом Эммануила,— ему придется самому сколачивать себе состояние. Но, дорогая Маргарита, речь идет о спасении семейной чести; угодно вам на этот раз меня выслушать?

— Нет,— ответила она,— если опять речь идет о браке.

— Как же вы поступите?

— Да никак.

— Однако вы совершеннолетняя.

— Да, буду через несколько дней. А какой вы мне предложите выход, чтобы согласовать наши интересы с нашим долгом по отношению к отцу и с честью семьи?

— Ничего нельзя предпринять без вашего дядюшки. Итак, я зайду по его возвращении.

— Прощайте,— сказала Маргарита.

«Чем беднее, тем больше чудит»,— подумал нотариус.

— Прощайте,— произнес он вслух.— Господин директор, мое почтение!

И он ушел, не попрощавшись ни с Фелицией, ни с Мартой.

— Последние два дня я изучал Гражданский кодекс и советовался со старым адвокатом, другом моего дяди,— сказал Эммануил с дрожью в голосе.— Завтра, если позволите, я поеду в Амстердам. Выслушайте меня, милая Маргарита...

Он впервые так назвал ее, она поблагодарила его влажным взглядом, улыбкой и наклонением головы. Он замолчал, указав глазами на Фелицию и Марту.

— Говорите при сестре,— сказала Маргарита.— И до этого разговора она уже примирилась с лишениями и трудом, она, такая кроткая и стойкая. Но пусть она знает, как необходима теперь бодрость.

Сестры взялись за руки и поцеловались, точно упрочивая союз перед лицом опасности.

— Оставьте нас, Марта.

— Милая Маргарита,— продолжал Эммануил, и голос его был проникнут счастьем оттого, что он добился хоть малых прав любви,— я разузнал имена и адреса покупщиков, которые должны еще внести двести тысяч франков за вырубленный лес. Завтра же, если вы согласны, поверенный, действуя от имени господина Конинкса, который не откажется подтвердить его полномочия, предъявит им протест. Через шесть дней ваш дядя вернется, созовет семейный совет, и Габриэля объявят правоспособным, ведь ему уже минуло восемнадцать лет. А раз вы и брат ваш станете правомочны, то потребуйте своей

доли из стоимости леса, и господин Клаас принужден будет выплатить двести тысяч, так как на них, по вашей просьбе, будет наложен арест; что касается остальных причитающихся вам ста тысяч, то вы получите закладную на этот дом. Господин же Конинкс потребует гарантий на триста тысяч франков, которые составляют долю Фелиции и Жана. При таком положении ваш отец будет принужден перезаложить оршийское имение, уже заложенное за сто тысяч экю. Закон дает по закладным преимущество в пользу несовершеннолетних, имеющее обратную силу; таким образом все будет спасено. Отныне у господина Клааса будут связаны руки, земли ваши отчуждению не подлежат, а под собственные земли он ничего уже занять не может, и без того под них уже получены суммы, превышающие их стоимость. Дела устроятся по-семейному, без скандала, без процесса. Обстоятельства вынудят вашего отца быть более благоразумным в своих изысканиях, а то и совсем их прекратить.

— Да,— сказала Маргарита,— но ведь доходов-то у нас никаких не будет? Сто тысяч франков, обеспеченные закладною на дом, ничего не принесут; так как мы в нем живем. Того, что мы получим с земель, принадлежащих отцу на Оршийской равнине, хватит лишь для выплаты процентов за триста тысяч франков, которые отец должен посторонним лицам,— так на что же мы будем жить?

— Прежде всего,— заметил Эммануил,— если вы обратите в государственные ценные бумаги те пятьдесят тысяч франков, которые достанутся Габриэлю в качестве его доли, вы будете получать по нынешнему курсу свыше четырех тысяч франков ежегодного дохода, их хватит Габриэлю и на пансион и на все его содержание в Париже. Он не может располагать ни суммой, причитающейся по закладной на отцовский дом, ни ценными бумагами; таким образом, нечего бояться его расточительности, и вам будет заботой меньше. Затем, разве не останется на вашу долю полутораста тысяч франков?

— Отец будет у меня просить,— сказала она с испугом,— и я не в силах буду ему отказать.

— Ну, что же, милая Маргарита, есть средство их спасти, устранившись от распоряжения ими. Внесите их в государственное казначейство на имя брата. Эта сумма

даст вам двенадцать — тринадцать тысяч франков ежегодного дохода, на них вы проживете. А так как правоспособные несовершеннолетние все же не могут передавать свои права другому лицу без согласия семейного совета, то вы таким образом обеспечите себе три года спокойствия. За это время ваш отец решит свою проблему или, вероятно, от нее откажется; став совершеннолетним, Габриэль вернет вам фонды, чтобы произвести расчет между всеми вами.

Маргарита попросила объяснить ей подробнее предписания закона, которые она с первого раза не усвоила. Поистине необычная сцена: двое влюбленных изучают Гражданский кодекс, которым запасся Эммануил, чтобы истолковать своей возлюбленной закон относительно имущественных прав несовершеннолетних; вскоре она усвоила его благодаря врожденной женской проницательности, которой любовь придала еще большую остроту.

На следующий день Габриэль вернулся в отцовский дом. Когда де Солис подвел его к Валтасару, сообщая, что он принят в Политехническую школу, отец с благодарностью пожал директору руку, заметив:

— Очень рад. Следовательно, Габриэль станет ученым.

— Брат, хорошенько работай,— сказала Маргарита, увидав, что Валтасар уже опять поднимается в лабораторию,— не растрачивай денег! Не отказывай себе в необходимом, но будь бережлив. В отпускные дни бывай у наших друзей, у наших родственников, чтобы не перенимать склонностей, разорительных для молодых людей. Пансион твой будет стоить почти тысячу экю, и тебе останется на мелкие расходы еще тысяча франков, этого должно хватить.

— За него ручаюсь,— сказал Эммануил де Солис, похлопав своего ученика по плечу.

Через месяц г-н де Конинкс в согласии с Маргаритой добился от Клааса всех нужных гарантий. Планы, столь мудро составленные Эммануилом де Солисом, были всецело одобрены и выполнены. Перед лицом закона, в присутствии родственника, суровая порядочность которого не знала уступок в вопросах чести, Валтасар, пристыженный продажей, на которую согласился только

под натиском кредиторов, подчинился всем предъявленным ему требованиям. Довольный тем, что может возместить ущерб, почти невольно нанесенный детям, он подписал документы, рассеянно взглянув на них, как и полагается ученому. Он потерял всякую предусмотрительность, вроде тех негров, которые утром за глоток водки продают жену, а вечером плачут о ней. Он не заботился даже о ближайшем будущем. Валтасар не спрашивал, каковы же будут источники его доходов после того, как он истратит последнее свое экю; он продолжал свои работы и покупки, не ведая того, что только значится владельцем дома и имущества, что суровый закон не даст ему добыть ни гроша под имения, которые он лишь юридически охраняет. 1818 год кончился без каких бы то ни было несчастий. Сестры оплачивали воспитание Жана, а в домашних расходах удовлетворялись восемнадцатью тысячами франков ренты, которая была приобретена на имя Габриэля, аккуратно каждые полгода высылавшего им проценты. В декабре де Солис потерял дядю.

Однажды утром Маргарита узнала от Марты, что отец продал коллекцию тюльпанов, мебель из переднего дома и все серебро. Ей пришлось опять покупать столовые приборы, которые она пометила своими инициалами. До этого дня она хранила молчание по поводу грабительства Валтасара, но вечером, после обеда, она попросила Фелицию оставить ее с отцом наедине, и когда он, как всегда, сел у камина, Маргарита сказала ему:

— Папенька, вы вольны все продать здесь, даже детей. Мы безропотно вам подчинимся, но я принуждена заметить вам, что денег у нас нет, что мы едва дотянем до конца года. Мы с Фелицией должны работать день и ночь, чтобы закончить кружевное платье и из вырученных денег оплатить пансион Жана. Заклинаю вас, дорогой папенька, прекратите ваши работы!

— Дитя мое, ты права; через полтора месяца все будет кончено! Я найду Абсолют или приду к выводу, что Абсолюта нельзя найти. Вы все станете миллионерами...

— Оставьте нам пока хоть кусок хлеба,— ответила Маргарита.

— У нас нет хлеба? — с испугом воскликнул Валтасар.— Нет хлеба у Клааса!.. А все наши имения?

— В Вэньи вы свели лес. Но почва еще не расчищена, и там ничего не растет. Что же касается ваших оршийских ферм, то доходов с них не хватает для выплаты процентов на занятые вами суммы.

— Чем же мы живем? — спросил он.

Маргарита показала ему свою иголку и добавила:

— Рента Габриэля поддерживает нас, но недостаточно. Концы с концами я сведу на этот год, если только вы не засыплете меня нежданными накладными, ведь вы не говорите ни слова о своих покупках в городе. Вот, думаю, денег нам хватит на три месяца, все распределяю в нашем небольшом хозяйстве, а тут вдруг приходит счет на поташ, соду, цинк, серу, не знаю на что еще!

— Дитя мое, еще полтора месяца терпения, потом я буду вести себя благоразумно. Ты увидишь чудеса, Маргариточка.

— Пора вам подумать о делах. Вы все продали: картины, тюльпаны, серебро, у нас ничего не остается; по крайней мере не входите в новые долги.

— Больше не войду,— сказал старик.

— «Больше»! — вскричала она.— Значит, у вас они уже накопились?

— Пустяки, безделица,— ответил он, краснея и отводя взгляд.

Впервые Маргарита почувствовала унижение оттого, как опустился отец, и так ей это было больно, что у нее не хватило мужества расспрашивать. Через месяц после этой сцены явился местный банкир и предъявил подписанный Клаасом вексель на десять тысяч франков. Когда Маргарита просила у банкира на день отсрочки, высказав сожаление, что ее не предупредили об этом платеже, он обратил ее внимание на то, что у торгового дома Проте и Шифревиль имеется еще девять векселей по десяти тысяч, сроком на каждый следующий месяц.

— Все ясно! — воскликнула Маргарита.— Час настал.

Она послала за отцом и в огромном волнении ходила по зале большими шагами, размышляя:

«Надо найти сто тысяч франков, или отец попадет в тюрьму!.. Что делать?»

Валтасар все не приходил. Устав его ждать, Маргарита поднялась в лабораторию. Она вошла и увидела

отца среди огромной, очень светлой комнаты, заставленной машинами и запылившимися стеклянными приборами; там и сям книги, на столах—разнообразнейшие химические вещества, все с этикетками и номерами. Беспорядок, характерный для вечно занятого ученого, грубо противоречил фламандским привычкам. Над этим множеством колб, реторт, металлов, кристалликов фантастической окраски, проб, подвешенных по стенкам или сваленных на печь, царил Валтасар Клаас, без сюртука, с засученными, как у рабочего, рукавами и распахнутой грудью, на которой волосы так же поседели, как и на голове. Ужасающе пристально глаза его следили за пневматической машиной. Укрепленная над приемником двояковыпуклая стеклянная линза, наполненная спиртом, собирала солнечные лучи, падавшие сквозь круглое чердачное окно. Приемник стоял на особой подставке и соединялся проводами с огромной батареей Вольта. Лемюлькинье, который передвигал подставку этой машины, установленной на подвижной оси так, чтобы линза всегда была перпендикулярна солнечным лучам, поднялся, весь черный от пыли, и сказал:

— Стойте, барышня, не подходите!

Поза Валтасара, казалось, преклонившего колени перед своей машиной, под падавшими прямо на него солнечными лучами, его поредевшие волосы, похожие на серебряные нити, его шишковатый череп, черты лица, напрягшиеся в сосредоточенном ожидании, необычность окружающих предметов, причудливые машины, выступавшие из темных углов обширного чердака,— все вместе поразило Маргариту, в испуге она решила: «Отец сошел с ума!»

Она подошла к нему и шепнула на ухо:

— Отошлите Лемюлькинье.

— Нет, нет, дитя мое, он мне нужен; я жду результатов одного превосходного опыта, который другим не приходил в голову. Вот уже три дня мы подкарауливаем луч солнца. Я располагаю возможностью подвергнуть металлы действию сконцентрированного солнечного света и электрического тока в пустом пространстве. Видишь ли, сейчас произойдет самая сильная реакция, какую только может произвести химик, и один только я...

— Ах, папенька, чем превращать металл в газообраз-

ное состояние, лучше бы вы его сберегли, чтобы оплатить векселя...

— Постой, постой!

— Папенька, приходил господин Мерсктус: к четырем часам необходимо уплатить ему десять тысяч франков.

— Да, да, сию минуту. Я подписал какие-то бумажонки сроком на этот месяц, это правда. Я рассчитывал найти Абсолют. Бог мой, будь у меня июльское солнце, мой опыт уже удался бы.

Он схватился за волосы, сел в плохонькое камышовое кресло, и слезы навернулись у него на глаза.

— Верно, барин! — сказал Лемюлькинье.— Все это из-за подлого солнца, слабо светит, нерадивый увалень!

И господин и слуга не обращали никакого внимания на Маргариту.

— Оставьте нас, Мюлькинье,— сказала она.

— Ах! Есть еще один опыт! — воскликнул Клаас.

— Папенька, забудьте об опытах,— сказала дочь, когда они остались вдвоем,— вам нужно заплатить сто тысяч франков, а у нас ни гроша. Бросьте свою лабораторию, дело идет о вашей чести. Что с вами будет, ведь вы попадете в тюрьму! Неужели вы осквернite свои седины и имя Клаасов позором банкротства? Я этого не допущу. У меня хватит сил, чтобы справиться с вашим безумием. Как было бы ужасно, если бы под конец жизни вы очутились без куска хлеба! Не закрывайте глаз на наше положение, образумьтесь же наконец!

— «Справиться с моим безумием»? — закричал Валтасар, выпрямляясь и пристальным, сверкающим взглядом окидывая дочь.— Безумием! — скрестив руки на груди, повторил он с таким величием, что Маргарита вздрогнула.— Ах, твоя мать так не сказала бы,— продолжал он,— она способна была постигнуть всю важность моих исканий, она изучала науку, чтобы понимать меня, знала, что я работаю ради человечества, а не из личного корыстного расчета. Вижу, чувство любящей жены выше дочерней привязанности. Да, любовь — прекраснейшее из чувств! «Образумиться»? — продолжал он, ударяя себя в грудь.— Разве я потерял разум? Разве я — не я? Мы бедны, моя дочь, ну что же, таково мое желание. Я ваш отец, повинуйтесь мне. Когда захочу,

обогащу вас. Ваше богатство — та же нищета. А когда мне удастся разложить углерод, то я всю залу наполню алмазами, и это еще пустяк в сравнении с тем, чего я ищу. Можете подождать, ежели все мои силы уходят на гигантский труд...

— Отец, у меня нет права требовать от вас отчета в четырех миллионах, безрезультатно поглощенных на этом чердаке. Не стану говорить о матери, которую вы убили. Будь у меня муж, я, конечно, любила бы его так, как вас любила маменька. Я всем пожертвовала бы ради него, как она все принесла вам в жертву. По ее приказанию я всецело посвятила себя вам, я доказала это тем, что до сих пор не выхожу замуж, лишь бы избавить вас от опекунского отчета. Но оставим прошлое, подумаем о настоящем. Моими устами говорит необходимость, которую вы сами создали. Нужны деньги для уплаты по вашим векселям, понимаете? Взять у нас нечего, разве только портрет нашего предка Ван-Клааса. Я пришла сюда во имя матери, которая сама оказалась слишком слабой, чтобы защитить детей от отца, и мне завещала противиться вам, я пришла во имя братьев и сестры, пришла, отец, во имя всех Клаасов — требовать, чтоб вы прекратили ваши опыты до тех пор, пока не составите себе состояния. Вы опираетесь на отцовские права, но проявляете их только в том, что губите нас, а на моей стороне ваши предки и честь, их голоса громче, чем голос химии. Сначала семья, потом наука. Я слишком долго была покорной дочерью.

— А теперь хочешь стать палачом? — сказал он слабеющим голосом.

Маргарита убежала, чтобы не изменить взятой на себя роли, ей показалось, что до нее доносится голос матери: «*Слишком ему не противоречь... люби его*».

— Славную штуку устроила барышня там, наверху! — сказал Лемюлькинье, сходя в кухню к завтраку.— Вот-вот поймали бы мы секрет, для этого нужно только чуточку июльского солнца. Ведь что за человек барин! Чудотворец, да и только! Чтобы открыть основу всего, нам недостает вот столечко,— сказал он Жозете, прикусив ноготь большого пальца зубом, который в народе называют *лопаткой*,— и вдруг трах-трах! Пришла вопить о каких-то дурацких векселях...

— Что же, заплатите по этим векселям из своего жалованья! — сказала Марта.

— А масла на хлеб нынче не будет? — обратился Лемюлькинье к Жозете.

— На какие деньги его купить прикажете? — язвительно ответила кухарка.— Как же так, старое чудовище? Золото вы делаете в своей дьявольской кухне, а почему же маслица не делаете? Не так это трудно, продавали бы на базаре, было бы у нас всего вдоволь. А мы едим себе хлеб всухомятку. Обе барышни только хлеб с орехами и едят, а вас, значит, надо лучше кормить, чем господ? Барышня тратит на все хозяйство не больше ста франков в месяц. Только обед и готовим. Коли полакомиться захотелось, так ведь есть у вас там печи, где жемчуг жарите,— только об этом на базаре и говорят. Так вот зажарьте себе там цыпленка!

Лемюлькинье взял хлеб и ушел.

— Чего-нибудь купит на свои деньги,— сказала Марта,— ну и хорошо, по крайней мере немножко сэкономим. Уж и скуп, чудище несусветное!

— Взять его, что ли, измором? — спросила Жозета.— Уже целую неделю нигде пыли не сотрет, ни-ни, все за него делаю, а он вечно наверху, мог бы мне и заплатить, хоть бы селедками угостил. Пускай только принесет, я уж у него возьму!

— Ах, барышня, слышно, плачет,— сказала Марта.— Не отец, а колдун, весь дом слопает и слова по-христиански не скажет. Право, колдун! В наших краях давно бы его живьем сожгли; а здесь не больше веруют, чем у мавров африканских.

Маргарита с трудом подавляла рыдания, проходя через галерею. Она дошла до своей комнаты, достала письмо матери и прочла следующее:

«Дитя мое, если богу будет угодно, твое сердце проникнется моими чувствами, когда ты станешь читать эти строки, последние, какие я напишу. Они полны любовью к моим детям, оставленным на произвол демона, противостоять которому я не умела. Раз ты читаешь это письмо, значит он отнял у вас хлеб насущный, как уничтожил мою жизнь и даже мою любовь. Тебе известно, дорогая, как я любила твоего отца! Но, умирая, я уже не люблю его, как прежде,— ведь я против него замыслила кое-что, в

чем при жизни не решилась бы признаться. Да, из глубины могилы подам я вам последнюю помощь в тот день, когда вы достигнете высшей степени несчастья. Итак, когда он доведет вас до нищеты, когда нужно будет спасать вашу честь, ты получишь у г-на де Солиса, если он будет в живых,— если же нет, у его племянника, милого нашего Эммануила,— около ста семидесяти тысяч франков, которые помогут вам прожить. Если его страсть неукротима, если дети для него не бо̀льшая преграда, чем мое счастье, и не могут остановить его на преступном пути, то покиньте отца, пока вы еще живы! Я не могла бросить его, не имела права. А ты, Маргарита, спасай семью. Прощаю тебе все, что бы ты ни сделала для защиты Габриэля, Жана и Фелиции. Будь мужественна, будь ангелом-хранителем Клаасов. Будь тверда, не смею сказать — будь безжалостна; но чтобы поправить уже нанесенный ущерб, следует что-нибудь из этих денег сохранить, и ты должна так держать себя, точно нищета вас уже постигла; ничто не остановит этой яростной страсти, все у меня похитившей. Итак, дочь моя, во имя сердечных чувств стань бессердечной; если придется лгать отцу, твое притворство будет ко славе твоей; какими бы дурными ни казались твои поступки, они будут героическими, ты свершишь их ради защиты семьи. Так мне сказал добродетельный человек, г-н де Солис, а еще не было на свете более чистой и более чуткой совести, чем у него. Даже перед смертью я не нашла бы в себе силы сказать тебе все это. Однако всегда будь почтительной и доброй в жестокой борьбе! Сопротивляйся, обожая отца; отказывай мягко. Итак, суждены мне и после смерти еще неизведанные слезы и горести... Обними за меня милых деток, когда станешь их защищать. Бог и все святые да пребудут с тобой!

Жозефина»

К письму была приложена расписка обоих де Солисов, дяди и племянника, в которой они обязывались сумму, вверенную им г-жою Клаас, вручить тому из ее детей, кто эту расписку предъявит.

— Марта,— кликнула Маргарита дуэнью, немедленно явившуюся на зов.— Сходите к Эммануилу де Солису и попросите его прийти ко мне. Благородное, скром-

ное создание! Он ничего мне не сказал, хоть разделял со мною все горести и печали...

Эммануил пришел раньше, чем вернулась Марта.

— У вас есть от меня секреты! — сказала она, показывая ему расписку.

Эммануил опустил голову.

— Маргарита, значит, вы очень несчастны? — спросил он, и слезы навернулись ему на глаза.

— О да! Будьте мне опорой, ведь маменька вас назвала «милый наш Эммануил»,— сказала она, показывая ему письмо и будучи не в силах преодолеть радость оттого, что ее выбор одобрен матерью.

— Вся жизнь моя принадлежит вам с того дня, как я увидал вас в галерее,— ответил он, плача от радости и печали,— но я не знал, не смел подумать, что вы примите когда-нибудь мою жизнь. Если вы знаете меня, то должны понять, что слово мое свято. Простите мне, что я так покорно выполнил волю вашей матери, я не вправе был судить об ее намерениях.

— Вы спасли нас! — воскликнула она и взяла его под руку, чтобы сойти в залу.

Узнав о происхождении суммы, которую хранил Эммануил, Маргарита рассказала ему, какая в доме нужда.

— Надо немедленно оплатить векселя,— заметил Эммануил.— Если они все в руках Мерсктуса, вы избавитесь от уплаты накладных расходов. Остальные семьдесят тысяч я вручу вам. Бедный мой дядя завещал мне такую же сумму в дукатах, нетрудно будет тайком перенести их сюда.

— Да,— сказала она,— принесите их ночью; когда отец уснет, мы вдвоем их спрячем. Если он узнает, что у меня есть деньги, он может отобрать их насильно! О! Эммануил, не доверять своему отцу...— сказала она, плача и прижимаясь лбом к сердцу молодого человека.

Это прелестное и скорбное движение, которым Маргарита искала у него покровительства, было первым выражением любви, постоянно окутанной меланхолией, постоянно омраченной печалью. Но душа переполнилась, и случилось это под гнетом нищеты!

— Что делать? Как быть? Он ничего не видит, не заботится ни о нас, ни о себе. Не понимаю, как он еще жив на своем чердаке, ведь там такая жара!

— Чего ожидать от человека, который в любой момент восклицает, подобно Ричарду Третьему: «Пол-царства за коня!» — сказал Эммануил.— Он никогда не будет знать жалости, и вам следует стать такой же. Оплатите векселя, отдайте ему, если угодно, свое состояние; но состояние вашей сестры, ваших братьев ни вам, ни ему не принадлежит.

— Отдать мое состояние? — спросила она, пожимая руку Эммануилу и бросая на него пламенный взгляд.— Вы мне так советуете, вы, а ведь Пьеркен пускался на тысячу лживых уловок, только бы я сохранила свои богатства.

— Увы! Быть может, я эгоистичен на свой лад! — отвечал он.— Иногда мне хотелось бы, чтобы вы потеряли состояние, мне кажется, что вы были бы ближе ко мне; а иногда мне хочется, чтобы вы стали богаты, счастливы, и я считаю мелочной мысль о том, что людей может разделить ничтожное величие богатства.

— Дорогой мой! Не будем говорить о нас...

— О нас! — повторил он в опьянении и, помолчав, прибавил:— Беда велика, но поправима.

— Поправим ее только мы, в семье Клаасов нет главы. Дойти до того, чтобы перестать быть отцом, мужчиной, не иметь никаких понятий о справедливом и несправедливом! Ведь он, такой великий, великодушный, честный, расточил вопреки закону имущество детей, защитником которых он должен быть! В какую пропасть пал он? Боже мой! Чего он ищет?

— К несчастью, дорогая Маргарита, если он виновен как глава семьи, то как ученый он прав; десятка два людей в Европе будут восхищаться им, тогда как остальные сочтут его сумасшедшим; но вы можете без всяких колебаний отказать ему в деньгах детей. Открытие всегда бывало случайностью. Если вашему отцу суждено натолкнуться на решение проблемы, он найдет его без всяких издержек и, может быть, уже отчаявшись найти.

— Счастлива бедная моя мать, что погибла при первой же схватке с наукой,— сказала Маргарита,— а то ей пришлось бы тысячу раз испытывать смертные муки, прежде чем умереть. Конца не будет этому поединку...

— Конец уже виден,—отвечал Эммануил.— Когда у вас ничего не останется, у господина Клааса не будет кредита, и он все прекратит.

— Пусть же прекращает нынче! — воскликнула Маргарита.— Мы без средств.

Де Солис пошел выкупить векселя и принес их Маргарите. Валтасар спустился вниз еще до обеда, вопреки своему обыкновению. В первый раз за два года дочь заметила на его лице признаки ужасной печали: он вновь стал отцом, разум изгнал науку; он посмотрел во двор, в сад и, уверившись, что, кроме него с дочерью, никого здесь нет, подошел к ней, грустный и добрый.

— Дитя мое,— заговорил он, пожимая ее руку с умилительной нежностью,— прости старику отцу... Да, Маргарита, я виноват. Ты совершенно права. Раз мне ничего не удается открыть, я просто жалкий человек! Я уйду отсюда... Не хочу видеть, как продают Ван-Клааса,— сказал он, показывая на портрет мученика.— Он умер за свободу, я умру за науку, он — всеми чтимый, я — ненавидимый...

— Ненавидимый, папенька? Нет,— сказала она, бросаясь ему на грудь,— все мы вас обожаем. Разве не так, Фелиция? — обратилась она к входившей в эту минуту сестре.

— Что с вами, милый папенька? — сказала девочка, взяв его за руку.

— Я разорил вас...

— Э! — сказала Фелиция.— Братья помогут нам разбогатеть. Жан всегда идет первым в классе.

— Вот, папенька,— продолжала Маргарита, прелестным и лукавым движением подводя Валтасара к камину, с которого она взяла какие-то бумаги, запрятанные под часами,— вот ваши векселя, но больше не подписывайте, платить будет нечем...

— Значит, у тебя есть деньги?! — шепнул Валтасар на ухо Маргарите, оправившись от изумления.

От этих слов дыхание остановилось у мужественной девушки, столько было неистового восторга, радости и надежды на лице отца, который оглядывал все вокруг, точно ища, где спрятано золото.

— Папенька,— сказала она скорбным голосом,— у меня ведь есть свое состояние.

— Отдай его мне! — воскликнул он, жадно протягивая руки.— Верну тебе его сторицею.

— Да, я вам отдам все, что у меня есть,— ответила Маргарита, приглядываясь к Валтасару, не понявшему, какой смысл придает дочь своим словам.

— Ах, дорогая дочь,— сказал он,— ты спасаешь мне жизнь! Я задумал последний опыт, после него все возможности будут исчерпаны. Если и на этот раз я ничего не найду, придется отказаться от поисков Абсолюта. Обними меня, приди ко мне, возлюбленное мое дитя, я сделаю тебя счастливейшей женщиной на земле, ты возвращаешь меня к блаженству, славе; благодаря тебе я могу осыпать вас сокровищами, забросать вас драгоценностями, окружить роскошью...

Он поцеловал дочь в лоб, схватил ее руки, сжал их. Он выражал свою радость нежными ласками, показавшимися Маргарите почти угодливыми. За обедом Валтасар видел только ее, он смотрел на нее заискивающе, внимательно, пристально, как смотрит влюбленный: достаточно было ей сделать движение, и он уже старался угадать ее мысль, ее желание, приподнимался, готовый услужить; ей становилось совестно; в этой предупредительности чувствовалось что-то мальчишеское, несовместимое с его преждевременной старостью. Но в ответ на все эти нежности Маргарита подчеркивала нынешнюю их нищету то словом сомнения, то взглядом, брошенным на пустые поставцы в столовой.

— Э, что там! Через шесть месяцев мы все наполним золотом и диковинками,— сказал он.— Будешь как царица. Вся природа будет принадлежать нам, мы будем выше всего... благодаря тебе, Маргарита! Маргарита! — продолжал он с улыбкой.— Твое имя пророческое, ведь «Маргарита» означает жемчуг. Стерн где-то об этом говорит. Ты читала Стерна? Хочешь его прочесть? Он тебя позабавит.

— Жемчуг, говорят, плод болезни,— возразила она,— а мы уже достаточно страдали.

— Не печалься, ты дашь счастье тем, кого любишь, ты будешь могущественна, богата...

— У барышни доброе сердце,— сказал Лемюлькинье, скорчив в улыбке свое рябое лицо.

Самым очаровательным человеком, самым обаятель-

ным собеседником показал себя в тот вечер Валтасар перед дочерьми. Как змей-искуситель, изливал он и словами и взором магнетический ток, расточал то могущество гения, ту приятность ума, которые околдовывали Жозефину, и, так сказать, окружал дочерей теплом своего сердца. Когда пришел Эммануил де Солис, он впервые за долгое время увидал отца и детей вместе. Несмотря на свою настороженность, молодой директор поддался очарованию этой сцены — так бесконечно привлекательны были речи и ласковость Валтасара. Хотя люди науки и погружены в бездны мысли и постоянно заняты жизнью умственной, тем не менее они замечают мельчайшие частности окружающей жизни. Эти люди, не столько рассеянные, сколько делающие все невпопад, никогда не находятся в гармонии с окружающими, все они знают и все забывают; заранее судят они о будущем, пророчествуют самим себе, знают о событиях, прежде чем те произошли, но ничего не говорят. Если в тиши размышлений они прилагают свои способности к познанию происходящего вокруг, то довольствуются тем, что правильно угадывают: их увлекает самый процесс, и приобретенное ими понимание житейских дел они применяют почти всегда неловко. Порою пробуждаясь от такой апатии в отношении к обществу или из мира духовного попадая в мир внешний, они обнаруживают богатую память, и оказывается, что они ничему не чужды. Так Валтасар, соединивший в себе проницательность сердца с проницательностью ума, понимал все прошлое своей дочери, знал или угадывал малейшие события таинственной любви, соединявшей ее с Эммануилом, он тонко это им показал и одобрил их любовь, разделив ее с ними. То была самая сладостная нежность, какая только может исходить от отца, и оба влюбленных не могли ей противиться. А по контрасту с огорчениями, осаждавшими со всех сторон эти бедные юные создания, вечер был восхитительным. Когда, так сказать, напитав их своим светом и омыв нежностью, Валтасар удалился, Эммануил де Солис, в движениях которого сказывалась какая-то принужденность, вынул наконец три тысячи дукатов золотом, которые он держал у себя в карманах, все время опасаясь, как бы этого не заметили. Он положил их на рабочий столик Маргариты, прикрывшей их бельем, которое она чинила,

и отправился за остальными деньгами. Когда он вернулся, Фелиция уже ушла спать. Пробило одиннадцать часов. Марта, не ложившаяся, чтобы помочь раздеться барышне, была занята у Фелиции.

— Где спрятать? — спросила Маргарита, не отказав себе в удовольствии перебрать пальцами несколько дукатов (ребячество, погубившее ее!..).

— Я приподниму эту мраморную колонку, у нее полый цоколь,— сказал Эммануил,— вы сунете туда свертки, и сам черт их там не найдет.

В ту минуту, когда Маргарита совершала свой последний переход от рабочего столика к колонке, она испустила пронзительный крик, выронила свертки, монеты прорвали бумагу и покатились по паркету: отец стоял в дверях залы, и такая жадность написана была на его лице, что Маргарита испугалась.

— Что это вы здесь делаете? — проговорил он, поглядывая поочередно то на свою дочь, окаменевшую от страха, то на молодого человека, сразу выпрямившегося, хотя, впрочем, само пребывание его около колонки было достаточно красноречиво.

С каким-то ужасным звоном падали червонцы на паркет, что-то зловещее чудилось в том, как они катились по полу.

— Я не ошибся,— сказал, усаживаясь, Валтасар,— мне послышался звон золота...

Он был не менее взволнован, чем молодые люди, сердца которых так бились в унисон, что их биение слышалось, как удары маятника, среди глубокого молчания, сразу воцарившегося в зале.

— Благодарю вас, де Солис,— сказала Маргарита Эммануилу, бросая на него взгляд, который означал: «Помогите мне спасти эти деньги».

— Как! Это золото...— вмешался Валтасар, бросая то на дочь, то на Эммануила страшный испытующий взгляд.

— Золото принадлежит господину де Солису, который был так добр, что ссудил его мне, чтобы можно было уплатить сполна все наши долги,— ответила Маргарита.

Де Солис покраснел и собирался уйти.

— Постойте,— сказал Валтасар, за руку удерживая его.— Не скрывайтесь от моей благодарности.

— Вы мне ничего не должны. Деньги принадлежат вашей дочери, она берет их у меня взаймы под свои земли,— сказал он, взглянув на возлюбленную, которая поблагодарила его неприметным движением ресниц.

— Этого я не допущу,— сказал Клаас, взяв перо и лист бумаги со стола, за которым обычно писала Фелиция.

И, обернувшись к изумленным молодым людям, он спросил:

— Сколько здесь?

Страсть сделала Валтасара хитрее самого ловкого плута-интенданта: он уже готов был завладеть деньгами. Маргарита и де Солис замялись.

— Сочтемте,— предложил Клаас.

— Здесь шесть тысяч дукатов,— заметил Эммануил.

— Семьдесят тысяч франков,— сказал Клаас.

Взгляд Маргариты придал ее возлюбленному мужество.

— Ваше обязательство ценности не имеет,— почтительно сказал он,— простите мне это чисто техническое выражение: нынче утром я ссудил вашей дочери сто тысяч франков, чтобы выкупить векселя, которые вы были не в состоянии оплатить, значит, и мне никаких гарантий вы дать не могли бы. Все сто семьдесят тысяч франков принадлежат вашей дочери, которая может располагать ими, как ей угодно, но я даю их взаймы, только взяв с нее обещание подписать закладную на ее долю в землях Вэньи, в тех угодьях, где недавно вырублен лес.

Маргарита отвернулась, чтобы скрыть выступившие у нее на глазах слезы,— она знала, каким чистосердечием отличался Эммануил. Воспитанный своим дядей в самом суровом соблюдении добродетелей, предписываемых религией, молодой человек особенно опасался лжи; вручив Маргарите свою жизнь и сердце, он жертвовал теперь и своею совестью.

— Прощайте,— сказал ему Валтасар.— Я думал, вы больше доверяете человеку, который смотрит на вас, как на сына...

Эммануил обменялся с Маргаритой печальным взглядом. Марта пошла проводить его и запереть дверь на улицу. Когда отец и дочь остались одни, Клаас сказал дочери:

— Ты любишь меня, не правда ли?

— Бросьте ваши уловки, папенька. Вы хотите денег? Их вы не получите.

Она стала собирать дукаты, отец молча помогал ей поднимать их с полу и пересчитывать. Маргарита приняла его помощь без малейшего недоверия. Когда две тысячи дукатов были сложены в столбики, Валтасар сказал с отчаянием:

— Маргарита, это золото мне необходимо!

— Было бы воровством, если бы вы его взяли,— ответила она холодно.— Послушайте, папенька, лучше убить нас сразу, чем заставлять нас каждый день претерпевать тысячу смертей. Что ж, посмотрим, кто одолеет — вы или мы!..

— Значит, вы убьете своего отца! — продолжал он.

— Мы отомстим за мать,— сказала она, указывая на то место, где умерла г-жа Клаас.

— Дочь моя, если бы ты знала, зачем оно мне нужно, ты не произнесла бы таких слов. Послушай, я объясню тебе, какую задачу должен я разрешить... Но ты ведь не поймешь! — вскричал он с отчаянием.— Словом, дай мне деньги! Хоть раз поверь в своего отца... Да, я знаю, я доставил твоей матери много страданий, я расточил, как выражаются невежды, свое состояние и промотал ваше, вы все теперь вынуждены работать из-за моего безумия, как ты это называешь, но, ангел мой, дорогая, любовь моя, моя Маргарита, выслушай же меня! Если мне не удастся, я покорюсь тебе, я буду тебе повиноваться, как должна бы повиноваться мне ты; я буду исполнять твои желания, вверю тебе все свое имущество, откажусь от опеки над детьми, отрекусь от всякой власти. Клянусь памятью твоей матери! — сказал он, проливая слезы.

Маргарита отвернулась, чтобы не видеть лицо его, залитое слезами, и Клаас бросился к ногам дочери, думая, что она готова уступить.

— Маргарита, Маргарита! Дай мне их, дай! Что такое шестьдесят тысяч франков перед вечными угрызениями совести! Ведь я умру, меня это убьет... Выслушай меня! Мое слово свято. Если меня постигнет неудача, я отказываюсь от работы, покидаю Фландрию, даже Францию; если потребуешь, я пойду работать, как поденщик,

чтобы со временем по грошу снова сколотить состояние и вернуть детям все, что отняла у них Наука.

Маргарита хотела поднять отца, но он продолжал стоять на коленях и говорил, заливаясь слезами:

— В последний раз будь нежной, покорной дочерью. Если меня постигнет неудача, я сам признаю твою правоту, как бы сурово ты ни обращалась со мной. Зови меня тогда сумасшедшим стариком! Называй отцом-злодеем! Говори даже, что я невежда! Я в ответ буду целовать тебе руки. Можешь бить меня, если захочешь, и когда ударишь, я стану благословлять тебя, как лучшую из дочерей, вспоминая, что ты ради меня пожертвовала собою.

— Если бы нужно было пожертвовать только собою, я бы это сделала, но могу ли я допустить, чтобы наука убила моего брата и сестру? Нет!.. Довольно, довольно! — сказала она, вытирая слезы и отталкивая ласкающие руки отца.

— Мне нужно только шестьдесят тысяч франков и два месяца сроку! — воскликнул он, поднимаясь в бешенстве с колен.— Но дочь становится между славой, богатством и мною... Будь проклята! — сказал он.— Ты не дочь, не женщина, ты бессердечна! Не быть тебе ни матерью, ни женой!.. Позволь взять деньги! Ну, скажи, что позволяешь, милая моя детка, дитя мое возлюбленное! Я буду обожать тебя! — закончил он, с яростной решимостью протягивая руку к золоту.

— Против насилия я беззащитна, но бог и великий Клаас нас видят! — сказала Маргарита, показывая на портрет.

— Ладно, живи, запятнанная кровью отца! — закричал Валтасар, бросая на нее грозный взгляд.

Он встал, оглядел комнату и медленно направился к выходу. Дойдя до двери, он повернулся и, как нищий, умоляюще протянул руку, но Маргарита отрицательно покачала головой.

— Прощайте, дочь моя,— сказал он кротко,— попытайтесь жить счастливо!

Когда он исчез, Маргарита осталась в оцепенении, ей казалось, что она отделилась от земли: она уже не была здесь, в этой комнате, не чувствовала своего тела, у нее выросли крылья, и она парила в пространствах мира духовного, где все беспредельно, где мысль преодолевает

пространство и время, где некая божественная рука приподнимает покров, простертый над будущим. Ей казалось, что целые дни протекали после каждого шага отца, когда он поднимался по лестнице; затем она вздрогнула от ужаса, услыхав, что он вошел к себе в спальню. Подчиняясь предчувствию, осветившему ее душу пронзительным блеском молнии, она, не зажигая света, бесшумно, с быстротой стрелы промчалась по лестнице и увидала, что отец приложил ко лбу дуло пистолета.

— Все берите! — закричала она, бросаясь к нему.

Она упала в кресло. Валтасар, видя, как она бледна, принялся плакать по-стариковски; он сделался совсем ребенком, он целовал ее в лоб, говорил ей бессвязные слова, чуть не прыгал от радости и, казалось, готов был дурачиться с нею, как влюбленный дурачится со своей подругой, добившись блаженства.

— Будет, будет, папенька! — сказала она.— Подумайте о своем обещании! Если не достигнете успеха, будете мне повиноваться?

— Да.

— О моя мать! — сказала она, обернувшись к комнате г-жи Клаас.— Ведь вы все отдали бы, не правда ли?

— Спи спокойно,—сказал Валтасар,—ты добрая дочь.

— Спать! — сказала она.— Прошли счастливые сны моей юности; вы с каждым днем старите меня, папенька, как с каждым днем иссушали сердце моей матери...

— Бедное дитя, я хотел бы ободрить тебя, объяснить тебе значение великолепного опыта, который я только что задумал, ты поняла бы.

— Я понимаю только то, что мы разорены,— сказала она, уходя.

Утром на следующий день, который был отпускным в школе, Эммануил де Солис привел Жана.

— Ну, как? — печально спросил он, подходя к Маргарите.

— Я уступила,— ответила она.

— Жизнь моя! — сказал он с какой-то меланхолической радостью.— Если вы устояли бы, я восхищался бы вами; а такую, слабую, я вас боготворю!

— Бедный, бедный Эммануил, что останется на нашу долю?

— Предоставьте мне действовать,— воскликнул моло-

дой человек, просияв,— мы друг друга любим, все пойдет хорошо!

Несколько месяцев протекло совершенно спокойно. Де Солис внушил Маргарите, что все равно состояние не скопишь, урезывая себя в мелочах, и советовал ей не экономить на хозяйстве, а для поддержания в доме достатка взять остальные деньги, которые были у него на хранении. В это время Маргариту не раз охватывала тревога, которая при подобных же обстоятельствах некогда волновала ее мать. Как ни мало было в ней веры, все же она стала возлагать надежды на гений отца. Хотя это необъяснимо, но многие надеются, не имея веры. Надежда — цвет желания, вера — плод убежденности. Маргарита думала: «Если отец добьется своей цели, мы будем счастливы». Только один Клаас да Лемюлькинье говорили: «Мы добьемся!» К несчастью, с каждым днем все более омрачалось лицо Клааса. Приходя обедать, он иногда не смел взглянуть на дочь, иногда же бросал на нее торжествующие взгляды. Ежедневно молодой де Солис весь вечер разъяснял Маргарите трудные места в законах; она забрасывала отца вопросами об их семейных связях. Так закончила она свое мужское образование, очевидно, готовясь выполнить план, задуманный ею на случай, если отец еще раз потерпит поражение в поединке с *Неизвестным (X)*.

В начале июля Валтасар провел целый день, сидя на скамье в саду, погрузившись в печальные размышления Не раз взглянул он на клумбу, лишенную тюльпанов, на окна комнаты, где жила Жозефина; без сомнения, он содрогался от мысли, во что обошлась его борьба; по всему было видно, что он думает не о науке. Незадолго до обеда Маргарита подсела к нему с работой.

— Что же, папенька, не удалось?

— Нет, дитя мое...

— Ах, я не сделаю вам ни малейшего упрека, мы оба виноваты,—нежно сказала Маргарита.— Я требую только, чтобы вы свое слово выполнили, оно должно быть свято; ведь вы — Клаас. Любовью и уважением окружают вас дети, но с нынешнего дня вы у меня под властью и обязаны повиноваться. Будьте спокойны, правление мое будет мягким, и я даже постараюсь, чтобы оно кончилось

скоро. Я беру с собой Марту и уезжаю на месяц или около того, чтобы устроить ваши дела; ведь вы мое дитя,— добавила она, целуя его в лоб.— Завтра хозяйничать начнет Фелиция. Бедной девочке только семнадцать лет, ей против вас не устоять; будьте великодушны и копейки не просите у нее, ей дано ровно столько, сколько нужно для домашних расходов. Соберитесь с духом, на два-три года откажитесь от ваших работ и замыслов. Научная задача ваша созреет, я соберу деньги, необходимые для ее решения, и вы ее решите. Вот так. Разве королева ваша не милостива, скажите?

— Значит, не все потеряно! — сказал старик.

— Нет, если вы верны вашему слову.

— Буду покорен вам, дочь моя,— ответил Клаас с глубоким волнением.

На следующий день за Маргаритой заехал ее двоюродный дед Конинкс из Камбрэ. Он приехал в дорожной карете и пожелал остановиться у своего родственника только на короткое время, пока соберутся в дорогу Маргарита и Марта. Клаас приветливо принял родственника, но по всему было видно, как хозяин печален и унижен. Старый Конинкс угадал мысли Валтасара и за завтраком сказал ему с грубоватой откровенностью:

— У меня висят некоторые из ваших картин, люблю хорошие картины,—разорительная страсть, но мы все безумствуем, каждый по-своему...

— Дорогой мой дедушка! — сказала Маргарита.

— Идут слухи, что вы разорены, но у Клаасов всегда сохраняются сокровища вот здесь,— сказал он, ударяя себя по лбу.— И здесь также, не правда ли? — добавил, указывая себе на сердце.— А потому полагаюсь на вас! У меня в мошне нашлось несколько экю, можете ими располагать.

— Ах! — воскликнул Валтасар.— Я отдам вам целые сокровища...

— Единственные сокровища, которыми мы во Фландрии обладаем,— это терпение и труд,— сурово отвечал Конинкс.— Два эти слова начертаны на лбу у нашего предка,— сказал он, показывая на портрет Ван-Клааса, председателя суда.

Маргарита обняла отца, простилась с ним и, дав распоряжения Жозете и Фелиции, в почтовой карете от-

правилась в Париж. Овдовев, дедушка остался лишь с двенадцатилетней дочерью, а владел он огромным состоянием,— таким образом, представлялось вполне возможным, что он захочет жениться; и вот обитатели Дуэ решили, что Маргарита Клаас выходит за него замуж. Слухи об этом богатом женихе и привели нотариуса Пьеркена в дом Клаасов. Значительные перемены произошли в понятиях сего превосходного калькулятора. Последние два года городское общество разделено было на два враждебных лагеря. Дворянство сплотилось в один высший круг, буржуазия во второй, естественно, очень враждебный первому. Это внезапное разделение произошло по всей Франции и образовало в ней две отдельные, враждующие между собою нации, в которых все возрастало взаимное завистливое раздражение, послужившее в провинции одной из главных предпосылок для успеха июльской революции 1830 года. Между двумя общественными кругами, из которых один был крайне монархичен, другой — крайне либерален, очутились чиновники, допускаемые, смотря по чину, в тот или другой круг и в момент падения законной власти оставшиеся нейтральными. В начале борьбы между дворянством и буржуазией роялистские кофейни завели у себя неслыханную роскошь и так блестяще соперничали с кофейнями либералов, что их своеобразные гастрономические праздники, говорят, стоили жизни многим особам, которые, подобно плохо отлитым мортирам, не выдержали такого испытания. Разумеется, оба круга замкнулись и отстранили от себя посторонних. Хотя Пьеркен и был, по провинциальной мерке, очень богат, его не приняли в аристократическое общество и оттеснили к буржуазному. Самолюбие его сильно страдало от ряда понесенных им неудач, когда он видел, как мало-помалу спроваживают его от себя те, с кем прежде он поддерживал отношения. Он достиг сорокалетнего возраста — крайний срок, когда подумывающий о браке мужчина еще может жениться на молодой особе. Партии, на какие он мог притязать, относились к кругу буржуазному, тогда как честолюбие тянуло его в высший свет, куда должен был открыть ему доступ аристократический брак.

Живя уединенно, семейство Клаасов осталось чуждо этим общественным переменам. Хотя Валтасар Клаас при-

надлежал к старинной провинциальной аристократии, можно было предполагать, что, погруженный в свои изыскания, он не проникся антипатиями, порожденными новым разделением общества. Как ни была бедна дочь Клааса, супруг получил бы за нею в приданое удовлетворенное тщеславие, столь ценимое всеми выскочками. И вот Пьеркен вернулся к Клаасам с тайным намерением принести необходимые жертвы, только бы добиться заключения брака, сулившего ему осуществление его честолюбивых желаний. Навещая Валтасара и Фелицию во время отсутствия Маргариты, он, хотя и с запозданием, признал Эммануила де Солиса опасным соперником. Наследство покойного аббата считалось значительным, и человек, переводивший все в жизни на цифры, в деньгах молодого наследника видел силу более важную, чем соблазны чувства, о которых Пьеркен никогда не беспокоился. Этим богатством возвращалось имени Солиса все его значение. Золото и родовитость были подобны двум люстрам, которые усиливают свой блеск, отражая одна другую. Искренняя привязанность молодого директора к Фелиции, с которой он обращался, как с сестрой, возбудила ревность нотариуса. Он попытался затмить Эммануила модным жаргоном и поверхностью галантными словечками в сочетании с мечтательным видом и элегической озабоченностью, которые были ему так к лицу. Говоря, что во всем на свете разочарован, он поглядывал на Фелицию так, точно она одна могла бы примирить его с жизнью. Фелиция, к которой впервые мужчина обращался с комплиментами, прислушивалась к таким речам, всегда столь приятным, даже если они лживы; пустоту она приняла за глубину, и, испытывая потребность на что-нибудь направить те неясные чувства, что переполняли ее сердце, она обратила внимание на своего родственника. Быть может, безотчетно, но она завидовала тому, как Эммануил расточал сестре нежные знаки внимания, и, вероятно, ей хотелось самой привлекать к себе взгляды, мысли и заботы мужчины. Пьеркен без труда разобрал, что Фелиция предпочитает его Эммануилу, и это было для него основанием удвоить свои усилия,— в результате он запутался больше, чем сам того хотел. Эммануил наблюдал за началом чувства, быть может, притворного у нотариуса, но наивного у Фелиции, вся будущность кото-

рой делалась ставкой в игре. Потом у Пьеркена с Фелицией пошли тихие беседы, словечки, произнесенные шепотом за спиной Эммануила, маленькие уловки, придающие взглядам и словам особую, вкрадчивую приятность, которая приводит к простодушным заблуждениям. Пользуясь отношениями с Фелицией, Пьеркен пытался проникнуть в тайну предпринятого Маргаритой путешествия, чтобы узнать, не идет ли дело о браке и не должен ли он отказаться от своих надежд; но как он тонко ни действовал, ни Валтасар, ни Фелиция ничего не могли объяснить ему по той причине, что сами они ничего не знали о проекте Маргариты, которая, принимая власть, следовала, казалось, правилам всех властителей и молчала о своих намерениях. Скучными стали вечера из-за угрюмой печали и вялости Валтасара. Хотя Эммануилу и удалось приучить химика к игре в триктрак, Валтасар играл рассеянно; да и вообще этот человек столь большого ума производил теперь впечатление глупца. Потеряв надежду, униженный тем, что поглотил три состояния, чувствуя себя игроком, у которого нет денег, он сгибался под тяжестью разорения, под бременем надежд, обманутых, но не разрушенных. Человек гениальный, которому нужда связала руки, который сам себя проклинал, являл собою зрелище поистине трагическое, способное растрогать человека самого бесчувственного. Даже Пьеркен с невольным уважением смотрел на этого льва в клетке, который только взглядом, исполненным затаенной силы, спокойным и печальным, потускневшим от слишком яркого света, просил милостыни, не смея ничего произнести устами. Порой молния пробегала по иссохшему лицу, оживлявшемуся от мысли о каком-нибудь новом опыте; иногда — если, окидывая взором залу, он глядел на то место, где умерла его жена,— скупые слезы, как горячие крупицы песка, навертывались в пустыне его глаз, широко раскрытых в созерцании какой-то идеи, и он низко опускал голову. Он, как титан, поднял на своих руках мир, и вновь мир, еще тяжелее, упал ему на грудь. Эта скорбь гиганта, которую он мужественно сдерживал, действовала на Пьеркена и на Эммануила, иногда они бывали растроганы до того, что готовы были предложить ему сумму, необходимую для ряда опытов,— так заразительна убежденность гения! Оба они начинали понимать, как могли г-жа Клаас и Маргарита

бросать в пучину миллионы; но разум вскоре останавливал порывы сердца, и их растроганность выражалась лишь в словах утешения, от которых только острее становились муки пораженного молнией титана. Клаас совсем не говорил о своей старшей дочери, не беспокоился о том, что ее здесь нет, что она хранит молчание, не пишет ни ему, ни Фелиции. Когда Солис и Пьеркен спрашивали о ней, казалось, это действовало на Клааса неприятно. Предчувствовал ли он, что Маргарита замышляет что-то против него? Или сознавал он себя униженным тем, что передал дочери свои высокие отцовские права? Меньше ли стал любить ее оттого, что она становилась отцом, а он — ребенком? Быть может, много причин, много необъяснимых чувств, проносящихся в душе, как облака, обусловили ту молчаливую немилость, на которую он обрекал Маргариту. Как ни велики в своих исканиях великие люди, известные или неизвестные, счастливые или несчастливые, но им тоже свойственна мелочность, роднящая их с обыкновенными людьми. Вдвойне несчастные, они не меньше страдают от своих достоинств, чем от недостатков; быть может, и Валтасару пришлось свыкаться с муками оскорбленного тщеславия. Жизнь, какую он вел, и вечера, когда в отсутствие Маргариты они собирались вчетвером, были, таким образом, отмечены печалью, полны смутных опасений. То были дни бесплодные, как сухие степи, где тем не менее они находили кое-какие цветы, редкие утешения. Атмосфера казалась туманной в отсутствие старшей дочери, сделавшейся душой, надеждой и силой семьи. Так прошло два месяца, в течение которых Валтасар терпеливо дожидался приезда Маргариты. Ее привез в Дуэ дедушка, который, вместо того чтобы возвратиться в Камбрэ, остался в доме Клаасов, вероятно, рассчитывая своим авторитетом поддержать государственный переворот, задуманный внучкой. Приезд Маргариты стал маленьким семейным праздником. Фелиция и Валтасар пригласили в этот день к обеду нотариуса и Эммануила де Солиса. Когда дорожный экипаж остановился у ворот дома, все четверо, громко выражая свою радость, вышли встретить путешественников. Казалось, Маргарита была счастлива вновь очутиться под отчим кровом, глаза ее наполнились слезами, когда она проходила через двор, направляясь в залу.

Однако, когда она обнимала отца, чувствовалось, как она смущена и что-то таит от него. Маргарита краснела, как виноватая жена, не умеющая притворяться, но вновь стали ясными ее глаза, когда она взглянула на Эммануила, в котором, казалось, она черпала силы, чтобы осуществить до конца свой тайный замысел. За обедом, несмотря на веселость, оживлявшую лица и речи, отец и дочь посматривали друг на друга недоверчиво и пытливо. Валтасар не спрашивал Маргариту о пребывании ее в Париже, конечно, из чувства отцовского достоинства. Эммануил де Солис подражал ему в сдержанности. Но Пьеркен, привыкший узнавать все семейные тайны, сказал Маргарите, прикрывая любопытство притворным простодушием:

— Ну, как, дорогая кузина, посмотрели вы Париж, побывали в театрах?

— Ничего не видала я в Париже, не для развлечений ездила я туда,— ответила она.— Дни у меня шли так печально, слишком нетерпеливо я ожидала, когда снова увижу Дуэ.

— Не побрани я Маргариту, она и в Оперу не пошла бы, да и там, впрочем, скучала,— сказал г-н Конинкс.

Наступил тягостный вечер, все чувствовали себя стесненно, улыбались нерадостно или старались скрыть тревогу под показной веселостью. Маргариту и Валтасара охватило глухое, жестокое беспокойство, и это действовало на всех. С каждым часом отцу и дочери все труднее было сдерживать себя. Иногда Маргарита пыталась улыбнуться, но жесты, взор и звук голоса выдавали ее сильное беспокойство. Конинкс и де Солис знали причину тайного беспокойства благородной девушки и точно подбадривали ее выразительными взглядами. Задетый тем, что его не посвятили в планы и хлопоты, предпринятые ради него, Валтасар понемногу отдалялся от детей и друзей, предпочитая хранить молчание. Ему, вероятно, вскоре предстояло услышать от Маргариты, что она решила относительно него. Для незаурядного человека и для отца это положение было невыносимо. Дожив до такого возраста, когда от детей ничего не скрывают, когда широта мысли придает силу чувствам, он делался все более серьезным, задумчивым и печальным, видя, как приближается момент его гражданской смерти. Этот вечер

принес с собой перелом во внутренней жизни семьи, которому можно дать лишь образное пояснение. На небе скопились тучи и молнии; в полях раздавался смех; было душно, жарко; все предчувствовали грозу, тревожно поднимали голову, но продолжали свой путь. Г-н Конинкс первый пошел спать, и Валтасар проводил его в отведенную ему комнату. Тем временем ушли Пьеркен и г-н де Солис. Маргарита благосклонно простилась с нотариусом и ничего не сказала Эммануилу, только пожала ему руку, взглянув на него влажными глазами. Она отослала Фелицию, и когда Клаас вернулся в залу, он застал там только свою старшую дочь.

— Отец,— сказала она с дрожью в голосе,— только тяжелые обстоятельства, в каких мы очутились, могли заставить меня покинуть дом; но после многих тревог, преодолев неслыханные трудности, я возвращаюсь с кое-какими шансами на спасение всех нас. Благодаря вашему имени, влиянию дяди и протекции господина де Солиса мы добились для вас места управляющего окладными сборами в Бретани; оно дает, говорят, восемнадцать — двадцать тысяч в год. Дядя внес залог... Вот ваше назначение,— сказала она, вынимая из сумки письмо.— Жить здесь в эти годы жертв и лишений было бы для вас невыносимо. Наш отец должен остаться в положении по крайней мере таком же, какое он всегда занимал. Из вашего жалованья я ничего не потребую, употребляйте его, как вам заблагорассудится. Только умоляю вас подумать о том, что у нас нет ни копейки дохода и что мы все будем жить на то, сколько уделит нам Габриэль. В городе ничего не будут знать о нашей монастырской жизни. Если бы вы остались дома, то были бы помехой для того, что мы с сестрою предпримем с целью вернуть семье благосостояние. Злоупотребила ли я данной мне властью, ставя вас в такое положение, что вы сами можете поправить свои дела? Через несколько лет, если захотите, вы будете главноуправляющим окладными сборами.

— Итак, Маргарита,— кротко сказал Валтасар,— ты выгоняешь меня из моего дома.

— Я не заслуживаю такого сурового упрека,— ответила дочь, сдерживая бурное биение сердца.— Вы вернетесь к нам, когда вам можно будет жить в родном горо-

де, как вам подобает. Впрочем, папенька, разве вы мне не дали слова? — продолжала она холодно.— Вы должны мне повиноваться. Дедушка остался, чтобы вы поехали в Бретань с ним вместе, а не путешествовали один.

— Не поеду! — воскликнул Валтасар, поднимаясь.— Ни в чьей помощи не нуждаюсь, чтобы поправить свои дела и выплатить долги детям.

— Но я вам предлагаю наилучший исход,— невозмутимо продолжала Маргарита.— Попрошу вас подумать о взаимных наших отношениях, которые я вам в немногих словах объясню. Если вы остаетесь в этом доме, ваши дети уедут отсюда, предоставляя вам здесь быть хозяином.

— Маргарита! — крикнул Валтасар.

— Затем,— продолжала она, не желая замечать раздражения отца,— придется уведомить министра о вашем отказе, раз вы не хотите принять доходного и почетного места, которого мы, несмотря на хлопоты и протекцию, не получили бы, если бы дядя ловко не вложил несколько тысячефранковых билетов в перчатку одной дамы...

— Покинуть меня!

— Или вы нас покинете, или мы бежим от вас,— сказала она.— Будь я единственным у вас ребенком, я подражала бы матери, не ропща на уготованную вами участь. Но сестра моя и оба брата не погибнут от голода и отчаяния возле вас; так обещала я той, которая умерла здесь,— сказала она, показывая на ложе покойной матери.— Мы таили от вас наши горести, мы страдали молча; а теперь силы наши истощились. Мы уже не на краю пропасти, а на самом дне, отец! Одно только наше мужество нас не спасет, нужно еще, чтобы наши усилия не уничтожались беспрестанными прихотями страсти...

— Милые дети,— воскликнул Валтасар, хватая руку Маргариты,— я буду вам помогать, буду работать, я...

— Вот пути к тому,— ответила она, показывая на министерское письмо.

— Ангел мой, для того, чтобы поправить состояние таким способом, каким ты предлагаешь, потребуется слишком много времени! Из-за тебя я потеряю плоды десятилетних работ и огромные суммы, вложенные в мою лабораторию. Вот где,— сказал он, указывая на чердак,— все источники нашего богатства.

Маргарита пошла к дверям со словами:

— Отец, выбирайте!

— Ах, дочь моя, вы очень суровы! — ответил он, садясь в кресло и не пытаясь удержать дочь.

На следующий день утром Маргарита узнала от Лемюлькинье, что Клааса нет дома. При таком простом сообщении она побледнела, и такой ужас был написан на ее лице, что старый лакей сказал ей:

— Будьте покойны, барышня, барин сказал, что вернется в одиннадцать часов к завтраку. Они не ложились. В два часа утра стояли еще в зале и смотрели в окно на крышу лаборатории. Я дожидался в кухне и видел, они плакали, у них горе. А ведь настал славный июль месяц, когда солнце способно всех нас обогатить, и если бы вам было угодно...

— Довольно! — сказала Маргарита, угадывая, какие мысли, должно быть, осаждали отца.

С Валтасаром в самом деле произошло то, что имеет силу над всеми домоседами; жизнь его зависела, так сказать, от мест, с которыми он себя отождествил, мысль его настолько была связана с лабораторией и домом, что они стали ему необходимы, как биржа игроку, для которого праздники — потерянные дни. Здесь были его надежды, здесь нисходила с неба единственная атмосфера, в которой его легкие могли вдыхать живительный воздух. Такая зависимость от места и вещей, столь властная у натур слабых, становится почти тиранической у людей знания и науки. Покинуть свой дом — для Валтасара это значило отказаться от науки, от своей задачи, значило умереть.

Маргарита была в крайнем волнении до самого завтрака. Ей пришла на память сцена, чуть не доведшая Валтасара до самоубийства, и при том отчаянном положении, в каком находился отец, она боялась трагической развязки. Взад и вперед ходила она по зале, вздрагивая при каждом звонке у двери. Наконец Валтасар вернулся. Пока он пересекал двор, Маргарита с тревогой приглядывалась к его лицу и увидала лишь выражение глубокой скорби. Когда он вошел в залу, она подбежала к нему поздороваться; он нежно взял ее за талию, прижал к сердцу, поцеловал в лоб и сказал на ухо:

— Я ходил за паспортом.

Звук голоса, покорный взгляд и движения отца — все сокрушило сердце бедной девушки; она отвернулась, чтобы скрыть слезы, но, будучи не в силах справиться с ними, пошла в сад и вернулась, лишь когда наплакалась вволю. За завтраком Валтасар казался веселым, как человек, принявший решение.

— Значит, дядя, едем в Бретань,— сказал он г-ну Конинксу.— Мне всегда хотелось посмотреть эти края.

— Жить там дешево,— ответил старик.

— Папа уезжает? — воскликнула Фелиция.

Вошел де Солис, он привел Жана.

— Оставьте нам его нынче на весь день,— сказал Валтасар, сажая сына около себя.— Я завтра уезжаю, хочу проститься с ним.

Эммануил взглянул на Маргариту, которая опустила голову. Мрачен был этот день, все были печальны и боролись с тягостными мыслями или со слезами. То была не отлучка, а изгнание. Да и все инстинктивно чувствовали, сколько унижения для отца в том, что он так публично признается в своих неудачах, поступая на службу и, несмотря на свои преклонные годы, покидая семью. Но в нем чувствовалось величие, как в Маргарите — твердость; казалось, благородно несет он возмездие за ошибки, к которым привели увлечения его гениального ума. Когда вечер прошел и отец остался наедине с дочерью, Валтасар, весь день державший себя нежно и внимательно, как то было в лучшие дни его патриархальной жизни, протянул руку Маргарите и сказал ей голосом нежным и вместе с тем полным отчаяния:

— Довольна ты своим отцом?

— Вы достойны *его*,— ответила Маргарита, показывая на портрет Ван-Клааса.

На следующее утро Валтасар в сопровождении Лемюлькинье поднялся в лабораторию как бы для того, чтобы проститься с надеждами, которые он лелеял и которые здесь оживали перед ним в начатых работах. Хозяин и слуга обменялись меланхолическим взглядом, взойдя на чердак, быть может, в последний раз. Валтасар рассматривал машины, над которыми так долго парили его мысли: каждая была связана с воспоминанием о каких-нибудь поисках, о каком-нибудь опыте. Печально приказал он Лемюлькинье выпустить ядовитые газы и кислоты,

подальше одно от другого спрятать вещества, от соединения которых мог бы произойти взрыв. Принимая такие меры, он горько сетовал на свою судьбу, как сетует осужденный на смерть, готовясь идти на эшафот.

— Вот, однако, очень важный опыт, и результата его следовало бы подождать,— сказал он, останавливаясь перед ванной, куда были погружены оба провода вольтова столба.— Если бы он удался — какая ужасная мысль! — мои дети не прогнали бы отца,— ведь я бросил бы алмазы к их ногам... Вот комбинация углерода и серы,— добавил он, разговаривая сам с собою,— тут углерод играет роль положительного электрода, кристаллизация должна начаться на отрицательном электроде, и в случае разложения углерод оказался бы кристаллизованным...

— Ах, вот как! — сказал Лемюлькинье, с восхищением смотря на хозяина.

— Ведь эта комбинация подвергается воздействию вольтова столба, а оно может не прекращаться!..— немного погодя продолжал Валтасар.

— Если вам, барин, угодно, я еще усилю его...

— Нет, нет, нужно его оставить таким, как оно есть. Покой и время — условия, существенные для кристаллизации!..

— Черт возьми! Приходится дать ей время, этой кристаллизации! — воскликнул лакей.

— Если температура понизится, сернистый углерод кристаллизуется,— сказал Валтасар, сопровождая невнятными, отрывистыми словами размышление, которое в уме его складывалось в убедительной и ясной форме,— но если действие вольтова столба будет происходить при каких-то неизвестных мне условиях... нужно бы понаблюдать... возможно... Но о чем же я думаю? О химии нечего говорить, друг мой, едем в Бретань ведать окладными сборами...

Клаас стремительно покинул лабораторию и сошел вниз, к последнему семейному завтраку, на который были приглашены Пьеркен и де Солис. Валтасар спешил покончить со своей научной агонией, он простился с детьми и вместе с дядей сел в экипаж; вся семья провожала его до порога. Когда Маргарита горестно обняла отца и он шепнул ей на ухо: «Ты добрая дочь, никогда не

стану на тебя сердиться!» — она пробежала через двор, скрылась в зале, стала на колени там, где умерла ее мать, и вознесла богу горячую молитву, прося сил для выполнения суровых трудов в новой своей жизни. Когда вернулись сестра и брат, Эммануил и Пьеркен, проводив взглядом коляску, пока она не скрылась из глаз, сердцу Маргариты придал мужество некий внутренний голос, в котором ей послышалось одобрение ангелов и благодарность матери.

— Что же вы теперь будете делать? — сказал ей Пьеркен.

— Спасать семью,— ответила она просто.— У нас есть около тысячи трехсот десятин в Вэньи. Я намереваюсь их расчистить, разделить на три фермы, возвести необходимые для хозяйства постройки, отдать в аренду и думаю, что через несколько лет, при большой бережливости и терпении, у каждого из нас,— сказала она, показывая на сестру и брата,— будет по ферме в четыреста с лишним десятин, которая со временем будет давать до пятнадцати тысяч франков дохода. На долю брата Габриэля остаются дом и бумаги государственного казначейства. Со временем мы вернем отцу его состояние чистым от обязательств, употребив наши доходы на погашение его долгов.

— Дорогая кузина,— сказал нотариус, изумленный ее деловитостью и трезвым рассудком,— ведь вам нужно более двухсот тысяч франков, чтобы расчистить землю, построить фермы и купить скот... Где достанете вы такую сумму?

— Здесь начинаются затруднения,— сказала она, поглядывая то на нотариуса, то на г-на де Солиса,— у дедушки просить я не смею, он уже внес залог за отца!

— У вас есть друзья! — воскликнул Пьеркен, вдруг осознав, что *обе барышни Клаас были как-никак невестами, по меньшей мере на пятьсот тысяч франков каждая.*

Эммануил де Солис умиленно посмотрел на Маргариту, а Пьеркен при всем своем энтузиазме, к несчастью для себя, остался нотариусом и продолжал так:

— Вот, я предлагаю вам эти двести тысяч франков!

Эммануил и Маргарита, молчаливо советуясь, обменялись взглядом, от которого все стало ясно Пьеркену.

Фелиция залилась румянцем — она была счастлива, что ее Пьеркен оказался таким великодушным, как ей хотелось. Она взглянула на сестру, которая сразу догадалась, что за время ее отсутствия бедняжка поддалась на банальные ухаживания Пьеркена.

— Я возьму с вас только пять процентов,— сказал он.— Вернете, когда захотите, дадите мне закладную на вашу землю; но будьте покойны, вам придется только оплатить издержки по составлению договоров, я сам отыщу вам хороших арендаторов и все дела буду вести бесплатно, чтобы помочь вам как добрый родственник.

Эммануил подал знак Маргарите, чтобы она отказалась; но та слишком внимательно следила за малейшей сменой выражений на лице сестры, чтобы заметить его знак. Помолчав, она иронически посмотрела на нотариуса и сама, к великой радости де Солиса, сказала:

— Вы очень добрый родственник, другого от вас я и не ждала; но пять процентов замедлят наше избавление, я подожду совершеннолетия брата, тогда продадим его ренту.

Пьеркен закусил губу; Эммануил тихо улыбнулся.

— Фелиция, дорогая, проводи Жана в коллеж,— сказала Маргарита, показывая на брата.— С тобой пойдет Марта. А ты, Жан, ангел мой, будь умницей, не рви платья, мы не настолько богаты, чтобы шить новое так часто, как делали это до сих пор. Ну, иди, малыш, учись хорошенько.

Фелиция с братом ушли.

— Вы оба, конечно, навещали отца, когда меня не было? — обратилась Маргарита к Пьеркену и де Солису.— Благодарю вас за эти знаки дружбы. Надеюсь, не откажете вы в них и нам, двум бедным девушкам, нуждающимся в совете. Но условимся заранее... Когда я буду жить здесь, в городе, мы с величайшей радостью готовы принимать вас у себя; когда же Фелиция будет оставаться одна с Жозетой и Мартой, она, само собой разумеется, не должна никого видеть, будь то старый друг или преданнейший родственник. Мы очутились в таких обстоятельствах, что должны держать себя безупречно строго. Итак, мы обречены на долгий труд и уединение.

Некоторое время царило молчание. Эммануил, по-

груженный в созерцание лица Маргариты, точно онемел. Пьеркен не знал, что сказать. Нотариус распростился с Маргаритой, кляня в душе самого себя; он понял, что Маргарита любит Эммануила и что он, Пьеркен, вел себя сейчас, как дурак.

— Эх, Пьеркен, друг мой,— сам к себе обратился он с речью на улице.— Кто скажет, что ты порядочная скотина, тот будет прав. Ну не глуп ли я? У меня двести тысяч ливров ренты, помимо моей конторы, не считая еще наследства от дядюшки Дэраке, у которого я единственный наследник, так что он удвоит мне состояние рано или поздно (впрочем, смерти я ему не желаю, ведь он бережлив!), а я так опозорился, потребовав от Маргариты Клаас процентов. Уверен, что они вдвоем смеются теперь надо мною. Нечего мне больше думать о Маргарите! Нет! В конце концов Фелиция — кроткое и доброе существо и, право, больше мне подходит. У Маргариты железный характер, она захотела бы повелевать мною и повелевала бы! Ну, проявим великодушие, не будем же до такой степени нотариусом, разве уж так трудно мне сбросить с себя эту сбрую. Тысяча чернильниц! Буду любить Фелицию и на том стоять!.. У нее будет ферма в четыреста тридцать десятин, которая в свое время даст пятнадцать — двадцать тысяч ливров дохода, ведь земля в Вэньи не плоха. Вот умрет мой дядя Дэраке, бедняжка,— тогда продаю свою контору и становлюсь господином с пять-ю-де-сять-ю ты-сяч-а-ми ливров ренты. Жена моя — Клаас, я породнюсь со знатными домами. Черт возьми! Посмотрим, откажутся ли все эти Куртвили, Магалены, Савароны де Саварюсы посетить Пьеркен Клааса-Молина-Ноуро! Стану в Дуэ мэром, получу крест, могу быть депутатом, всего достигну... Вот так! Пьеркен, друг мой, на этом и стой, глупостей больше делать не будем, тем более что, честное слово, Фелиция... мадемуазель Фелиция Ван-Клаас любит тебя.

Когда влюбленные остались одни, Эммануил протянул руку Маргарите; девушка не могла удержаться и подала ему свою. Не сговариваясь, они сразу встали и направились к своей скамейке в саду; но, проходя по залу, Эммануил не вытерпел и голосом, дрожащим от радостного волнения, сказал Маргарите:

— У меня есть для вас триста тысяч франков!..

— Как,— воскликнула она,— бедная моя маменька передала вам еще?.. Нет... Так что же?

— О моя Маргарита, все, что мне принадлежит,— ваше! Разве не вы первая произнесли «мы»?

— Дорогой Эммануил! — сказала она, сжимая его руку, которую все еще держала в своей, и, вместо того чтобы идти в сад, бросилась в кресло.

— Не меня, а вас нужно благодарить,— сказал он с любовью в голосе,— за то, что вы соглашаетесь принять.

— Эта минута, дорогой мой возлюбленный,— сказала она,— может изгладить много горя, она приближает нас к счастливому будущему. Да, я принимаю твое богатство,— продолжала она, и по губам ее порхала ангельская улыбка,— я знаю, как сделать, чтобы оно стало моим.

Она взглянула на портрет Ван-Клааса, точно призывая его в свидетели. Молодой человек, следивший за взглядом Маргариты, не видал, как она сняла с пальца девичье колечко, и заметил это, только когда услыхал ее слова:

— Среди глубоких наших бедствий вдруг рождается счастье. Отец мой по беспечности предоставил мне свободно распоряжаться собою,— сказала она, протягивая кольцо,— возьми, Эммануил! Моя мать любила тебя, она одобрила бы мой выбор.

Слезы выступили на глазах Эммануила, он побледнел, упал на колени и сказал Маргарите, давая ей перстень, который всегда носил:

— Вот обручальное кольцо моей матери. Маргарита моя,— продолжал он, целуя кольцо,— получу ли я еще иной залог?

Она нагнулась, подставляя лоб губам Эммануила.

— Увы! Бедный мой возлюбленный, хорошо ли мы поступаем? — сказала она в сильном волнении.— Ведь нам так долго придется ждать.

— Мой дядя говорил, что обожание — это насущный хлеб терпения, подразумевая любовь христианина к богу. Так и тебя могу я любить, уже давно я не отличаю тебя от вседержителя: принадлежу тебе, как ему.

Некоторое время они оставались охваченными сладостным волнением. То было искреннее и спокойное излияние чувства, которое, подобно ручью, вышедшему из

берегов, разливалось непрерывными струями. События, разлучившие влюбленных, порождали у влюбленных печаль, которая сделала их счастье еще живее, придав ему как бы остроту боли. Слишком для них рано вернулась Фелиция. Повинуясь прелестной чуткости, свойственной тем, кто любит, Эммануил оставил сестер вдвоем,— лишь на прощание обменялся он с Маргаритой взглядом, и она могла увидать, чего стоила ему такая сдержанность, до того ясно выразил этот взгляд всю жажду счастья, долгожданного и только что освященного обручением сердец.

— Поди-ка сюда, сестрица,— сказала Маргарита, нежно обвив рукой шею Фелиции.

Она повела ее в сад, и они уселись на скамейке, которой каждое поколение вверяло свои любовные речи и скорбные вздохи, свои размышления и планы. Несмотря на веселый тон и нежно-лукавую улыбку сестры, Фелиция ощутила волнение, похожее на страх. Маргарита взяла ее за руку и почувствовала, что эта рука дрожит.

— Послушайте, мадемуазель Фелиция,— сказала старшая сестра, наклоняясь к уху младшей.— Я читаю в вашей душе. Пьеркен часто приходил, пока меня не было, он приходил каждый вечер, говорил вам приятные слова, а вы их слушали.

Фелиция покраснела.

— Не оправдывайся, ангел мой,— продолжала Маргарита,— ведь так естественно — любить! Быть может, твое сердечко воздействует немного на натуру Пьеркена: он эгоистичен, расчетлив, но он человек порядочный, и, может быть, даже его недостатки послужат тебе к счастью. Он будет любить тебя, как самую красивую свою вещь, устроит твою жизнь, как привык устраивать свои дела. Прости мне такие слова, милый друг! От скверной привычки видеть во всем только выгоду ты отучишь его тем, что преподашь ему законы сердца.

Фелиции ничего не оставалось, как обнять сестру.

— К тому же,— продолжала Маргарита,— он состоятелен. Семья его принадлежит к высшей и стариннейшей буржуазии. Да и мне ли противиться твоему счастью, если ты не хочешь его искать в блестящей партии?

— Дорогая сестра! — шепнула Фелиция.

— О да, ты можешь мне довериться! — воскликнула

Маргарита.— Признаться друг другу в наших тайнах — что может быть естественней для нас с тобою?

Ее задушевные слова повели к той очаровательной беседе, когда молодые девушки все говорят друг другу. Маргарита, которую любовь сделала прозорливой, поняла, что творится в сердце Фелиции, и в заключение сказала:

— Ну, хорошо, дорогое мое дитя, удостоверимся, что Пьеркен действительно тебя любит, и тогда...

— Предоставь мне действовать самой,— ответила Фелиция со смехом,— у меня есть образец для подражания.

— Дурочка! — сказала Маргарита, целуя ее в лоб.

Хоть Пьеркен принадлежал к тому разряду людей, которые в браке видят обязательства, исполнение законов общества и способ передачи имущества, и хотя ему безразлично было, жениться ли на Фелиции, или на Маргарите, раз у той и другой одна и та же фамилия и одинаковое приданое,— тем не менее он заметил, что обе они, по его выражению, *девицы романические и сентиментальные* (два прилагательных, употребляемых бессердечными людьми, чтобы посмеяться над дарами, которые природа скупой рукой сеет по бороздам человечества), и нотариус, вероятно, решил: с волками жить, по-волчьи выть,— на следующий день он пришел к Маргарите, таинственно увел ее в садик и заговорил о чувствах, раз таковы требования предварительного договора, который, по законам света, предшествует договору нотариальному.

— Дорогая Маргарита,— сказал он ей,— не всегда были мы одного мнения относительно того, какие средства употребить, чтобы добиться успеха в ваших делах; но вы должны теперь признать, что всегда мною руководило огромное желание быть вам полезным. Ну, вот. Вчера, предлагая вам помощь, я все испортил из-за роковой привычки, происходящей от *нотариального* склада ума, понимаете?.. Мое сердце не соучастник в содеянной мною глупости. Я очень полюбил вас, но мы, нотариусы, не лишены некоторой прозорливости, и я заметил, что вам не нравлюсь. Сам виноват! Другой был более ловок. Ну, так вот, теперь я пришел, чтобы сообщить вам чистосердечно, что питаю подлинную любовь к сестре вашей

Фелиции. Отнеситесь ко мне как к брату! Занимайте у меня, попросту берите! Эх, что там, чем больше возьмете, тем больше докажете свою дружбу. Весь к вашим услугам, *без процентов*, понимаете? Не только двенадцати, даже четверти процента не возьму. Найдут меня достойным Фелиции, я буду доволен. Простите мне мои недостатки, они развились во мне от деловой практики, сердце же у меня доброе, и ради счастья своей жены я готов буду хоть броситься в Скарпу.

— Вот и славно! — сказала Маргарита.— Но все зависит от сестры и отца...

— Знаю, дорогая Маргарита,— сказал нотариус,— но ведь вы заступили для всего семейства место матери, и как к *таковой* я к вам и обращаюсь. Будьте судьей моего сердца.

Эта манера говорить достаточно рисует честного нотариуса. Позже Пьеркен прославился своим ответом коменданту Сен-Омерского лагеря, который приглашал его на военный праздник; ответ начинался так: «Г. Пьеркен-Клаас де Молина-Ноуро, мэр города Дуэ, кавалер ордена *Почетного легиона*, в ответ на *таковое же* приглашение...»

Маргарита согласилась принять помощь нотариуса, но только в том, что относилось до его профессии, чтобы нисколько не нанести ущерба ни своему женскому достоинству, ни будущему своей сестры, ни независимости отца. В тот же день она поручила сестру заботам Жозеты и Марты, которые душой и телом были преданы молодой хозяйке и помогали ей в хозяйственных планах. Маргарита тотчас отправилась в Вэньи и принялась там за дела под умелым руководством Пьеркена. Нотариус прикинул в уме, что, переведенная на язык цифр, преданность окажется превосходной спекуляцией; свои заботы, свои труды он, так сказать, *вкладывал* в земельную собственность и не скупился на них. Раньше всего он постарался избавить Маргариту от трудностей расчистки и распашки земли, предназначавшейся для ферм. Он разузнал о трех сыновьях богатых фермеров, желавших завести собственное хозяйство, соблазнил их перспективами, какие сулило плодородие почвы, и склонил их к заключению арендного договора на три фермы, которые предстояло устроить. При условии бесплатного пользова-

ния фермами в течение трех лет фермеры обязались вносить по десяти тысяч франков арендной платы на четвертый и пятый год, двенадцать тысяч — на шестой и по пятнадцати тысяч за остальное время аренды, вырыть канавы, произвести посадки, купить скот. Пока строились фермы, фермеры расчищали землю. Через четыре года после отъезда отца Маргарита почти восстановила состояние брата и сестры. Двухсот тысяч франков хватило на все постройки. Ни в помощи, ни в советах не было недостатка у смелой девушки, поведение которой вызывало в городе восторг. Маргарита наблюдала за постройкой, за выполнением договоров и условий с тем здравым смыслом, энергией и упорством, на которые способны женщины, когда их одушевляет большое чувство. Начиная с пятого года, она уже могла употреблять тридцать тысяч франков, приносимых фермами, ренту брата и доходы с отцовских имений на выкуп заложенного имущества и на восстановление дома, столь пострадавшего от страсти Валтасара. Так как проценты по займам все уменьшались, выкуп был уже не за горами. Кроме того, Эммануил де Солис предложил Маргарите сто тысяч франков, оставшихся от наследства дяди, но она не стала их тратить, а присоединила к двадцати тысячам собственных сбережений и таким образом к третьему году своей деятельности расплатилась с долгами на значительную сумму. Такая жизнь, полная напряженной работы, лишений и самопожертвования, не прекращалась целых пять лет; впрочем, все клонилось к успеху и удачам с тех пор, как управляла всем и влияла на все Маргарита.

Став инженером путей сообщения, Габриэль, при поддержке дедушки, получил подряд на канал, так что быстро составил себе состояние и сумел понравиться своей кузине Конинкс, обожаемой своим отцом, одной из богатейших наследниц в обеих Фландриях. К 1824 году собственность Клаасов освободилась от долгов, и дом на Парижской улице восстановлен был в прежнем виде. Пьеркен уже официально просил у Валтасара руки Фелиции, так же как де Солис — руки Маргариты.

В начале января 1825 года Маргарита и г-н Конинкс поехали за отцом-изгнанником, прибытия которого все ждали с нетерпением; он уже подал в отставку, чтобы остаться в семье и завершить ее счастье. Во время от-

сутствия Маргариты, часто выражавшей сожаление, что к приезду отца не удалось заполнить пустые рамы в панелях галереи и приемных комнатах, Пьеркен и де Солис сговорились с Фелицией устроить Маргарите сюрприз, которым младшая сестра внесла бы, так сказать, свою долю в восстановление дома Клаасов. Они вдвоем купили несколько прекрасных картин и подарили их Фелиции для украшения галереи. Подобная же мысль возникла и у Конинкса. Желая засвидетельствовать Маргарите удовлетворение тем, как благородно она себя держала и с каким самопожертвованием выполняла завет матери, он распорядился привезти пятьдесят принадлежавших ему превосходных холстов, в том числе и те, которые когда-то продал ему Валтасар, так что удалось вполне восстановить галерею Клаасов. Уже несколько раз Маргарита вместе с сестрой или Жаном ездили повидаться с отцом; всякий раз она находила в нем все бóльшие и бóльшие перемены; но со времени последнего ее посещения старость стала обнаруживаться у Валтасара страшными признаками, чему, конечно, способствовало еще и то, что жил он скаредно, растрачивая большую часть своего жалованья на опыты, вечно обманывавшие его надежды. Хотя ему было только шестьдесят пять лет, но выглядел он восьмидесятилетним стариком. Глаза ввалились, брови поседели, волосы остались только на затылке; он отпустил бороду, которую сам подстригал ножницами, когда она начинала ему мешать; он согнулся, как престарелый виноградарь; беспорядок в одежде дошел до того, что она казалась нищенским рубищем, а дряхлость Клааса придавала ей еще более отвратительный вид. Хотя его величественное лицо, до неузнаваемости изборожденное морщинами, оживлялось могучей мыслью, все же остановившийся взгляд, выражение отчаяния, постоянное беспокойство запечатлели на нем черты безумия, или, вернее, всех безумий сразу. То появлялась на нем восторженная надежда, придававшая Валтасару выражение, свойственное мономану; то раздражение из-за невозможности угадать тайну, мелькавшую перед Клаасом, как блуждающий огонек, отпечатлевалось на его лице как бы симптомом бешенства; то вдруг взрыв смеха выдавал его безумие; а чаще всего полная подавленность приводила к тому, что все оттенки страсти уступали место

холодной, тупой удрученности. Как ни беглы и мало приметны для чужих людей были подобные признаки, к несчастью, слишком чувствительными становились они для тех, кто знал высокую доброту Клааса, величие его сердца и красоту лица, от которых сохранились лишь неясные следы. Лемюлькинье тоже состарился и, подобно своему барину, утомился от постоянных трудов, но ему не приходилось испытывать усталости мысли; на его лице странно соединились тревога за барина и восторг перед ним, легко вводившие в заблуждение; хотя он почтительно прислушивался к каждому его слову, хотя малейшие движения его ловил с какой-то нежностью,— все же он заботился об ученом, как мать заботится о младенце-несмышленыше; часто у него появлялся покровительственный вид, так как он действительно покровительствовал Валтасару в делах житейских, о которых тот никогда не думал. Оба старика, объятые одной идеей, верившие в реальность своей надежды, вдохновляемые одним и тем же желанием, представлявшие собою один — оболочку, а другой — душу их совместной жизни, являли собою зрелище ужасное и вместе с тем трогательное. Когда приехали Маргарита с Конинксом, оказалось, что Клаас живет в гостинице; преемник его не заставил себя ждать и уже вступил в должность.

Как ни поглотила Валтасара наука, желание вновь увидать родину, дом, семью волновало его; письмо дочери уведомило его о счастливых событиях; он думал завершить свою деятельность рядом опытов, которые должны были привести его к решению проблемы, поэтому он ждал Маргариту с чрезвычайным нетерпением. Дочь бросилась в объятия отца, плача от радости. На этот раз она явилась получить награду за свою скорбную жизнь и прощение за свою фамильную гордость. Она чувствовала себя преступной, подобно великим людям, которые ради спасения отечества нарушают принципы свободы. Но, взглянув на отца, она вздрогнула при виде перемен, произошедших в нем со времени последнего ее посещения. Тайный испуг внучки разделил и Конинкс, он настаивал на том, чтобы как можно скорее отвезти племянника в Дуэ, где влияние родины может восстановить его разум и здоровье, если он вернется к счастливой жизни у домашнего очага. После первых сердечных излияний, со

стороны Валтасара более сильных, чем ожидала Маргарита, он стал проявлять исключительную внимательность по отношению к ней, выразил сожаление, что принимает ее в плохой комнате гостиницы, осведомился о ее вкусах, с усердием любовника расспрашивал, что приготовить ей на обед,— словом, держал себя, как обвиняемый, который хочет склонить на свою сторону судью. Маргарита так хорошо знала отца, что угадала причину этих нежностей, предположив, что у него накопились здесь кое-какие долги, которые ему нужно выплатить перед отъездом. Она некоторое время наблюдала за отцом и увидала сердце человеческое во всей его наготе. Валтасар очень опустился. Сознание своего упадка и уединение, к которому его понуждали занятия наукой, развили в нем робость и как бы ребячество в отношении ко всему, что было чуждо любимым его занятиям; старшая дочь внушала ему почтение; с каждым днем ее все больше, должно быть, возвеличивали в его глазах воспоминания о ее прошлом самопожертвовании и об энергии, обнаруженной ею, сознание ее власти, которую он сам же ей предоставил, ее богатство и не поддающиеся определению чувства, понемногу овладевшие им с тех пор, как он отрекся от своего отцовского авторитета, уже сильно пошатнувшегося. Конинкс для Валтасара как бы ничего собою и не представлял, он видел только дочь и думал только о ней, опасаясь, казалось, ее, как иные слабые мужья опасаются жены, взявшей над ними верх и покорившей их себе; когда он поднимал на нее глаза, Маргарита огорченно подмечала в них выражение боязни, как у провинившегося ребенка. Благородная девушка не знала, как примирить величественный и грозный вид черепа, обнаженного наукой и трудами, с наивной угодливостью и с мальчишеской улыбкой на губах и на всем лице Валтасара. Оскорбительным был для нее контраст такого величия и такого ничтожества, и она обещала себе добиться, чтобы отец вновь обрел все свое достоинство в тот торжественный день, когда опять появится в кругу своей семьи. Прежде всего она улучила минуту, когда они остались одни, и сказала ему на ухо:

— Вы что-нибудь здесь задолжали?

Валтасар покраснел и ответил смущенно:

— Не знаю, Лемюлькинье все расскажет тебе. Он че-

стный слуга, а в моих делах более осведомлен, чем я сам.

Маргарита позвонила, и, когда лакей явился, она почти невольно стала вглядываться в лица обоих стариков.

— Что вам угодно, барин? — спросил Лемюлькинье.

У Маргариты, которая была вся гордость и благородство, сжалось сердце, когда она по тону и всей манере лакея заметила, что между отцом и его товарищем по работам установилась какая-то дурная фамильярность.

— Отец не может без вас сосчитать, сколько он здесь должен,— сказала Маргарита.

— Барин,— ответил Лемюлькинье,— должен...

При этих словах Валтасар сделал лакею какой-то тайный знак, заметив который Маргарита почувствовала себя униженной.

— Говорите же, сколько должен отец! — воскликнула она.

— Здесь барин задолжал тысячу экю аптекарю, который оптом торгует москательными товарами и поставлял нам едкий поташ, свинец, цинк и реактивы.

— Это все? — сказала Маргарита.

Валтасар снова подал знак Лемюлькинье, который, как зачарованный, ответил:

— Да, барышня.

— Хорошо,— продолжала она,— сейчас я их вам отдам.

Валтасар радостно обнял дочь со словами:

— Ты для меня ангел, дитя мое.

И он вздохнул легче, взглянул на нее веселее, но, несмотря на эту радость, Маргарита легко заметила на его лице следы глубокой тревоги и решила, что тысячу экю составляют только самые неотложные долги по лаборатории.

— Будьте откровенны, папенька,— сказала она, когда, подчиняясь желанию отца, уселась к нему на колени.— У вас есть еще долги? Признавайтесь мне во всем, возвращайтесь домой, не тая никаких опасений среди общего счастья.

— Дорогая Маргарита,— сказал он, взяв ее руки и целуя их с грацией, напоминавшей об его далекой юности,— ты будешь на меня ворчать...

— Нет,— сказала она.

— Правда? — ответил он, и у него вырвался жест ребяческой радости.— Значит, все тебе могу сказать, ты заплатишь?..

— Да,— сказала она, сдерживая слезы, выступавшие у нее на глазах.

— Так вот, я должен... о! Не смею...

— Говорите же, папенька.

— Сумма значительная,— продолжал он.

Она в отчаянии умоляюще сложила руки.

— Тридцать тысяч франков должен я Проте и Шифревилю.

— Тридцать тысяч составляют все мои сбережения, но я с удовольствием подарю их вам,— сказала она, почтительно целуя его в лоб.

Он встал, схватил дочь в объятия и стал кружиться по комнате, подкидывая ее, как ребенка, потом посадил ее в то же кресло, воскликнув:

— Милое дитя, ты настоящее сокровище любви! Ведь мне житья не давали. Шифревили написали мне три угрожающих письма, хотели начинать тяжбу со мной, со мной, обогатившим их...

— Папенька,— печально сказала Маргарита,— значит, вы продолжаете свои исследования?..

— Продолжаю,— сказал он, улыбаясь, как безумный.— Погоди, я еще найду... Если бы ты знала, чего мы достигли.

— Кто это — мы?

— Я говорю о Мюлькинье; он теперь стал понимать меня, прекрасно мне помогает... Славный малый, он так мне предан.

Вошел Конинкс, и разговор прервался. Маргарита сделала отцу знак молчать, боясь, как бы он не уронил себя в глазах дяди. Она была в ужасе от того, каким опустошениям подвергся его великий ум, поглощенный исследованием проблемы, может быть, неразрешимой. Валтасар, который, вероятно, ничего, кроме своих горнов, не видел, не догадывался даже о том, что состояние его свободно от долгов. На следующий день они отправились во Фландрию. Путешествие было довольно продолжительно, и Маргарита успела кое-что понять во взаимоотношениях отца и Лемюлькинье. Не получил ли лакей той власти над господином, какую берут иногда над вели-

чайшими умами люди, лишенные всякого образования, но чувствующие себя необходимыми и, добиваясь уступки за уступкою, идущие к господству с упорством, которое дается навязчивой идеей? Или же барин питал к слуге привязанность, рожденную привычкой и похожую на отношение рабочего к своему инструменту-созидателю или араба к своему скакуну-освободителю? Маргарита подметила в поведении слуги кое-какие черты, встревожившие ее, и решила освободить Валтасара из-под унизительного ига, если ее опасения подтвердятся. Проездом она остановилась на несколько дней в Париже, чтобы расплатиться с долгами отца и просить фабрикантов химических продуктов ничего не присылать в Дуэ, предварительно не уведомив ее о заказах, которые сделает Клаас. Она уговорила отца переменить костюм и одеться соответственно своему положению. Такое наружное восстановление облика Валтасара вернуло ему внешнее достоинство, что было хорошим знаком возможной перемены умонастроения. Вскоре дочь, уже предвкушая счастье видеть, как поразят отца все неожиданности, с которыми он встретится в собственном доме, поехала дальше в Дуэ.

В трех милях от города Валтасар увидал Фелицию верхом на лошади, в сопровождении обоих братьев, Эммануила, Пьеркена и близких друзей всех трех семейств. Путешествие невольно отвлекло химика от привычных мыслей, картины Фландрии подействовали на его сердце; а когда он заметил веселую свиту, которую составили ему его дети и друзья, то ощутил в себе волнение столь сильное, что глаза его увлажнились, голос задрожал, веки покраснели. Он так страстно обнимал детей, будучи не в силах от них оторваться, что, наблюдая эту сцену, все были растроганы до слез. Вновь увидав свой дом, он побледнел, живо, совсем как молодой человек, выскочил из дорожной кареты, радостно вдохнул аромат сада, принялся разглядывать все кругом, и в каждом его движении чувствовалось удовольствие; он выпрямился, снова помолодело его лицо. Когда он вошел в залу, слезы появились у него на глазах: по тому, как точно воспроизвела дочь проданные им старинные серебряные подсвечники, он увидел, что беды, должно быть, все поправлены. Роскошный завтрак подали в столовой, где все поставцы были полны редкостными предметами и серебром, по край-

ней мере той же ценности, что и вещи, находившиеся здесь когда-то. Хотя семейная трапеза длилась немало времени, его едва хватило на рассказы, которых Валтасар требовал от каждого из своих детей. Нравственно потрясенный возвращением домой, он проникся счастьем семьи и вполне показал себя отцом. Его манеры обрели свое прежнее благородство. В первый момент он весь отдался радости обладания, не спрашивая себя, каким образом могло быть восстановлено все потерянное им. Радость его была цельной и полной. Когда кончили завтрак, четверо детей, отец и нотариус Пьеркен перешли в залу, где Валтасар не без тревоги увидал листы гербовой бумаги, которые положил на стол писец, как бы готовясь исполнять распоряжения своего патрона. Дети сели, а изумленный Валтасар остался стоять перед камином.

— Господин Клаас отдает своим детям опекунский отчет,— сказал Пьеркен.— Конечно, это совсем не весело,— добавил он, улыбаясь, как принято у нотариусов, которые частенько шутливым тоном говорят о самых серьезных делах,— однако безусловно необходимо вам все выслушать.

Хотя обстоятельствами оправдывалась такая фраза, Клаас принял ее за упрек, так как совесть напомнила ему о прошлом, и он нахмурился. Писец начал чтение. Изумление Валтасара возрастало по мере того, как оглашался документ. Вначале здесь устанавливалось, что состояние жены к моменту ее кончины доходило приблизительно до миллиона шестисот тысяч франков, заключение же отчета с полной ясностью предоставляло каждому из детей их долю целиком, точно вел дела добрый и заботливый отец семейства. Из этого следовало, что дом из-под заклада выкуплен, что Валтасар находится в собственном доме и что его загородные владения равным образом чисты от долгов. Когда различные бумаги были подписаны, Пьеркен предъявил расписки на суммы, прежде взятые взаймы, и документы о снятии запрета с собственности. Тут Валтасар, которому вдруг возвратили честь мужчины, жизнь отца и достоинство гражданина, упал в кресло; он искал глазами Маргариту, но она из чисто женской деликатности ушла во время чтения проверить, выполнено ли все задуманное ею для праздника. Все члены семьи понимали мысль старика, когда

он слегка увлажненным взором искал свою дочь, и в эту минуту все своими духовными очами видели ее перед собою, как некоего ангела силы и света. Габриэль пошел за Маргаритой. Услыхав шаги дочери, Валтасар побежал навстречу ей и сжал ее в своих объятиях.

— Папенька,— сказала она у лестницы, где старик ее обнял,— умоляю вас, ни в чем не принижайте своего священного авторитета. Поблагодарите меня в присутствии всей семьи за то, что я хорошо выполнила ваши указания, и держитесь как единственный устроитель всего благополучия, которого удалось достигнуть здесь.

Валтасар поднял глаза к небу, взглянул на дочь, скрестил на груди руки и некоторое время оставался безмолвным, причем лицо его приняло выражение, которого уже десять лет не видели дети, а затем проговорил:

— Почему нет здесь тебя, Пепита! Как бы ты восхищалась нашей дочерью.

Он крепко обнял Маргариту, не будучи в состоянии произнести ни слова, и вошел в залу.

— Дети,— сказал он с тем благородством в манерах, которое некогда внушало к нему такое почтение,— мы все должны благодарить Маргариту, быть признательными ей за мудрость и усердие, с какими она выполнила мои намерения, осуществила мои планы, когда, чрезмерно поглощенный своими трудами, я вручил ей бразды правления в нашем доме.

— Al Пора уже прочесть брачные контракты,— сказал Пьеркен, смотря на часы.— Но это не входит нынче в мои обязанности, принимая во внимание, что закон запрещает мне вести дела, относящиеся к моим родственникам и ко мне. Господин Рапарлье-старший сейчас прибудет.

В это время стали собираться друзья семьи, приглашенные на обед, который давали по случаю возвращения Клааса и подписания брачных контрактов, а слуги несли свадебные подарки. Собрание росло и росло, становясь все великолепнее как по составу именитых гостей, так, в равной степени, и по красоте богатых туалетов. Три семейства, соединявшиеся счастливыми браками, пожелали соперничать между собою в роскоши. Зала вмиг наполнилась прелестными подарками, которые дарят молодым. Золото струилось и сверкало. Развернутые тка-

ни, кашемировые шали, ожерелья, уборы вызывали такую подлинную радость и у тех, кто дарил, и у тех, кто получал подарки, эта полудетская радость так сияла на всех лицах, что о стоимости великолепных подарков забыли и те праздные люди, которые частенько из любопытства занимаются подсчетом. Вскоре приступили к исполнению церемониала согласно обычаю, принятому в доме Клаасов для таких торжественных случаев. Полагалось сидеть только родителям, а другим присутствующим — стоять перед ними в некотором отдалении. Вдоль левой стены залы и со стороны сада поместились Габриэль Клаас и девица Конинкс, далее де Солис и Маргарита, ее сестра и Пьеркен. В нескольких шагах от этих трех пар Валтасар и Конинкс, единственные из всего собрания, кто сидел, расположились в креслах возле нотариуса, сменившего Пьеркена. Жан стоял позади отца. Два десятка изящно одетых дам, несколько мужчин, все из числа ближайших родственников Пьеркенов, Конинксов и Клаасов, мэр города Дуэ, которому предстояло совершить брак, двенадцать свидетелей из преданнейших друзей трех семейств, и в том числе старший председатель королевского суда,— все, даже священник церкви св. Петра, стояли, образовывая со стороны двора величественный полукруг. Честь, воздаваемая всем этим собранием семейству, сиявшему сейчас ореолом поистине королевского величия, сообщала сцене характер некоего древнего обряда. То был единственный момент, когда за целых шестнадцать лет Валтасар позабыл о поисках Абсолюта. Нотариус Рапарлье подошел спросить у Маргариты и ее сестры, собрались ли все гости, приглашенные на заключение брачных контрактов и на обед, который должен был затем последовать, и, получив утвердительный ответ, пошел назад за брачным контрактом Маргариты и Эммануила де Солиса, который надлежало читать раньше других,— как вдруг дверь в залу отворилась, и появился сияющий радостью Лемюлькинье:

— Барин! Барин!

Валтасар бросил на Маргариту взгляд, полный отчаяния, подал ей знак и увел ее в зал. Тотчас же смятение овладело всеми собравшимися.

— Я не смел тебе сказать, дитя мое,— сказал отец, дочери,— но раз ты столько для меня сделала, ты спа-

сешь меня и от последней беды. Лемюлькинье ссудил мне для последнего, не удавшегося опыта двадцать тысяч франков, плоды своих сбережений... Вероятно, несчастный пришел за ними, узнав, что я разбогател; отдай ему немедленно. Ах, ангел мой, ему ты обязана жизнью своего отца, ведь он один утешал меня при неудачах, он один еще верит в меня. Без него, конечно, я умер бы...

— Барин! Барин! — кричал Лемюлькинье.

— Что такое? — сказал Валтасар, обернувшись.

— Алмаз!

Клаас вбежал в залу, заметив алмаз в руке лакея, который сказал ему шепотом:

— Я вошел в лабораторию...

Обо всем позабыв, химик бросил на старого фламандца взгляд, который можно было передать только словами: *«Ты первым вошел в лабораторию!»*

— И там,— продолжал лакей,— я нашел алмаз в капсуле, подключенной к вольтову столбу, который мы оставили делать свое дело; вот он, барин, и сделал! — добавил слуга, показывая алмаз — прозрачный, восьмигранный камень, блеск которого привлекал изумленные взгляды всего собрания.

— Дети мои, друзья мои,— сказал Валтасар,— простите моего старого слугу, простите меня... С ума сойдешь от этого... Случайно за семь лет осуществилась, в мое отсутствие, задача, составлявшая предмет моих поисков на протяжении шестнадцати лет. Как это произошло? — ничего не знаю. Да, я оставил смесь серы и углерода под воздействием вольтового столба, за которым следовало бы вести наблюдение. И вот, без меня в лаборатории проявилось могущество божие, и я не мог, разумеется, установить последовательности изменений! Не ужасно ли это? Проклятый отъезд, проклятая случайность! Увы! Если бы я следил за этой продолжительной, медленной или же внезапной... не знаю, как назвать — ну, скажем, кристаллизацией, трансформацией, словом, за этим чудом, тогда дети мои были бы еще богаче. Хотя это и не есть решение главной моей проблемы, все же первые лучи моей славы зажглись бы над моей страной, и в настоящую минуту еще светлей была бы радость удовлетворенных сердец, согретая солнцем Науки!

Все хранили молчание. Слова, без особой последовательности вырвавшиеся у него от скорби, были слишком искренни, чтобы не прозвучать возвышенно.

Вдруг Валтасар подавил свое отчаяние, бросил на собравшихся величественный взгляд, засиявший в душах, взял алмаз и протянул его Маргарите, воскликнув:

— Тебе он принадлежит, ангел мой!

Потом он жестом отослал Лемюлькинье и сказал нотариусу:

— Будем продолжать.

От его слов все содрогнулись,— такое же волнение вызывал в некоторых ролях Тальма у внимавшей ему публики. Валтасар сел, пробормотав про себя:

— Сегодня мне нужно быть только отцом.

Маргарита услышала, подошла и, схватив руку отца, почтительно ее поцеловала.

— Никогда человек не был до такой степени велик,— сказал Эммануил своей нареченной, когда та вернулась к нему,— никогда человек не был до такой степени могуч; всякий другой сошел бы с ума.

Когда три контракта были прочитаны и подписаны, все поспешили расспросить Валтасара, как образовался алмаз, но он ничего не мог ответить относительно этого непонятного случая. Он взглянул на чердак и с негодованием показал на него.

— Да, там на мгновение случайно проявилась,— сказал он,— ужасающая сила, происходящая от движения воспламененной материи и, вероятно, создающая металлы и алмазы.

— Случай, конечно, вполне естественный,— заметил один из тех, кто любит все объяснять,— простак забыл там настоящий алмаз. Вот и все, что уцелело, а сколько он сжег...

— Но довольно,— сказал Валтасар друзьям,— прошу вас не говорить нынче о таких предметах.

Маргарита взяла отца под руку, чтобы перейти в парадные комнаты переднего дома, где ждало всех пышное празднество. Когда Клаас вслед за гостями вошел в галерею, то увидал, что там висят картины и все полно редкостными цветами.

— Картины! — воскликнул он.— Картины!.. И некоторые из наших прежних!

Он остановился, чело его омрачилось, на минуту он ощутил печаль и почувствовал тогда тяжесть своих ошибок, измерив, как велико тайное его унижение.

— Все это ваше, папенька,— сказала Маргарита, угадывая, какие чувства волновали душу Валтасара.

— Ангел, которому сами духи небесные должны рукоплескать! — воскликнул он.— Сколько же раз ты будешь возвращать жизнь своему отцу?

— Пусть ни одного облачка не останется на вашем челе, ни малейшей печали у вас на сердце,— ответила она,— и вы вознаградите меня свыше моих ожиданий. Я только что подумала о Лемюлькинье, милый папа; то немногое, что вы о нем сказали, заставляет меня ценить его, и, признаюсь, я плохо о нем судила; не беспокойтесь о том, что вы ему должны, он останется с вами, как ваш смиренный друг. У Эммануила около шестидесяти тысяч франков сбережений, мы подарим их Лемюлькинье. Прослужив вам так хорошо, он должен быть счастлив на склоне дней. О нас не тревожьтесь! У меня с господином де Солисом жизнь будет спокойная, тихая, без всякой пышности; мы можем обойтись без этих денег, пока вы нам их не вернете.

— Ах! Дочь моя, никогда не покидай меня! Всегда будь провидением твоего отца...

Войдя в приемные комнаты, Валтасар увидал, что они заново отделаны и обставлены с тем же великолепием, как прежде. Вскоре гости направились в большую столовую первого этажа по парадной лестнице, на каждой ступени которой стояли цветущие деревья. Удивительная по своей отделке серебряная посуда, которую Габриэль подарил отцу, обольщала взоры, так же как роскошь стола, показавшаяся неслыханной самым важным жителям города, где искони любили такого рода роскошь. Слуги Конинкса, Клааса и Пьеркена прислуживали за пышным обедом. Сев посередине стола, который венком окружали лица родных и друзей, сиявшие живой и искренней радостью, Валтасар, за стулом которого стоял Лемюлькинье, почувствовал такое трогательное волнение, что все умолкли, как умолкают при виде великой радости и великого горя.

— Дорогие дети,— воскликнул он,— какой тучный телец заколот вами по случаю возвращения блудного отца!

Эти слова, в которых ученый судил самого себя, быть может, тем самым помешав другим осудить его еще более сурово, были сказаны с таким благородством, что все растроганно отирали слезы; но это было последнею данью меланхолии, понемногу веселье становилось все более шумным и оживленным, как это бывает на семейных праздниках. Самые почтенные жители города явились на бал, который открылся после обеда и оказался в полном соответствии с восстановленным классическим великолепием дома Клаасов.

Все три брака были вскоре заключены и дали повод для праздников, балов, обедов, которые на несколько месяцев вовлекли старого Клааса в вихрь света. Его старший сын поселился в имении, которым владел около Камбрэ г-н Конинкс, не желавший расставаться со своей дочерью. Г-жа Пьеркен равным образом покинула отцовский дом, чтобы оказать честь построенному Пьеркеном особняку, где он намеревался вести независимое существование, так как контору свою он продал, а дядя его Дэраке незадолго до того умер, оставив ему свои многолетние накопления. Жан уехал в Париж, где должен был закончить свое образование.

Таким образом, только де Солисы остались с отцом, который уступил им задний дом, сам поселившись в третьем этаже переднего. Маргарита продолжала заботиться о материальном благополучии Валтасара, и в этой приятной задаче ей помогал Эммануил. Благородная девушка из рук любви получила самый завидный венок, который сплетает счастье и свежесть которого поддерживается постоянством. Действительно, ни одна чета не могла бы служить лучшим образцом полного блаженства, не прячущегося от чужих глаз, и чистого блаженства, какое все женщины лелеют в своих мечтах. Союз двух существ, столь мужественных в житейских испытаниях и столь свято любящих друг друга, вызвал в городе почтительное восхищение. Г-н де Солис, уже давно назначенный генеральным инспектором университета, подал теперь в отставку, чтобы полнее насладиться счастьем и оставаться в Дуэ, где все настолько воздавали должное его талантам и характеру, что уже заранее готовы были подать за него голос в избирательной комиссии, когда он достигнет депутатского возраста. Маргарита, проявившая

свою силу при неблагоприятных обстоятельствах, в счастье опять стала женщиной мягкой и доброй. Конечно, и весь этот год Клаас был погружен в свои мысли; но, хотя он и произвел несколько опытов, стоивших недорого, на что хватало его доходов, все же в лаборатории он бывал редко. Возобновляя старинные обычаи дома Клаасов, Маргарита каждый месяц давала от имени своего отца семейный праздник, на котором бывали Пъеркены и Конинксы, и собирала высшее городское общество *на чашку кофе* в свои приемные дни, о которых шла немалая слава. Хотя частенько и рассеянный, Клаас, однако, присутствовал на всех собраниях и так любезно исполнял свои светские обязанности, чтобы угодить старшей дочери, что дети могли подумать, уж не отказался ли он от разрешения своей проблемы. Так прошло три года.

В 1828 году событие, благоприятное для Эммануила, призвало его в Испанию. Хотя при наличии в его роду трех разросшихся ветвей ему нельзя было, казалось, и помышлять о родовых владениях дома де Солисов, но желтая лихорадка, старость, бесплодие, все капризы судьбы соединились, чтобы наследником титулов и большого состояния сделать Эммануила, последнего в роде. По случайности, которая неправдоподобной кажется только в книге, дом де Солисов получил графство Ноуро. Маргарита не захотела разлучаться с мужем, которого довольно долго должны были задержать в Испании дела, к тому же ей было любопытно посмотреть замок Каса-Реаль, где мать провела детство, и город Гренаду, колыбель де Солисов. Она уехала, положившись в управлении домом на преданность Марты, Жозеты и Лемюлькинье, уже привыкших вести хозяйство. Валтасар, которому Маргарита предложила совершить путешествие в Испанию, отказался под предлогом престарелого своего возраста; но истинной причиной его отказа были несколько работ, уже давно задуманных и манивших его возможностью осуществить все его надежды.

Граф и графиня де Солис-и-Ноуро пробыли в Испании дольше, чем собирались: у Маргариты родился ребенок. В половине 1830 года они очутились в Кадиксе, где рассчитывали сесть на корабль, чтобы вернуться во Францию через Италию; но здесь они получили письмо, в котором Фелиция сообщала сестре печальные ново-

сти. За полтора года отец совершенно разорился. Габриэль и Пьеркен принуждены были ежемесячно выдавать Лемюлькинье деньги на домашние расходы. Старый слуга еще раз принес в дар хозяину свое состояние. Валтасар никого не хотел принимать, не пускал к себе даже своих детей. Жозета и Марта умерли. Кучера, повара и остальную прислугу — всех постепенно рассчитали. Лошадей и экипажи продали. Хотя Лемюлькинье хранил в глубочайшей тайне, как жил его хозяин, можно было думать, что тысяча франков, которую каждый месяц выдавали им Габриэль Клаас и Пьеркен, употреблялась на опыты. Судя по скудной провизии, покупаемой на рынке лакеем, оба старика довольствовались лишь самым необходимым. Наконец, чтобы не допустить продажи отцовского дома, Габриэль и Пьеркен вносили проценты за ту сумму, которую старик, без их ведома, занял под закладную на недвижимость. Никто из детей не имел влияния на старика, у которого в семьдесят лет была такая исключительная энергия, что он заставлял исполнять все свои желания, даже самые нелепые. Только, быть может, Маргарите удалось бы вновь взять власть над Валтасаром, и Фелиция умоляла сестру скорее приехать; она боялась, как бы отец не стал подписывать векселя. Габриэль, Кониикс и Пьеркен, испуганные продолжительностью безумия, уже поглотившего безрезультатно почти семь миллионов, решили не платить долгов Клааса. Это письмо побудило Маргариту изменить план путешествия, и она кратчайшим путем отправилась в Дуэ. Ее сбережения и новые богатства позволяли ей еще раз вполне погасить все долги отца; но она хотела большего, хотела повиноваться матери и не допустить, чтобы отец сошел в могилу обесчещенным. Конечно, только она могла повлиять на старика и помешать продолжению его разорительных работ в таких летах, когда, при его ослабевших способностях, нельзя было ждать от него никакого плодотворного труда. Но она желала, не подражая детям Софокла, руководить им без ссор, в том случае, если отец был близок к научной цели, ради которой он столько принес в жертву.

Господин и госпожа де Солис достигли Фландрии в последних числах сентября 1831 года и прибыли в Дуэ утром. Маргарита велела подъехать к дому на Париж-

ской улице, но оказалось, что дом заперт. Сильно дергали за звонок, никто не отвечал. Какой-то купец покинул порог своей лавки, привлеченный стуком кареты г-на де Солиса и его спутников. Многие смотрели из окон, радуясь зрелищу возвращения супругов, которых любили во всем городе, а также уступая чувству любопытства, ожидая событий, которые должен был вызвать в доме Клаасов приезд Маргариты. Купец сказал лакею графа де Солиса, что старый Клаас уже около часу, как ушел из дому. Вероятно, г-н Лемюлькинье повел барина прогуляться на городской вал. Маргарита послала за слесарем, чтобы открыть дверь и таким образом избежать сцены, которая могла бы произойти из-за упрямства отца, если бы он, как предупреждала ее Фелиция, отказался впустить ее к себе. Тем временем Эммануил пошел искать старика, чтобы сообщить ему о приезде дочери, а лакей побежал предупредить Пьеркенов. В одну минуту дверь была открыта. Приказав вносить вещи, Маргарита вошла в залу и вздрогнула от испуга при виде стен, до такой степени голых, точно все было выжжено огнем. Великолепная резьба работы Ван-Гуизия и портрет председателя суда были проданы — по слухам, лорду Спенсеру. Столовая опустела, там стояло только два соломенных стула и грубый стол, на котором с ужасом заметила Маргарита две тарелки, два стакана, два серебряных прибора и на блюде остатки копченой селедки, которую, наверно, только что поделили между собою Клаас и его лакей. В одно мгновение обежала она дом, в каждой комнате которого открывалось нестерпимое зрелище наготы, такой же, как в зале и столовой. Идея Абсолюта прошла повсюду, подобно пожару. В комнате отца только и было мебели, что постель, стул и стол, на котором стоял дрянной медный подсвечник с оставшимся от прошлого вечера огарком свечи самого последнего сорта. Бедность достигла таких размеров, что занавесок уже не оказалось на окнах. Самые незначительные домашние предметы, все, что могло иметь хоть какую-нибудь ценность, было продано, вплоть до кухонной посуды. Движимая любопытством, не покидающим нас даже в несчастье, Маргарита вошла к Лемюлькинье, комната которого была такой же голой, как комната хозяина. В полуоткрытом ящике стола она заметила квитанцию ссуд-

ной кассы, удостоверявшую, что лакей несколько дней тому назад заложил свои часы. Она побежала на чердак и увидала, что лаборатория полна научными приборами, как прежде. Она велела открыть свои покои,— там отец ни на что не посягнул.

Убедившись в этом с первого же взгляда, Маргарита залилась слезами и все простила отцу. Значит, среди такого опустошительного неистовства его остановили отеческое чувство и благодарность к дочери! Это доказательство нежности, полученное в тот момент, когда отчаяние Маргариты достигло вершины, вызвало душевную реакцию, против которой бессильны и самые холодные натуры. Она сошла вниз, в залу, и ждала там прихода отца, терзаясь все возраставшими ужасными сомнениями. Каким увидит она его вновь? Вероятно, разбитым, одряхлевшим, измученным, ослабевшим от лишений, которые он претерпевал из-за гордости? А сохранился ли у него разум? При виде разграбленного святилища слезы текли у нее из глаз, но она их не замечала. Картины всей ее жизни, ее усилия, бесполезные меры предосторожности, ее детство, мать, счастливая и несчастная,— все, вплоть до улыбки ее маленького Жозефа при виде опустошения в доме, слагалось для нее в поэму, полную душераздирающей скорби. Но и предвидя несчастья, она все же не ожидала развязки, уготованной для увенчания всей жизни ее отца, жизни, одновременно столь возвышенной и столь жалкой. Положение Клааса ни для кого не являлось тайной. К стыду рода человеческого, в Дуэ не встретилось и двух великодушных сердец, чтобы воздать честь настойчивости гениального ученого. Для всего общества Валтасар был человеком, которого надо отдать под опеку, дурным отцом, проевшим шесть состояний, целые миллионы, искавшим философского камня в девятнадцатом веке, в веке просвещения, в веке неверия, в веке и т. п... Его поносили, клеймили прозвищем алхимика, бросали ему в лицо слова: «Хочешь делать золото!» Пусть не звучит хвала нынешнему веку, предоставляющему, по примеру всех веков, таланту умирать от равнодушия, такого же грубого, что и в те времена, когда умерли Данте, Сервантес, Тассо e tutti quanti[1]. На-

[1] И все им подобные *(итал.)*.

роды еще медленнее оценивают создания гения, чем короли.

Мнение о Клаасе понемногу просочилось из высшего общества Дуэ к буржуазии, а от буржуазии к простонародью. Семидесятилетний химик вызывал к себе глубокое чувство жалости у людей образованных, насмешливое любопытство — у народа,— два чувства, заключающих в себе, по существу, все то же презрение, то же vae victis [1], которое бросает великим людям толпа, видя их униженными. Многие приходили к дому Клааса посмотреть на окно того чердака, где развеялось дымом столько золота и угля. Когда Валтасар шел, на него показывали пальцем; часто, при виде его, слово насмешки или сострадания срывалось с уст простолюдина или ребенка; но Лемюлькинье старался передать ему эти слова как похвалу и мог обманывать его безнаказанно. Если зрение Валтасара сохранило ту высшую ясность, которою наделяет привычка к великим мыслям, то слух его ослабел. Многие крестьяне, люди грубые и суеверные, считали старика колдуном. Благородный, великий дом Клааса именовался в предместьях и в деревнях домом дьявола. Все, вплоть до лица Лемюлькинье, давало повод к зарождению нелепых россказней о хозяине дома. И вот, когда бедный старый илот шел на рынок за насущной пищей, которую он старался купить подешевле, на него в качестве *привеска* сыпались ругательства, и он был еще счастлив, если иные суеверные торговки не отказывались продать ему скудные припасы из боязни быть проклятыми за сношения со служителем ада. Итак, весь город был, вообще говоря, враждебно расположен к великому старцу и его товарищу. Этому способствовала и жалкая одежда того и другого: они одевались, как те совестливые бедняки, которые соблюдают внешнюю опрятность и еще не решаются просить милостыню. Рано или поздно старики могли подвергнуться оскорблениям. Пьеркен чувствовал, каким бесчестием для семьи было такое публичное поношение, и всегда во время прогулок тестя посылал двоих-троих слуг, которые на некотором расстоянии окружали его для охраны, ибо Июльская революция не способствовала почтительности народа.

---

[1] Горе побежденным *(лат.)*.

В то утро, по необъяснимой случайности, Клаас и Лемюлькинье, выйдя рано из дому, обманули тайную стражу Пьеркена и очутились одни в городе. Возвращаясь с прогулки, они уселись на солнышке на скамейку площади св. Иакова, где проходили дети, одни — в училище, другие — в коллеж. Заметив издали двух беззащитных стариков, лица которых повеселели на солнце, дети принялись говорить о них. Обычно дети быстро переходят от разговоров к смеху, а от смеха — к дурачеству, жестокость которого они не сознают. Семь или восемь из них, подошедшие первыми, остановились все же в отдалении и принялись рассматривать стариков, еле сдерживая смех, чем привлекли внимание Лемюлькинье.

— Видишь того, у которого голова, как колено?

— Да.

— Вот, это ученый от рождения.

— Папа говорит, что он делает золото,— сказал другой.

— Каким местом — этим или вот этим? — прибавил третий, показывая насмешливо на ту часть тела, которую так часто показывают друг другу школьники в знак презрения.

Самый маленький из кучки детей, который держал в руке корзиночку, полную провизии, и слизывал масло с хлеба, простодушно подошел к скамейке и сказал Лемюлькинье:

— Правда, что вы делаете жемчуг и алмазы?

— Да, солдати́к,— ответил Лемюлькинье, улыбнувшись и потрепав его по щеке,— дадим тебе, когда станешь ученым.

— Ах! И нам! И нам! — воскликнули все.

Дети подлетели, как стая птиц, и окружили обоих химиков. Валтасар, глубоко погруженный в мысли, от которых отвлекли его эти крики, вдруг с таким изумлением посмотрел вокруг, что все рассмеялись.

— Смотрите, шалуны, уважать великого человека!— сказал Лемюлькинье.

— Уважать неряху?— закричали дети.— Вы колдуны... Да, колдуны! Старые колдуны! Колдуны! Вот вы кто!

Лемюлькинье встал и пригрозил детям палкой, они рассыпались во все стороны, подбирая на бегу комки

грязи и камни. Какой-то рабочий, завтракавший в нескольких шагах, увидав, что Лемюлькинье поднял палку, подумал, что он хотел избить детей, и поддержал их страшными словами:

— Долой колдунов!

Дети, чувствуя, что у них есть опора, пустили свои снаряды и попали в обоих стариков, как раз когда граф де Солис показался в конце площади в сопровождении слуг Пьеркена. Не так быстро они подошли, чтобы помешать детям забросать грязью великого старца и его лакея. Удар был нанесен. Валтасар, до тех пор сохранявший все свое достоинство благодаря чистоте нравов, свойственной ученым, чьи страсти укрощены жаждой открытий, постиг внутренним чутьем разгадку этой сцены; его дряхлое тело не выдержало ужасного удара, нанесенного самым высоким его чувствам, он упал, пораженный параличом, на руки Лемюлькинье, и его отнесли на носилках домой в сопровождении обоих зятьев и их слуг. Никакая сила не могла помешать населению Дуэ идти вслед за носилками старика до самых дверей его дома, где находились Фелиция с детьми, Жан, Маргарита и Габриэль, уведомленный сестрой о ее приезде и приехавший с женой из Камбрэ. Ужасным зрелищем было возвращение домой старика, который не так боялся смерти, как того, что дети проникли в тайну его нищеты. Тотчас же поставили ему кровать посреди залы; всяческая помощь была оказана Валтасару, и к концу дня состояние его позволяло надеяться, что он останется в живых. Как ни искусно боролись с параличом, Клаас надолго впал почти в детство. Хотя удалось постепенно ослабить паралич, его действие все же сказывалось на языке, пораженном сильнее всего,— может быть, потому, что гнев сосредоточил здесь все силы старика в тот момент, когда он собирался бранить детей.

Эта сцена возбудила в городе всеобщее негодование. По некоему до сих пор неизвестному закону, управляющему чувствами толпы, все горожане вдруг перешли на сторону Клааса. В одно мгновение он сделался великим человеком, вызвал восхищение и приобрел всеобщее сочувствие, в котором ему отказывали накануне. Все восхваляли его терпение, волю, мужество и гений. Власти решили сурово наказать участников этой проделки, но

беду уже нельзя было поправить. Семейство Клаасов само просило замять дело. Маргарита приказала обставить залу, голые стены которой вскоре были затянуты шелком. Когда через несколько дней после происшествия сознание вернулось к старому отцу и он увидал, что опять его окружает изящная обстановка и все необходимое для счастливой жизни, он знаком дал понять, что догадался о приезде Маргариты,— и в ту же самую минуту она вошла в залу. Увидав ее, Валтасар покраснел, и хотя он не заплакал, глаза его увлажнились. Холодными пальцами сжал он руку дочери, вложив в это пожатие все чувства и все мысли, которых не мог уже высказать. То было нечто святое и торжественное,— последнее «прости» ума, еще живого, сердца, еще одушевленного чувством благодарности. Истощив силы на бесплодные попытки, устав от борьбы с гигантской проблемой, впав в отчаяние, обреченный на безвестность в памяти потомства, великий человек должен был вскоре кончить жизнь; все дети окружили его с глубоким почтением, глаза его могли отдохнуть на образах изобилия, богатства, на трогательной картине его прекрасной семьи. Умиленность светилась постоянно в его взглядах, которыми он мог выражать свои чувства; глаза его вдруг приобрели такое разнообразие выражения, как будто получили дар светового, легко понимаемого языка. Маргарита заплатила долги отца и в несколько дней убрала дом Клаасов со всей современной роскошью, устранявшей какие бы то ни было предположения об упадке. Она не покидала изголовья Валтасара, стараясь угадывать все его мысли и исполнять малейшие желания. Несколько месяцев прошло в смене ухудшений и улучшений, свидетельствующих у стариков о борьбе между жизнью и смертью. Каждое утро дети собирались около отца, весь день оставались в зале, обедали у постели больного и уходили, только когда он засыпал. Среди всех развлечений, какие старались ему доставить, больше всего ему нравилось чтение газет, которые, в связи с политическими событиями, сделались очень интересны. Де Солис читал ему вслух, а Клаас внимательно следил за чтением.

В конце 1832 года Валтасар провел ночь чрезвычайно трудную, так что сиделка, испугавшись внезапной перемены в больном, позвала г-на Пьеркена — доктора;

действительно, доктор счел нужным не покидать больного, каждую минуту опасаясь, как бы он не скончался от внутреннего кризиса, принявшего характер агонии.

Старик невероятно сильными движениями старался стряхнуть с себя оковы паралича; он желал говорить и шевелил языком, будучи не в состоянии издать ни звука; мысли летели из его пылающих глаз; искаженное лицо выражало неслыханную боль; в отчаянии двигались пальцы, пот выступал крупными каплями. Утром дети пришли поцеловать отца, чтобы выразить свою любовь, которую каждодневные опасения близкой смерти делали все горячее, но он не проявил удовольствия, какое обычно доставляли ему такие знаки нежности. Пьеркен позвал Эммануила, который поспешил распечатать газету, чтобы попробовать, не внесет ли чтение перемены во внутренний кризис, мучивший Валтасара. Развернув лист, он увидал слова: *Открытие Абсолюта,* живо его поразившие, и прочел Маргарите заметку, где говорилось о судебном процессе по поводу того, что один знаменитый польский математик продал секрет Абсолюта. Хотя Маргарита просила не читать заметку отцу, и Эммануил прочел шепотом это сообщение, все же Валтасар услыхал.

Умирающий вдруг приподнялся на обеих руках и бросил на испуганных детей взгляд, как молния поразивший всех; волосы, еще уцелевшие у него на затылке, зашевелились; морщины дрогнули; лицо загорелось внутренним огнем, одушевилось, приняв возвышенное выражение; он поднял сведенную яростью руку и громовым голосом крикнул знаменитое слово Архимеда: «Эврика!» *(Я нашел).* А затем его бессильное тело тяжело рухнуло на постель, и с ужасным стоном он умер; но пока врач не закрыл его вышедших из орбит глаз, в них можно было видеть сожаление о том, что он так и не мог передать науке запоздалую разгадку тайны, с которой сорвала покрывало лишь костлявая рука Смерти.

Париж, июнь — сентябрь 1834 г.

МАРАНЫ

Графине Марлен.

Несмотря на дисциплину, которую маршал Сюше ввел в своей армии, ему не удалось предотвратить волнений и беспорядка, возникших на первых порах по взятии Таррагоны. По словам некоторых военных, заслуживающих доверия, это опьянение победой сильно походило на грабеж; впрочем, маршал сумел быстро положить ему конец. Порядок был восстановлен, полки размещены по казармам, комендант города назначен, пришли военно-административные власти. Город сразу приобрел двойственный облик: если все здесь было поставлено на французский лад, то испанцам предоставлена свобода упорствовать in petto [1] в своих национальных вкусах. Начавшийся было грабеж — трудно сказать, сколько времени он длился,— как всякое событие под луной, имел свою причину, и отгадать ее легко. В армии маршала был полк, почти целиком состоявший из итальянцев; командовал им некий полковник Эжен, человек необыкновенной отваги, второй Мюрат, который слишком поздно попал на войну и потому не получил ни Бергского великого герцогства, ни Неаполитанского королевства, ни пули под Пиццо. Но если его не пожаловали какой-нибудь короной, зато место в бою предоставили такое, где пули так и летали; что мудреного, если в него их угодило несколько? В этот полк входили остатки Итальянского легиона, кото-

[1] В душе *(итал.)*.

рый был для Италии то же, что для Франции ее колониальные батальоны. Сборный пункт его, расположенный на острове Эльбе, служил местом почетной ссылки господских сынков, внушавших семьям опасения за свое будущее, и тех неудавшихся великих людей, которых общество заранее метит каленым железом, называя их *пропащими*. Людей, в большинстве своем непонятных, существование коих может стать либо прекрасным благодаря улыбке женщины, способной совлечь их с блестящего, но проторенного пути, либо ужасным под влиянием обидного замечания, вырвавшегося к концу пьяной попойки у захмелевшего собутыльника.

Итак, Наполеон зачислил этих молодцов в 6-й линейный полк, надеясь почти всех, кроме растерзанных пушечным ядром, произвести в генералы. Но расчеты императора оправдались лишь в той части, которая касалась опустошений, вызванных смертью. Полк, не раз сильно редевший и неизменно пополнявшийся, прославился великой доблестью на войне и самым гнусным поведением в мирной жизни. Во время осады Таррагоны итальянцы потеряли своего знаменитого капитана Бьянки, того самого, который в походе побился об заклад, что съест сердце испанского часового, и действительно съел его. Об этом бивуачном развлечении повествуется в другом месте (см. «Сцены парижской жизни»), и там о 6-м линейном приводятся подробности, подтверждающие все, что рассказывается здесь. Хотя Бьянки являлся главарем сущих дьяволов, которым полк был обязан своей двойственной репутацией, все же он обладал своего рода рыцарской честью, ради которой в армии прощают излишнюю жестокость... Коротко говоря, в прошлом веке Бьянки был бы отменным флибустьером. За несколько дней до взятия Таррагоны он отличился блестящим подвигом, который маршалу было угодно отметить благодарностью. Бьянки отказался от повышения в чине, пенсии, нового ордена и вместо всякой награды потребовал права первым двинуться на штурм Таррагоны. Маршал согласился с этим требованием и забыл о нем. Но Бьянки напомнил ему о себе. Бешеный капитан первым поднялся на городскую стену, водрузил французское знамя и был убит каким-то монахом.

Это историческое отступление понадобилось для то-

го, чтоб объяснить, каким образом 6-й линейный полк первым ворвался в Таррагону и почему беспорядок, столь естественный в городе, взятом с бою, так быстро перешел в легкое мародерство.

В этом полку служили два офицера, мало приметные среди его железных людей, однако вместе они сыграют в этой истории значительную роль.

Один из них, офицер интендантской службы, ведавший обмундированием,— чин полувоенный, полугражданский — слыл, выражаясь солдатским языком, «мастером обделывать свои делишки». Он строил из себя удальца, хвастал в свете, что служит в 6-м линейном, умел лихо закрутить ус, как человек, готовый все сокрушить, однако товарищи нисколько его не уважали. Он был богат и поэтому труслив. Его прозвали вороньим капитаном, и на то было две причины. Во-первых, он за целое лье чуял запах пороха и, заслышав перестрелку, удирал со всех ног, а во-вторых, эта кличка была построена на незатейливом солдатском каламбуре, которого он, впрочем, заслуживал и которым другой бы сильно возгордился. Капитан Монтефьоре принадлежал к знатной семье миланских Монтефьоре (хотя законами Итальянского королевства ему запрещалось носить свой титул) и был красивейшим малым в армии. Может быть, эта красота тоже служила тайной причиной его осторожности в бою. Рана, которая изуродовала бы ему нос, рассекла лоб или оставила шрам на щеке, нарушила б идеальные пропорции одного из тех прекраснейших итальянских лиц, какие порою грезятся женщинам в мечтах. Его лицо, близкое по типу к тому, с какого Жироде писал в своей картине «Восстание в Каире» молодого умирающего турка, обладало меланхолическим очарованием, которое редкую женщину не вводит в заблуждение. Маркиз ди Монтефьоре был наследником по субституции огромных поместий; доходы с них он заложил на несколько лет вперед, чтоб оплатить свои итальянские похождения, которые в Париже были бы немыслимы. Он разорился, содержа в Милане театр, так как старался навязать публике скверную певицу, любившую его, как он говорил, до безумия. Итак, капитана Монтефьоре ожидало прекрасное будущее, и он даже не помышлял рисковать им ради жалкого кусочка красной ленточки. Но хотя он и

не был храбрецом, зато был философом, и в истории, выражаясь нашим парламентским языком, бывали такие прецеденты. Разве не поклялся Филипп II после битвы при Сен-Кантене никогда больше не командовать «Огонь!», кроме как разжигая костры инквизиции, и разве герцог Альба не придерживался той мысли, что самой скверной на свете сделкой явился бы невольный обмен золотой короны на свинцовую пулю? Следовательно, Монтефьоре был последователем Филиппа и в качестве маркиза и в качестве красивого малого, а к тому же мог считать себя тонким политиком, как и Филипп II.

Зная о своем обидном прозвище и пренебрежении полка, Монтефьоре утешался мыслью, что его товарищи— шалопаи, мнению которых, конечно, не придадут большой веры, если им чудом и удастся выйти живыми из этой истребительной войны. Вдобавок, его внешность стоила любого свидетельства о храбрости; он видел себя в будущем непременно полковником — в силу ли особой женской благосклонности или собственного ловкого продвижения — из интендантов в ординарцы, из ординарцев в адъютанты какого-нибудь снисходительного маршала. Ведь слава была для Монтефьоре простым вопросом обмундирования. И вот в один прекрасный день в какой-либо газете о нем напишут: «Доблестный полковник Монтефьоре... и т. д. и т. д.». А тогда, имея сто тысяч скуди годового дохода, он женится на девице знатного происхождения, и никто больше не посмеет ни оспаривать его храбрость, ни проверять его раны. В заключение скажем, что у капитана Монтефьоре был приятель в лице квартирмейстера его полка, провансальца, родившегося в окрестностях Ниццы, фамилия которого была Диар.

На каторге ли, в мансарде ли богемы друг — великое утешение в несчастьях. Монтефьоре и Диар оба были философами и утешались в жизни общностью своих пороков подобно тому, как два художника усыпляют свои житейские горести надеждами на славу. Оба искали в войне не подвигов, а поживы, и людей, павших в боях, попросту звали дураками. Случайность сделала их солдатами, а им бы следовало заседать вокруг стола, крытого зеленым сукном, на дипломатических конгрессах. При-

рода кинула Монтефьоре в форму, в каких отливаются Риччо, а Диара — в тигель, где выплавляют дипломатов. Оба обладали беспокойной, изменчивой, почти женской натурой, равно способной на хорошее и дурное; по прихоти этого своеобразного темперамента они могли совершить и преступление и благородный поступок, акт душевного величия и величайшую низость. Судьба таких людей в любую минуту зависит от того, с какой силой— большей или меньшей — воздействуют на их нервную систему бурные, мимолетные страсти.

Диар хорошо знал счетоводство, но ни один солдат не доверил бы ему ни своего кошелька, ни завещания, может быть, из той неприязни, которую военные питают к чиновникам. Квартирмейстер был не лишен храбрости и своего рода юношеской щедрости — качеств, которые у многих исчезают по мере того, как они становятся старше, рассудительней и расчетливей. Вульгарный по наружности, какой бывает иногда смазливая блондинка, Диар был к тому же бахвалом, большим краснобаем и говорил обо всем. Он мнил себя художником, и в подражание двум прославленным генералам, собирал произведения искусства, единственно ради того, уверял он, чтобы сохранить их для потомства. Товарищи не знали, что и подумать о нем. Многие из них, привыкшие при случае прибегать к его кошельку, считали Диара богатым, но он был игрок, а у игрока деньги не держатся. Он был таким же заядлым игроком, как и Монтефьоре, и все офицеры садились с ними играть, ибо, к стыду человеческому, за карточным столом нередко можно видеть партнеров, которые, закончив игру, будто и не знают и презирают друг друга. Как раз с Монтефьоре держал Бьянки пари относительно сердца испанца.

Монтефьоре с Диаром находились в последних рядах во время штурма и оказались ближе всех к центру города, когда он был взят. Такие вещи случаются в местах жарких схваток, однако для наших приятелей это было обычным делом. Поддерживая друг друга, они храбро углубились в лабиринт узких, темных улочек, направляясь каждый по своим делам: один в поисках рисованных мадонн, другой — мадонн живых.

В каком-то месте Таррагоны Диар узнал по архитектуре портика монастырь; дверь была высажена, и

Диар кинулся в притвор, якобы желая унять бесчинствовавших там солдат. Он подоспел вовремя, ибо успел помешать двоим парижанам расстрелять Мадонну д'Альбано, и тут же ее купил у них, несмотря на усы, коими эти два бойких вольтижера ее украсили. Тем временем Монтефьоре, оставшись один, заприметил против монастыря дом купца-суконщика, и вдруг оттуда грянул выстрел — в ту самую минуту, когда красавец капитан, рассматривая дом сверху донизу, уловил в окне быстрый, сверкающий взгляд молоденькой девушки и живо на него ответил. Короткая перестрелка двух пар глаз — и головка девушки скрылась за решетчатым ставнем. Таррагона, взятая приступом, Таррагона, в гневе стреляющая из всех окон, Таррагона, насилуемая, с разметавшимися волосами, полунагая Таррагона с пылающими улицами, наводненными французскими солдатами, убитыми и убивающими, стоила взгляда — взгляда бесстрашной испанки. Не было ль все это боем быков в увеличенном виде? Монтефьоре забыл о поживе; он больше не слышал ни криков, ни ружейной пальбы, ни грохота артиллерии. Ничего божественнее, ничего очаровательнее, чем профиль юной испанки, в жизни не видел этот распутный итальянец, пресытившийся женщинами, мечтавший о несуществующей женщине, ибо он устал от женщин. Он мог еще трепетать, этот сластолюбец и расточитель, промотавший свое состояние на тысячи безумств, на удовлетворение своих низких страстей, пресыщенный молодой развратник, отвратительнейшее чудовище, какое только могло породить наше общество. У Монтефьоре возникла недурная мысль, несомненно, внушенная ему выстрелом лавочника-патриота,— поджечь дом. Но он был один и не мог этого сделать. Средоточием боя теперь стала большая площадь, где несколько упрямцев еще защищались. Впрочем, его тут же осенила другая, более удачная мысль. Диар вышел из монастыря, Монтефьоре ничего ему не сказал о своей находке и отправился с ним побродить по городу. Но на другой день итальянский капитан, получив билет на постой, вселился к суконщику. Не было ль это подобающим жилищем для интендантского офицера, ведавшего обмундированием?

Нижний этаж в доме этого доброго испанца был отведен под обширную лавку, защищенную снаружи тол-

стыми железными решетками — такими же решетками и в Париже забраны окна и двери старых магазинов на улице Ломбардцев. Лавка сообщалась с залой, в которую дневной свет проникал только с внутреннего двора; в этой просторной комнате все дышало средневековьем: старые, закопченные картины, старинные гобелены, старинное brazero [1], на гвозде — шляпа с перьями, ружье гверильясов и плащ Бартоло. Эта комната с примыкавшей к ней кухней была единственным местом, где все собирались, ели или грелись у тускло мерцавшей жаровни, покуривая сигары и разжигая в беседе сердца ненавистью к французам. По старинной моде, поставец украшали серебряные жбаны и ценная посуда. Но в скупо проникавшем сюда свете даже ярко сверкающие предметы лишь слабо поблескивали, и все здесь, как на полотнах голландской школы, казалось темным, даже лица. Между лавкой и залой, такой прекрасной по колориту и патриархальности убранства, имелась довольно темная лестница, которая вела вверх, на склад, где на свету у хитроумно пробитых оконцев было удобно рассматривать сукна. Рядом, наверху же, были комнаты купца и его жены. Наконец, под самой крышей, в мансарде с выступом на улицу и контрфорсами, придававшими этому дому причудливый вид, находилось помещение для ученика и служанки. Но их каморки теперь занял купец с женой, предоставив свои комнаты офицеру,— конечно, для того, чтобы избежать всяких столкновений с ним.

Монтефьоре выдал себя за бывшего испанского подданного, преследуемого Наполеоном, которому он служит против воли. Эта ложь имела ожидаемый успех. Он был приглашен разделить семейную трапезу, как того требовали его имя, происхождение и титул. Монтефьоре знал, чего добивался, стараясь расположить к себе купца: он чуял близость своей мадонны, как людоед чуял свежее человечье мясо, разыскивая спрятанного мальчика-с-пальчик и его братьев. Однако при всем доверии, которое он сумел внушить купцу, тот хранил глубокое молчание по поводу этой мадонны, и к концу первого дня, проведенного под кровлей честного испанца, офицер не заметил и

---

[1] Жаровня (*исп.*).

следа молоденькой девушки, не уловил ни единого признака, говорившего о ее присутствии в жилище купца. Но каждый звук в этом старом доме, построенном почти целиком из дерева, отдавался чрезвычайно гулко, и Монтефьоре лелеял надежду угадать в ночной тишине, где спрятана незнакомка. Капитан решил, что она единственная дочь суконщика и старики родители держат ее взаперти у себя в мансарде, где они обосновались на житье до самого конца оккупации. Но никаким наитием нельзя было доискаться, где же тот тайник, в котором скрывается бесценное сокровище. Офицер долго стоял, прильнув лицом к окну со свинцовым переплетом в виде мелких ромбов; окно это выходило во двор, со всех сторон замкнутый глухими, высокими стенами. Нигде ни проблеска света, кроме падавшего из комнаты старых супругов, откуда доносился их кашель, шаги и голоса. Девушка словно сквозь землю провалилась! Монтефьоре был слишком хитер, чтобы рискнуть будущим своей страсти, пытаясь ночью обследовать дом, тихонько постучаться во все двери. А вдруг он попадется с поличным этому пламенному патриоту, подозрительному, каким полагается быть испанцу, отцу и торговцу? Ведь это значило бы неминуемо погибнуть! И капитан решил терпеливо ждать, положившись на время и на человеческую забывчивость, ибо даже преступники, а тем паче честные люди неизбежно кончают тем, что забывают об осторожности. На следующий день, увидев на кухне нечто вроде гамака, он догадался, где ночует служанка. Что касается ученика — тот спал в магазине на прилавке. В этот день, второй день пребывания в доме купца, Монтефьоре за ужином своими проклятиями Наполеону так угодил хозяевам, что слегка разгладились хмурые складки на лице суконщика — испанском, важном, темном лице, похожем на те, что в давние времена вырезались на грифах трехструнных скрипок; а на увядших устах его жены мелькала злобно-веселая улыбка. Лампа и багровые отблески brazero причудливо освещали эту благородную залу. Хозяйка предложила un cigareto[1] своему соотечественнику. В эту минуту Монтефьоре услышал шорох платья и падение стула за ковром, украшавшим стену.

---

[1] Сигарету *(исп.)*.

— Что это! — вскрикнула хозяйка, побледнев.— Да помогут нам все святые и да уберегут от несчастья!

— У вас есть там кто-нибудь? — спросил итальянец, не выказывая никакого волнения.

У суконщика вырвалось бранное слово по адресу легкомысленных девиц.

Его жена, встревоженная, отперла потайную дверь и вывела полумертвую от испуга мадонну итальянца. Влюбленный, казалось, не обратил на нее внимания. Но чтоб это не выглядело притворством, он посмотрел на девушку, потом, повернувшись к хозяину, спросил на своем родном языке:

— Это ваша дочь, синьор?

У Переса ди Лагуниа — так звали купца — были обширные торговые связи с Генуей, Флоренцией и Ливорно; он знал итальянский и ответил на этом языке:

— Нет. Будь это моя дочь, я не принимал бы таких предосторожностей. Это дитя доверено нам, и лучше мне умереть, чем увидеть, что с ней произошло хотя малейшее несчастье. Но попробуйте-ка урезонить девушку восемнадцати лет!

— Она очень красива,— холодно отозвался Монтефьоре.

— Ее мать славится красотой! — ответил купец.

И они продолжали курить, наблюдая друг за другом. Монтефьоре дал себе слово даже не смотреть в ее сторону, боясь, что напускная холодность изменит ему; однако едва Перес отвернулся, чтобы сплюнуть, Монтефьоре позволил себе украдкой взглянуть на девушку и встретил ее сияющий взор. И тут с той изощренностью зрения, которая наделяет как искушенного развратника, так и скульптора роковой способностью одним взглядом раздеть женщину и мгновенно угадать ее формы, он увидел перед собой венец творения, создать который могла только любовь во всей своей силе. Это было лицо дивной белизны, которое небо Италии позлатило мягкими оттенками бистра как бы для того, чтобы дополнить его выражение серафической безмятежности пламенной гордостью; сиянием, разлитым под его прозрачной кожей, оно было, вероятно, обязано легкой примеси мавританской крови, придававшей ему живость и красочность. По-

добранные кверху волосы ниспадали целым каскадом кудрей, оттенявших своими черными блестящими кольцами прозрачное розовое ушко и стройную шею с голубыми прожилками. В рамке этих роскошных кудрей выделялись ее жгучие глаза и яркие губы. Национальная баскина подчеркивала изгиб талии, тонкой, как тростинка. Это была Мадонна, но не итальянская, а испанская, Мадонна Мурильо, самого смелого, самого пламенного из живописцев, единственного, кто в неистовой отваге вдохновения дерзнул изобразить ее опьяненною блаженством зачатия Христа. В этой девушке сочетались три свойства, из которых достаточно одного, чтобы боготворить женщину: чистота жемчужины, покоящейся на дне моря, возвышенная пылкость св. Терезы испанской и безотчетное сладострастие. Ее появление обладало волшебной силой: Монтефьоре показалось, будто все старое, что окружало его, исчезло — девушка всему вернула молодость. Видение было чудесным, но мимолетным. Незнакомку снова водворили в ее таинственную обитель, куда служанка, уже не таясь, принесла ей свечу и ужин.

— Вы правильно делаете, что прячете ее,— сказал Монтефьоре по-итальянски.— Я сохраню вашу тайну. Но черт возьми! У нас есть генералы, способные отнять ее у вас по праву победителей.

Любовная страсть Монтефьоре дошла до предела: он готов был жениться на незнакомке. Он стал расспрашивать о ней у хозяина. Перес охотно рассказал о том, как появилась у него питомица. Осторожный испанец решился пойти на эту откровенность из уважения к знатному роду Монтефьоре, про который ему доводилось слышать в Италии, а также желая показать, что девушка недосягаема для обольщения. Хотя этот непритязательный человек обладал известным красноречием, свойственным почтенной старости, столь же выразительным, как его простые повадки и отважный выстрел, которым он встретил Монтефьоре, все ж его рассказ выиграет в кратком изложении.

В ту пору, когда Французская революция изменила нравы в странах, служивших ареной ее войн, в Таррагону прибыла некая куртизанка, изгнанная из Венеции после падения последней. Жизнь этого создания была пестрым сплетением романтических авантюр и самых непостижи-

мых перемен. Чаще, чем всякой другой женщине такого пошиба, отверженной обществом, ей случалось по прихоти какого-нибудь вельможи, плененного ее необыкновенной красотой, некоторое время жить в роскоши — ее осыпали золотом и драгоценностями, окружали всеми благами богатства. Тут были цветы, кареты, пажи, камеристки, дворцы, картины, возможность надменно относиться к людям, путешествия на манер Екатерины II — словом, жизнь королевы, обладающей неограниченной властью, не знающей преград своим капризам. А вслед за этим, хотя никто — ни она сама и никакой ученый, физик или химик, не могли б объяснить, каким образом испарилось ее золото, она оказывалась выброшенной на мостовую, нищая, лишившаяся всего, кроме своей всемогущей красоты, и все же она не испытывала и тени сожаления о прошлом, не думала ни о настоящем, ни о будущем. Надолго ввергнутая в нищету каким-нибудь бедным офицером, игроком, которого она обожала за усы, привязавшись к нему, как собака к своему хозяину, она делила с ним все невзгоды походной жизни, была ему утехой, весело переносила лишения и засыпала под голыми балками чердака столь же спокойно, как под шелковым пологом роскошной кровати. Эта полуитальянка-полуиспанка строго соблюдала предписания церкви и не раз говорила любовнику:

— Приходи завтра, сегодня я принадлежу богу.

Но эта грязь, перемешанная с золотом и благовониями, эта поразительная беспечность, пылкие страсти и горячая вера, зароненная в ее сердце, как алмаз в болото, эта жизнь, которая начинается и кончается на больничной койке, удачи и несчастья игрока, перенесенные в жизнь души человеческой, во все существование, эта сложная алхимия, где порок разжигал огонь, на котором таяли самые крупные богатства, плавились и исчезали золото предков и честь великих имен,— все это было следствием того особого духа, какой еще со времен средневековья неизменно передавался в роду этой женщины от матери к дочери: начиная с XIII столетия они не знали брачных уз, самое понятие «отец», его личность, имя и власть были им совершенно неведомы. Прозвище Марана являлось для этой семьи тем же, чем было звание «Стюарт» для славной королевской династии Шотлан-

дии — заслуженным именем, вытеснившим родовое в силу того, что в этом роду из века в век передавалась по наследству должность, пожалованная ему во время оно. Во Франции, Испании и Италии на протяжении XIV и XV веков, когда у этих трех стран были общие интересы, то объединявшие, то разъединявшие их и служившие причиной постоянных войн, именем Марана обозначали продажных прелестниц в самом широком понимании этого слова. В то время куртизанки занимали в обществе столь высокое место, о каком в наши дни ничто не может дать представления. Только Нинон де Ланкло и Марион Делорм играли во Франции роль Каталин, Империй, Маран, которые в предшествующие века объединяли у себя носителей сутаны, судейской мантии и шпаги. Одна из Империй в припадке раскаяния выстроила в Риме церковь подобно Родопе, в древности воздвигнувшей пирамиду в Египте. Имя Марана, данное этой странной семье в поношение, в конце концов стало ее собственным и облагородило укоренившееся в ней распутство неоспоримой его давностью.

И вот однажды Марана, уже Марана XIX века,— неизвестно, было ль то в пору ее богатства или нищеты (это осталось тайной между нею и богом, несомненно только, что это случилось в час раскаяния и скорби),— почувствовав, что она погрязла в смрадном болоте, устремилась душой к небесам. И тогда она прокляла ту кровь, что текла в ее жилах, прокляла себя, трепеща от мысли, что у нее может родиться дочь, и поклялась, как клянутся такие женщины, клятвой, исполненной честности и воли каторжника, самой твердой воли, самой надежной честности, какая только существует на земле, поклялась перед алтарем, незыблемо веря в его святость, вырастить свою дочь добродетельным существом, праведницей, чтобы оборвать эту длинную цепь плотских грехов и поколений падших женщин, дав ангела, заступницу за всех них перед небом. Обет был дан, потом кровь Маран заговорила, и она снова бросилась в омут прежней жизни. Однако мысль эту она теперь прочно хранила в сердце. Но вот ей случилось полюбить неистовой любовью куртизанки, как Генриетта Вильсон любила лорда Понсонби, как мадмуазель Дюпюи любила Болингброка, как маркиза Пескара любила

своего мужа. Но нет, она не любила, а боготворила белокурого, женственного мужчину, которого наделила не существующими в нем добродетелями, в себе же видела только пороки. И от этого слабого человека, в безрассудном браке, которому и бог и люди отказывают в благословении, который следовало бы оправдать счастьем, хотя и счастье не оправдывает его греховность, в этом браке, за который иногда краснеют даже люди, лишенные стыда, она родила дочь и решила спасти ее для светлой жизни, для целомудрия и чистоты, какими сама не обладала. С тех пор, была ли Марана счастлива или несчастна, жила ли в богатстве или нищете, в ее сердце горело чистое чувство, самое прекрасное из всех человеческих чувств, ибо оно самое бескорыстное. В любви еще есть свой эгоизм, в материнской любви его уже не существует. Марана была матерью больше, чем всякая другая мать, ибо для нее в ее вечных крушениях материнство могло стать якорем спасения. Свято выполнить хоть часть своего земного долга, дав небесам еще одного ангела,— разве это не было большим, чем позднее раскаяние, и единственной чистой молитвой, какую она смела вознести к богу? И когда ее Мария-Хуана-Пепита (мать готова была дать ей в защитницы всех великомучениц из жития святых), когда это крошечное создание было ей даровано, она возымела столь высокое понятие о величии матери, что умолила грех дать ей передышку. Марана стала добродетельной и жила в одиночестве. Ни пиров больше, ни разгульных ночей, ни любви! Отныне все ее богатство, вся радость заключались в хрупкой колыбели дочери. Звук детского голоска стал для нее звонким родником оазиса среди раскаленной пустыни жизни. Ее чувство не соразмерить было ни с чьим другим. Не вмещало ль оно в себе все земные чувства и небесные чаяния? Марана не хотела порочить дочь новым грязным пятном, пятно же ее происхождения решила смыть всякими социальными привилегиями, а потому потребовала, чтобы молодой отец дал ребенку состояние и свое имя. Ее дочь звалась уже не Хуаной Марана, а Хуаной ди Манчини. Миновало семь лет радости и поцелуев, упоения, счастья, и бедная Марана рассталась со своим кумиром, чтобы Хуане не пришлось согнуть голову под тяжестью наследственного позора. Мать на-

шла в себе мужество отказаться от своего детища ради его же блага и с великой горестью сыскала для него другую мать, другую семью, которая служила б ему примером чистой и нравственной жизни. Отречение матери от своего ребенка — акт либо возвышенный, либо ужасный. Здесь как не назвать его возвышенным?

В Таррагоне счастливый случай свел ее с четой Лагуниа при таких обстоятельствах, которые позволили ей оценить глубокую порядочность мужа и безупречную добродетель жены. Марана стала для них ангелом-спасителем. Купцу в это время угрожала потеря состояния и честного имени; он нуждался в срочной и тайной помощи. Марана вручила ему деньги, составлявшие все приданое Хуаны, не потребовав ни расписки, ни процентов. Для нее, по ее юридическим понятиям, договор был делом совести, стилет — правосудием слабых, а бог — верховным судом. Открывшись донне Лагуниа в своем горестном положении, она вверила дочь и деньги старой испанской чести, чистой, незапятнанной, какой дышал этот старинный дом. Бездетная донна Лагуниа была безмерно счастлива, взяв на воспитание приемыша. Куртизанка покинула свою ненаглядную Хуану, уверенная, что обеспечила будущее девочки, нашла для нее мать, которая воспитает из нее Хуану ди Манчини, а не Хуану Марана. Покидая простое, скромное жилище купца, где процветали мещанские семейные добродетели, где вера, святость чувств и чести, казалось, были разлиты в самом воздухе, несчастная куртизанка, мать, отлученная от своего ребенка, сумела справиться со своим горем, видя в мечтах Хуану чистой девушкой, женой и матерью, счастливой матерью в течение долгой жизни. Она уронила на пороге дома слезу, одну из тех слез, которые ангелы поднимают с земли. С этого дня скорби и надежды Марана, влекомая непреодолимыми предчувствиями, трижды приезжала в Таррагону, чтоб увидеть свою дочь. Первый раз она явилась, когда Хуана опасно занемогла.

— Я знала это! — сказала она Пересу.

Вдали от Хуаны мать увидела ее во сне умирающей. Марана выходила дочь, бодрствуя у ее постели ночи напролет, а когда девочка уже выздоравливала, поцеловала ее в лоб, спящую, и удалилась, не выдав себя. Мать из-

гоняла куртизанку. Во второй свой приезд Марана пришла в церковь, где Хуана ди Манчини впервые причащалась. Одетая в простое темное платье, спрятавшись в уголке за колонной, изгнанная мать узнала себя в дочери, какой она была когда-то: с небесным лицом ангела, чистая, как снег, только что выпавший на вершинах Альп. Сохраняя черты куртизанки даже в своей материнской любви, Марана почувствовала в глубине души такую ревность к приемной матери Хуаны, какой не испытывала ко всем своим любовникам, вместе взятым, и поспешила выйти из церкви, ибо бессильна была побороть в себе смертельную ненависть к донне Лагуниа, видя ее сияющую, счастливую, будто и в самом деле она была родной матерью своей воспитанницы. Наконец, последняя встреча Мараны с дочерью произошла в Милане, когда купец поехал туда с женой и питомицей. Марана, проезжая по Корсо во всем своем великолепии, достойном какой-нибудь царственной особы, пронеслась мимо дочери, не узнавшей ее. Ужасная мука! Ей, Маране, осыпаемой поцелуями, недоставало одного-единственного поцелуя, за который она отдала бы все остальные, невинного, радостного поцелуя, каким дочь дарит свою мать, мать, почитаемую, блистающую всеми семейными добродетелями. Значит, живая Хуана умерла для нее! Одна мысль приободрила куртизанку, к которой герцог ди Лина в эту минуту обратился со словами:

— Что с вами, прелесть моя?

Чудесная мысль! Отныне Хуана спасена. Пусть она даже станет смиреннейшей из женщин, но не презренной куртизанкой, которой любой мужчина может сказать: «Что с вами, прелесть моя?»

Свои обязательства купец с женой выполнили с полной добросовестностью. Состояние Хуаны, ставшее их собственным, выросло в десять раз. Перес ди Лагуниа, богатейший в провинции негоциант, питал к своему приемышу почти суеверное чувство. Ведь появление в его доме этого небесного существа не только спасло старинную фирму Лагуниа от бесчестия и разорения, но принесло ей и неслыханное процветание. Его жена — золотое сердце, женщина, полная чуткости,— воспитала Хуану в благочестии и невинности, столь же чистой, сколь и прекрасной. Хуана была одинаково достойна стать су-

пругой знатного вельможи или богача-купца; она обладала всеми качествами, необходимыми для блестящей судьбы. Не случись описываемых событий, Перес, мечтавший съездить в Мадрид, выдал бы ее за какого-нибудь испанского гранда.

— Не знаю, где сейчас Марана,— сказал Перес в заключение.— Но в каком бы уголке земного шара она ни находилась, стоит ей узнать, что французские войска захватили нашу провинцию и взяли приступом Таррагону, она примчится сюда, чтоб охранять свою дочь.

Этот рассказ изменил намерения итальянского капитана. Он больше не желал сделать Хуану ди Манчини маркизой ди Монтефьоре, ибо узнал кровь Мараны в кокетливой игре глаз, которой девушка ответила ему сквозь жалюзи, в хитрости, на какую она пустилась, чтоб удовлетворить свое любопытство, в последнем взгляде, который она ему бросила, уходя. Развратнику угодно было иметь супругой высокодобродетельную женщину. Это приключение сулило много опасностей, но таких, которых не устрашится даже не очень отважный мужчина, ибо они придают остроту любви и наслаждениям.

Ученик, ночующий на прилавке, служанка, расположившаяся в кухне, как на бивуаке, Перес с женой, несомненно, спящие чутким стариковским сном, старый дом, где отдавался каждый звук, драконовский надзор днем — все было препятствием, все делало его замысел неосуществимым. Но против всех препятствий *за* Монтефьоре была кровь куртизанки, бурлившая в жилах этой сжигаемой любопытством полуитальянки, полуиспанки, девственницы, нетерпеливо жаждущей любви. Страсть, девушка, Монтефьоре — втроем могли обмануть целую вселенную.

Монтефьоре, побуждаемый инстинктом мужчины, искушенного в любовных приключениях, и теми смутными, ничем не объяснимыми надеждами, которые мы удивительно верно зовем предчувствиями, провел весь вечер у окна, упорно всматриваясь в ту часть дома, где, как он предполагал, находился тайник, в котором супруги укрыли свет и отраду своей старости. Склад, устроенный на антресолях — воспользуемся этим французским сло-

вом, чтобы помочь читателю разобраться во внутреннем расположении дома,— разобщал молодых людей. Поэтому капитан не мог прибегнуть к многозначительным постукиваниям, которые служат влюбленным сигналами, к тому условному языку, который они в подобном положении умеют придумать. Но ему пришел на помощь случай, а может быть, сама девушка! Подойдя к окну, он увидел на темной стене, окружавшей двор, большое светлое пятно, посреди которого вырисовывался силуэт Хуаны. Повторяющиеся движения руки и поза заставляли думать, что она причесывается на ночь.

«Одна ли она? — размышлял Монтефьоре.— А что, если привязать к шнурку записку и, вложив в нее для тяжести несколько монет, стукнуть в ее окно? Нет сомнения, что свет идет из ее комнаты. Рискнем!..»

Он мигом настрочил послание — истое послание офицера, стараниями родителей сосланного на Эльбу и разжалованного в солдаты, опустившегося, когда-то изысканного маркиза, теперь капитана, ведающего обмундированием; затем он сплел шнурок из всего, что нашлось для этого под рукой, привязал к нему записку, завернув в нее несколько серебряных экю, и неслышно опустил ее до середины светлого круга.

«Тени на стене скажут мне, с ней ли мать или служанка,— решил Монтефьоре,— и если она не одна, я живо подтяну к себе шнурок». Но когда после его многократных, вполне понятных усилий серебро ударилось о стекло, на стене отразилась единственная тень — стройный силуэт Хуаны. Девушка тихонько приоткрыла окно, увидела записку, взяла ее и, не отходя, стала читать. В ней Монтефьоре называл себя, просил о свидании и в духе старых романов предлагал Хуане ди Манчини руку и сердце. Подлая и пошлая хитрость, всегда имеющая верный успех! В возрасте Хуаны не усугубляет ли опасности душевное благородство? С большой тонкостью один современный поэт сказал: «Женщина сдается лишь во всей своей силе». Возлюбленный притворяется, будто не верит, что ему отвечают взаимностью, именно тогда, когда его любят всего сильнее. Девушка, доверчивая, гордая, рада б измыслить всякие жертвы и принести их, но она недостаточно знает свет и людей, чтобы остаться спокойной среди бури поднявшихся в ней страстей, подавив

презрением человека, готового погубить молодую жизнь в искупление ее мнимой вины перед ним.

С возникновением в обществе его высокого устройства молодая девушка стоит перед мучительным выбором между расчетами осторожной добродетели и тяжкими последствиями ошибки. Она часто теряет свою первую, быть может, самую прекрасную любовь, если ей воспротивилась, или теряет супруга, если проявила неосторожность. При самом беглом взгляде на превратности социальной жизни в Париже невозможно усомниться в необходимости религии, зная, что, не будь ее, число совращенных девушек возрастало бы каждый вечер. Но Париж лежит на 48-м градусе широты, а Таррагона — на 41-м. Стародавний вопрос климата и поныне еще выручает романистов, оправдывая и неожиданные развязки, и опрометчивость в любви, и сопротивление ей!

Глаза Монтефьоре были прикованы к грациозному силуэту, выделявшемуся среди светлого круга. Он и Хуана друг друга не видели. Злополучный, весьма неудобно расположенный фриз лишал их выгод немого общения, которое возможно между двумя влюбленными, когда они высовываются из своих окон. Оттого все помыслы и внимание капитана были сосредоточены на этом круге света — быть может, молодая девушка, сама того не зная, по наивности, своими движениями поможет ему прочесть ее мысли. Но нет! Странные движения Хуаны не оставляли Монтефьоре ни малейшей надежды. Она, видимо, потешалась над ним, разрезая ножницами его записку. Добродетель, мораль в своих подозрениях зачастую следуют тем же внезапным догадкам, какие ревность внушила Бартоло в комедии: у Хуаны не было ни чернил, ни пера, ни бумаги,— что ж! Она ответила с помощью ножниц. Затем быстро привязала записку к шнурку, офицер подтянул его к себе, развернул записку и, поднеся к лампе, прочел на свету вырезанное ажурными буквами слово: «Приходите!»

«Легко сказать: «Приходите!» — подумал он.— А яд, а мушкет, а кинжал Переса? А ученик, только что уснувший на прилавке? А служанка в своем гамаке? А этот дом, звучный, как бас миланской оперы; ведь я даже отсюда слышу храп старика Переса! «Приходите!» Неужели ей нечего терять?»

Убийственная мысль! Одни развратники могут быть столь логичны и наказывать женщину за ее самоотверженность. Мужчина выдумал Сатану и Ловеласа; но чистая девушка — это ангел, которому он ничего не может приписать, кроме своих пороков. Она так велика, так прекрасна, что он не в силах ни возвеличить ее, ни украсить, и ему дана только роковая способность запачкать ее, вовлекая в свою грязную жизнь. Монтефьоре дождался самого глухого часа ночи и, вопреки своим размышлениям, спустился по лестнице, сняв обувь и вооружившись пистолетами; он ступал шаг за шагом, останавливаясь, чтобы прислушаться к тишине, протягивая руки, нащупывая ступени, почти зрячий в темноте и готовый вернуться к себе при малейшем препятствии. Итальянец облачился в парадный мундир, надушил свою черную шевелюру; он блистал тем особым изяществом, какой наряд и забота о своей внешности придают природной красоте, ибо в подобных случаях у большинства мужчин кокетства столько же, сколько у женщин. Монтефьоре удалось без помехи добраться до потайной двери комнатки, где жила Хуана; тайник был устроен в углу дома, который расширялся в этом месте одним из тех прихотливых углублений, к каким часто прибегают там, где, в силу дороговизны земельных участков, люди вынуждены строить дома вплотную друг к другу. Эта келья целиком принадлежала Хуане, девушка проводила в ней весь день, вдали от людских взоров. До сих пор она спала возле своей приемной матери, но теснота мансарды, куда перебрались супруги, не позволила им взять к себе свою питомицу. Таким образом, донна Лагуниа оставила девушку под охраной потайной двери, запертой на ключ, под покровом набожных мыслей, самых действенных, ибо они стали суевериями, под защитой врожденной гордости и стыдливости мимозы, делавших Хуану ди Манчини исключением среди представительниц ее пола. Она одинаково обладала трогательными добродетелями и самыми пылкими страстями. Для того и понадобилась скромность и святость этой однообразной жизни, чтоб усмирить, остудить кипевшую в ней кровь, которую ее приемная мать называла искушениями дьявола. Тусклая полоска света, прочерченная на полу дверной щелью, помогла Монтефьоре найти тайник, и он

осторожно постучался. Хуана отперла. Монтефьоре вошел, весь трепеща, и увидел на лице затворницы выражение наивного любопытства, истинного восхищения и полного неведения опасности. С минуту он стоял, пораженный святостью картины, представшей перед ним.

Стены комнатки были обтянуты штофом с лиловыми цветочками по серому полю, небольшой ларь черного дерева, старинное зеркало, большое старое кресло тоже черного дерева, обитое таким же штофом; дальше — стол с гнутыми ножками, возле стола стул, на полу ковер, вот и все. Но на столе — цветы и начатое рукоделие, но в глубине комнаты — узкая кровать, на которой Хуана грезила во сне; над ней три картины; в изголовье — распятие, чаша со святой водой, молитва в рамке, писанная золотом. От цветов шел слабый аромат, свечи мягко озаряли комнатку. Все полно было спокойствия, чистоты, святой невинности. Мечты и заветные думы Хуаны, особенно сама она, сообщали вещам свое очарование: во всем здесь, казалось, светилась ее душа; это была жемчужина в своей перламутровой раковине. Хуана, вся в белом, прекрасная в своей неповторимой красоте, отложившая четки, чтобы призвать любовь, внушила б уважение даже Монтефьоре, если бы и тишина, и ночь, и Хуана не дышали любовью, если бы белое ложе не являло взору приоткрытых на ночь простынь и подушки — поверенной тысячи смутных желаний. Монтефьоре долго стоял, опьяненный счастьем,— быть может, так сатана смотрит на просинь неба среди облаков, ограждающих его неприступной стеной.

— Едва я вас увидел, я полюбил вас,— сказал он на чистом тосканском наречии мелодичным голосом итальянца.— Отныне в вас моя душа и жизнь,— навсегда, если вы того пожелаете.

Хуана слушала, впивая его слова, которые язык любви делал неотразимыми.

— Бедняжка! Как вы могли так долго жить в этом мрачном доме и не умереть с тоски? Вы, созданная для того, чтобы царить в свете, жить в княжеском дворце, блистать на празднествах, гордиться восторженным поклонением, которое вы порождаете, видеть всех у своих ног, затмить самые великолепные сокровища сиянием вашей красоты, в которой вы никогда не встре-

тите себе равной,— вы жили здесь одна, с этой купеческой четой?

Корыстный вопрос! Ему хотелось знать, не было ль у Хуаны любовника.

— Да! — ответила она.— Но кто вам поведал самые сокровенные мои мысли? Вот уже несколько месяцев, как я смертельно тоскую. Да, я предпочла бы умереть, чем долго еще оставаться в этом доме. Взгляните на это вышивание, в нем нет стежка, который не сопровождался бы множеством ужасных мыслей. Сколько раз мне хотелось убежать и кинуться в море! Почему? Теперь я и сама не знаю... Мелкие детские горести, такие ничтожные и все же такие мучительные... Нередко я обнимала мать, целовала ее с отчаянием, прощаясь с ней навеки, и думала: «Завтра я убью себя». Но вот я жива. Самоубийцы попадают в ад, а я так сильно боялась ада, что покорилась необходимости жить, вставать, ложиться, работать всегда в одни и те же часы, делать одно и то же. А между тем родители меня обожают. Я очень плохая, я это часто говорю своему духовнику.

— Значит, вы всегда жили здесь, не зная ни развлечений, ни удовольствий?

— О, я не всегда была такой! До пятнадцати лет церковная музыка, пение, празднества мне нравились. Я была счастлива, чувствуя себя безгрешной, как ангелы, радуясь, что могу каждую неделю причащаться,— словом, я любила бога. Но за эти три года я мало-помалу совсем переменилась. Сначала мне захотелось, чтоб у меня были здесь цветы, и я развела самые красивые. Потом мне хотелось... Но теперь...— Она умолкла на мгновение.— Теперь мне больше ничего не хочется,— договорила она, улыбаясь Монтефьоре.— Разве вы не написали мне сейчас, что всегда будете меня любить?

— Да, моя Хуана,— нежно произнес Монтефьоре, обняв прелестную девушку за талию и крепко прижимая ее к груди.— Но позволь мне говорить с тобой, как ты говоришь с богом. Ведь ты прекраснее самой девы Марии! Слушай! Клянусь тебе,— продолжал он, целуя ее волосы,— клянусь пред твоим лицом, как пред красивейшим из алтарей, сделать тебя своим божеством, осыпать всеми богатствами мира. Твоими станут мои кареты, мой дворец в Милане, все драгоценности и алмазы

моего старинного рода. Я буду каждый день дарить тебе новые и новые украшения, дам тебе тысячи наслаждений, все радости мира.

— Ах, всему этому я очень рада! — сказала она.— Но сердце говорит мне, что милее всего на свете будет мне мой дорогой супруг. Mio caro sposo!— добавила она.

Невозможно передать французскими словами ту дивную мягкость и любовную прелесть звуков, которые итальянский язык и произношение придают этим трем восхитительным словам. Ведь итальянский был родным языком Хуаны.

— Тогда я вновь обрету дорогую мне веру,— продолжала она, бросая на Монтефьоре взгляд, сияющий небесной чистотой.— Вы и бог, бог и вы. Да неужели вы станете моим супругом? — спросила она.— Конечно! — воскликнула Хуана, помолчав.— Прошу вас, посмотрите на эту картину, которую отец привез мне из Италии.

Взяв свечу, она знаком подозвала Монтефьоре и над изножьем кровати показала ему изображение архангела Михаила, повергающего наземь дьявола.

— Взгляните, разве у него не ваши глаза? Увидев вас на улице, я сочла нашу встречу небесным предзнаменованием. По утрам, в сладких грезах, прежде чем мать звала меня на молитву, я столько раз созерцала архангела на этом образе, что в конце концов мысленно назвала его своим супругом. Боже мой, я говорю с вами, как с самой собою. Вероятно, я кажусь вам безумной; но если бы вы знали, как велика потребность у бедной затворницы высказать свои мысли, которые ее душат! Одна, я разговаривала с этими цветами, с букетиками на обоях, и мне кажется, они понимали меня лучше, чем мои родители, всегда такие угрюмые.

— Хуана! — сказал Монтефьоре, беря ее руки в свои и целуя их со страстью, горевшей в его глазах, в движениях, в звуке его голоса.— Говори со мной, как со своим супругом, как с самой собой. Я, как и ты, много выстрадал. Нам понадобится мало слов, чтобы рассказать о своем прошлом, но их у нас не хватит, чтобы наговориться о нашем будущем счастье. Положи мне руку на сердце, чувствуешь, как оно бьется? Обещаемся перед богом, который видит и слышит нас, всю жизнь быть

верными друг другу. Постой, возьми это кольцо... И дай мне свое.

— Отдать мое кольцо! — с ужасом сказала Хуана.

— Но почему же нет? — спросил Монтефьоре, смущенный такой наивностью.

— Ведь его прислал мне наш святой отец, папа! Его надела мне на палец какая-то прекрасная дама, которая вскормила меня, поместила в этот дом и велела всегда хранить это кольцо!

— Хуана, значит, ты меня не любишь!

— Ах, возьмите его! Что значу я в сравнении с вами?

Она протягивала кольцо, вся дрожа, устремив на Монтефьоре вопрошающий и проникновенный, ясный взор. В этом кольце была она вся, и она его отдавала ему.

— О моя Хуана! — воскликнул Монтефьоре, сжимая ее в объятиях.— Надо быть чудовищем, чтоб обмануть тебя! Я буду вечно тебя любить.

Хуана задумалась. Монтефьоре решил, что для первой встречи не следует отваживаться на большее, чтобы не вспугнуть чистую девушку, неосторожную скорее по чистоте душевной, чем по страстной своей натуре, и положился на будущее, на свою красоту, власть которой знал, на невинное обручение кольцами и на самый прекрасный, самый простой и сильный из всех обрядов — на брачный союз сердец. Всю эту ночь и весь следующий день воображение Хуаны должно стать его сообщником. Оттого он постарался остаться столь же почтительным, сколь нежным. Подавляя бурную страсть и вожделение, он сумел говорить вкрадчиво, найти нежные и ласковые слова. Монтефьоре посвятил наивную девушку в свои планы на будущее, обрисовал свет в самых блестящих красках, обсудил, как им устроить совместную жизнь,— а ведь это так нравится юным девушкам! — спорил с ней и заключал соглашения, которые придают любви непреложные права и реальность. Затем, условившись о постоянном часе их ночных свиданий, он оставил Хуану счастливой, но уже изменившейся. Чистой, святой Хуаны больше не существовало — в последнем взгляде, который она ему бросила, в грациозном движении, каким подставила лоб губам возлюбленного, было страсти больше, чем девушке дозволено ее выказы-

вать. Всему виной были одиночество, скучные занятия, совсем не вязавшиеся с ее натурой. Чтобы вернуть Хуане благоразумие и добродетель, ее следовало теперь исподволь приучать к свету или скрыть от него навсегда.

— Завтрашний день покажется мне очень долгим,— сказала она, когда он, прощаясь, пока еще целомудренно поцеловал ее в лоб.— Прошу вас, задержитесь в зале подольше и говорите громче, чтоб я могла услышать ваш голос. Он проникает мне в душу.

Монтефьоре, ясно представивший себе всю жизнь Хуаны, был очень доволен, что сумел обуздать свою страсть и тем вернее обеспечить ее удовлетворение. Он благополучно вернулся в свою комнату. Протекло десять дней; ни единое событие не нарушило покоя и уединения старого дома. Монтефьоре опутал своей итальянской, вкрадчивой лестью старого Переса, донну Лагуниа, ученика, даже служанку: все его полюбили. Но, несмотря на доверие, которое он им внушил, он ни разу не попросил разрешения увидеть Хуану, открыть ему дверь ее прелестной кельи. Юная итальянка, сгоравшая от желания видеть своего возлюбленного, часто его о том просила, но он из осторожности неизменно ей в этом отказывал. Зато он в полной мере воспользовался завоеванным доверием и всем своим опытом, чтобы усыпить бдительность старых супругов. Они даже не удивлялись, что он, военный человек, поднимается с постели не раньше полудня,— капитан сказывался больным. Любовники жили теперь только ночью, с той минуты, как все в доме засыпало. Не будь Монтефьоре одним из тех распутников, которым привычка к наслаждениям позволяет в любых случаях сохранять хладнокровие, они бы десять раз погибли за эти десять дней. Юный любовник, захваченный искренней первой любовью, уступил бы тем очаровательным безрассудствам, которым так трудно противиться. Но итальянец не уступал Хуане, даже когда она надувала губки, когда безумствовала, когда она, как цепью, обвивала ему шею своими длинными волосами, чтоб его удержать. Вот почему самому проницательному человеку стоило бы большого труда разгадать тайну их ночных свиданий. Надо полагать, что Монтефьо-

ре, уверенный в успехе, испытывал невыразимое наслаждение соблазна, медленно разжигая огонь, который понемногу разгорается и наконец вспыхивает всепожирающим пламенем. На одиннадцатый день за обедом он счел необходимым под строгим секретом признаться старому Пересу, что причиной немилости к нему семьи является его неравный брак. Это лживое признание было ужасным среди той драмы, которая разыгрывалась по ночам в этом доме. Монтефьоре подготовил развязку, заранее наслаждаясь ею, словно художник, любящий свое искусство. Он рассчитывал тотчас же без сожаления покинуть этот дом и забыть о своем романе. А когда Хуана, долго его прождав, быть может, рискуя жизнью, спросит Переса, где его постоялец, старик, не подозревая всего значения своего ответа, скажет ей: «Маркиз ди Монтефьоре примирился с семьей. Родные согласны принять его жену, и он уехал, чтобы ее представить».

Тогда Хуана!.. Он никогда не задавался вопросом, что станется с Хуаной, но он уже хорошо узнал ее благородство, чистосердечие, все ее достоинства и был уверен в ее молчании...

У кого-то из генералов он добился поручения в отъезд. Три дня спустя, накануне отбытия, желая, должно быть, подобно тигру, пожрать добычу до конца, Монтефьоре не поднялся вечером к себе, а сразу после обеда пробрался к Хуане, чтобы продлить прощальную ночь. Хуана, истая испанка, истая итальянка, значит, страстная вдвойне, была безгранично счастлива его смелостью, говорившей о пылкой любви! Изведать в чистом супружеском союзе бурные наслаждения запретной связи, прятать мужа за пологом своей кровати, почти обманывать приемных родителей, а в случае необходимости иметь право сказать им: «Я маркиза ди Монтефьоре!» — не было ль это праздником для молодой романтической девушки, которая уже три года мечтала о любви, сопряженной со всевозможными опасностями? Портьеры на двери опустились, скрывая их безумства, их счастье, как завеса, которую нам не следует поднимать.

Было около девяти часов; купец с женой читали вечерние молитвы; вдруг шум кареты, запряженной не-

сколькими лошадьми, гулко отдался в узком переулке; послышались торопливые удары в дверь лавки. Служанка кинулась отпирать. Тотчас влетела в старинную залу женщина в роскошной одежде, хотя только что вышла из берлины, забрызганной грязью бесчисленных дорог. Эта карета пересекла Италию, Францию, Испанию. То была Марана! Марана, которая, несмотря на свои тридцать шесть лет и бесчисленные любовные похождения, была во всем блеске своей bella folgorante [1], как говорили о ней пылкие ее обожатели. Марана, признанная фаворитка короля, находившаяся на вершине своей жизни, купавшаяся в золоте, избалованная мадригалами, благовониями и шелками, покинула Неаполь, празднества Неаполя, небо Неаполя, узнав от своего царственного любовника о событиях в Испании и осаде Таррагоны.

— В Таррагону, прежде, чем Таррагона будет взята! — воскликнула она.— Через десять дней я должна быть в Таррагоне!

И, забыв про королевский двор, про короля, она помчалась в Таррагону, снабженная чуть ли не императорским указом, снабженная золотом, которое позволило ей пересечь французские владения со скоростью и блеском метеора. Для матерей не существует расстояния, настоящая мать все предчувствует и видит свое дитя, находясь с ним на разных полюсах земного шара.

— Моя дочь! Моя дочь! — кричала Марана.

При звуках этого голоса, при этом неожиданном вторжении, при виде этой невенчанной королевы у купца и его жены выпал из рук молитвенник; голос этот был подобен раскатам грома, а глаза Мараны метали молнии...

— Она там,— спокойно ответил купец, оправившись от волнения, вызванного внезапным появлением, взглядом и голосом Мараны.— Она там...— повторил он, указывая на келью Хуаны.— Но она не больна, она, как всегда...

— Здорова, совершенно здорова, — закончила донна Лагуниа.

---

[1] Пламенной красоты *(итал.)*.

— Боже великий! Ввергни меня теперь в ад на вечные муки, если на то будет твоя воля! — вскричала Марана и, обессиленная, полумертвая, рухнула в кресло.

Лихорадочный румянец, вызванный тревогой, мгновенно погас, сменившись бледностью. У Мараны хватило сил перенести страдания, но они изменили ей в радости. Радость потрясла ее больше горя, ибо заключала в себе отголоски горя и томление радости.

— Однако как вам это удалось? — спросила она.— Ведь Таррагона взята приступом.

— Да,— ответил Перес.— Но ведь вы видите меня живым, как же вы могли задать мне такой вопрос? Разве не пришлось бы убить меня прежде, чем добраться до Хуаны?

При этих словах куртизанка схватила грубую руку Переса и поцеловала, роняя на нее слезы. Они были самым дорогим из всего, что могла назвать своим на земле эта женщина, никогда не плакавшая.

— Мой добрый Перес,— сказала она наконец.— Но ведь у вас в доме, должно быть, живут военные?

— Только один,— ответил испанец.— К счастью, нам попался весьма порядочный человек. Бывший испанский подданный, теперь итальянский, который ненавидит Наполеона; человек женатый, холодный. Он поздно встает и рано ложится. В настоящее время он даже болеет.

— Итальянец? Как его имя?

— Капитан Монтефьоре.

— Не маркиз ли это Монтефьоре?

— Да, синьора, он самый.

— Он видел Хуану?

— Нет,— ответила донна Лагуниа.

— Вы ошибаетесь, жена,— возразил Перес.— Маркиз ее видел, правда, в течение минуты, не больше, но, помнится, он на нее взглянул, когда Хуана вошла сюда во время ужина.

— Ах! Я хочу видеть свою дочь!

— Нет ничего проще,— сказал Перес.— Она спит. Но если Хуана оставила ключ в замке, ее придется разбудить.

Поднявшись, чтобы взять запасный ключ, купец слу-

чайно посмотрел в высокое окно. Там, в кругу света, отбрасываемого окошком девичьей комнатки Хуаны на темную стену, замыкавшую двор, он увидел тени двух фигур в такой позе, какой до грациозного Кановы не умел изображать ни один скульптор. Испанец обернулся.

— Не знаю, куда я девал ключ,— сказал он Маране.

— Вы очень бледны! — заметила она.

— Сейчас вы узнаете, почему,— ответил Перес, бросаясь за кинжалом, и, схватив его, с силой ударил им в дверь Хуаны, крича:

— Хуана! Отоприте! Отоприте!

В голосе его слышалось такое страшное отчаяние, что обе женщины похолодели. Хуана не отперла, ей понадобилось время, чтобы спрятать Монтефьоре. Она не могла слышать того, что происходило в зале: двойные портьеры на двери заглушали слова.

— Сударыня, я вам солгал, заявив, что не знаю, где ключ. Вот он,— сказал Перес, вынимая ключ из буфета.— Но он бесполезен. Хуана оставила свой в замочной скважине; дверь ее заперта изнутри. Мы обмануты, жена,— сказал он, повернувшись к донне Лагуниа.— В спальне Хуаны — мужчина.

— Клянусь вечным спасением, этого не может быть! — вскрикнула жена.

— Не клянитесь, донна Лагуниа. Наша честь умерла, и эта женщина...— указал он на Марану, которая, поднявшись, стояла неподвижно, как громом пораженная,— эта женщина вправе нас презирать. Она спасла нам жизнь, состояние, честь, а мы только и сумели, что сберечь ее деньги... Хуана, отоприте, или я выломаю дверь! — крикнул он.

И его голос, нарастая в силе, пошел греметь по всему дому вплоть до чердака. Но сам старик был холоден и спокоен. Он держал в руках жизнь Монтефьоре и собирался смыть укоры своей совести всей кровью итальянца.

— Уйдите, уйдите, уйдите все! — закричала Марана. Быстро, как тигрица, она бросилась за кинжалом и, вырвав его из рук оторопевшего Переса, спокойно добавила: — Уходите все: и вы, и ваша жена, и служанка, и ученик. Сейчас здесь произойдет убийство. Французы могут всех вас расстрелять. Не вмешивайтесь в это

дело: оно касается меня одной. Между мной и моей дочерью никого не должно быть, кроме бога. Что до этого человека, то он принадлежит мне. Никто в мире не вырвет его из моих рук. Идите же, идите, я вас прощаю. Я вижу, эта девушка — Марана. Вы со всей вашей верой и честью оказались слишком слабы, чтобы побороть мою кровь.

Марана испустила тяжелый вздох, но не проронила ни единой слезинки. Она все потеряла, но она умела страдать, ибо была куртизанкой. Дверь отворилась. Марана забыла обо всем, и Перес, сделав знак жене, остался на своем посту. Старый испанец, неуступчивый в вопросах чести, хотел помочь мщению обманутой матери. Хуана, озаренная мягким светом, вся в белом, спокойно вышла на середину своей комнаты.

— Что вам от меня угодно? — спросила она.

Марана не могла подавить легкую дрожь.

— Перес,— спросила она,— есть ли другой выход из этой комнаты?

Перес ответил отрицательным жестом, и, поверив ему, куртизанка вошла к дочери.

— Хуана, я ваша мать, ваш судья, и вы поставили себя в единственное положение, в каком я смею вам открыться. Вы опустились до меня, вы, которую я хотела видеть на высоте небес. Ах, как вы низко пали! Вы прячете здесь любовника?

— Сударыня, здесь не должен и не может находиться никто, кроме моего супруга. Я маркиза ди Монтефьоре.

— Значит, их две? — суровым своим голосом произнес старый Перес.— Мне он сказал, что женат.

— Монтефьоре, любовь моя! — воскликнула Хуана, раздвигая занавеси кровати, за которыми прятался офицер.— Иди сюда. Эти люди клевещут на тебя.

Итальянец показался, бледный, как смерть. Он видел кинжал в руках Мараны, и он знал Марану. Поэтому он кинулся из комнаты и закричал во весь голос:

— Помогите! Помогите! Здесь убивают француза! Солдата Шестого линейного, скорее бегите за капитаном Диаром! Помогите!..

Перес крепко схватил маркиза и зажал ему рот своей

широкой ладонью, но куртизанка остановила его, сказав:

— Держите его хорошенько, и пусть кричит. Откройте все двери, распахните их настежь и уходите, еще раз прошу вас об этом. Что касается тебя,— обратилась она к Монтефьоре,— кричи, зови на помощь. Как только послышатся шаги солдат, этот клинок пронзит твое сердце. Ты женат? Отвечай!

Монтефьоре, упавший на пороге двери, в двух шагах от Хуаны, ничего не слышал, ничего не видел, кроме клинка кинжала, ослеплявшего его своим блеском..

— Значит, он меня обманул?—медленно произнесла Хуана.— Он сказал мне, что свободен.

— А мне сказал, что он женат,— угрюмо повторил Перес.

— Матерь божья! — вскрикнула донна Лагуниа.

— Ответишь ты наконец, грязная душа? — шепотом сказала Марана, наклонившись к уху маркиза.

— Ваша дочь...— заговорил Монтефьоре.

— Дочь, которая у меня была, умерла или сейчас умрет,— сказала Марана.— У меня нет больше дочери. Не произноси этого слова. Отвечай, ты женат?

— Нет, сударыня,— вымолвил наконец Монтефьоре, желая выиграть время.— Я готов жениться на вашей дочери.

— У тебя благородное сердце, Монтефьоре! — сказала Хуана, вздохнув с облегчением.

— Тогда зачем бежать и звать на помощь? — спросил испанец.

Ужасное прозрение!

Хуана, ломая руки, упала в кресло. В это мгновение на улице раздался шум, особенно явственный среди царившей в зале глубокой тишины. Солдат Шестого линейного полка, случайно проходивший по улице в ту минуту, как Монтефьоре звал на помощь, бросился сообщить об этом Диару. К счастью, квартирмейстер оказался у себя и теперь явился в сопровождении нескольких товарищей.

— Зачем бежать? — переспросил Монтефьоре, услышав голос своего друга.— То, что я вам говорил,—

правда... Диар! Диар! — закричал он пронзительным голосом.

Но по одному знаку хозяина, который хотел, чтобы все в доме участвовали в этом убийстве, ученик запер дверь, и солдатам пришлось ее выломать. Однако прежде чем они вошли, Марана успела нанести виновному удар кинжалом; но, ослепленная своей яростью, она не успела хорошенько нацелиться, и клинок скользнул по эполету Монтефьоре. Все же удар был нанесен с такой силой, что итальянец упал к ногам Хуаны; она даже не взглянула на него. Марана снова бросилась к нему; на этот раз, чтобы не промахнуться, она схватила его за горло и, держа железной рукой, наметила удар прямо в сердце.

— Я свободен и женюсь на ней! Клянусь богом, клянусь матерью, всем, что есть в жизни святого! Я холост и женюсь на ней, даю в том честное слово.

И он укусил куртизанку за руку.

— Ударьте его, мать! — сказала Хуана.— Убейте его. Он трус, я не хочу, чтоб он был моим мужем, будь он даже вдесятеро красивее.

— Ах! Я узнаю свою дочь! — воскликнула Марана.

— Что здесь происходит? — спросил, входя, квартирмейстер.

— А то, что меня здесь чуть не убили из-за этой девушки, которая уверяет, будто я ее любовник. Она меня завлекла в ловушку, и теперь меня хотят принудить жениться на ней.

— И ты отказываешься? — воскликнул Диар, пораженный величавой красотой, которую негодование, презрение и ненависть придали Хуане, и без того прекрасной.— Ну и привередлив ты! Если ей нужен муж, я к ее услугам. Вложите в ножны ваши кинжалы!

Марана схватила итальянца за руку, подняла его и, притянув к кровати дочери, сказала ему шепотом:

— Если я щажу тебя, то лишь благодаря твоим последним словам. Но помни! Если ты хоть единым намеком опорочишь мою дочь, я разделаюсь с тобой. Сколько у нее приданого? — обратилась она к Пересу.

— Двести тысяч полновесных пиастров...

— Это еще не все, сударь,— сказала куртизанка Диару.— Кто вы такой? А вы можете идти,— повернулась

она к Монтефьоре, который, услышав, что говорят о двухстах тысячах пиастров, подошел со словами:

— Но я действительно свободен...

Взгляд Хуаны заставил его замолчать.

— Вы действительно свободны и можете идти,— сказала она.

И Монтефьоре ушел.

— Сударь, я очень благодарна вам! — обратилась девушка к Диару.— Но, увы, я избрала себе иного супруга; он на небесах. Это Иисус Христос. Завтра я ухожу в монастырь.

— Хуана, моя Хуана, замолчи! — воскликнула мать, сжав ее в объятиях. Затем шепнула ей на ухо:— Тебе нужен земной супруг.

Хуана побледнела.

— Кто вы такой, сударь? — спросила Марана, глядя на провансальца.

— Пока всего лишь квартирмейстер Шестого линейного полка. Но ради такой женщины можно найти в себе столько мужества, что станешь маршалом Франции. Меня зовут Пьер-Франсуа Диар. Мой отец был кучерским старшиной, значит, я не какой-нибудь...

— Ах, что там!.. Вы честный человек, не правда ли? Если вы нравитесь синьорине Хуане ди Манчини, вы можете быть счастливы друг с другом. Хуана! — заговорила она суровым голосом.— Становясь женой порядочного, достойного человека, помни, что ты будешь матерью. Я поклялась, что ты сможешь целовать своих детей, не краснея... (Тут голос ее слегка дрогнул.) Я поклялась, что ты будешь добродетельной женщиной. Помни: в этой жизни много горя, но что бы ни случилось, оставайся честной и во всем верной своему мужу. Пожертвуй для него всем, ибо он будет отцом твоих детей... Отцом твоих детей! Помни! Между любовником и тобою всегда будет стоять твоя мать, я буду ею только в опасности... Взгляни на этот кинжал Переса... Он пойдет за тобой в приданое,— сказала она и, взяв оружие, бросила его на кровать Хуаны.— Я оставлю его здесь — он будет порукой твоей чести до тех пор, пока глаза мои не ослепнут и руки не утратят силу. Прощай! — произнесла Марана, сдерживая слезы.— Дай бог, чтобы мы никогда больше не свиделись.

При этой мысли слезы хлынули у нее ручьем.

— Бедное дитя! Ты была очень счастлива в этой комнатке, больше, чем сама думаешь. Постарайтесь, чтобы Хуана никогда о ней не пожалела,— добавила она, глядя на будущего зятя.

Этот рассказ является лишь вступлением к основному сюжету нашего этюда, для понимания которого необходимо было объяснить, как случилось, что капитан Диар женился на Хуане ди Манчини, что̀ свело вместе Монтефьоре и Диара, и раскрыть, какое сердце, какая кровь, какие страсти жили в госпоже Диар.

К тому дню, когда квартирмейстер покончил со всеми долгими и скучными формальностями, без выполнения которых ни одному французскому военному не разрешается жениться, он был уже страстно влюблен в Хуану ди Манчини. У Хуаны оказалось достаточно времени, чтобы поразмыслить о своей судьбе. Ужасная судьба! Хуана не испытывала к Диару ни любви, ни уважения и все же оказалась связанной с ним словом, правда, опрометчивым, но неизбежным. Провансалец не был ни красив собой, ни хорошо сложен. В его грубоватых манерах одинаково чувствовался дурной армейский тон, привычки родной провинции и скудное образование. Могла ли полюбить Диара эта молодая девушка, сама грация, само изящество, наделенная прекрасным вкусом и неодолимой потребностью в роскоши, девушка, которую по самой ее природе влекло в высшие сферы общества? Что касается уважения, то даже в этом чувстве она отказывала Диару, и именно потому, что он женился на ней, ее отвращение было вполне естественным. Женщина — святое, прекрасное существо, но почти всегда непонятое; о ней почти всегда неверно судят, ибо не понимают ее. Если бы Хуана любила Диара, она б его и уважала. Любовь творит женщину наново; той, что была вчера, сегодня уже не существует. Вновь облачаясь в брачные одежды страсти, делая ее основой всей своей жизни, она возвращает им непорочную чистоту и белизну. Она возрождается к добродетели и целомудрию, у нее нет больше прошлого, она вся — будущее и должна все забыть, чтобы вновь все познать. В этом смысле известный стих, вложенный неким современным поэтом в

уста Марион Делорм, насквозь проникнут правдой, причем стих поистине корнелевский:

И девственность мою любовь мне возвращает!

Не вызывает ли эта строка воспоминания о трагедиях Корнеля,— с такой силой оживает в ней мощная энергия поэзии отца нашего театра?! И все же автору пришлось ею пожертвовать в угоду партеру, воспитанному по преимуществу на водевилях.

Итак, Хуана, лишившись любви, оказалась обманутой, униженной, опозоренной. Могла ль она уважать человека, который принимал ее такой? Со всею силой чистой, молодой души она ощущала эту невозможность уважения, как преграду на пути к любви, неуловимую, но которую женщины, даже наименее склонные к размышлениям, безотчетно делают мерилом всех своих чувств. Хуана ощутила глубокую грусть, когда жизнь раскрылась перед ней во всей своей наготе. Она часто обращала глаза, полные гордо подавляемых слез, то на Переса, то на донну Лагуниа, и они понимали, какими горькими мыслями порождены эти слезы, но оба молчали. К чему упреки? К чему утешения? Чем они сильнее, тем ужаснее кажется несчастье.

Как-то вечером Хуана, отупевшая от горя, услышала сквозь портьеры на двери, которую старики супруги считали запертой, горестные слова, вырвавшиеся у ее приемной матери:

— Бедное дитя умрет от печали!

— Да,— взволнованным голосом ответил Перес.— Но что же мы можем сделать? Не пойду ж я теперь превозносить целомудренную красоту моей питомицы перед графом д'Аркосом, за которого мы надеялись ее выдать?

— Ошибка еще не порок,— сказала донна Лагуниа, снисходительная, как ангел.

— Мать ее просватала,— возразил Перес.

— В одну минуту, да еще и не спросив ее согласия! — воскликнула донна Лагуниа.

— Она хорошо знала, что делала.

— В какие руки попадет наша жемчужина!

— Ни слова больше, или я затею ссору с этим... как его... Диаром. И это будет новым несчастьем.

Только когда Хуана услышала эти страшные слова, она поняла, какого счастья лишила себя своим падением. Значит, в награду за чистые, смиренные часы, проведенные в этом тихом убежище, ее ожидала жизнь, полная блеска и великолепия, о радостях которой она так мечтала: эти мечты и привели ее к гибели. А теперь!.. С какой высоты она упала! Она могла стать супругой испанского гранда, а выйдет за какого-то господина Диара! Хуана заплакала, Хуана почти обезумела. Несколько мгновений она колебалась в выборе между распутством и благочестием. Распутство явилось бы скорой развязкой; благочестие означало страдать всю жизнь. Минута размышлений была бурной и торжественной! Завтра наступал роковой день ее свадьбы. Хуана могла еще остаться сама собой. Свободная, она знала, как велико ее несчастье; выйдя замуж, кто знает, как далеко оно зайдет. Благочестие победило. Донна Лагуниа горячо молилась бы и бодрствовала всю ночь возле дочери, как молилась бы и бодрствовала возле умирающей.

— На то божья воля! — сказала она Хуане.

Природа наделяет женщину особой силой, которая помогает ей мужественно терпеть страдания, и слабостью, склоняющей ее к покорности. Хуана покорилась без единой задней мысли. Послушная обету матери, она хотела во всеоружии добродетели пересечь пустыню жизни, чтобы взойти на небо, и сознавала, что на тяжком своем пути не встретит ни одного цветка. Хуана вышла за Диара. Что до квартирмейстера, то кто бы не оправдал его, если Хуана его и не прощала? Он любил, любил до самозабвения. Марана, с ее столь естественным умением прозревать любовь, распознала в нем голос истинной страсти, почувствовала его порывистость, широту и щедрость души, свойственную южанам. В минуту яростного гнева против Монтефьоре она разглядела только хорошие качества Диара и решила, что может быть спокойна за счастье дочери.

На первых порах брак с виду был счастливым, иль, может быть, в подтверждение той истины, что женщина хоронит свои горести на дне души, Хуана только старалась ничем не омрачать радость своего мужа. Столь двойственную роль играть ужасно, а меж тем рано или

поздно ее играет большинство женщин, несчастных в замужестве. Мужчина тут может изложить только факты, одни лишь женские сердца прозревают чувства. Посильная ль это задача — рассказать всю правду о такой жизни? Хуана, всечасно боровшаяся со своей натурой полуиспанки-полуитальянки, выплакала все слезы, плача втайне: она была одним из тех созданий, которым суждено в жизни стать воплощением женского несчастья во всей его полноте, ни на минуту не стихающего горя, описание которого потребовало бы таких кропотливых наблюдений, что любители занимательных романов сочли бы его скучным. Но разве подобный анализ, в котором всякая замужняя женщина могла бы увидеть черты своих страданий и понять чужие муки, не составил бы целой книги? Неблагодарный труд — такая книга: вся ее прелесть была бы в нежных красках, в тончайших нюансах, которые критики нашли бы вялыми и расплывчатыми. Впрочем, кто мог бы, обладая всего лишь одним сердцем в груди, коснуться этих трогательных и глубоких элегий, тайну которых немало женщин уносят с собой в могилу; печалей, не понятых даже их виновниками, подавленных вздохов, самоотверженности без награды (по крайней мере, без награды здесь, на земле), гордого, никем не замеченного молчания, непрестанных и напрасных жертв; чаемых, но несбывшихся радостей, деяний ангельского милосердия, совершающихся втайне,— словом, всей жизни женщины, всех ее верований и неугасимой любви. Хуана познала эту жизнь, и судьба ни в чем ее не пощадила. Она была подлинной женщиной, но несчастной, страдающей, непрерывно оскорбляемой женщиной, наделенной красотой и блеском, подобно алмазу чистейшей воды, но при всей своей красоте и блеске способной отомстить за оскорбление. Хуана была не из тех девушек, что с опаской смотрели бы на кинжал, добавленный к их приданому.

Однако Диар, воодушевленный подлинной любовью и страстью, которые на миг изменяют самые дурные характеры, выявляя в душе все, что есть в ней светлого, вначале повел себя, как человек чести. Он заставил Монтефьоре уйти из полка и даже из корпуса, чтобы Хуане не пришлось больше с ним встретиться в течение того недолгого времени, что Диар рассчитывал еще остаться в

Испании. Затем квартирмейстер стал ходатайствовать о новом назначении и добился перевода в императорскую гвардию. Ему хотелось любой ценой приобрести титул, почет, уважение, которые бы соответствовали его огромному состоянию. Одержимый этой мыслью, Диар проявил большую храбрость в одном из самых кровопролитных сражений в Германии, но был в нем так опасно ранен, что не мог больше оставаться на военной службе. Ему угрожала потеря ноги, и он вышел в отставку — без баронского титула, без наград, которых так добивался и которые, быть может, получил бы, не будь он Диаром. Это несчастье, рана, обманутые надежды коренным образом изменили его характер. Энергия, ненадолго вспыхнувшая в этом провансальце, погасла. Однако вначале жена поддержала неудачника: его старания, проявленные им мужество и честолюбие внушили ей некоторую веру в мужа, а Хуана больше, чем всякая другая, могла показать, что женщины — нежные утешительницы в тяжкие минуты жизни. Приободренный несколькими ее словами, отставной командир эскадрона переехал в Париж, решив добиться на гражданском поприще высокого положения, которое заставило б уважать его, забыть в нем квартирмейстера 6-го линейного полка и со временем принесло бы какой-нибудь громкий титул г-же Диар. Страсть к этому пленительному существу помогала ему угадывать ее сокровенные желания. Она молчала, но Диар ее понимал: он не был так любим, как мечтал быть любимым, он это знал, но хотел добиться уважения Хуаны, ее любви, ласки. Этот злополучный человек жил надеждой на счастье; жена его оставалась кроткой, терпеливой, но ее кротость, ее терпение говорили лишь о покорности, которой он был обязан тем, что Хуана стала его женой. Покорность во имя религии, разве это любовь? Как часто он жаждал отказа там, где встречал лишь целомудренное послушание; сколько раз готов был пожертвовать вечным спасением души, лишь бы Хуана поплакала у него на груди, не тая своих мыслей под улыбкой, лишь бы не лгала из благородства. Очень часто молодые люди (именно молодые, ибо в известном возрасте мы уж больше не боремся) пытаются победить злую судьбу, когда черные тучи, собравшись на горизонте их жизни, разражаются грозой; и если они, побежденные,

скатываются в бездну несчастья, следует воздать им дань уважения за эти безвестные битвы.

Подобно многим, Диар все перепробовал, и все оказалось против него. Богатство позволило ему окружить жену всеми благами парижской роскоши. У нее появился роскошный особняк, пышные гостиные; ее дом, поставленный на широкую ногу, стал одним из тех, где толпятся и люди искусства, по своей природе плохие знатоки светских обычаев, не склонные к критикантству, и интриганы, которые везде пролезут, и господа, готовые развлекаться где угодно, и несколько модных фигур — все влюбленные в Хуану. Кто оказывается в Париже на виду, должен либо покорить его, либо ему подчиниться. Диар не обладал достаточно сильным, достаточно твердым и настойчивым характером, чтобы властвовать в обществе той эпохи, когда каждому хотелось возвыситься над другими. Четко установленные социальные перегородки являются, быть может, большим благом даже для народа. Наполеон признавался, каких трудов ему стоило внушить уважение к себе своим придворным, большинство которых было ему прежде ровней. Но Наполеон был корсиканцем, а Диар провансальцем. При одинаковой одаренности островитянин всегда будет совершеннее жителя материка, и под одной и той же широтой пролив, отделяющий Корсику от Прованса, вопреки географии,— это целый океан, который делает их двумя различными странами.

Ложное положение Диара, еще усугубленное им самим, привело к большим несчастьям для него. Из постепенного сцепления фактов, которые вызвали развязку данной истории, пожалуй, можно сделать полезные, назидательные выводы. Начать с того, что парижские насмешники всегда с коварной улыбкой смотрели на картины, которыми бывший квартирмейстер украсил свой особняк. О недавно купленных им шедеврах каждый высказывался обиняками, пряча за ними упрек по адресу тех, кто вывез сокровища искусства из Испании, и это было местью самолюбий, уязвленных богатством Диара. Хуана разгадала многие из этих намеков, на которые французы столь великие мастера, и по ее совету муж отправил свои приобретения назад, в Таррагону. Но пуб-

лика, склонная все толковать в дурную сторону, говорила:

— Хитрец этот Диар! Продал свои картины!

И добрые люди по-прежнему полагали, что полотна, оставшиеся в его салонах, приобретены нечестным путем. Некоторые завистливые женщины спрашивали, как случилось, что какой-то Диар женился на столь богатой и красивой девушке. Пошли всякие толки, злые насмешки, какие умеют придумать в Париже. Однако Хуана пользовалась всеобщим уважением; перед ее чистой, святой жизнью смолкали даже парижские клеветники. Но это уважение относилось только к ней самой, на мужа оно не распространялось. Женская проницательность и зоркий взгляд, которым Хуана окидывала посетителей ее гостиных, приносили ей одни горести.

Неуважение к Диару было чем-то вполне естественным. Военные, несмотря на свои достоинства, которыми воображение публики их наделяет, не могли простить, что бывший квартирмейстер разбогател и вздумал играть в столице Франции видную роль. Ибо в Париже, начиная с последнего особняка Сен-Жерменского предместья и кончая последним особняком на улице Сен-Лазар, между Люксембургским холмом и Монмартром, все, кто наряжается и болтает, кто наряжается, чтобы выезжать, и выезжает, чтобы болтать, весь мир людей с большими и малыми претензиями, полных наглости или смиренных желаний, зависти и низкопоклонства, все раззолоченное или с облезшей позолотой, молодые и старые, родовитые со вчерашнего дня и родовитые с четвертого века, все, кто насмехается над выскочками, кто боится себя скомпрометировать, кто рад уничтожить силу или пресмыкаться перед ней, если она дает отпор,— все эти уши слышат, все языки говорят, все эти головы в один вечер узнают, где родился, где рос, что делал и чего не делал вновь прибывший, который притязает на почет в хорошем обществе. Для высшего света не существует суда присяжных, зато в нем есть самый жестокий из всех генеральных прокуроров, некое неуловимое нравственное существо, одновременно судья и палач — оно обвиняет, оно же и клеймит. Не надейтесь что-либо скрыть от него, расскажите ему все сами, ибо оно хочет все знать и знает все. Не спрашивайте, где тот неведомый теле-

граф, что передает в мгновение ока во все места любое событие, любой скандал, любую новость. Не спрашивайте также, кто управляет этим телеграфом — это общественная тайна, и мы можем только убеждаться, что он действует. Тому имеются самые невероятные примеры, ограничимся одним. Об убийстве герцога Беррийского, заколотого в Опере, рассказывали уже на десятой минуте после свершившегося в самой отдаленной части острова Сен-Луи. Мнение 6-го линейного полка о Диаре просочилось в светское общество в тот самый вечер, когда он давал свой первый бал, уже на десятой минуте после начала празднества.

Итак, Диар оказался бессильным против света. Отныне только его жена могла еще что-то из него сделать. Чудо, творимое нашей своеобразной цивилизацией! В Париже, когда мужчина не умеет сам себе создать положение, его жена, если она молода и умна, дает ему еще на это кое-какие шансы. Сколько женщин можно встретить там, с виду больных, слабых, которые, не вставая с кушетки, не выходя из комнаты, управляют обществом и, нажав тысячи пружин, устраивают своих мужей на такие посты, на каких этим тщеславным дамам хочется их видеть. Но Хуана, юность которой невинно протекала в ее таррагонской келье, ничего не знала о пороках, подлостях, средствах борьбы парижского света. Она смотрела на него глазами любопытной девочки и узнавала только то, что ее горе и раненая гордость открывали в нем. Но Хуана обладала чуткостью нетронутого сердца: оно, подобно листочкам мимозы, заранее ощущало всякое прикосновение. Юная отшельница, рано ставшая женщиной, поняла, что заставить силой уважать ее мужа значило бы просить милостыню по-испански, то есть с пистолетом в руке. И разве частые и разнообразные меры, которые ей пришлось бы для этого принимать, не обнаружили бы всей их необходимости? Добиться некоторого уважения или добиться всеобщего уважения? Для Диара между решением этих двух проблем была целая пропасть. Хуана разом разгадала свет, как недавно разгадала жизнь, и для себя увидела в нем только необъятное море непоправимого несчастья. Затем она с болью в сердце и слишком поздно убедилась в поразительной бездарности мужа; этот человек неспособен был

широко и последовательно мыслить. Он совершенно не понимал, какую роль ему следовало играть в обществе, не улавливал ни общего ее характера, ни оттенков, а оттенки тут решали все. Разве он не находился в том положении, когда тонкость ума или хитрость легко могут заменить силу: ведь хитрость, пожалуй, самая большая сила, ибо она залог успеха.

Итак, Диар не только не стер пятна со своей репутации, оставленного его прошлым, а приложил немало стараний, чтоб оно расплылось еще шире. Не поняв хорошенько тот период империи, во время которого он приехал в Париж, Диар, всего-навсего командир эскадрона, вознамерился стать префектом. В ту пору почти все верили в гений Наполеона. Под его покровительством все приобрело грандиозный размах. Префектуры, эти империи в миниатюре, возглавлялись чиновниками с крупными именами, камергерами его императорского и королевского величества. Префекты стали визирями. Естественно, что интриганы, окружавшие великого человека, только посмеялись над честолюбием, проявленным командиром эскадрона, и Диар незамедлительно принялся хлопотать о должности супрефекта. Создалось забавное несоответствие между скромностью его притязаний и размерами его состояния. Держать открытый дом, нагло выставлять напоказ в своих гостиных королевскую роскошь — и вдруг отказаться от жизни миллионера, чтобы зарыться в глуши какого-нибудь Иссудена или Савенея, не значило ль это поставить себя ниже своего положения? Хуана слишком поздно постигла наши законы, нравы, административные привычки и потому слишком поздно открыла мужу глаза. Диар, отчаявшись, хлопотал у всех подряд министерских властей и везде встретил отказ. Ему всюду отказывали, он так ничем и не сделался, а тогда свет стал о нем судить так же, как судило о нем правительство, как судил о себе и он сам. Диар был тяжело ранен в сражении и не получил даже ордена. Для бывшего квартирмейстера не нашлось места в государстве, а потому и общество отказало ему в том месте, на которое он претендовал. А у себя в доме этот несчастный чувствовал на каждом шагу превосходство жены. Хотя она проявляла много такта (следовало бы сказать, бархатного, не будь такой эпитет слишком смелым),

старяясь скрыть от мужа свое главенство, которое ее самое удивляло и унижало, в конце концов Диар почувствовал себя уязвленным. В такой игре мужчина неизбежно либо опускается, либо вырастает, либо меняется в дурную сторону. Мужество и пыл этого человека не могли не ослабеть под вечными ударами по самолюбию, которые он сам же и вызывал своими непрерывными промахами. Начать с того, что ему приходилось все в себе преодолевать свои привычки и характер. Человек горячий, искренний в своих пороках, так же как в добродетелях, человек, в котором каждый нерв, каждая жилка вибрировали, как струны арфы, он сердечно относился к своим старым друзьям. Он равно помогал людям с замаранной репутацией и впавшим в нужду знатным людям, словом, никого не чуждался и в своей разолоченной гостиной привечал какого-нибудь приятеля-бедняка, дружески протягивая ему руку. Заметив это, генерал империи, разновидность рода человеческого, в наше время уже вымирающая, при встрече с Диаром не раскрыл ему, как обычно, своих объятий, а нагло сказал: «Здорово, милейший!» Ну, а там, где генералы прятали свою наглость под личиной солдатского простодушия, немногие люди из хорошего общества, еще встречавшиеся с Диаром, проявляли к нему то изысканное, вежливое презрение, против которого человек новый в обществе почти всегда безоружен. Вдобавок ухватки Диара, размашистая жестикуляция, его речь, манера одеваться, все в нем было вульгарно и лишало беднягу того уважения, которого умеют добиваться выскочки старательным соблюдением правил хорошего тона, иго, которое смеют сбросить с себя только сильные мира сего. Так уж устроен свет.

Эти подробности дают лишь слабое понятие о бесчисленных пытках, какие переносила Хуана. Они возникали одна за другой. Каждый в обществе норовил кольнуть ее булавкой, меж тем ее душа предпочитала бы удары кинжала. Разве не были нестерпимы страдания Хуаны, когда Диар при ней получал оскорбления, но не чувствовал их, зато она вдвойне их чувствовала за него? Наконец пришла страшная минута, когда она со всей ясностью постигла свет и сразу познала те горести, которые в нем исподволь для нее накапливались. Хуана по-

няла, что ее муж совершенно неспособен подняться на высокие ступени социальной иерархии, и представила себе, как низко придется ему упасть, если мужество изменит ему. Тут она почувствовала к Диару искреннее сострадание. Будущее казалось ей очень мрачным. Она жила в вечном предчувствии несчастья, не зная, откуда оно придет. Это предчувствие таилось в ее душе, как зараза таится в воздухе; но она находила в себе силы скрывать под улыбкой свои томительные страхи. Хуана научилась больше не думать о себе. Воспользовавшись своим влиянием на мужа, она уговорила его отказаться от всех притязаний и найти для себя верное убежище в тихой, благотворной жизни у домашнего очага. Все несчастья шли от света, так не следовало ли перестать с ним общаться? В родной семье он обрел бы покой, уважение к себе; он царил бы в доме. Хуана ощущала в своей душе достаточно силы, чтобы взять на себя задачу сделать этого человека, недовольного собой, счастливым. Ее энергия росла вместе с жизненными трудностями; она нашла в себе скрытый, необходимый в ее положении героизм, была воодушевлена теми же светлыми упованиями, какие поддерживают ангела, призванного защитить христианскую душу,— суеверная поэзия, аллегорический образ нашей двойственной природы.

Диар отказался от своих честолюбивых планов, прекратил приемы и зажил в тесном семейном кругу (да простится мне столь обыденное выражение!). Но тутто и оказался камень преткновения. Бедняга Диар был из числа беспокойных натур, испытывающих вечную потребность в движении; словно какой-то инстинкт гонит их прочь, едва они пришли, словно они задались целью беспрестанно двигаться взад и вперед, как те колеса, о которых говорится в священном писании. А может быть, он старался таким путем уйти от себя? Он не пресытился Хуаной, он ни в чем не мог ее упрекнуть, просто страсть его в силу обладания стала менее бурной, и к нему вернулся его прежний характер. Все чаще на него нападала хандра, сменяясь вспышками южной горячности. Чем женщина добродетельнее, чем она безупречнее, тем приятнее мужу уличить ее в какой-нибудь ошибке, хотя бы для того, чтобы доказать свое законное превосходство.

А если жена внушает мужу безграничное уважение, он испытывает потребность изобрести для нее какую-либо вину. И тогда в отношениях между супругами мельчайшая песчинка вырастает в целую гору. Но Хуана, терпеливая без гордыни, кроткая без той горечи, какую женщины умеют придать своей покорности, не подавала никакого повода для рассчитанной злобы, жесточе которой не бывает. В ее существе было столько благородства, что к ней невозможно было относиться неуважительно; ее взгляд, в котором отражалась святая чистота ее жизни, взгляд мученицы, обладал волшебной силой. Диара вначале это стесняло, потом стало задевать, и наконец он почувствовал в этой добродетели ярмо для себя. Столь разумная жена не давала ему острых ощущений, а он жаждал их. Сколько драм, разыгрывающихся в глубине души, скрыто под холодными итогами существования, на взгляд весьма простого, обыденного! Среди этих мелких драм, которые длятся недолго, но рано вплетаются в жизнь, почти всегда являясь предвестьем серьезного несчастья, предначертанного большинству браков, трудно выбрать какой-нибудь пример. Все же одна сцена поможет нам указать минуту, с которой между Диаром и Хуаной начался разлад. Не послужит ли она объяснением развязки этой истории?

У Хуаны, к счастью для нее, было двое детей — два сына. Первый родился через семь месяцев после свадьбы. Его звали Хуаном, и он походил на мать. Второго она родила через два года после своего переезда в Париж. Ребенок был похож и на Диара и на нее, но гораздо больше на Диара и носил два его имени. Лет с пяти Франсуа стал для матери предметом самых нежных попечений. Она постоянно занималась младшим сыном; для него предназначались самые умиленные ласки и самые лучшие игрушки, а главное — внимательные, зоркие взгляды матери. Хуана следила за ним с колыбели, она изучила его крики, движения, старалась постигнуть его характер, чтобы руководить его воспитанием. Казалось, он был у Хуаны единственным ребенком. Увидав, что Хуан почти заброшен, Диар взял его под свое покровительство, не задумываясь над тем, что этот малыш — дитя той недолгой любви, которая вынудила Хуану выйти за него. Он питал к Хуану какое-то своеобразное и

благородное пристрастие, сделал его своим любимцем. Из всех чувств, заложенных в крови Хуаны ее женскими предками и снедавших ее, она дала волю только материнской любви. Но любила она своих детей не только неистовой любовью, пример которой являла Марана, участвовавшая в вводной части этой истории,— ее чувство проникнуто было пленительной чистотой, тонким пониманием высоких нравственных качеств, воспитание которых в ребенке стало ее гордостью, ее внутренней наградой. Сокровенные мысли о своем материнстве, сознание материнского долга, которые наложили на жизнь Мараны отпечаток суровой поэтичности, стали для Хуаны самой жизнью, непрестанным утешением. Ее мать была добродетельна украдкой, как другие женщины бывают порочны, она воровала свое тайное счастье, она им не наслаждалась. Но Хуана, несчастная по своей добродетели, как ее мать была несчастна по своей порочности, ежечасно находила те неизъяснимые радости, которых ее мать так жаждала и была лишена. Для нее, как и для Мараны, в материнстве заключались все земные чувства. Та и другая, по противоположным причинам, не знали в своих страданиях другого утешения. Хуана, быть может, любила своих детей больше, ибо, отлученная от другой любви, заменила все отнятые у нее радости теми, что давали ей дети. Существуют благородные страсти, подобные порокам: чем больше их удовлетворяют, тем сильнее они растут. Мать и игрок ненасытны. Убедившись в великодушном прощении Диара, увидев, что он щедро дарит ее сыну отцовское чувство, Хуана была тронута; с того дня как муж поменялся с ней ролями, она почувствовала к нему глубокий и неподдельный интерес, доказательства которого раньше давала по обязанности. Будь у этого человека больше характера, воли, не губили б его безалаберность, непостоянство, изменчивость нрава, вспышки искренней, но болезненной чувствительности, Хуана, несомненно б, его полюбила. К несчастью, он принадлежал к определенному типу южан, умных, но лишенных твердых убеждений, способных сегодня на прекрасный поступок, а завтра на весьма низкий; зачастую они жертвы своих добродетелей, а нередко — счастливцы в силу дурных своих страстей; впрочем, они премилые люди, когда их добрые ка-

чества объединены постоянной энергией и деятельностью. Уже два года Диар жил, прикованный к дому нежнейшей из цепей. Он жил так против своей воли, подчиняясь влиянию женщины, которая притворялась веселой, чтобы развлечь его, пускала в ход все средства гениальной женской изобретательности, стараясь склонить мужа к добродетели, но искусства ее все же не хватало на то, чтобы притворяться в любви к нему.

В это время на весь Париж нашумело дело одного капитана императорской армии, который в порыве исступленной страсти убил женщину. Однажды Диар, вернувшись домой к обеду, рассказал Хуане о самоубийстве этого офицера. Он покончил с собой, желая избежать бесчестья судебного процесса и позорной смерти на эшафоте. Поначалу Хуана не поняла логики этого самоубийства, и мужу пришлось разъяснить ей высокую справедливость французских законов, по которой запрещается судить преступника посмертно.

— Папа, а ты ведь говорил на днях, что король имеет право его помиловать? — сказал Франсуа.

— Король может только подарить жизнь,— почти гневно ответил Хуан.

Диар и Хуана, свидетели этого разговора, были поразному им взволнованы. Влажный радостный взгляд, брошенный матерью на старшего сына, роковым образом раскрыл Диару тайну этого, до сих пор непроницаемого сердца. Старший был весь в Хуану, старшего она знала, была уверена в его душевном благородстве, в его будущем; она его обожала, и ее горячая любовь была тайной между нею, ребенком и богом. Хуан безотчетно наслаждался резкими переходами в обращении с ним матери, которая то душила его в объятиях, когда они оставались одни, а то, в присутствии отца и брата, словно сердилась на него. Франсуа был копией Диара, и все заботы Хуаны говорили о ее желании победить в ребенке пороки отца и развить хорошие качества. Хуана, не зная, как много открыл мужу ее взгляд, усадила Франсуа возле себя и мягким голосом, радостно взволнованная ответом Хуана, прочла младшему сыну урок морали, доступный детскому пониманию.

— Его характер требует больших забот! — сказал жене Диар.

— Да,— ответила она просто.

— Зато Хуан!..

Госпожа Диар, испуганная тоном, каким были произнесены эти слова, взглянула на мужа.

— Хуан родился совершенством,— добавил Диар. Сказав это, он сел, нахмурившись, и, увидев, что жена молчит, продолжал:— Одного из ваших детей вы любите больше, чем другого.

— Вы хорошо знаете, которого,— сказала она.

— Нет! — ответил Диар.— До сих пор я не знал, кому из них вы дарите больше любви.

— Но ведь ни тот, ни другой еще не причиняли мне огорчений,— быстро ответила она.

— Да, но кто из них дал вам больше радости? — настороженно спросил Диар.

— Я не считала.

— До чего женщины лживы! — воскликнул Диар.— Посмейте сказать, что не Хуан — любимое ваше дитя!

— Если это и так,— сказала она с достоинством,— неужели вы хотите, чтоб это стало несчастьем?

— Вы никогда меня не любили. Если бы вы захотели, я мог бы завоевать ради вас королевство. Чего я только не делал, чтобы добиться вашей любви. Ах, если бы вы меня любили!

— Женщина, которая любит, живет в уединении, вдали от света. Не так ли мы с вами и поступаем?

— Я знаю, Хуана, вы всегда правы.

Эти слова, проникнутые глубокой горечью, внесли холод в их отношения, так и не исчезнувший до конца в их совместной жизни. На следующий день после рокового объяснения Диар забрел к кому-то из старых товарищей и нашел прежнее удовольствие в картах. К несчастью, он много выиграл и снова втянулся в игру. Дальше, незаметно катясь по наклонной плоскости, он вернулся к той беспутной жизни, какую вел когда-то. Вскоре он перестал обедать дома. Несколько месяцев прошли в блаженном ощущении вновь обретенной независимости; Диару захотелось закрепить за собой эту свободу, и он зажил врозь с женой,— предоставил ей весь дом, а сам поселился на антресолях. К концу года супруги уже виделись только по утрам, за завтраком. Как все игроки, Диар попеременно оказывался то в выиг-

рыше, то в проигрыше. И вот, не желая затрагивать основной капитал, он решил изъять из-под контроля жены распоряжение доходами и в один прекрасный день отстранил ее от управления домом. Безграничное доверие между ними сменилось полной отчужденностью и подозрениями. Что касается денег на нужды хозяйства, прежде у них нераздельных, Диар ограничил жену строгим месячным бюджетом, сумму которого они установили сообща. Их разговор по поводу этого был последней беседой между ними, еще не лишенной той интимности, которая является одной из самых милых, привлекательных сторон брака. Безмолвие, воцарившееся между мужем и женой,— это фактический развод, состоявшийся в тот день, когда слово «мы» больше не произносится. Хуана поняла, что с этого дня она только мать, и почувствовала себя счастливой, не доискиваясь причины случившегося разрыва. Это было большой ошибкой. Дети вносят согласие в существование супругов, и жизнь мужа, полная тайн, не должна была служить для Хуаны только источником печали и томительной тревоги. Диар, освободившись от влияния жены, быстро привык терять или выигрывать огромные суммы. Отличный игрок, игрок широкого размаха, он приобрел известность своей манерой играть. Уважение, которого Диар не сумел добиться при Империи, он завоевал во время Реставрации, расшвыривая по зеленому сукну свое состояние, обращенное им в наличные деньги, а также своим пресловутым мастерством в любой игре. Посланники, крупные банкиры, богачи, прожигатели жизни, которые, взяв от нее все, начинают искать в игре особо острых наслаждений, допускали Диара в свои клубы, редко в свои дома, но играли с ним все. Диар стал знаменитостью. Из тщеславия он раза два в году давал зимой бал — в ответ на празднества, на которые его приглашали. Хуана урывками снова видела свет в блеске и роскоши этих званых вечеров. Но она смотрела на них, как на своего рода дань, которую вынуждена была платить за свое счастливое уединение. Она, царица этих празднеств, появлялась на них, словно существо из другого мира. Невинность души, вернувшаяся к ней с новым укладом ее жизни, красота, безыскусственная скромность вызывали самое искреннее уважение к ней.

Однако, замечая, как мало женщин бывает в их доме, Хуана поняла, что если муж, не сообщая ей о том, идет в жизни каким-то новым путем, то уважения к себе света он не приобрел.

Диару не всегда везло: за три года он проиграл три четверти своего состояния; но страсть к игре рождала в нем энергию, необходимую для ее удовлетворения. Он был связан со множеством людей, главным образом с большинством тех мошенников, орудовавших на бирже, которые со времени революции провозгласили, что крупное воровство — это не больше, чем родимое пятнышко на репутации, и переносили, таким образом, на свои денежные сундуки бесстыдные взгляды на любовь, усвоенные восемнадцатым веком. Диар стал дельцом и пустился в аферы, которые на судебном языке называются *темными*. Он научился скупать при затянувшихся ликвидациях векселя у бедняг, не подозревавших о существовании таких контор, заканчивал их в один вечер и делил барыши с самими ликвидаторами. Потом, когда ликвидные долги иссякали, он принимался за неконсолидированные, с уплатой на предъявителя, или, раскопав в европейских, азиатских или американских странах денежные рекламации, приостановленные за неплатежеспособностью должников, опять давал им ход. Когда Реставрация погасила долги королевских принцев, Республики и Империи, он стал добиваться комиссий на займы, каналы, на всякого рода предприятия. Коротко говоря, он занимался благопристойным воровством, каким занимаются многие, ловко маскируясь или же прячась за кулисами политических махинаций; соверши такое воровство кто-либо на улице при свете ночного фонаря, оно довело бы несчастного до каторги, но оно было дозволенным в апартаментах с раззолоченными лепными потолками и золотыми канделябрами. Диар скупал крупными партиями и перепродавал сахар, торговал должностями, ему принадлежала честь изобретения подставного лица для тех доходных мест, за которые следовало держаться, пока не найдутся лучшие. Он высматривал лакомые куски и, чтоб ими овладеть, выискивал лазейки в законах, всячески попирая закон.

Для характеристики этой высокой коммерции достаточно сказать, что он попросил столько-то процентов за

го, чтобы купить в законодательной палате голоса пятнадцати депутатов, которые за одну ночь сменили убеждения и утром пересели со скамей левых на скамьи правых. Такого рода действия не считаются преступлением или воровством,— это способы формировать правительство, управлять промышленностью, проявлять финансовый ум. Общественное мнение посадило Диара на скамью подсудимых. Но ведь там сидит не один ловкий делец. Там обретается аристократия зла. Это верхняя палата преступников хорошего тона. Ибо Диар не был обычным игроком, тем игроком, которого в драмах изображают мерзавцем и который непременно кончает нищенством. Такого жалкого игрока на известной высоте в свете уже не найдешь. Ныне смелые негодяи умирают во всем блеске порока и богатства. Они пускают себе пулю в лоб, сидя в карете, и уносят с собою все, что было им доверено в долг. По крайней мере, Диар обладал талантом не терзаться «дешевыми укорами совести» и стал одним из таких привилегированных мошенников. Изучив все тайные пружины правительства, секреты и страсти его сановных особ, он сумел удержаться на своем месте в том адском пекле, в которое сам бросился. Госпожа Диар и не подозревала, какую жизнь ведет ее муж. Радуясь, что он совсем отошел от нее, она вначале не замечала своего одиночества, так как весь день у нее был заполнен. Свои деньги она целиком тратила на воспитание детей: пригласила к ним опытного наставника и нескольких учителей, необходимых для их всестороннего образования; ей хотелось вырастить их людьми с ясным разумом, не лишенными, однако, свежести воображения. А так как дети были для нее единственным источником впечатлений, то Хуана нисколько не страдала от своей бесцветной жизни. Они были для нее тем, чем дети надолго становятся для многих матерей,— как бы продолжением их существа. Диар явился в ее жизни только случайностью, и с той поры, как перестал быть отцом и главой семьи, Хуана чувствовала себя связанной с ним только внешними узами, какие общественная мораль накладывает на супругов. Тем не менее она внушала сыновьям уважение к отцовской власти, какой бы призрачной эта власть ни была для них; тут ей как раз помогло постоянное отсутствие Диара. Если бы он больше бывал

дома, рухнули бы все усилия Хуаны. Ее сыновья обладали уже достаточным умом и тактом, чтобы не осуждать своего отца. Осудить своего отца — значит совершить моральное отцеубийство. Однако с течением времени равнодушие Хуаны к мужу исчезло. Это первоначальное чувство сменилось страхом. Она поняла, что поведение отца может тяжело отразиться на будущности сыновей— ее материнская любовь помогала ей порой, хотя и неполностью, прозреть истину. Предчувствие неведомого, но неотвратимого несчастья, в котором она постоянно жила, становилось со дня на день все живее, все мучительнее. В те редкие мгновения, когда Хуане случалось видеть Диара, она бросала на его испитое лицо, мертвенно бледное от бессонных ночей и иссушенное страстями, пронизывающий взгляд, зоркость которого приводила его в трепет. Тогда деланная жизнерадостность, которой он прикрывался, пугала ее еще больше, чем его угрюмое, тревожное выражение, когда он случайно забывал свою роль весельчака. Он страшился жены, как преступник страшится палача. Хуана видела в нем позор своих детей, и Диар с ужасом чуял в ней молчаливую месть, правосудие с ясным челом и всегда поднятой, всегда вооруженной рукой.

После пятнадцати лет брака Диар оказался однажды без средств. У него было на сто тысяч экю долгов, а наличных денег не больше ста тысяч франков. Его особняк, единственное солидное имущество, был заложен и перезаложен, и сумма закладных превышала его стоимость. Еще несколько дней — и престиж в обществе, который давало ему богатство, рухнет. Кончатся эти дни отсрочки крушения, и никто не протянет ему руку помощи, не раскроет перед ним кошелька. И тогда, если только не выручит какой-нибудь счастливый случай, его втопчут в грязь, задавят презрением, и, может быть, он упадет ниже, чем того заслуживает, именно потому, что поднялся на неподобающую ему высоту. К счастью, Диар узнал, что летом на теплые воды в Пиренеи прибудет несколько видных иностранцев и дипломатов,— все люди, ведущие дьявольскую игру и, несомненно, обладающие большими деньгами. Диар сразу решил ехать туда. Но ему не хотелось оставлять жену в Париже, где любой кредитор мог открыть ей ужасную тайну его по-

ложения, и он увез ее вместе с детьми, не позволив захватить в путешествие их воспитателя. Он взял с собой единственного лакея и крайне неохотно разрешил Хуане оставить при себе свою горничную. Говорил он теперь отрывисто, властно; казалось, к нему вернулась прежняя энергия. Эта внезапная поездка, причины которой Хуана при всей ее проницательности не могла понять, наполнила ее душу леденящим страхом. Диар был весел в пути, поневоле очутившись вместе с семьей в дорожной карете, он с каждым днем становился внимательнее к детям и любезнее с матерью. И все же Хуану ни на один день не покидали мрачные предчувствия — предчувствия матери, которая трепещет без видимой причины и редко при этом ошибается. Вероятно, завеса будущего для матерей менее непроницаема.

В Бордо Диар снял на тихой улице небольшой, спокойный дом, очень прилично меблированный, и поселил в нем жену. Дом был угловой, с большим садом при нем. Примыкая к соседнему дому одной стороной, он был весь на виду и доступен с остальных трех сторон. Диар уплатил за наем и оставил Хуане денег на самые необходимые расходы: на три месяца всего лишь пятьдесят луидоров. Госпожа Диар не позволила себе ни одного замечания по поводу этой непривычной скаредности. Когда муж сказал, что едет на воды, а ей придется остаться с детьми в Бордо, Хуана решила хорошенько заняться с сыновьями итальянским и испанским, читать вместе с ними в подлиннике лучшие произведения на этих языках. Ей предстояло вести уединенный, простой и, конечно, экономный образ жизни. Чтоб отделаться от скучных хозяйственных хлопот, она на другой же день после отъезда Диара договорилась с трактирщиком относительно питания и решила ограничиться услугами единственной горничной; хотя она осталась без денег, зато была обеспечена самым необходимым до возвращения мужа. Ее развлечения сводились к прогулкам, на которые она отправлялась вместе с детьми. Ей исполнилось тогда тридцать три года. Красота ее была в полном расцвете. Не удивительно, что стоило ей появиться в Бордо, там только и было разговору, что о прекрасной испанке. После первого же

любовного письма, полученного Хуаной, она стала прогуливаться только в своем саду.

Вначале Диару повезло на водах. За два месяца он выиграл триста тысяч франков, однако и не подумал послать денег жене — ему нужна была большая сумма, чтобы увеличить свои шансы на крупный выигрыш. В конце второго месяца на воды прибыл маркиз ди Монтефьоре, которому предшествовала слава о его богатстве, красоте, удачной женитьбе на знатной англичанке, а еще больше — о его страсти к игре. Диар, старый товарищ Монтефьоре, решил его дождаться, намереваясь обыграть так же, как и остальных. Игрок, вооруженный почти четырьмястами тысяч франков, всегда чувствует себя хозяином жизни, и Диар, веря в свою счастливую звезду, возобновил знакомство с Монтефьоре. Тот встретил его очень холодно, но сел с ним за карточный стол, и Диар проиграл ему все деньги.

— Дорогой Монтефьоре,— сказал бывший квартирмейстер, когда они, закончив разорившую его игру, прохаживались по салонам игорного дома.— Я вам должен сто тысяч франков, но деньги у меня в Бордо, где я оставил жену.

У Диара было в кармане еще добрых сто тысяч франков; однако с апломбом и быстрой оглядкой человека, привыкшего изворачиваться любыми средствами, он все еще надеялся на непостижимые причуды игры. Монтефьоре изъявил намерение посмотреть Бордо. Диар, расплатившись с ним, остался бы без денег и не мог бы попробовать отыграться. А иногда реванш компенсирует весь проигрыш. Диар загорелся надеждой, но все зависело от ответа маркиза.

— Послушай, мой милый,— сказал Монтефьоре.— Едем вместе в Бордо. По совести сказать, я теперь достаточно богат, чтобы не брать денег у старого товарища.

Три дня спустя Диар и итальянец были уже в Бордо. Монтефьоре предложил Диару отыграться. И в течение вечера тот проиграл ему не только свои сто тысяч франков, но еще двести тысяч на слово. Провансалец был весел, как человек, привыкший купаться в золоте. Только что пробило одиннадцать, стояла прекрасная погода; Монтефьоре, как и Диар, видимо, испытывал

потребность побыть на воздухе и прогуляться, чтоб остыть от волнений азарта; Диар предложил зайти к нему за деньгами и выпить чашку чаю.

— А как же... твоя жена?..— сказал Монтефьоре.

— Ба! — ответил Диар.

Они сошли вниз, но прежде чем взять шляпу, Диар заглянул в столовую дома, в котором шла игра, и попросил стакан воды. Пока за ней ходили, он, прохаживаясь по комнате, успел незаметно схватить один из фруктовых ножей с острым стальным лезвием и перламутровой ручкой: их еще не успели убрать после десерта.

— Где ты живешь? — спросил Монтефьоре, когда они вышли во двор.— Я велю прислать карету, чтобы дожидалась меня у твоих ворот.

Диар точно указал, где его дом.

— Ты же понимаешь,— вполголоса сказал Монтефьоре, взяв его под руку,— с тобой-то мне нечего бояться. Но если б я возвращался один и какой-нибудь негодяй меня выследил, ему было бы очень выгодно убить меня.

— У тебя что, много денег при себе?

— Самые пустяки,— ответил недоверчивый итальянец.— Только те, которые я у тебя выиграл. Но для любого нищего — это целое состояние и солидный патент на честность до конца его жизни.

Диар повел итальянца пустынной улицей, где заприметил дом, к которому вела аллея, обсаженная деревьями и огражденная с обеих сторон высокими, мрачными стенами. Когда они дошли до этого места, у Диара хватило наглости попросить своего спутника, по-военному бесцеремонно, оставить его на минутку и пройти немного вперед. Монтефьоре, догадавшись, зачем, решил составить ему компанию. Но лишь только они вместе вошли в аллею, Диар дал ему подножку, с быстротой тигра опрокинул его навзничь, наступил ногой ему на горло и несколько раз ударил ножом в сердце с такой силой, что лезвие, сломавшись, осталось в груди. Потом, обыскав Монтефьоре, он взял у него бумажник с деньгами. Хотя Диар проделал все это с холодной яростью, с проворством жулика, с поразительной ловкостью напав на итальянца врасплох, однако Монтефьоре успел

крикнуть пронзительным голосом, от которого у спящих людей, должно быть, перевернулось все нутро: «Помогите! Убивают!» Он испускал не последние вздохи, а ужасающие вопли. Диар не знал, что, когда они входили в аллею, люди, потоком хлынувшие из театров, где только что закончился спектакль, находились в начале улицы и услышали стоны умирающего, хотя провансалец, стараясь заглушить их, все сильнее нажимал ему ногой на горло, пока вопли постепенно не стихли. Люди бросились бежать к аллее, высокая ограда которой, отражая крики, точно указывала место, где совершалось преступление. Их топот отдавался у Диара в мозгу. Но, не потеряв головы, убийца вышел из аллеи на улицу, двигаясь очень медленно, будто любопытствующий, который понял, что всякая помощь здесь бесполезна. Он даже повернулся лицом к бегущим, чтоб определить, какое расстояние отделяет его от них, и увидел, что они устремились прямо в аллею, кроме одного, который из вполне понятной предусмотрительности стал наблюдать за ним.

— Это он! Это он! — закричали люди, вбежавшие в аллею, когда заметили распростертое на земле тело, обнаружили, что дверь особняка заперта и, обыскав аллею, не нашли убийцы. Едва раздался этот крик, Диар, чувствуя, что сейчас начнется погоня, обрел в себе львиную силу, оленью резвость и помчался, как на крыльях. В другом конце улицы он увидел, или ему показалось, что он видит, множество людей, и кинулся в проулок. Но уже все окна пооткрывались, у каждого окна выросли человеческие фигуры, из каждой двери доносились, крики, везде мелькали огни. Диар, спасаясь, несся как бешеный, пролетал среди огней, среди шума, мчался с такой быстротой, что опережал этот шум, но не мог убежать от всех этих глаз, которые охватывали пространство скорее, чем он успевал его преодолеть. Жители, солдаты, жандармы — все в квартале мгновенно оказались на ногах. Кто поусерднее, кинулся будить полицейских комиссаров, остальные стерегли труп. Нарастающий гул голосов долетал до беглеца, гнал его вперед, как ветер гонит пламя пожара, доносился и в центр города, где жили судьи. Диару казалось, что это он во сне слышит, как целый город воет, мечется, тре-

пещет. Но он сохранял еще ясность мысли, присутствие духа и вытирал руки о стены домов. Наконец он добежал до садовой ограды своего дома, думая, что бегущие за ним потеряли его след. Диар очутился в совершенно тихом месте, хотя и туда еще доносился отдаленный гул города, схожий с рокотом моря. Он зачерпнул воды из ручья и напился. Потом, увидев кучу битого камня, спрятал там свои деньги, повинуясь смутной мысли, какая возникает у преступников в ту минуту, когда они, потеряв способность судить о своих поступках в целом, торопятся построить доказательство своей невиновности на отсутствии улик. Спрятав деньги, он постарался принять спокойный вид, даже улыбаться, тихо постучался в дверь своего дома, надеясь, что никто его не видел. Он заметил сквозь решетчатые ставни свет в комнате жены. Тут в минуту жестокой тревоги картина мирной жизни Хуаны, проводившей вечера с сыновьями, вдруг возникла перед ним, и его словно обухом ударило. Горничная отперла ему. Диар быстро захлопнул дверь ногой. Теперь только он перевел дух, но, чувствуя, что весь в поту, остался в тени, отослав горничную назад, к Хуане. Он вытер носовым платком лицо, привел в порядок одежду, как фат, который оправляет на себе фрак перед тем, как войти в гостиную хорошенькой женщины. Потом осмотрел при лунном свете руки, ощупал лицо и сделал радостное движение, не найдя на них следов крови. Очевидно, у его жертвы произошло внутреннее кровоизлияние. Охорашиваясь, убийца потерял несколько минут. Он направился в комнату Хуаны спокойной, размеренной походкой, какая бывает у человека, когда он, вернувшись из театра, идет ложиться спать. Поднимаясь по лестнице, он успел обдумать свои дальнейшие действия, определив их двумя словами: уйти и добраться до порта. Эта мысль не возникла в его мозгу, он словно прочел ее, она горела в темноте огненными буквами. Добраться до порта, спрятаться там на день, а ночью вернуться за деньгами; потом, притаившись, как крыса, на дне трюма любого корабля, уехать, чтобы ни одна душа не знала о его присутствии на этом судне. Для этого прежде всего нужны деньги, а у него ничего не было. Горничная вышла ему посветить.

— Фелиси,— сказал он,— вы слышите шум и крики на улице? Сходите, узнайте, что там такое, и сообщите мне...

Его жена в белом ночном одеянии сидела за столом вместе с Франсуа и Хуаном. Они следили по подлиннику Сервантеса за текстом, который мать читала вслух. Все трое остановились и подняли глаза на Диара, который стоял, засунув руки в карманы, не двигаясь, быть может, сам пораженный тем, что очутился в этом мирном уголке, озаренном мягким светом, видит прекрасные лица этой женщины и двух мальчиков. Перед ним была словно живая картина: богоматерь с сыном и святым Иоанном.

— Хуана, мне тебе нужно что-то сказать.

— Что случилось? — спросила она, догадываясь по изжелта-бледному лицу мужа о несчастье, которого каждый день ждала.

— Ничего, но мне надо поговорить с тобой... одной.— И он пристально взглянул на сыновей.

— Идите, мои маленькие, к себе в комнату и ложитесь спать,— сказала она.— Помолитесь без меня.

Мальчики послушно вышли, не проявляя любопытства, как хорошо воспитанные дети.

— Милая Хуана,— ласково заговорил Диар.— Я оставил тебе очень мало денег и теперь в отчаянии от этого. Скажи, с той поры, как я снял с тебя заботы о доме, выдавая деньги помесячно, не сделала ли ты, как другие женщины, небольших сбережений?

— Нет,— ответила Хуана.— У меня ничего нет. Вы не учли расходов на образование детей. Это не упрек, мой друг, я напоминаю вам об этом упущении только затем, чтоб объяснить, почему у меня нет денег. Все, что вы мне дали, ушло на учителей и на...

— Хватит! — грубо прервал ее Диар.— Черт возьми, время дорого. Есть у вас драгоценности?

— Вы хорошо знаете, что я их не ношу.

— Значит, в доме ни гроша! — злобно крикнул Диар.

— Почему вы кричите? — сказала она.

— Хуана,— ответил Диар,— я только что убил человека.

Хуана бросилась в соседнюю комнату и, закрыв двери, вернулась.

— Чтобы ваши сыновья не слышали,— сказала она.— Но с кем же вы могли драться?

— С Монтефьоре,— ответил он.

— Ах! — со вздохом сказала Хуана.— Это единственный человек, которого вы имели право убить.

— У него было много причин умереть от моей руки. Но не станем терять время. Денег, денег, денег, во имя господа! Меня, вероятно, ищут. Мы не дрались. Я... убил его.

— Убили? — вскрикнула Хуана.— Но как?

— Ну, как убивают... Он дочиста меня обыграл, и я отнял у него свои деньги. Хуана, пока все спокойно, вам следовало бы, раз у вас нет денег, сходить за моими деньгами; они лежат под кучей щебня,— той, что в конце сада.

— Боже мой! — воскликнула Хуана.— Вы обокрали его!

— Вам-то что до этого? Ведь я должен бежать, не так ли? И денег у вас нет? На мой след напали!

— Кто?

— Полиция!

Хуана вышла и тут же возвратилась.

— Вот возьмите,— сказала она, протягивая ему золотой крест.— Это крест донны Лагиниа, на нем четыре рубина, говорят, большой ценности. Ступайте. Уходите, уходите... уходите же!

— Фелиси не возвращается,— как в оцепенении пробормотал Диар.— Неужели ее арестовали?

Хуана положила крест на край стола и бросилась к окнам, выходившим на улицу. При свете луны она увидела солдат, которые в полной тишине выстраивались вдоль стены. Она вернулась и, притворяясь спокойной, сказала мужу:

— Вам нельзя терять ни минуты. Бегите через сад. Вот ключ от калитки.

Из осторожности она все-таки пошла посмотреть, что делается в саду. И там в тени, под деревьями, увидела несколько бликов на серебряных позументах жандармских треуголок. До нее даже донесся смутный гул толпы: любопытные стекались сюда со всех сторон, их сдерживали часовые, расставленные в обоих концах улицы. Люди, стоявшие у окон, видели Диара. По их показа-

ниям и показаниям Фелиси, которую сначала припугнули, потом арестовали, солдаты и жандармы мгновенно преградили доступ к тем двум улицам, на углу которых стоял дом. Жандармы, сменившиеся после дежурства у театра, оцепили дом, остальные перелезли через ограду сада и производили там обыск, уверенные, что убийца скрывается здесь.

— Сударь,— сказала Хуана,— вам не удастся выйти. Весь город тут.

Диар бросился к окнам с отчаянной решимостью пойманной птицы, которая ударяется с размаху о все стекла. Он метался, ища выхода. Хуана стояла, задумавшись.

— Куда мне спрятаться? — спросил он.

Диар глядел на камин, а Хуана на два пустых стула. С какого-то мгновения ей казалось, что ее дети здесь. Вдруг калитка с улицы отворилась, и во дворе послышался топот бесчисленных ног.

— Хуана, моя дорогая Хуана! Ради бога, дайте совет! Спасите меня!

— Да, да... Сейчас... Я вас спасу,— сказала Хуана, выходя из комнаты.

— Ах! Ты будешь моим ангелом-хранителем!

Хуана возвратилась, протянула Диару один из его пистолетов и отвела глаза. Диар не взял оружия. Услышав голоса во дворе, где укладывали тело маркиза, чтобы подвести к нему убийцу, она оглянулась на Диара и увидела, что он бледен, как смерть. Чувствуя, что ноги его не держат, он хотел сесть.

— Ваши дети вас умоляют об этом,— сказала Хуана, вкладывая ему в руку оружие.

— Хуана!.. Добрая моя, миленькая Хуана, значит, ты считаешь, что... Хуана, неужели это так спешно?.. Мне бы хотелось тебя поцеловать...

Жандармы уже поднимались по ступенькам лестницы. Тогда Хуана взяла у него пистолет, прицелилась и, крепко держа Диара, несмотря на его крики, схватила его за горло, выстрелила ему в голову и бросила оружие на пол.

Дверь внезапно отворилась. Показался королевский прокурор, за ним — судебный следователь, врач, секретарь суда, жандармы — словом, все вершители человеческого правосудия.

— Что вам угодно? — сказала Хуана.

— Это господин Диар? — спросил королевский прокурор, показывая на труп, согнувшийся вдвое.

— Да, сударь.

— У вас все платье в крови, сударыня.

— Вы не понимаете, почему? — спросила Хуана, садясь за столик, и, взяв с него том Сервантеса, застыла, бледная, полная глубокого нервного возбуждения, которое старалась скрыть.

— Выйдите,— сказал прокурор жандармам и знаком пригласил следователя с врачом остаться.

— Сударыня, в таком случае нам только остается порадоваться за вас, что ваш муж умер. Если он из-за своей пагубной страсти заблуждался в жизни, то все же умер как военный человек, сделав излишним вмешательство правосудия. Но при всем нашем желании не тревожить вас в такую минуту закон обязывает нас запротоколировать и всякую насильственную смерть и самоубийство. Разрешите нам выполнить свой долг.

— Можно мне пойти переодеться? — спросила Хуана, положив книгу на столик.

— Да, сударыня, но принесите сюда это платье. Оно, несомненно, понадобится доктору.

— Вероятно, госпоже Диар будет очень тяжело присутствовать при вскрытии,— заметил врач, поняв подозрения прокурора.— Господа, разрешите ей остаться в соседней комнате.

Судьи согласились с сердобольным врачом, и Фелиси пошла помочь хозяйке. Следователь и прокурор стали вполголоса беседовать между собой. Судьи — несчастнейшие люди, они обязаны всех подозревать, до всего доискиваться, всюду предполагать дурные намерения и раскрывать их, чтобы добраться до правды, скрывающейся под самыми противоречивыми поступками. Может ли выполнение жрецами правосудия своего страшного долга в конце концов не иссушить в них источника тех великодушных чувств, которые сами они вынуждены брать под сомнение? Если чувства хирурга, вечно копающегося в тайнах человеческого тела, в конце концов притупляются, что же становится с совестью судьи, которому постоянно приходится исследовать малейшие

изгибы человеческой души? Первые мученики своей миссии, судьи ходят всегда в черном, словно носят траур по своим погибшим иллюзиям, и преступление ложится на них такой же тяжестью, как на самих преступников. Старец, заседающий в трибунале, величествен; но не приводит ли нас в содрогание молодой судья? Судебный следователь был молод и все же по обязанности спросил прокурора:

— Не думаете ли вы, что жена была сообщницей мужа? Не нужно ли привлечь ее к следствию? Допросить ее?

Прокурор небрежно пожал плечами и сказал:

— И Монтефьоре и Диар были известные негодяи. Горничная не имела понятия о преступлении. Покончим на этом.

Врач, производивший вскрытие, осматривал труп Диара, диктуя протокол секретарю суда, и вдруг кинулся в комнату Хуаны.

— Сударыня!..

Хуана, уже сменившая свое окровавленное платье, вышла ему навстречу.

— Это вы? — сказал он, наклонившись к уху испанки.— Вы убили своего мужа?

— Да, сударь!

— ...Из всей совокупности данных,— продолжал диктовать врач,— следует, что вышеозначенный Диар добровольно, своей рукой убил себя.

— Вы кончили? — спросил он секретаря суда.

— Да,— ответил тот.

Врач подписал протокол. Хуана взглянула на него, с трудом подавляя слезы, набегавшие ей на глаза.

— Господа,— сказала она, повернувшись к прокурору.— Я иностранка, испанка. Я не знаю здешних законов, никого не знаю в Бордо. Прошу вас о большой услуге. Прикажите выдать мне паспорт для отъезда в Испанию.

— Одну минутку! — воскликнул судебный следователь.— Сударыня, что сталось с деньгами, украденными у маркиза ди Монтефьоре?

— Господин Диар мне что-то говорил о куче щебня, под которой он их спрятал,— ответила Хуана.

— Где?

— На улице.

Прокурор и следователь переглянулись. У Хуаны вырвалось гордое движение, она подозвала врача.

— Сударь,— сказала она ему шепотом.— Меня, кажется, подозревают в чем-то бесчестном? Меня! Куча щебня находится в конце моего сада. Прошу вас, сходите туда сами. Осмотрите ее, поищите хорошенько, найдите эти деньги.

Врач вышел, взяв с собой следователя, и они нашли бумажник Монтефьоре.

На следующий день Хуана продала свой золотой крест, чтобы оплатить дорожные расходы. Направляясь с детьми к дилижансу, в котором они должны были добраться до границы, она услышала, что кто-то на улице ее окликнул. Ее умирающую мать препровождали в больницу, и в щель между занавесями носилок Марана увидела свою дочь. Хуана велела внести носилки под ворота. Там состоялась последняя встреча матери и дочери. Хотя они говорили вполголоса, старший сын Хуаны услышал ее прощальные слова:

— Умрите с миром, мать, я приняла страдания за всех вас!

Париж, ноябрь 1832 г.

ДРАМА НА БЕРЕГУ МОРЯ

Княгине Каролине Голицыной из Жанто, урожденной графине Валевской, в знак почтительной памяти — от автора.

Едва ли не у каждого молодого человека имеется циркуль, которым он с увлечением измеряет будущее; если твердость его воли соответствует смелому раскрытию циркуля, мир принадлежит ему. Но такое явление в духовном мире наблюдается только в определенный период жизни. Этот период, для всех людей наступающий между двадцатью двумя и двадцатью восемью годами,— время смелых дум, время творческих замыслов, ибо это время необъятных желаний, когда ни в чем не сомневаешься; усомниться — значит утратить силу. После этого периода, краткого, как пора посева, наступает время выполнения задуманного. Существуют как бы две молодости, сменяющие одна другую; сначала люди еще только верят, а потом — действуют. Зачастую у тех, кто щедро одарен природой, кто, как Цезарь, Ньютон и Бонапарт, являются великими среди великих, оба периода сливаются воедино.

Я измерял время, потребное для осуществления замысла; вооруженный циркулем, я, стоя на утесе, на высоте ста туазов над уровнем океана, игравшего волнами среди прибрежных скал, обозревал свое будущее, наполнял его своими творениями,— так строитель намечает в пустынной местности расположение прекрасных дворцов и крепостей. Море было прекрасно, я только

что выплыл на берег и оделся; я ждал Полину, моего ангела-хранителя; она еще купалась в гранитной впадине, устланной мельчайшим песком,— самом изящном бассейне, когда-либо созданном природой для морских фей. Мы находились на оконечности Круазика, очаровательного полуострова Бретани, далеко от гавани, в местности, которую казна сочла настолько непригодной для причала, что таможенники почти не заглядывали туда. Унестись мечтой вдаль, после того как носился по волнам! О! Кому не любо устремляться в будущее! Почему обуревают меня думы? Почему вдруг находит тоска? Кто знает? Мысли западают вам в сердце или в голову, не спрашивая вас. По своеволию и прихотливости никакой куртизанке не сравниться с вдохновением художника; лишь только оно появится, его, как фортуну, нужно хватать за волосы. Итак, я, оседлав свою мысль, как Астольфо — своего гиппогрифа, мчался по белу свету, все подчиняя своему желанию. Я искал вокруг себя какой-либо приметы, благоприятной для тех смелых замыслов, что внушала мне моя неистовая фантазия,— и вдруг мелодичный возглас, возглас женщины, зовущей вас посреди безмолвия пустыни, женщины, только что искупавшейся в море, веселой, оживленной, заглушил рокот волн, непрерывно расстилавших по извилистому берегу свою пенистую бахрому. Когда я услыхал этот вырвавшийся из глубины души возглас, мне почудилось, будто в скалах промелькнул ангел и, взмахнув крыльями, воскликнул: «Ты достигнешь цели!» Я сбежал вниз, сияющий, полный надежды, подпрыгивая, словно камешек, по крутому склону. Завидев меня, Полина спросила: «Что с тобой?» Я не ответил. Глаза мои увлажнились слезами. Накануне она поняла мои страдания, как в эту минуту поняла мою радость,— с волшебной чуткостью эоловой арфы, откликающейся на малейшие изменения атмосферы. В жизни человека бывают прекрасные мгновения! Мы молча пошли по песчаному берегу; небо было безоблачно, море — безмятежно; иные узрели бы только синюю бескрайнюю пустыню внизу и такую же пустыню наверху; но мы, понимавшие друг друга без слов, мы, способные отдаваться между этими двумя образами бесконечности тем иллюзиям, которыми пленяешься в молодости,— мы при легчайшем

волнении водной или небесной глади пожимали друг другу руки: ведь в этих едва заметных переменах для нас как бы воплощались мысли, общие нам обоим. Кому не довелось испытать среди наслаждения тот миг беспредельного блаженства, когда душа словно сбрасывает с себя оковы плоти и вновь возвращается на свою родину? И наслаждение не единственный наш водитель в этих мирах. Разве не выпадают нам часы, когда чувства наши невольно сплетаются и сами уносятся туда, как зачастую двое детей берутся за руки и пускаются бежать, сами не зная, почему? Так шли мы по берегу. В ту минуту, когда на горизонте сероватой грядой обрисовались крыши города, мы встретили бедно одетого рыбака, направлявшегося в Круазик. Он шел босиком, ветхие холщовые штаны его были кое-как заплатаны и свисали понизу клочьями; на нем была парусиновая рубаха, плохонькие помочи из покромок, куртку заменяли какие-то отрепья. На эту нищету нам больно было смотреть: она внесла диссонанс в нашу душевную гармонию. Мы переглянулись, изъявляя этим друг другу сожаление о том, что у нас нет возможности полными пригоршнями черпать из сокровищ Абул-Касима. Мы заметили, что рыбак держал в правой руке бечевку, на которой висели крупный омар и прекрасная лангуста; в левой он нес удочку и сетки. Мы подошли к нему с намерением купить его улов: эту мысль, одновременно пришедшую нам обоим, Полина выразила улыбкой, на которую я ответил тем, что слегка стиснул ее руку, лежавшую в моей руке, и прижал к своему сердцу. Из таких безделиц воспоминание способно творить поэмы, и вот впоследствии, сидя возле очага, мы оглядываемся на прошлое и воскрешаем миг душевного волнения, вызванного этой безделицей, место, где это произошло, и тот мираж, который хотя еще не исследован в своей природе, но в часы, когда жизнь легка и сердца радостны, зачастую преображает все, чем мы окружены. Самые прекрасные ландшафты обладают лишь той красотой, которою мы их наделяем. Разве те, в ком бьется поэтическая жилка, не хранят в памяти какую-нибудь скалу, запечатлевшуюся ярче, чем прославленные виды далеких и труднодоступных стран? Возле этой скалы во мне родились мысли; там мне открылась задача

всей моей жизни; там рассеялись опасения; там душу пронизал луч надежды. В этот миг солнце, сочувствуя мыслям о любви и о будущем, озарило бурые склоны скалы ярким сиянием; то один, то другой горный цветок привлекал взоры; спокойствие и безмолвие придавали этой каменной глыбе, темной от природы, но расцвеченной воображением, неведомое величие; покрытая скудной растительностью — яркими ромашками, венериным волосом с бархатистыми листьями,— она была прекрасна! Длительный праздник, чудесное зрелище, блаженная полнота человеческих сил! Ранее меня так же растрогал вид на Бьенское озеро с острова Сен-Пьер; быть может, скала у Круазика будет последней из этих радостей? Но что станется с Полиной?

— Ну как, повезло вам сегодня, дружище? — спросил я рыбака.

— Да, сударь,— ответил он, останавливаясь и повернув к нам лицо, покрытое темным загаром, как у тех, кому приходится подолгу сидеть над водой, отражающей жаркие лучи солнца.

Все в нем говорило о покорности судьбе, о долготерпении и кротком нраве. У рыбака был тихий голос, очертания рта выражали доброту; в его лице сквозило смирение, что-то жалкое, болезненное. Другое выражение лица не вязалось бы с его обликом.

— Где вы продаете улов?

— В городе.

— Сколько вам платят за омара?

— Пятнадцать су.

— А за лангусту?

— Двадцать.

— Почему такая разница между омаром и лангустой?

— Сударь, лангуста (он произносил *лумгуста*) много нежнее и вкуснее; к тому же она хитра, как мартышка, ее очень трудно поймать.

— Вы согласны продать нам весь улов за пять франков? — спросила Полина.

Рыбак так и остолбенел.

— Нет, Полина, улов вам не достанется! — со смехом воскликнул я.— Даю десять франков. За приятные ощущения надо платить не скупясь!

— И все-таки он достанется мне,— возразила Полина.— Даю десять франков и два су.

— Десять су.

— Двенадцать франков.

— Пятнадцать франков.

— Пятнадцать франков пятьдесят сантимов,— сказазала Полина.

— Сто франков.

— Сто пятьдесят.

Я сдался. В ту пору мы были не так богаты, чтобы продолжать этот аукцион. Бедняга рыбак не знал, сердиться ли ему за неуместную шутку или же радоваться; разрешая его сомнения, мы сказали ему, где живем, и попросили снести омара и лангусту нашей хозяйке.

— Вы зарабатываете себе на пропитание? — спросил я рыбака, желая узнать, чем объясняется его жалкий вид.

— Едва-едва и тяжким трудом,— ответил он.— Когда не имеешь ни лодки, ни невода и рыбачишь с берега удочкой или сеткой, редко бывает пожива. Видите ли, приходится выжидать, пока рыба или омар попадутся сами; а вот ловцы побогаче, те, у кого есть лодки и снасти, отправляются за добычей в открытое море. Ловлей с берега так трудно прокормиться, что только я один этим и промышляю. Я просиживаю на берегу целыми днями, а часто прихожу домой ни с чем. Поймать что-нибудь удается, только если *лумгуста* разомлеет на солнце, вот как эта, или же омар неосторожно заберется в расселину скалы. Иногда приливом заносит ракушек, их я ловлю руками.

— Сколько же вы все-таки зарабатываете на круг?

— Когда одиннадцать су, когда двенадцать. Будь я один, я бы перебивался, но у меня на руках отец: старик не может мне помогать — он ослеп.

При этих словах, сказанных совсем просто, мы с Полиной молча переглянулись.

— У вас есть жена или подружка?

Он посмотрел на меня столь печальным взглядом, какой мне редко случалось встретить, и молвил:

— Вздумай я жениться, мне пришлось бы бросить от-

ца; я не мог бы кормить его да еще содержать жену и детей.

— Почему же вы, бедняга, не стараетесь заработать побольше — погрузкой соли в порту или добычей ее на промыслах?

— Что вы, сударь! Я бы и трех месяцев не протянул на этой работе. Я ведь хилый, а если бы я умер, отцу только и оставалось бы, что пойти по миру. Мне под силу лишь такая работа, что требует немного сноровки и много терпения.

— Как же можно существовать вдвоем на двенадцать су в день?

— Эх, сударь! Мы питаемся лепешками из гречишной муки да ракушками, которых я отдираю от скал.

— Сколько же вам лет?

— Тридцать семь.

— Вы когда-нибудь бывали в других местах?

— Один раз ходил в Геранду — тянуть жребий, да еще в Савенэ — показаться господам, которые измерили мой рост. Будь я на дюйм выше, меня забрали бы в солдаты. Я бы свалился после первого перехода, и бедному отцу пришлось бы побираться.

Мое воображение много раз создавало драмы; находясь возле человека, столь болезненного, как я, Полина привыкла к сильным потрясениям; но никогда еще не слыхали мы ничего, что так потрясло бы нас, как бесхитростная речь нищего рыбака. Молча прошли мы несколько шагов; мы с Полиной размышляли о немом величии этой безвестной жизни, восхищались этой благородной и бессознательной жертвенностью; сила, таившаяся в столь слабом теле, изумляла нас обоих; мы преклонялись перед безотчетным великодушием рыбака. Я мысленно видел, как это обездоленное существо, руководимое только инстинктом, прикованное к скале, точно каторжник к своему ядру, в продолжение двадцати лет выслеживает рыб и морских раков, чтобы кое-как прожить, имея опорой в своем долготерпении одно лишь сыновнее чувство! Сколько томительных часов, проведенных на прибрежном песке! Сколько надежд, уничтоженных то шквалом, то внезапной переменой погоды! Неподвижно вытянув руку, словно индийский факир, свешивается бедняга с гранитного выступа, а тем време-

нем отец, сидя на лавке, дожидается во мраке и безмолвии, покуда сын принесет жалких ракушек и хлеба, если морю будет угодно.

— Вы пьете когда-нибудь вино? — спросил я.

— Три-четыре раза в год.

— Ну что ж, сегодня вы с отцом попьете винца вволю, и белого хлеба мы вам пришлем.

— Вы очень добры, сударь!

— Мы вас угостим обедом, если вы проводите нас берегом до Баца; мы хотим подняться там на башню, с которой видны залив и побережье от Баца до Круазика.

— Охотно! — ответил он.— Идите прямиком по этой же дороге, а я догоню вас, вот только отнесу свои снасти и улов.

Мы кивнули ему головой, и он радостно побежал по направлению к городку. Эта встреча поддержала в нас прежнюю высокую настроенность души, но угасила веселость.

— Несчастный! — молвила Полина с тем особенным, женским состраданием, которое заставляет забывать, что в жалости есть нечто оскорбительное.— Невольно стыдишься своего счастья, видя такую нужду.

— Нет ничего мучительней бессильных порывов,— ответил я.— Эти горемыки, отец и сын, никогда не узнают, как горячо мы им сочувствуем, так же как свет не узнает, как прекрасна их безвестная жизнь: ведь они заслужат ею небесную награду.

— Какой нищий край! — сказала она, указывая мне на кучки коровьего помета, аккуратно разложенные вдоль полевой ограды из камней, не скрепленных известкой.— Я спросила крестьянку, на что ей этот помет. Продолжая раскладывать его, она ответила, что *запасается дровами*. Представь себе, друг мой: когда помет высохнет, эти бедняки тщательно собирают его, бережно хранят и топят им печи. Зимой его продают совершенно так же, как бруски торфа. А знаешь ли ты,— продолжала Полина,— сколько тут платят поденно лучшей швее? Пять су,— закончила она после короткой паузы.— Правда, ее кормят.

— Взгляни!— заметил я.— Морские ветры иссушают или разрушают все вокруг: нигде ни деревца. Ветхие суда, годные на слом, приобретаются местными богачами;

ведь перевозка обходится так дорого, что нет расчета доставлять в эту глушь дрова, которые в Бретани имеются в изобилии. Этот край прекрасен только для благородных сердец; люди бездушные не могли бы жить здесь; в этих местах могут обитать только поэты или же моллюски. Лишь после того как на этих бесплодных утесах были построены соляные склады, там поселились люди. С одной стороны — море, с другой — пески, вверху — небо.

Мы уже миновали город и шли по унылой пустоши, отделяющей Круазик от селения Бац. Представьте себе, дорогой дядюшка, ланду протяжением в две мили, покрытую тем искрящимся песком, какой мы видим на берегу моря. Там и сям, будто головы исполинских животных, разлегшихся посреди дюн, чернели одинокие утесы, у самого моря виднелось несколько больших плоских камней; захлестывавшие их пенистые волны придавали им вид огромных белых роз, расцветших на водных просторах и подплывающих к берегу. Обведя глазами эту саванну, окаймленную справа океаном, слева — большим озером, возникшим от разлива морской воды и простирающимся меж Круазиком и песчаными возвышенностями Геранды, у подножия которых тянутся обширные соляные болота, я посмотрел на Полину и спросил ее, хватит ли у нее решимости идти под палящим солнцем по зыбучим пескам.

— Я в шнурованных башмаках, идем туда! — ответила она, указывая на башню поселка Бац — исполинскую пирамиду, но пирамиду стройную, сквозную, так затейливо изукрашенную, что за этими руинами чудится какой-то древний азиатский город. Мы направились к ближней скале, намереваясь отдохнуть на выступе, еще укрытом тенью; но было уже одиннадцать часов, и тенистая полоса, обрывавшаяся у наших ног, быстро сокращалась.

— Как прекрасно это безмолвие! — сказала Полина.— И оно кажется еще более глубоким из-за равномерного плеска морских волн, набегающих на берег.

— Если ты вздумаешь отдаться во власть тройной беспредельности — океана, воздуха и песков — и будешь внимать одному лишь неумолчному шуму прилива и отлива, говор волн станет невыносим,— ответил я,— тебе

почудится в нем мысль, которая будет тебя подавлять. Вчера, в час захода солнца, я испытал это чувство; оно меня обессилило.

— Да, ты прав! Будем разговаривать,— молвила она после долгого молчания.— В этом рокоте есть грозное красноречие, недоступное никакому оратору. Мне кажется, я поняла причину гармонии, царящей здесь, вокруг нас. Этот ландшафт, где различаешь всего три поразительной яркости цвета: искристую желтизну песка, лазурь небес и зеленый цвет моря,— представляется нам величественным, но не диким; необъятным, но не пустынным; однообразным, но не утомляющим глаз; он слагается всего-навсего из трех элементов, и, однако, он прихотлив.

— Только женщины способны так передавать свои впечатления! — воскликнул я.— Никакой поэт не решился бы состязаться с тобою, пленительная душа, которую я так верно разгадал!

— Полуденный зной придает этим трем выражениям беспредельного невообразимую яркость,— заметила, смеясь, Полина.— Здесь я постигаю восточную поэзию и восточные страсти.

— А я постигаю безутешную скорбь.

— Да! — молвила она.—Эти дюны—величественный монастырь.

Мы услышали быстрые шаги нашего проводника. Он принарядился. Мы обратились к нему с несколькими малозначащими словами; ему показалось, что наше расположение духа изменилось, и он, с той сдержанностью, которая вырабатывается у несчастливцев, замолчал. Время от времени Полина и я, желая увериться в том, что наши мысли и впечатления едины, пожимали друг другу руки, но добрых полчаса мы шли в полном молчании — потому ли, что нас томил зной, которым веяло от раскаленных песков, потому ли, что наше внимание было поглощено трудностями ходьбы по дюнам. Мы пробирались гуськом, взявшись за руки, как дети: идя об руку, нам не пройти было и десяти шагов. Дорога в Бац пролегает по зыбучему песку — порыва ветра достаточно, чтобы замести след копыт или ободьев; но наш проводник опытным глазом по горсточке помета или конского навоза вновь и вчовь находил дорогу, которая то вплот-

ную приближалась к морю, то, отдаляясь от него, вилась по склонам дюн или огибала скалы. К полудню мы не прошли и половины пути.

— Вот где мы отдохнем! — воскликнул я, указывая на мыс, загроможденный скалами, достаточно высокими, чтобы можно было предположить наличие какой-нибудь пещеры.

Услыхав эти слова и поглядев в том направлении, куда я указал пальцем, рыбак покачал головой и сказал:

— Там живет человек. Когда нужно попасть из Баца в Круазик или из Круазика в Бац, идут кружным путем, только бы не пройти мимо него.

Все это рыбак сказал вполголоса, будто поверял нам тайну.

— Что же он — грабитель, убийца?

Проводник ответил лишь глубоким вздохом, и это еще усилило наше любопытство.

— Если мы там пройдем, что-нибудь стрясется?

— О нет!

— Вы пойдете с нами этим путем?

— Нет, сударь!

— А мы пойдем, если вы заверите нас, что нам не грозит никакая опасность.

— Этого я не скажу,— с живостью возразил рыбак.— Я могу только сказать, что тот, кто там сидит, не заговорит с вами и не сделает вам зла. Господи боже, он даже с места не тронется!

— Да кто же он, наконец?

— Человек!

Эти три слога прозвучали необычайно трагически. В ту минуту мы находились шагах в двадцати от мыса, о который бились волны; рыбак свернул на дорогу, огибавшую скалу, мы же продолжали идти прямиком, но Полина оперлась на мою руку. Наш вожатый прибавил ходу, чтобы одновременно с нами поспеть к тому месту, где дороги пересекаются. Вероятно, он полагал, что, увидев таинственного человека, мы ускорим шаг. Это обстоятельство так сильно разожгло наше любопытство, что наши сердца стали биться учащенно, как будто нами овладел страх. Несмотря на палящий зной и усталость, вызванную ходьбой по песку, наши души все еще охвачены были неизъяснимым гармоническим востор-

гом; они были исполнены чистейшей радости, сравнимой лишь с той, какую испытываешь, слушая прекрасную музыку, например «Andiamo mio bene» [1] Моцарта. Разве два чистых чувства, сливающихся воедино, не уподобляются двум прекрасным голосам, поющим в лад? Только приобщившись к состоянию блаженной неги, в котором мы пребывали с утра, можно понять, как потрясло нас открывшееся нам зрелище. Если вы долго любовались прелестным оперением горлицы, сидящей на гибкой лозе вблизи родника, вы испустите горестный вопль, видя, как на нее накинулся ястреб, вонзивший свои железные когти ей в сердце, как он уносит ее с той смертоносной быстротой, которую порох придает ядру. Едва шагнув на площадку, расположенную перед пещерой на высоте примерно ста футов над океаном и защищенную от его ярости грядою отвесных скал, мы вздрогнули, словно от разряда электричества,— так вздрагивают ночью, когда внезапный шум нарушает тишину.

Мы увидели человека, сидевшего на гранитной глыбе и смотревшего на нас. Его налитые кровью глаза метали взоры, подобные вспышкам пламени при выстреле; окаменелое спокойствие его позы могло сравниться лишь с извечной неподвижностью гранитных скал, окружавших его; глаза медленным движением обратились к нам, но тело не шевельнулось, будто навеки оцепенев; затем, бросив нам тот взгляд, что так поразил нас, он снова принялся неотрывно глядеть на океан, не опуская век, не щурясь, хотя блеск волн был нестерпимо ярок,— говорят, так орлы глядят на солнце. Постарайтесь вообразить, любезный дядюшка, могучий дуб, грозно вздымающий у пустынной дороги кряжистый ствол, недавно лишенный ветвей, и вы получите верное представление об этом человеке. Это было тело Геркулеса, утратившего красоту, это были черты Зевса Олимпийского, но обезображенные летами, горем, тяжким трудом моряка, грубой пищей и как бы обугленные молнией. На его заскорузлых волосатых руках я увидел жилы, подобные стальной проволоке. Вообще все в нем обличало могучее сложение. В одном из углов пещеры я заметил подстилку из мха, а на неровной плите, высеченной в граните

---

[1] «Пойдем, мой милый» *(итал.)*.

самой природой,— глиняный кувшин, накрытый початым караваем хлеба. Никогда еще мое воображение, зачастую переносившее меня в пустыню, где жили первые христианские отшельники, не рисовало мне образа, проникнутого столь глубокой верой, столь мучительным раскаянием, какие чувствовались в этом человеке. Вы, любезный дядюшка, были исповедником, и, однако, думается мне, вы никогда не видали такого страстного раскаяния, но оно растворялось в молитве, непрестанной молитве, полной немой безнадежности. Величие этого рыболова, этого моряка, этого грубого бретонца коренилось в каком-то неведомом нам чувстве. Но довелось ли этим глазам лить слезы? Довелось ли этой статуе, как бы вчерне изваянной резцом, разить кого-нибудь своею рукой? Этот суровый лоб, выражающий непримиримую честность и в то же время отмеченный признаками той кротости, что неразрывно связана с подлинной силой,— этот изрытый морщинами лоб свидетельствует ли о благородном сердце? Почему этот человек живет среди гранитных скал? Почему сам он подобен гранитной глыбе? Что в нем от человека, что — от гранита? Мысли наши пришли в полное смятение. В молчании мы поспешно прошли мимо, как и предполагал наш проводник, и, поравнявшись с нами, он увидел, что наши лица выражают ужас и удивление, но не стал хвалиться перед нами правильностью своих предсказаний.

— Вы видели его? — спросил он.

— Кто этот человек?! — воскликнул я.

— Его называют: *Тот, кто дал обет.*

Вы представляете себе, как порывисто мы при этих словах повернули голову к рыбаку. Это был человек простой; он понял наш немой вопрос, и вот что он поведал нам своим бесхитростным языком; я передам его рассказ, стараясь сохранить народный склад.

— Сударыня, и в Круазике и в Баце думают, что этот человек тяжко согрешил и несет покаяние, наложенное на него святым монахом, к которому он ходил на исповедь далеко за Нант. Иные уверяют, будто Камбремера — так его звать — преследует несчастье и оно передается от него другим по ветру. Поэтому многие, прежде чем обогнуть его скалу, смотрят, откуда ветер. Если со стороны заката,— он указал на запад,— они не про-

должат путь, даже если бы им посулили щепу от креста господня. Они в страхе возвращаются. А еще вот круазикские богачи говорят, что Камбремер истязает себя во исполнение обета; отсюда прозвище — *Тот, кто дал обет*. Он сидит здесь день и ночь безотлучно. Эти толки похожи на правду. Вот видите,— продолжал он, оборачиваясь, чтобы показать нам нечто, чего мы не приметили,— там, налево, он поставил деревянный крест в знак того, что отдался под покровительство господа бога, пресвятой девы и святых. Но и не будь этой защиты, все так страшатся его, что он здесь в полной безопасности, не хуже чем под охраной отряда солдат. С того дня, как он здесь заточил себя на вольном воздухе, он не сказал ни слова; все его пропитание — хлеб да вода; их приносит ему каждое утро дочь его брата, девочка по тринадцатому годочку, он ей отписал все свое добро. Славная девчурка, кроткая, как ягненок, и до чего милая, до чего ласковая! А глаза! — продолжал он, подняв большой палец.— Синие, большущие, и волосы, как у херувима. Когда ее спрашивают: «Скажика, Перотта...» Это, по-нашему, Пьеретта,— вставил он, прервав свой рассказ.— Ведь Камбремера зовут Пьером, вот он и дал своей крестнице имя в честь своего святого... «Перотта,— продолжал он,— что тебе говорит твой дядюшка?» Она отвечает: «Ничего не говорит, ровно ничего, ни словечка». «А как он с тобой обходится?» «По воскресеньям он целует меня в лоб». «И ты его не боишься?» А она в ответ: «Чего же мне его бояться, ведь он мой крестный! Он не хочет, чтобы кто другой носил ему еду». Перотта уверяет, что он улыбается, когда она приходит, но это, можно сказать, то же, что солнечный луч посередь густого тумана; ведь Камбремер мрачен, как грозовая туча.

— Вы только разжигаете наше любопытство,— обратился я к рыбаку.— Знаете ли вы, что̀ привело его сюда? Горе ли, раскаяние, душевное расстройство, преступление или же...

— Эх, сударь! Правду об этом деле знаем только мы: мой отец да я. Покойная матушка жила в услужении у судьи, которому Камбремер, по приказу святого монаха, признался во всем; только под этим условием монах согласился отпустить ему грех, так говорят в порту.

Бедная моя матушка невольно слышала все, что говорил Камбремер. Кухня судьи была рядом с его приемной, каждое слово слыхать было! Она умерла; судья, которому Камбремер все поведал, тоже умер. Матушка взяла с отца и с меня клятву, что мы никогда, никому в наших краях ни слова не проронim об этом деле, но вамто я могу признаться, что в тот вечер, когда матушка нам все рассказала, у меня волосы встали дыбом.

—Так расскажи же нам, в чем дело, дружок, мыто уж никому не проболтаемся.

Взглянув на нас, рыбак начал:

— Пьер Камбремер, тот, кого вы здесь видели,— старший из братьев Камбремеров; они моряки испокон века, ведь само прозвание Камбремер означает «покоритель моря». Пьер сызмальства рыбачил; у него было несколько лодок, он ходил в море на лов сардин, ловил и крупную рыбу для скупщиков. У него хватило бы денег — он мог бы оснастить судно и ловить треску в далеких морях, не будь он так привязан к своей жене, дочери Бруэна из Геранды, красавице, да еще и доброй женщине. Она так любила мужа, что никогда не отпускала его далеко от себя, разве что на лов сардин,— это ведь ненадолго. Они жили вон там, смотрите!—продолжал рыбак, поднявшись на бугор и указывая нам на островок; затерянный в разливе между дюнами, по которым мы шли, и соляными болотами, граничащими с Герандой.— Видите домик? Он принадлежал Камбремеру. У него с Жакеттой был только один ребенок, мальчик, и любили они его... Ну, как вам сказать? Да так, как любят единственное дитя, души не чаяли в нем. Если б, с позволения сказать, их маленький Жак нагадил в кастрюлю, им казалось бы, что там сущий сахар. Сколько раз мы видали, как они покупали для него на ярмарке игрушки самые что ни на есть дорогие. Избаловали мальчишку, все им это говорили. Маленький Камбремер видел, что ему все можно, и стал злой, словно рыжий осел; не раз приходил к Камбремеру кто-нибудь из соседей с жалобой: «Твой сын чуть не забил насмерть нашего ребенка!» А он со смехом отвечает: «Значит, из него выйдет славный моряк! Будет королевским флотом командовать!» Другой придет: «Пьер Камбремер, знаешь ли ты, что твой сын подбил глаз дочке Пуго?» А он

в ответ: «Значит, будет кружить головы девушкам!» Он все ему спускал. Вот и вышло, что парень в десять лет всех избивал, потехи ради сворачивал головы курам, вспарывал брюхо поросятам — словом, был кровожаден, что твой хорек. «Значит, из него выйдет храбрый рубака! — говорил Камбремер.— Он охотник до кровопролития». Позднее мне все это вспомнилось, и Камбремеру тоже,— молвил рыбак, помолчав.— В пятнадцать-шестнадцать лет Жак Камбремер был ненасытен, словно акула. Он пьянствовал в Геранде, бегал за девушками в Савенэ. А на все это деньги нужны. Вот и начал обкрадывать мать, а та боялась рассказать мужу. Камбремер был так честен, что, случись ему получить лишних два су при расчете за рыбу, он бы прошел двадцать миль, чтобы их вернуть. Наконец настал день, когда мать осталась без всего. Пока отец был в море, сын вывез буфет, ларь, простыни, носильное белье, оставил одни голые стены; все продал, чтобы распутничать в Нанте. Бедняжка мать плакала дни и ночи напролет. Ведь от отца не скроешь; да и боялась она — не за себя, разумеется! Когда Пьер Камбремер возвратился с ловли и увидел в доме чужую рухлядь, которую соседи одолжили его жене, он спросил: «Что случилось?» Бедняжка была ни жива ни мертва от страха. Она ответила: «Нас обокрали». «Где Жак?» «Жак где-то веселится». Никто не знал, куда негодник запропастился. «Он слишком много веселится!» — сказал Пьер. Полгода спустя несчастному отцу дали знать, что его сына собираются в Нанте засадить в тюрьму. Он пешком отправился туда, дошел быстрее, чем добрался бы морем, разыскал Жака и привел домой. Он не спросил его: «Что ты наделал?» — а сказал ему: «Два года оставайся здесь, со мной, исправно лови рыбу, живи по-честному, не то я с тобой расправлюсь!» Беспутный малый, рассчитывая на слабость родителей, состроил отцу рожу. Тот так его треснул, что Жак полгода пролежал в постели. Мать, бедняжка, чахла от горя. Однажды ночью она мирно спала рядом с мужем; вдруг послышался шум, она вскочила, и кто-то ножом полоснул ее по руке. Она закричала, зажгли огонь. Пьер Камбремер видит, что жена ранена; он вообразил, что к ним забрался вор,— словно в нашем краю водятся воры, ведь здесь без боязни

можно пронести десять тысяч франков золотом из Круазика в Сен-Назер, и никто по пути не спросит, что у тебя в узелке. Пьер стал искать Жака и нигде не нашел. Наутро изверг имел дерзость вернуться; он наврал, что ходил в Бац.

Надо вам сказать, что жена Пьера долго не могла придумать, куда прятать деньги. Камбремер, тот свои лишки отдавал на хранение в Круазик, господину Дюпотэ. Гульба сына помаленьку, по сто экю, по сто франков, по луидору, съела их сбережения; они почти что разорились, а это тяжко для тех, у кого имущества было, если считать и островок с домом, тысяч на двенадцать ливров. Никто не знал, сколько Камбремеру пришлось заплатить в Нанте, чтобы вызволить сына. Несчастье преследовало всю семью. Брату Камбремера не повезло, он нуждался в помощи. Пьер, в утешение ему, все говорил, что Жак и Перотта (она дочь младшего Камбремера) поженятся. Чтобы дать брату кусок хлеба, Пьер взял его к себе в подручные, ведь Жозеф Камбремер так обеднел, что ему приходилось рыбачить у чужих людей. Жена Жозефа умерла от родильной горячки; нужно было платить женщине, которая взялась выкормить Перотту. Жакетта Камбремер задолжала около ста франков разным людям за эту девочку — за ее белье, за платьица; да и толстухе Фрелю, которая прижила ребенка с Симоном Годри и кормила грудью Перотту, причиталось не то за два, не то за три месяца. Жакетта давно уже зашила в свой тюфяк испанский дублон, обернутый бумажкой с надписью «*За Перотту*». Она была образованная, писала не хуже любого писаря и сына выучила грамоте. Эта бумажка его и погубила. Никто не знает, как все случилось, но негодяй Жак разнюхал, где золото, выкрал его и побежал кутить в Круазик. Отец, как нарочно, возвращался в лодке домой. Причаливая, он увидел на воде клочок бумаги, подобрал его, принес жене, а она, увидев надпись, сделанную ее же рукой, упала замертво. Камбремер не сказал ни слова, а пошел в Круазик; там он узнал, что сын играет в кофейне на бильярде; он вызвал хозяйку и сказал ей: «Я запретил Жаку брать дублон; когда он расплатится с вами, верните мне монету, я подожду здесь у входа и дам вам взамен серебро». Хозяйка вынесла ему золотой. Камбремер взял его, мол-

вил: «Ладно!» — и пошел домой. Об этом узнал потом весь город, а вот что дальше было, знаю один я, другие же только догадываются. Камбремер приказал жене прибрать спальню, она у них внизу; развел огонь в очаге, зажег две свечи, поставил по одну сторону очага два стула, по другую — табуретку; затем велел жене достать одежду, в которой он венчался, а заодно и свой свадебный наряд. Он оделся, пошел за братом, велел ему караулить перед домом и предупредить его, как только послышится шум на прибрежной полосе — либо по их сторону, либо там, у соляных болот Геранды. Выждав, пока жена переоденется, он вернулся в дом, зарядил ружье и спрятал его в уголке за камином. Тут объявился Жак; было уж поздно, он картежничал и пьянствовал до десяти часов; теперь ему нужно было переправиться назад, на островок. Дядя услыхал, как он кличет, поплыл в сторону соляных болот и, не говоря ни слова, доставил Жака домой. Когда тот вошел в дом, отец указал ему на табуретку и молвил: «Садись! Ты,— продолжал он,— перед судом твоих родителей, ты жестоко их оскорбил, теперь они вынесут тебе приговор». Жак начал орать от страха, потому что лицо Камбремера все исказилось. Мать сидела, вытянувшись, как палка. «Замолчи,— продолжал Пьер, беря его на прицел.— Если крикнешь, тронешься с места, если не будешь недвижен, что мачта, я застрелю тебя, как собаку». Сын стал нем, точно рыба; мать тоже молчала. «Вот бумажка, в которую был завернут дублон,— сказал Пьер сыну,— он хранился в тюфяке у матери: ей одной было известно, куда она его запрятала; когда я приставал к берегу, я нашел эту бумажку. Сегодня вечером ты дал дублон старухе Флоран, а из тюфяка матери дублон исчез! Объяснись!» Жак ответил, что он не брал золотого у матери, что у него самого был дублон еще с того времени, как он жил в Нанте. «Тем лучше,— молвил Пьер.— А как ты можешь доказать нам это?» «У меня был дублон». «Ты не брал того, что хранился у матери?» «Нет». «Ты можешь поклясться в этом вечным своим спасением?» Сын уже готов был поклясться; мать подняла на него глаза и молвила: «Жак, дитя мое, берегись, не приноси клятвы, если это неправда; ты можешь исправиться, раскаяться; время еще не ушло». Она заплакала. «Ты,— сказал

ей сын в ответ,— такая-сякая, всегда хотела моей гибели». Камбремер весь побелел и крикнул: «То, что ты сейчас сказал матери, тоже тебе зачтется. Но к делу! Ты клянешься?» «Да!» «Так смотри же! — сказал отец.— Была на твоем дублоне эта метка, которую на нашей монете сделал скупщик рыбы, прежде чем дать его мне?» Жак сразу отрезвел и заплакал. «Хватит разговаривать,— сказал Пьер.— Я уж не буду вспоминать, что ты натворил до этого; я не хочу, чтобы человека, носящего имя Камбремеров, казнили на рыночной площади в Круазике. Прочти молитвы, да поскорее! Священник придет исповедать тебя». Мать перед этим вышла из комнаты, чтобы не слышать, как будет произнесен приговор над ее сыном. Немного погодя брат Камбремера привез священника из Париака. Жак не сказал ему ни слова. Хитрец был уверен, что хорошо знает отца и что тот не убьет его, покуда он не исповедуется. «Благодарю вас, сударь, простите за беспокойство,— сказал Камбремер священнику, видя, что Жак упорствует.— Я хотел проучить сына и прошу вас никому не рассказывать об этом. А ты,— обратился он к Жаку,— знай: если ты не исправишься, я при первой же провинности разделаюсь с тобой без исповеди». Он велел сыну ложиться спать. Тот поверил ему, вообразил, что отец простил его. Жак заснул. Отец не ложился. Когда он увидел, что сын спит глубоким сном, он заткнул ему рот паклей, которую обмотал парусиной, и связал его по рукам и ногам. Сын неистовствовал, плакал кровавыми слезами,— так рассказывал потом Камбремер судье. Жакетта — что поделаешь с материнским сердцем! — бросилась к ногам Пьера.

«Он осужден,— сказал тот,— ты пособишь мне снести его в лодку». Она не согласилась. Тогда Камбремер один втащил сына в лодку, привязал к перекладинам днища, привесил ему к шее камень, вывел лодку в море и греб, пока не поравнялся с той скалой, где вы его видели сейчас. Несчастная мать умолила деверя, он привел ее к подножию скалы; но сколько она ни вопила: «Смилуйся!» — все было напрасно. При свете луны она видела, как отец бросил в море сына, плоть и кровь ее. Ночь была безветренная, она услыхала всплеск — и только: ни следа, ни зыби. Море, оно ведь не выдаст

тайну! Камбремер причалил к берегу, чтобы успокоить жену,— она неумолчно стонала,— и увидел, что она еле жива; братьям не под силу было донести ее до дома. Пришлось положить ее в ту самую лодку, в которой отец только что вез сына; они доставили ее домой кружным путем, через Круазик. И что же! Красавица Бруэн — все ее так звали — не прожила и недели; умирая, она заклинала мужа сжечь проклятую лодку; так он и сделал. Сам он словно рехнулся, бродил, как неприкаянный; шатался на ходу, будто хватил лишнего. Потом отлучился на десять дней, а воротясь, ушел из дому туда, где вы его видели, и с того дня, как он там, не вымолвил ни единого слова.

Эту историю рыбак рассказал нам за несколько минут; он изложил ее еще проще, чем делаю это я с его слов. Когда люди из народа что-либо рассказывают, они редко вставляют свои суждения; они описывают поразившее их событие, передавая факты так, как восприняли их. Нас словно обухом по голове ударило.

— Я не пойду в Бац,— сказала Полина, когда мы достигли верхней излучины разлива.

Мы пошли обратно в Круазик вдоль соляных промыслов, по лабиринту троп, вслед за рыбаком, приумолкшим, как и мы. От прежнего оживления у нас не осталось и следа. Мы с Полиной предавались скорбным думам, опечаленные этой драмой, которая оправдала мрачное предчувствие, охватившее нас при виде Камбремера. Мы оба достаточно знали людей, чтобы разгадать в жизни этих трех человек все тайны, о которых рыбак умолчал. Их несчастья представлялись нам так отчетливо, словно мы, сцена за сценой, смотрели драму, завершающуюся тем, что отец искупает свое вынужденное преступление. Мы не решались взглянуть на скалу, где томился несчастный, внушавший страх жителям всего края. Небо затянулось тучами; на горизонте клубился пар; нас окружала самая хмурая природа, какую мне когда-либо довелось видеть. Земля, по которой мы ступали, казалась истощенной, страждущей; наш путь пролегал мимо соляных болот — их можно назвать гнойными болячками почвы. Эти болота разделены на квадраты неравной величины, окаймленные высокими серыми насыпями; во всех квадратах стоит мутная вода, подернутая

пленкой соли; между впадинами, созданными трудом человека, безостановочно ходят рабочие с длинными гребками, при помощи которых они извлекают соль и, набрав ее достаточное количество, складывают кучами на круглые площадки, расположенные с равными промежутками одна от другой.

Целых два часа мы шли вдоль этой унылой шахматной доски, где обилие соли глушит растительность, и лишь время от времени мы видели одиночных *соляных старателей*, как их здесь называют. Эти люди — как бы своеобразный клан среди бретонцев — носят особую одежду: белые куртки вроде тех, в которых ходят пивовары. Они вступают в брак только со своими. Не было случая, чтобы дочь *соляного старателя* вышла за человека, занимающегося другим делом. Тоскливый вид этих солончаков, аккуратно разбитых на грязные квадраты, этой серой земли, которой боязливо чуждается бретонская флора, отвечал гнетущей грусти, овладевшей нашими сердцами. Когда мы дошли до того места, где нужно переправиться через пролив, образованный морскими водами, вторгшимися в низину, и, по-видимому, питающий солончаки, мы с радостью взглянули на чахлую растительность прибрежных песков. Во время переправы мы увидели среди разлива островок, где некогда обитала семья Камбремер; мы отвели глаза.

Придя в гостиницу, мы в одной из общих комнат увидели бильярд и узнали, что он единственный на весь Круазик; той же ночью стали мы собираться в путь и на другой день поселились в Геранде. Полина была еще грустна, а меня уже томило предвестие пламени, испепеляющего мой мозг. Видя, как я терзаюсь тем, что открылось мне в этих трех существованиях, Полина сказала:

— Луи, опиши все это, и ты дашь выход своей лихорадке.

Вот почему я и рассказал вам это происшествие, дорогой дядюшка; но оно уже лишило меня того спокойствия, которое я было обрел благодаря морским купаниям и жизни в этом захолустье.

Париж, 20 ноября 1834 г.

ПРОЩЕННЫЙ МЕЛЬМОТ

Генералу барону де Померель — на память о крепкой дружбе, соединявшей наших отцов и перешедшей к сыновьям.

Де Бальзак.

Есть такая порода людей, которую в мире общественном выращивает цивилизация, подобно тому как в мире растительном цветоводы тепличным способом создают гибридную породу, не поддающуюся размножению ни путем посева, ни отводками. Мы имеем в виду кассира — некое человекообразное растение, которое поливают религиозными идеями, подпирают гильотиной, обстригают пороком,— и растет себе оно на четвертом этаже вместе с почтенной супругой и надоедливыми детьми. Многочисленные парижские кассиры всегда останутся загадкой для физиолога. Понял ли кто-нибудь задачу, где иксом является кассир? Как отыскать человека, который спокойно созерцал бы чужое богатство, отданное ему в руки,— ведь это все равно, что кошку посадить в одну клетку с мышью! Как отыскать человека, который согласится в течение семи восьмых года по семь-восемь часов в день сидеть в плетеном кресле, за решеткой в каморке, не более просторной, чем каюта морского офицера? Человека, у которого таз и ноги не одеревенеют от подобного ремесла? Человека, у которого достаточно величия для такого маленького места? Человека, который, постоянно имея дело с деньгами, проникся бы отвращением к ним? У любой религии, моральной системы, шко-

лы или института затребуйте это растение и предложите им Париж, этот город-искуситель, этот филиал ада, в качестве среды, где должен произрастать кассир! И вот проследуют перед вами религии одна за другой; школы, институты, моральные системы, все законы человеческие, великие и малые, придут к вам, как приходит друг, к которому вы обратились с просьбой о тысячефранковом билете. Они примут скорбный вид, они прибегнут к гриму, они сошлются на гильотину — совершенно так же, как ваш друг укажет вам жилище ростовщика — одну из сотни дверей, ведущих в больницу для бедных. Впрочем, сама нравственная природа не лишена капризов, она позволяет себе то там, то здесь создавать честных кассиров. Поэтому-то разбойники, которых мы прикрасы ради именуем банкирами и которые приобретают лицензию за тысячу экю, как пират — разрешение на выход в море, проникнуты таким почтением к этим редким существам, выращенным в инкубаторе добродетели, что заключают их в каморку, содержа их так же, как правительство содержит редкостных животных. Если кассир не лишен воображения, наделен страстями, если кассир, пусть даже безупречный, любит свою жену, а она скучает, страдает от неудовлетворенного честолюбия или просто тщеславия,— тогда кассир развращается. Поройтесь в истории кассиров: вы не приведете ни одного случая, когда кассир добился бы, что называется, *положения*. Если они не кончают каторгой или бегством за границу, то прозябают где-нибудь на третьем этаже на улице Сен-Луи, в квартале Марэ. Когда парижские кассиры осознают свое значение, им цены не будет. Правда, иные люди только и могут быть что кассирами, так же как другие неизбежно становятся мошенниками. Поразительная насмешка цивилизации! Добродетели общество жалует на старость сотню луидоров ренты, третий этаж, вволю хлеба, несколько неношеных шейных платков да престарелую жену, окруженную ребятами. А пороку, если у него хватит смелости, если он ловко повернет в свою пользу статью закона, как Тюренн вертел генералом Монтекукули, общество прощает украденные им миллионы, общество осыпает его орденами, балует почестями и заваливает знаками уважения. К тому же и само правительство действует в полном согласии с обществом, глу-

боко непоследовательным. Среди способных юношей восемнадцати — двадцати лет правительство производит набор молодых талантов; преждевременной работой оно истощает великие умы, собранные им для того, чтобы хорошенько их отсортировать, как садовники поступают с семенами. К этому делу оно приставляет присяжных взвешивателей таланта, которые пробируют их мозги, как на монетном дворе пробируют золото. Потом из пятисот подающих надежды молодцов, которых ему поставляет наиболее передовая часть населения, правительство отбирает одну треть, помещает ее в огромные мешки, именуемые *учебными заведениями,* где и держит их в течение трех лет. Хотя каждый из таких ростков представляет собою огромный капитал, оно делает их своего рода кассирами; назначает их простыми инженерами, использует в качестве капитанов артиллерии — словом, обеспечивает их лишь самыми высокими из подчиненных должностей. А потом, когда эти лучшие люди, сдобренные математикой и напичканные наукой, достигают пятидесятилетнего возраста, их вознаграждают за службу квартирой в четвертом этаже, женою с ребятами, всеми прелестями посредственного существования. Разве не чудо, что из этих одураченных людей выберется пять-шесть талантливых личностей, которые достигают социальных высот.

Таков точный баланс отношений, в которые вступают талант и внутренние достоинства с правительством и обществом в эпоху, почитающую себя прогрессивной. Без этих предварительных замечаний случай, недавно происшедший в Париже, показался бы неправдоподобным, а сопровождаемый этим кратким введением, он, может быть, даст пищу умам, достаточно высоким для понимания истинных язв нашей цивилизации, которая после 1815 года принцип «честь» заменила принципом «деньги».

В пасмурный осенний день, часов в пять вечера, кассир одного из самых крупных парижских банков еще сидел за работой при свете лампы, зажженной уже довольно давно. Как это заведено в коммерческом мире, касса помещалась в самой темной части тесных и низких антресолей. Чтобы до нее добраться, нужно было пройти коридором, который освещали лишь тусклые оконца и вдоль которого, как в банном заведении, тянулись перенумеро-

ванные комнаты. Следуя инструкции, швейцар уже с четырех часов флегматически произносил: «Касса закрыта». В это время канцелярии уже опустели, курьеры были отосланы, чиновники разошлись по домам, жены директоров ожидали своих любовников, оба банкира обедали у своих сожительниц. Все было в порядке. Окованные железом денежные сундуки стояли позади каморки кассира, занятого, вероятно, подсчетом кассы. Сквозь решетку каморки можно было видеть шкаф из кованого железа, который благодаря изобретениям современного слесарного ремесла был так тяжел, что воры не могли бы его утащить. Его дверца открывалась лишь по воле того, кто умел составить пароль из букв замка, хранящих тайну и не ведающих подкупа,— прекрасное осуществление сказки о Сезаме из «Тысячи и одной ночи» Но это еще не все. Замок стрелял из пищали в лицо тому, кто, овладев паролем, не знал последнего секрета, ultima ratio [1], этого дракона механики. Дверь в комнату, стены комнаты, ставни в комнате — вся комната была обита листами железа толщиною почти в полдюйма, замаскированными легкой деревянной обшивкой. Ставни были закрыты, дверь заперта. Если кто мог считать себя пребывающим в полном уединении, не доступным ничьему взору, то, конечно, кассир банкирской конторы «Нусинген и К°» на улице Сен-Лазар. Итак, полнейшее молчание царило в этом железном погребе. Угасшая печка дышала жаром, вызывающим муть в голове и тошноту, как бывает наутро после кутежа. Печка усыпляет, одуряет; она необычайно способствует превращению сторожей и чиновников в кретинов. Комната с печкой — колба, в которой разлагаются энергичные люди, слабеет их способность к движению и изнашивается воля. Канцелярии—огромная фабрика посредственностей. необходимых правительствам для поддержки того особого, основанного на деньгах феодального режима, на который опирается нынешний общественный договор (см. «Чиновники»). Зловонная теплота, испускаемая собравшимися вместе людьми, занимает немалое место среди причин прогрессирующего вырождения умов: мозг, выделяя особенно много азота, в конце концов отравляет другие мозги.

---

[1] Последний аргумент *(лат.)*.

Кассиру было лет сорок, на его круглой, как шар, голове при свете лампы Карселя, стоявшей на столе, сияла лысина, а в черных волосах, уцелевших с боков, блестела седина. Цвет лица у него был кирпично-красный. Около голубых глаз залегли морщинки. Как у всякого толстого человека, руки его были пухлыми. Фрак синего сукна, уже немного побелевшего на швах, и лоснящиеся панталоны приобрели потертый вид, с которым тщетно борется щетка и который — в глазах людей малонаблюдательных — служит верным признаком, говорит о том, что перед вами бережливый, честный человек, достаточно философски настроенный или достаточно аристократичный для того, чтобы носить старый костюм. Но не редкость встретить людей, которые, экономя на пустяках, неустойчивы, расточительны или бесхарактерны в главном. Петлицу кассира украшала ленточка Почетного легиона, так как во время Империи он служил командиром драгунского эскадрона. Г-н де Нусинген, первоначально поставщик, впоследствии банкир, имел когда-то случай оценить щепетильность своего кассира, занимавшего тогда высокий пост, потом утраченный из-за неблагоприятных обстоятельств, и в знак уважения положил ему пятьсот франков в месяц. Воин сделался кассиром в 1813 году,— тогда он уже залечил свои раны, полученные в сражении при Студянке, во время беспорядочного бегства из Москвы, но до этого он протомился шесть месяцев в Страсбурге, куда по приказанию императора посылали некоторых старших офицеров для особо тщательного лечения. Этот бывший офицер, по фамилии Кастанье, имел чин полковника в отставке и две тысячи четыреста франков пенсии.

Кастанье, в котором за десять лет кассир уничтожил воина, пользовался таким доверием банкира, что, кроме всего прочего, заведовал перепиской в его личном кабинете (расположенном позади кассы), куда барон спускался по потайной лестнице. Там решались дела. Это было решето, сквозь которое просеивались предложения, место переговоров, где изучалось положение на бирже. Отсюда посылались аккредитивы; здесь, наконец, находились главная книга и ежедневные записи, где подытоживалась работа всех отделений банка. Закрыв дверь, выходившую на лестницу, которая вела во второй этаж

особняка, в парадные приемные обоих банкиров, Кастанье снова уселся и некоторое время рассматривал аккредитивы на имя банкирского дома Уотскильдена в Лондоне. Потом он взял перо и подделал внизу каждого из них подпись *Нусинген*. Размышляя, какая из этих подписей удалась ему лучше других, он вдруг вскинул голову, точно укушенный мухой, повинуясь ощущению, которое говорило ему: «Ты здесь не один!» И в эту минуту подделыватель подписей увидал, что у окошечка кассы, за решеткой, стоит какой-то человек, так тихо, что и дыхания его не слышно, словно он и не дышит вовсе,— очевидно, он вошел в дверь из коридора, которая, как заметил Кастанье, была открыта настежь. Первый раз в жизни старый солдат до того испугался, что так и замер, раскрыв рот и остановив взгляд на этом человеке, самый вид которого внушал страх независимо от таинственных обстоятельств, сопровождавших подобное появление. Длинный оклад лица, выпуклый лоб, неприятный цвет кожи незнакомца, не менее, чем его костюм, свидетельствовали о его английском происхождении. Так и разило от него англичанином. Достаточно было взглянуть на его сюртук с большим воротником, на его пышный галстук, поддерживающий приплюснутые трубчатые складки его жабо, оттенявшего своей белизной вечно мертвенный цвет бесстрастного лица, на котором выделялись холодные красные губы, как будто предназначенные к тому, чтобы высасывать кровь мертвецов,— и сразу всякий догадался бы, что черные гетры застегнуты у него выше колена, что несколько по-пуритански оделся богач англичанин для пешей прогулки. Глаза чужестранца, как бы пронизывая самую душу, сверкали невыносимо, а застывшие черты лица усиливали впечатление. Этот сухой и тощий человек таил, казалось, в себе какое-то пожирающее начало, не знавшее утоления. Казалось, он так быстро переваривал пищу, что мог есть беспрестанно, причем на его щеках не показывалось ни кровинки. Бочку токайского вина, именуемого *стародедовским*, мог он, вероятно, выпить зараз, не замутив ни пронзительного своего взгляда, читавшего в душе, ни жестокой ясности разума, всегда, казалось, доходившего до сущности вещей. Было в нем что-то от дикого и спокойного величия тигров.

— Мне нужно получить по этому векселю,— сказал он Кастанье голосом, заставившим кассира затрепетать всеми жилками, как будто по ним прошел сильный электрический разряд.

— Касса закрыта,— ответил Кастанье.

— Она открыта,— сказал англичанин, указывая на кассу.— Завтра воскресенье, а ждать мне некогда. Сумма — пятьсот тысяч франков, у вас в кассе она имеется, а мне она необходима для уплаты долга.

— Но как же вошли вы сюда, милостивый государь?

Англичанин улыбнулся, и Кастанье оцепенел от его улыбки. Не могло быть ответа полнее и категоричнее, чем презрительная и властная складка губ у незнакомца. Кастанье повернулся, взял пятьдесят пачек банковских билетов, по десяти тысяч франков каждая, и, когда он подавал их незнакомцу, бросившему в обмен вексель, акцептированный бароном Нусингеном, его охватила какая-то конвульсивная дрожь при виде багровых лучей, исходивших из глаз этого человека и падавших на фальшивую подпись аккредитива.

— Вашей... расписки... здесь... нет,— сказал Кастанье, посмотрев вексель на обороте.

— Позвольте перо,— ответил англичанин.

Кастанье протянул перо, только что служившее ему для подделки. Незнакомец поставил подпись *Джон Мельмот*, затем вернул кассиру бумагу и перо. Пока Кастанье рассматривал подпись, которая шла по-восточному справа налево, Мельмот исчез, столь мало произведя шума, что, подняв голову, кассир вскрикнул, более не видя его здесь и ощущая боль, которую наше воображение приписывает действию отравы. Перо, которым пользовался Мельмот, вызвало у него ощущение теплоты и словно щекотки во внутренностях, как после рвотного. Кастанье не допускал и мысли, что англичанин догадался о его поступке, и поэтому приписал свое болезненное состояние той дрожи, которой, как принято думать, неизбежно сопровождается преступный акт.

— К черту! Что я за дурак! Сам бог мне покровительствует, ведь адресуйся этот скот завтра к хозяевам, я бы попался! — произнес Кастанье, бросая в печь ненужные поддельные аккредитивы, которые и сгорели.

Нужный ему аккредитив он запечатал, взял в кассе

пятьсот тысяч франков билетами и банкнотами, запер ее, все привел в порядок, взял шляпу, зонт, зажег свечу в подсвечнике, а затем погасил лампу и спокойно вышел, чтобы один из двух ключей от кассы отдать г-же Нусинген, как делалось всегда, если сам барон отсутствовал.

— Какой вы счастливец, господин Кастанье,— сказала жена банкира, увидав его,— в понедельник праздник, вы можете уехать за город, в Суази.

— Будьте так добры, сударыня, передайте господину Нусингену, что сейчас получен запоздавший вексель Уотскильденов. Пятьсот тысяч франков выплачено. Итак, я буду здесь не раньше вторника, к полудню

— Прощайте! Желаю вам приятно провести время!

— Равно как и я вам! — ответил старый драгун, бросив взгляд на молодого человека по фамилии Растиньяк, который пользовался тогда в свете большим успехом и слыл любовником г-жи де Нусинген.

— А знаете,— сказал после его ухода молодой человек,— этот толстяк словно собирается проделать с вами что-то неладное.

— Ну нет! Быть не может, он так глуп.

— Пикуазо,— сказал кассир, входя в каморку швейцара,— что это ты пропускаешь в кассу после четырех часов?

— С четырех часов я сидел у дверей и покуривал трубку,— ответил швейцар,— никто не входил в контору. Да и вышли только господа...

— Ручаешься, что это так?..

— Честное мое слово. Прошел в четыре часа один только приятель господина Вербруста, молодой человек, служащий у господ Тийе и компания, на улице Жубер.

— Ладно! — произнес Кастанье и поспешно вышел.

У него все усиливался тошнотворный жар, появившийся, когда он после незнакомца взялся за свое перо.

«Тысяча чертей! Все ли я предусмотрел? — проносилось у него в голове, когда он шел по Гентскому бульвару.— Посмотрим! Два свободных дня, воскресенье и понедельник; потом день сомнений, прежде чем начнут поиски,— таким образом, у меня сроку три дня и четыре ночи. Я запасся двумя паспортами и двумя различными костюмами, в которых трудно будет меня узнать,— разве этого не достаточно, чтобы сбить с толку самых

ловких полицейских? Получу в Лондоне миллион во вторник утром, когда еще не возникнет ни малейшего подозрения. Свои здешние долги перевожу на своих кредиторов, которые надпишут «погашено», и остаток своих дней проведу счастливо в Италии, под именем графа Ферраро: ведь я единственный свидетель смерти этого несчастного полковника в Зембинских болотах, я его шкуру и надену... Тысяча чертей! Если я потащу за собой эту женщину, она может меня выдать! Мне, старому вояке, волочиться за юбкой, прилипать к бабе!.. К чему брать ее с собой? Нужно ее бросить. Да, на это у меня хватит духу. Но знаю я себя, такой я дурак, что опять к ней вернусь. Акилину никто ведь не знает. Взять ее с собой? Или не брать?»

— Ты ее не возьмешь! — произнес голос, потрясший его до глубины души.

Резким движением Кастанье обернулся и увидел англичанина.

— Э! Сюда сам черт сует свой нос! — воскликнул кассир вслух.

Мельмот уже обогнал свою жертву. Хотя первым движением Кастанье было потребовать к ответу человека, до такой степени читавшего у него в душе, все же в нем боролось столько противоречивых чувств, что в результате возникла какая-то внезапная инертность; и он пошел дальше, снова испытывая ту умственную лихорадку, которая так естественно возникает у человека, поддавшегося страсти настолько, чтобы совершить преступление, но недостаточно сильного, чтобы потом справиться с жестокой тревогой. Вот почему, уже собираясь пожинать плоды преступления, наполовину совершенного, Кастанье колебался, доканчивать ли ему начатое дело, как это и бывает у людей половинчатых, в одинаковой степени то сильных, то слабых, которых можно склонить к преступлению и удержать от него, в зависимости от самых ничтожных обстоятельств. Среди множества людей, набранных Наполеоном в свои войска, встречалось немало таких, которые, подобно Кастанье, на поле битвы были мужественны физически, но вместе с тем лишены были духовного мужества, при котором человек столь же велик в преступлении, сколь велики бывают люди в подвигах добродетели. Аккредитив был написан так, что

Кастанье, приехав в Лондон, получил бы двадцать пять тысяч фунтов стерлингов у Уотскильдена — корреспондента Нусингена, уже уведомленного о платеже самим бароном; каюта на имя графа Ферраро была случайным лондонским агентом заранее заказана на корабле, перевозившем богатое английское семейство из Портсмута в Италию. Предусмотрены были малейшие обстоятельства. Кастанье так устроил, что, пока он плыл бы по морю, искать его стали бы одновременно и в Бельгии и в Швейцарии. А потом, когда Нусинген напал бы на его след, кассир доехал бы уже до Неаполя, где рассчитывал жить под чужим именем, замаскировавшись до такой степени, что даже изменил бы лицо и подделал на нем при помощи кислот следы оспы. Все эти меры предосторожности обеспечивали, казалось, полную безнаказанность, но совесть его мучила. Он боялся. Давно уже ведя тихую и покойную жизнь, он очистился от солдафонских привычек. Он был еще честен и пачкался теперь неохотно. Итак, последний раз он отдавался воздействию своей доброй натуры, еще сопротивлявшейся в нем.

«Ба! — подумал он на углу бульвара и улицы Монмартр.— Вечером после спектакля фиакр отвез меня в Версаль. Почтовая карета ожидает меня у моего прежнего вахмистра, который сохранит тайну моего отъезда даже перед дюжиной солдат, готовых его расстрелять, если он откажется ответить. Итак, против меня ни одного шанса. Возьму с собой малютку мою Наки и уеду!»

— Не уедешь! — сказал ему англичанин, от странного голоса которого вся кровь прилила к сердцу кассира.

Мельмот сел в ожидавшее его тильбюри и умчался так быстро, что Кастанье еще не успел прийти в себя и не подумал задержать тайного своего врага, а тот уже в ста шагах несся крупной рысью по проезду Монмартрского бульвара.

«Однако, честное слово, со мной происходит нечто сверхъестественное! — решил Кастанье.— Будь я таким дураком, что верил бы в бога, я подумал бы, что он велел святому Михаилу следовать за мной по пятам. Может быть, дьявол и полиция позволяют мне все проделывать, чтобы вовремя меня схватить. Виданное ли дело! Да ну, все это чепуха...»

Кастанье направился по улице Фобур-Монмартр, замедляя шаг по мере того, как приближался к улице Рише. Там, в новом доме, в третьем этаже корпуса, обращенного к садам, жила девушка, известная по соседству под именем г-жи де Лагард, невольно оказавшаяся причиной преступления, совершенного Кастанье. Чтобы объяснить этот факт и окончательно обрисовать переживаемый кассиром кризис, необходимо вкратце сообщить о некоторых обстоятельствах прежней ее жизни.

Госпожа де Лагард, скрывавшая настоящее свое имя от всех, даже от Кастанье, выдавала себя за пьемонтку. Она была из числа девушек, вынужденных — то ли глубочайшей нищетой, то ли безработицей или страхом смерти, а нередко изменой первого возлюбленного — взяться за ремесло, которым большинство из них занимается с отвращением, многие — беспечно, некоторые — подчиняясь требованиям своей натуры. Когда она, шестнадцати лет от роду, прекрасная и чистая, как мадонна, готова была броситься в пучину парижской проституции, она встретила Кастанье. Настолько неказистый, что рассчитывать на успех в свете ему не приходилось, утомленный шатанием по бульварам в поисках любовных побед, что покупаются за деньги, отставной драгун уже давно желал ввести некоторый порядок в свое беспутство. Его поразила красота бедной девчушки, случаем брошенной ему в объятия, и он решил спасти ее от порока, но себе на пользу, с целью не менее эгоистической, чем благотворительной, как то нередко бывает и у самых лучших людей. Природные склонности могут быть хорошими, общественный строй к ним добавляет злые, отсюда происходит та смешанность в намерениях, к которым судья должен отнестись снисходительно. У Кастанье хватило ума настолько, чтобы схитрить, когда дело шло о его интересах. Так вот он и решился на филантропию без риска и прежде всего сделал девушку своей любовницей.

«Эге! Как бы овечка не поджарила меня, старого волка! — сказал он себе на солдатском жаргоне.— Дядюшка Кастанье, собираясь устраивать свой домашний очаг, произведи-ка сначала разведку насчет нравственных устоев девчонки, разузнай, привязчива ли она!»

В первый год их связи, незаконной, но ставившей пье-

монтку в положение, наименее порицаемое из всех тех, которые общество клеймит своим презрением, она взяла себе боевую кличку Акилина — имя одной из героинь «Спасенной Венеции», случайно прочитанной ею английской трагедии. Ей казалось, что она схожа с этой куртизанкой то ли ранним развитием чувств, уже напоминавших о себе ее сердцу, то ли чертами лица или общим обликом. Когда Кастанье убедился, что поведение ее пристойно и добродетельно более, чем можно было ожидать от женщины, брошенной по ту сторону общественных законов и приличий, он выразил желание поселиться с нею вместе. Тогда она сделалась г-жой де Лагард, с тем чтобы жить на положении законной жены, в той мере, как это позволяли парижские нравы. В самом деле, большинство этих несчастных созданий озабочено главным образом тем, чтобы их принимали за настоящих мещанок, тупо соблюдающих верность своим мужьям, способных стать превосходными матерями семейств, записывать расходы и чинить белье. Подобное желание порождается чувством столь похвальным, что обществу следовало бы с ним считаться. Но общество, конечно, окажется неисправимым и по-прежнему будет смотреть на замужнюю женщину как на корвет, которому флаг и документы дают право плавания, а на содержанку — как на пирата, которого можно повесить, раз у него нет бумаг. В тот день, когда г-жа де Лагард захотела подписываться «мадам Кастанье», кассир рассердился.

— Ты, значит, не настолько меня любишь, чтобы жениться на мне? — спросила она.

Кастанье не ответил, погрузившись в задумчивость. Бедняжка уступила. Отставной драгун был в отчаянии. Наки, тронутая его отчаянием, готова была его утешить, но можно ли утешать, не зная причины огорчения? И вот, когда Наки захотелось узнать секрет, она добилась этого без особых расспросов: кассир жалобно признался в существовании некоей г-жи Кастанье, законной супруги, тысячу раз проклятой, небогато и безвестно жившей в Страсбурге, которой он два раза в год писал, храня о ней столь глубокое молчание, что никто не считал его женатым. Откуда такая скрытность? Хотя ее причина известна многим из военных, которые могли оказаться в таком же положении, все же небесполезно о ней сооб-

щить. Настоящий «служака» (если позволительно употребить здесь слово, обозначающее в армии людей, которым суждено умереть в чине капитана), прикрепленный к полку, как крепостной к земле, является существом глубоко наивным, вроде Кастанье, и обречен на любой стоянке полка стать жертвой тех козней, что строят матери семейств, обремененные дочерьми, засидевшимися в девицах. И вот в Нанси во время краткого перерыва, когда императорские войска отдыхали во Франции, Кастанье имел несчастье обратить внимание на барышню, с которой он танцевал на балу, одном из тех, что именуются в провинции «общественными» и частенько даются либо городом в честь гарнизонных офицеров, либо наоборот. Любезный капитан тотчас же стал предметом обольщений, для которых матери находят себе сообщников в самом сердце человеческом, нажимая на все его пружины, и в друзьях, вступающих в общий заговор. Уподобившись тем, кто одержим одной-единственной мыслью, матери все силы отдают своему великому проекту, долго и тщательно созидая нечто вроде той конусообразной ямки в песке, на дне которой сидит муравьиный лев. Быть может, никто не вступит в этот превосходно построенный лабиринт, быть может, муравьиный лев умрет от голода и жажды. Но если уж войдет туда какая-нибудь легкомысленная тварь, она там и останется. Тайный расчет на сокращение расхода, присущий всякому, кто собирается жениться, надежда на наследство, тщеславие— словом, все нити, движущие «капитаном», были затронуты у Кастанье. Себе на беду, он расхвалил матери ее дочь, когда после вальса отвел ее на место; последовала беседа, заключившаяся вполне естественным приглашением бывать у них. А когда драгуна залучили к себе, тут уж он был ослеплен простодушием, царившим в доме, где, казалось, под притворной скудностью прячется богатство. Его ловко обошли, и все принялись расхваливать находившиеся здесь сокровища. Обед, весьма кстати сервированный на серебре, которое взяли у дяди, знаки внимания со стороны единственной дочери, городские сплетни, богатый подпоручик, делавший вид, что готов подставить ему ножку,— словом, тысяча ловушек, известных провинциальным муравьиным львам, была так искусно пущена в ход, что пять лет спустя Кастанье говорил:

— До сих пор не могу понять, как все это произошло!

Драгун получил пятнадцать тысяч франков приданого и барышню, по счастью, оставшуюся бездетной, которая после двух лет брачной жизни стала уродливейшей, а следовательно, и сварливейшей женщиной на свете. Кожа этой девицы, белая лишь благодаря суровому режиму, покрылась красными пятнами; лицо, яркие краски которого свидетельствовали о соблазнительной невинности, расцвело прыщами; стан, казавшийся таким стройным, искривился,— ангел оказался брюзгливым и подозрительным созданием, приводившим Кастанье в ярость; в довершение всего улетучилось богатство. Видя, что женщина, с которой он заключил брачный союз, изменилась до неузнаваемости, драгун назначил ей для жительства домик в Страсбурге в ожидании, когда богу будет угодно украсить ею рай. Она была из тех женщин, добродетельных поневоле, которые изводят ангелов своими стонами, повергают в скуку господа бога, если только он слушает их молитвы, и нежнейшим голоском рассказывают соседкам всякие гадости про мужей, заканчивая вечером партию в бостон. Когда Акилина узнала о злосчастье Кастанье, она искренне привязалась к нему и, постоянно обновляя наслаждения по подсказке своего женского таланта, щедро их расточая, но вместе с тем разнообразя, дала столько счастья кассиру, что незаметно для себя стала причиной его гибели. Подобно многим женщинам, как будто самою природой предназначенным познать любовь до последних ее глубин, г-жа де Лагард отличалась бескорыстием. Она не требовала ни золота, ни драгоценностей, не заботилась никогда о будущем, жила настоящим и главным образом удовольствиями. Богатые уборы, туалет, экипаж, предметы столь пламенных желаний у женщин такого сорта, она принимала только как гармоничное добавление к общей картине жизни. Она желала их иметь не из тщеславия, не ради возможности блеснуть, а лишь для того, чтобы лучше себя чувствовать. Впрочем, она могла и обойтись без всего этого легче, чем кто бы то ни было. Когда человек щедрый — а почти все военные щедры — встречается с женщиной такого закала, он приходит в неистовство при мысли, как бы не остаться у нее в долгу. Он способен тогда

напасть на дилижанс, чтобы добыть денег, если у него их не хватает на новые безумные траты. Так уж создан мужчина. Иной раз он идет на преступление ради того, чтобы сохранить величие и благородство в глазах женщины или узкого круга людей. Любовник подобен игроку, который почтет себя обесчещенным, не вернув лакею игорного зала занятых у него денег, но совершает чудовищные поступки, разоряет жену и детей, крадет и убивает, лишь бы пред глазами постоянных посетителей этого рокового дома предстать с полными карманами и не запятнать своей чести. Так случилось и с Кастанье. Первоначально он поселил Акилину в скромной квартире на пятом этаже и подарил ей лишь самую простую мебель. Но, обнаруживая в девушке столько красоты и достоинств, получая от нее неслыханные наслаждения, которых никакие слова не в силах передать, он голову потерял и пожелал принарядить идола своего сердца. Тогда костюм Акилины оказался в столь комическом контрасте с дрянной квартирой, что оба они убедились в необходимости ее переменить. На эту новую квартиру ушли почти все сбережения Кастанье, который обставил свой, так сказать, семейный дом с роскошью, характерной для содержанок. Красивая женщина не потерпит около себя ничего уродливого. Из всех женщин ее выделяет это стремление выдерживать стиль, наименее изученная потребность нашей натуры, сказывающаяся в том, что старые девы окружают себя одной лишь старой рухлядью. Поэтому-то прелестной пьемонтке понадобились вещи самые новые, самые модные, все самое кокетливое, что только нашлось у торговцев: штофные обои, шелк, драгоценности, легкая и хрупкая мебель, красивый фарфор. Она ничего не требовала. Но когда нужно было выбирать, когда Кастанье спрашивал: «Что бы ты хотела?»,— она отвечала: «Вот это будет получше!» Любовь, подсчитывающая расходы,— не настоящая любовь, поэтому Кастанье покупал лишь самое лучшее. А раз принята была такая мерка, то стало необходимым, чтобы все в хозяйстве пришло в гармонию: белье, серебро, тысяча принадлежностей благоустроенного дома, кухонная утварь, хрусталь... и черт в ступе! Хотя Кастанье хотелось бы, как говорится, устроиться тихо-мирно, он все более и более входил в долги. Одна вещь вызывала необходимость в другой.

К часам понадобилась пара канделябров. К изукрашенному камину потребовалась особого устройства топка. Драпри, обои были такими чистенькими, что обидно было закоптить их, пришлось завести изящные камины, недавно изобретенные искусными составителями проспектов и снабженные приспособлением, которое якобы вполне устраняло дым. А затем Акилине так понравилось бегать в своей комнате по ковру босиком, что Кастанье всюду положил ковры, чтобы резвиться вместе с Наки; наконец, он устроил ей ванную — все для того, чтобы ей было «получше». Парижские торговцы, ремесленники, фабриканты обладают неслыханным искусством расширять дырку в чужом кошельке: когда захочешь к чему-нибудь приценяться, они ответят, что еще не знают цены, а лихорадочно разгоревшееся желание никогда не терпит промедлений,— в результате заказы делаются вслепую, по приблизительной смете; счетов поставщики не дают и вовлекают потребителя в вихрь новых поставок. Все восхитительно, очаровательно, все довольны. Несколько месяцев спустя эти любезные поставщики появляются, как неумолимое воплощение общей суммы долга; они нуждаются в деньгах, у них срочные платежи, они даже объявляют себя, так сказать, банкротами; они плачут — и получают! Тогда разверзается пропасть, изрыгая колонну цифр по четыре в ряд, хотя следовало бы им идти скромно по трое. Пока еще Кастанье не знал суммы расходов, он возымел обыкновение предоставлять своей возлюбленной, если она выезжала, наемную карету вместо простого извозчика. Кастанье любил покушать, и вот была нанята превосходная кухарка; чтобы ему угодить, Акилина угощала его первинками, всякими деликатесами, изысканными винами, которые покупала сама. Но своих средств у нее не было, эти подарки, продиктованные драгоценным вниманием, чуткостью, расположением, периодически истощали кошелек Кастанье, не желавшего, чтобы его Наки оставалась без денег, а она постоянно бывала без денег! Итак, стол сделался источником значительных расходов, совсем не по средствам кассиру. Чтобы добывать деньги, отставной драгун был принужден прибегнуть к коммерческим уловкам, так как неспособен был отказывать себе в удовольствиях. Страстная любовь не позволяла ему противиться фантазиям любов-

ницы. Он был из тех людей, которые то ли из самолюбия, то ли по слабости характера не умеют ни в чем отказать женщине и из ложного стыда готовы лучше разориться, чем произнести: «Не могу... Мне средства не позволяют... Денег нет». И вот настал день, когда Кастанье понял, что он скатился в пропасть и что, если думать о спасении, необходимо бросить Акилину и сесть на хлеб и воду, чтобы расквитаться с долгами. Но он уже настолько привязался к этой женщине, к этой жизни, что со дня на день стал откладывать задуманную реформу. Понуждаемый обстоятельствами, сначала он обратился к займам. Его положение и его прошлое обеспечили ему доверие, которым он стал пользоваться, комбинируя систему займов соответственно своим нуждам. Затем, чтобы не обнаруживать, до каких сумм дошли его долги, он прибег к тому средству, которое в коммерции зовется «циркуляция». Оно заключается в векселях, не гарантированных ни товарами, ни взносом денежных ценностей; первое лицо, делающее передаточную надпись, оплачивает их вместо какого-нибудь любезного векселедателя; это своего рода подлог, на который смотрят сквозь пальцы, так как в нем невозможно никого уличить и вовлечение в невыгодную сделку обнаруживается только в случае отказа в уплате. Когда наконец Кастанье убедился в невозможности продолжать свои финансовые маневры, из-за возрастающей ли суммы займов или из-за чрезмерных процентов, то он столкнулся с необходимостью объявить себя банкротом. Раз на его долю выпало бесчестие, он предпочел обычному банкротству — злостное, проступку — преступление. Он решил дисконтировать доверие, заслуженное его прежней честностью, и увеличить число своих кредиторов, позаимствовав, подобно Матео, кассиру королевского казначейства, сумму, достаточную для того, чтобы остаток дней своих счастливо прожить за границей. Как мы только что видели, он это и сделал. Акилина не подозревала о его житейских заботах, она жила весело и, подобно многим женщинам, не спрашивала себя, откуда получаются деньги, вроде тех людей, которые едят румяную булочку, не спрашивая себя, как растет хлеб; между тем за печью булочника скрываются обманутые надежды и хлопоты земледельца, точно так же как заурядная роскошь большинства па-

«ПОИСКИ АБСОЛЮТА»

«ПРОЩЕННЫЙ МЕЛЬМОТ».

рижских семейств покоится на тяжких заботах и непомерном труде.

Пока Кастанье переживал муки сомнений, размышляя о поступке, от которого изменилась вся его жизнь, Акилина спокойно сидела у камелька, лениво погрузившись в кресло, и, беседуя с горничной, поджидала его. Подобно всем горничным у дам такого сорта, Дженни стала ее наперсницей, после того как убедилась, что власть ее хозяйки над Кастанье неоспорима.

— Как нам быть нынче вечером? Леон хочет непременно прийти,— произнесла г-жа де Лагард, читая письмо на серой бумаге, исполненное страсти.

— Вот и барин! — сказала Дженни.

Вошел Кастанье. Нисколько не смущаясь, Акилина свернула письмо, взяла его щипцами и сожгла.

— Вот как ты поступаешь с любовными записками!— сказал Кастанье.

— Ах, боже мой, конечно, так,— ответила ему Акилина.— Разве это не лучший способ уберечь их от чужих рук? К тому же не должен ли огонь устремляться к огню, как вода течет в реку?

— Ты так говоришь, Наки, точно это и вправду любовная записка.

— Что же, разве я недостаточно красива, чтобы их получать? — отвечала она, подставляя для поцелуя лоб с такой небрежностью, которая мужчине менее ослепленному дала бы понять, что, доставляя кассиру удовольствие, Акилина лишь выполняет своего рода супружеский долг; но Кастанье, вдохновляемый привычкой, дошел до таких степеней страсти, что уже ничего не замечал.

— На сегодня у меня ложа в театре Жимназ,— продолжал он,— сядем за стол пораньше, а то придется обедать впопыхах.

— Отправляйтесь с Дженни. Мне надоели театры. Не знаю, что со мной нынче, хотелось бы посидеть у камелька.

— Все-таки пойдем, Наки; уже недолго буду я тебе надоедать. Да, Кики, нынче вечером я уезжаю и довольно долго не вернусь. Оставляю тебя здесь полной хозяйкой. Сохранишь ли ты мне свое сердце?

— Ни сердца, ни чего другого,— ответила она.— Но ты вернешься — и Наки всегда будет твоею Наки.

— Вот это откровенность! Значит, ты со мной не поехала бы?

— Нет.

— Почему?

— Но,— сказала она, улыбаясь,— как же я могу покинуть любовника, который пишет такие милые письма?

И полунасмешливо она показала на сгоревшую бумагу.

— Может ли это быть? — спросил Кастанье.— Неужели ты завела любовника?

— Как? Значит, вам ни разу не случалось взглянуть как следует на самого себя, милый мой? — ответила Акилина.— Во-первых, вам пятьдесят лет. Потом, лицо у вас такое, что если положить вашу голову на прилавок зеленщицы, она свободно продаст ее за тыкву. Подымаясь по лестнице, вы пыхтите, как тюлень. Живот у вас трепыхается, как бриллиант на голове у женщины... Хоть ты и служил в драгунском полку, все же ты старый урод. Черт побери! Если хочешь сохранить мое уважение, то не советую тебе к этим достоинствам добавлять еще глупость и полагать, что такая девушка, как я, откажется скрасить впечатление от твоей астматической любви при помощи цветов чьей-нибудь прекрасной юности.

— Акилина, ты, конечно, шутишь?

— А ты разве не шутишь? Ты думаешь, я, как дура, поверю в твой отъезд? «Нынче вечером я уезжаю»,— передразнила она.— Ах, мямля, да разве так ты говорил бы, покидая свою Наки? Ты ревел бы не хуже теленка.

— Ну, а если я уеду, ты приедешь ко мне? — спросил он.

— Скажи сначала, не глупая ли шутка все это твое путешествие?

— Серьезно, я уезжаю.

— В таком случае серьезно я остаюсь. Счастливого пути, дитя мое! Буду тебя ждать. Скорее я расстанусь с жизнью, чем с миленьким моим Парижем.

— И ты не захочешь отправиться в Италию, в Неаполь, зажить там приятно, спокойно, роскошно со своим толстячком, который пыхтит, как тюлень?

— Нет.

— Неблагодарная!

— Неблагодарная! — сказала она, вставая с кресла.— Сию же минуту уйду я отсюда в чем мать родила. Я отдала тебе все сокровища юности и то, чего не вернуть даже ценой всей крови твоей и моей. Если бы возможно было как-нибудь, хоть бы заплатив спасением своей души, вернуть девственность моему телу, как вновь обрела я, может быть, девственность души, если бы я могла тогда отдаться любовнику чистая, как лилия,— я не колебалась бы ни минуты! Чем ты вознаградил меня за мою жертву? Ты меня кормил и устраивал мне жилье, руководясь тем же самым чувством, с которым кормят собаку, отводят ей конуру, потому что она — хороший сторож, потому что она принимает побои, когда мы не в духе, и лижет нам руку, едва мы ее позовем. Кто же из нас двоих более щедр?

— Дитя мое, разве ты не видишь, что я шучу? — возразил Кастанье.— Я предпринимаю небольшое путешествие; оно не затянется. А в театр ты со мной поедешь: в полночь я отправлюсь в дорогу, по-хорошему распростившись с тобой.

— Котеночек ты мой, значит, и вправду уезжаешь?— сказала она, притягивая его к себе за шею, чтобы спрятать его голову у себя на груди.

— Задушишь! — кричал Кастанье, уткнувшись носом в грудь Акилины.

Наша девица наклонилась к уху Дженни.

— Пойди скажи Леону, чтобы он приходил в час, не раньше. Если его не застанешь и он придет, пока мы тут будем прощаться, задержи его у себя... Ладно, прекраснейший из тюленей,— продолжала она, подняв голову Кастанье и теребя его за нос,— пойду с тобой нынче в театр. А теперь — за стол! Обед не плох, все твои любимые кушанья.

— Нелегко покидать такую женщину, как ты,— сказал Кастанье.

— Чего же ради ты уезжаешь? — спросила она.

— Чего ради? Чего ради? Чтобы все объяснить, понадобилось бы рассказать о многом, и ты увидела бы тогда, что моя любовь к тебе доходит до безумия. Коли ты подарила мне свою честь, то ведь и я продал свою, мы квиты. Разве это не любовь?

— Все это пустяки,— сказала она.— Нет, если бы ты сказал мне, что, заведи я любовника, ты все-таки по-прежнему будешь отечески меня любить, вот это была бы любовь! Скажите так сейчас же и дайте лапку.

— Я убил бы тебя,— улыбаясь, ответил Кастанье.

Они уселись за стол, а пообедав, отправились в Жимназ. После первой пьесы Кастанье решил показаться кое-кому из своих знакомых, замеченных им в зале, чтобы как можно дольше не возникали подозрения, что он бежал. Он оставил г-жу де Лагард в ложе (согласно их скромным привычкам, взята была ложа в бенуаре) и пошел пройтись по фойе. Едва сделал он несколько шагов, как увидал Мельмота, от взгляда которого у него возникло уже знакомое чувство тошноты и ужаса; они столкнулись лицом к лицу.

— Мошенник! — крикнул англичанин.

Услыхав это восклицание, Кастанье взглянул на прогуливавшихся кругом людей. Казалось ему, он видит у них на лицах удивление и любопытство, ему захотелось сию же минуту отделаться от англичанина, и он поднял руку, намереваясь нанести пощечину, но почувствовал, что его парализовала неодолимая сила, овладевшая им и пригвоздившая его к полу; чужеземец, не встретив сопротивления, взял его под руку, и они вместе пошли по фойе, как два друга.

— Кто настолько силен, чтобы противиться мне? — сказал англичанин.— Разве ты не знаешь, что здесь, на земле, все должно мне подчиняться, что я все могу сделать? Я читаю в сердцах, вижу будущее, знаю прошлое. Я нахожусь здесь, но могу оказаться где угодно! Я не завишу ни от времени, ни от места, ни от расстояния. Весь мир мне слуга. Я обладаю способностью вечно наслаждаться и вечно давать счастье. Мой взор пронизывает стены, видит сокровища, и я черпаю их полными пригоршнями. Кивну головой — воздвигаются дворцы, и строитель мой не знает ошибок. Захочу — и всюду распустятся цветы, нагромоздятся кучи драгоценных каменьев, груды золота, все новые и новые женщины будут моими; словом, все мне подвластно. Я мог бы играть на бирже наверняка, если бы человек, знающий, где скупцы хоронят свое золото, нуждался в чужом кошельке. Так

ощути, жалкое существо, объятое стыдом, ощути же мощь держащих тебя тисков. Попытайся согнуть эту железную руку! Смягчи крепкое, как адамант, сердце! Попробуй укрыться от меня! Даже спрятавшись в глубине проходящих под Сеной подземелий, разве ты перестанешь слышать мой голос? Разве, спустившись в катакомбы, перестанешь ты меня видеть? Мой голос громче громов, ясный свет моих глаз соперничает с солнцем, ибо я равен *светоносному.*

Кастанье слушал эту ужасную речь, не будучи в силах ничего возразить, и шел рядом с англичанином, не имея возможности отойти от него.

— Ты мне принадлежишь, ты только что совершил преступление. Наконец-то я нашел себе сотоварища, которого давно искал. Хочешь узнать свою судьбу? Ты собирался посмотреть спектакль, он от тебя не уйдет, ты увидишь два спектакля. Идем! Представь меня госпоже де Лагард как лучшего своего друга. Разве не во мне последняя твоя надежда?

Кастанье вернулся в ложу, его сопровождал чужеземец, которого он, повинуясь только что полученному приказу, поспешил представить г-же де Лагард. Акилину как будто нисколько не удивило появление Мельмота. Англичанин отказался занять переднее место в ложе, он пожелал, чтобы Кастанье сидел рядом со своей возлюбленной. Простейшее желание англичанина являлось приказом, которому следовало повиноваться. Начиналась последняя пьеса. Тогда в маленьких театрах давалось только по три пьесы в вечер. В Жимназ играл тогда актер, который создавал своему театру большой успех. На этот раз Перле должен был играть в «Этампском комедианте», водевиле, где он исполнял четыре различных роли. Когда занавес поднялся, чужестранец простер руку над залом. Кастанье испустил бы крик ужаса, если бы у него не перехватило горло: Мельмот пальцем указал ему на сцену, давая понять, что по его приказу спектакль изменен. Кассир увидал кабинет Нусингена; его патрон совещался со старшим чиновником полицейского управления, который истолковывал ему поведение Кастанье, сообщив, что из кассы похищена некоторая сумма денег, что ущерб нанесен банкиру при помощи подделки, что кассир сбежал. Тотчас же была составлена

жалоба, подписана и направлена королевскому прокурору.

— Вы думаете, еще не поздно? — спрашивал Нусинген.

— Нет,— отвечал агент,— он сейчас в Жимназ и ничего не опасается.

Кастанье заерзал на стуле, собираясь уйти; но рука Мельмота опустилась ему на плечо и принудила его остаться на месте с той ужасающей силой, действие которой мы ощущаем в кошмарном сне. Сам этот человек был воплощенным кошмаром и оказывал гнетущее действие на Кастанье, как насыщенная ядом атмосфера. Когда бедный кассир обернулся с мольбой к англичанину, он встретился с огненным взглядом, излучавшим электрические токи. Кастанье чувствовал себя так, как будто в него вонзились металлические иглы, проткнув его насквозь и пригвоздив к месту.

— Что я тебе сделал? — говорил он в изнеможении, задыхаясь, как загнанный олень на берегу ручья.— Что тебе от меня нужно?

— Гляди! — крикнул ему Мельмот.

Кастанье взглянул на сцену. Декорация уже переменилась; Кастанье увидал на сцене самого себя после спектакля, он и Акилина сходили с экипажа, но когда он входил во двор своего дома на улице Рише, декорация вдруг еще раз переменилась, она изображала теперь внутренность его квартиры. У камина, в комнате хозяйки, Дженни разговаривала с молодым армейским сержантом из парижского гарнизона.

— Уезжает,— говорил сержант, по-видимому, человек из состоятельной семьи,— теперь я буду счастлив без помех! Я так люблю Акилину, что не стерплю, чтобы она принадлежала этой старой жабе! Нет, я женюсь на госпоже де Лагард! — восклицал сержант.

«Старая жаба!» — скорбно подумал Кастанье.

— Барыня с барином приехали, спрячьтесь! Вот сюда, господин Леон,— говорила ему Дженни.— Барин, должно быть, недолго останется.

Кастанье видел, как сержант живо спрятался за платья Акилины в ее гардеробной. Вскоре и сам кассир появился на сцене, он прощался с возлюбленной, которая

потешалась над ним, подмигивая Дженни, а ему говорила самые сладкие, самые ласковые слова. Обращаясь к нему, она плакала, обращаясь к горничной, смеялась. Зрители требовали повторения куплетов.

— Проклятая баба! — кричал Кастанье у себя в ложе.

Акилина хохотала до слез, восклицая:

— Боже мой, как потешен Перле в роли англичанки! Что же это? Вы один во всем зале не смеетесь? Смейся, мой котеночек! — говорила она кассиру.

Мельмот так захохотал, что кассира бросило в дрожь. Этот английский хохот выворачивал ему все внутренности и отзывался в мозгу так больно, точно хирург раскаленной сталью трепанировал ему череп.

— Они смеются! Смеются! — конвульсивно произносил Кастанье.

Вместо стыдливой леди, которую так комично представлял Перле, что от ее англо-французского говора готов был лопнуть со смеху весь зал, кассир видел самого себя: он бежал по улице Рише, возле бульвара садился на извозчика, нанимал его в Версаль. Декорация еще раз переменилась. Он увидел плохонькую гостиницу, которую содержал бывший его вахмистр на углу Оранжерейной улицы и улицы Францисканцев. Было два часа утра, царило полнейшее молчание, никто за ним не шпионил; подъехал экипаж; в упряжке были почтовые лошади, и его подали сначала к дому на Парижском авеню, так как из осторожности он был нанят от имени какого-то англичанина, проживавшего там. Кастанье садился в экипаж и ехал. Но, смотря на сцену, Кастанье у заставы увидал пеших жандармов, поджидавших экипаж. Он готов был испустить крик ужаса, но подавил его, встретившись со взглядом Мельмота.

— Смотри дальше и молчи! — сказал англичанин.

Вслед за тем Кастанье увидал, как его бросили в тюрьму Консьержери. Потом в пятом акте этой драмы, озаглавленной «Кассир», он увидал себя через три месяца: он выходил из суда, приговоренный к двадцати годам каторги. Еще раз у него вырвался крик, когда он увидал, как его выставили напоказ среди площади Дворца правосудия и как палач клеймил его раскаленным железом. Наконец, в последней сцене он стоял во дворе Би-

сетра среди шестидесяти каторжников, ожидая, когда до него дойдет очередь и его закуют в кандалы.

— Боже мой! Я больше не в силах смеяться! — говорила Акилина.— Котеночек мой, вы так мрачны! Что с вами? Ваш приятель ушел.

— Два слова, Кастанье,— сказал ему Мельмот в тот момент, когда по окончании пьесы г-жа де Лагард приказала капельдинерше подать манто.

Коридор полон был народу, бегство было невозможно.

— Что скажете?

— Ты проводишь Акилину домой, отправишься в Версаль и там подвергнешься аресту. Нет такой власти человеческой, которая помогла бы тебе избегнуть этого.

— Почему?

— Потому что рука, держащая тебя, не даст тебе уйти,— сказал англичанин.

Кастанье пожалел, что не наделен способностью произнести такие слова, от которых уничтожился бы он сам, исчез бы в глубинах ада.

— Если демон потребует твою душу, не отдашь ли ты ее в обмен на власть, равную божьей власти? Достаточно одного слова, и ты вернешь в кассу барона Нусингена взятые тобой пятьсот тысяч франков. Да и твой аккредитив будет разорван, и исчезнут всякие следы преступления. Наконец, золото потечет к тебе рекой. Ты ни во что не веришь, не правда ли? Ладно, если все это произойдет, ты поверишь по крайней мере в черта?

— Ах, если бы было возможно! — радостно воскликнул Кастанье.

— Тебе порукой тот,— ответил англичанин,— кто может сделать вот это...

И, стоя в ту минуту с Кастанье и г-жой де Лагард на бульваре, Мельмот протянул руку. Моросил мелкий дождь, земля была грязной, атмосфера — тяжелой, а небо — черным. Едва простерлась рука этого человека — и солнце осветило Париж. Кастанье казалось, что сияет прекрасный июльский полдень. Деревья были покрыты листьями, по-праздничному расфранченные парижане весело прогуливались в два ряда. Продавцы «кокосового напитка» кричали: «А вот освежающий! А вот прохладительный!» Катясь по мостовой, сверкали эки-

пажи. Кассир испустил крик ужаса. И тогда бульвар снова стал серым и мрачным. Г-жа де Лагард села в экипаж.

— Да скорей же, друг мой,— сказала она,— садись или уж оставайся. Право, нынче ты скучен, как этот дождь.

— Что же нужно сделать? — сказал Кастанье Мельмоту.

— Хочешь со мной поменяться местами? — спросил у него англичанин.

— Да.

— Прекрасно. Через несколько минут буду у тебя.

— Что же это, Кастанье? Ты не в духе,— говорила ему Акилина.— Ты затеваешь что-то неладное, в театре ты был так мрачен и задумчив... Милый друг, не нужно ли тебе чего? Не могу ли я чем-нибудь тебе помочь? Ну, скажи хоть словечко!

— Я подожду, пока мы вернемся домой, тогда узнаю, любишь ли ты меня.

— Нет нужды ждать,— ответила она, бросаясь ему на шею,— вот как люблю!

Она обнимала его, казалось, очень страстно, осыпала ласками, но в этом у подобных созданий проявляются профессиональные навыки, как у актрисы в сценической игре.

— Откуда музыка? — сказал Кастанье.

— Ну вот! Дошел уж до того, что слышишь какую-то музыку.

— Небесная музыка! — продолжал он.— Можно подумать, что звучит где-то в вышине.

— Ты никогда не хотел брать ложу в Итальянский театр, говорил, что терпеть не можешь музыку, а теперь вдруг стал меломаном, и еще в такой час! Да ты с ума сошел! Это у тебя в башке музыка, повредилась дряхлая твоя головушка! — сказала она, обхватывая руками его голову и укладывая ее себе на плечо.— Скажи, папаша, быть может, запели колеса кареты?

— Наки, прислушайся! Если бы ангелы играли на струнах для благого творца, их музыка звучала бы так, как звучат эти аккорды. Я впиваю их слухом, они проникают во все мои поры... Не знаю, как тебе описать; это сладостно, точно медовый напиток!

— Конечно, ангелы играют на струнах для благого творца, ведь ангелов всегда рисуют с арфами.

«Честное слово, он сошел с ума»,— подумала она, видя, что Кастанье застыл, словно курильщик опиума, погруженный в экстаз.

Приехали домой. Кастанье, поглощенный всем только что виденным и слышанным и не зная, верить или сомневаться, похож был на пьяницу, утратившего разум. Он пробудился в комнате Акилины, куда его возлюбленная вместе со швейцаром и Дженни перенесла его, потому что, сходя с экипажа, он потерял сознание.

— Друзья мои, друзья мои, *он* сейчас придет! — сказал он в отчаянии, бросаясь в глубокое кресло возле камина.

В эту минуту Дженни услыхала звонок, пошла открывать и сообщила о приходе англичанина,— или, как она доложила, «какого-то господина, которому барин назначил свидание». И сразу же предстал Мельмот. Воцарилось молчание. Он взглянул на швейцара — швейцар ушел. Он взглянул на Дженни — Дженни ушла.

— Сударыня,— сказал Мельмот куртизанке,— позвольте нам закончить дело, не терпящее отлагательства.

Он взял Кастанье за руку. Кастанье встал. Идя в гостиную, они не захватили с собою свечи, ибо взгляд Мельмота осветил бы самый глубокий мрак. Зачарованная странным взглядом незнакомца, Акилина чувствовала, что силы покинули ее, она не могла позаботиться о тайном своем любовнике; впрочем, как она полагала, Леон должен был спрятаться у горничной, между тем Дженни, захваченная врасплох быстрым возвращением Кастанье, заперла его в гардеробной, совсем как в сцене из той драмы, которую в театре играли для Мельмота и его жертвы. Дверь гостиной с силой захлопнулась, и вскоре снова явился Кастанье.

— Что с тобой? — в ужасе вскричала его возлюбленная.

Кассир преобразился. Красноватый цвет лица сменился той же странной бледностью, которая придавала чужеземцу зловещий и холодный вид. Глаза метали мрачный пламень, причинявший боль невыносимым своим блеском. Уже не добродушие, а деспотизм и гордость сквозили в его облике. Куртизанка заметила, что Каста-

нье стал худее, лоб его казался ей величественно ужасным, от драгуна исходило то страшное влияние, которое подавляло других, как тяжкая атмосфера. С минуту Акилина ощущала какую-то стесненность.

— Что сейчас произошло между тобой и этим дьявольским человеком? — спросила она.

— Я продал ему свою душу. Чувствую, что я уже не тот. Он взял себе мое бытие, а свое отдал мне.

— Как это?

— Тебе не понять... А! Он был прав, этот демон,— холодно продолжал Кастанье.— Я вижу все и все знаю. Ты меня обманывала!

От таких слов Акилина оцепенела. Кастанье зажег свечу и пошел в гардеробную. Несчастная девушка последовала за ним, и как же велико было ее изумление, когда Кастанье, раздвинув платья на вешалке, обнаружил сержанта!

— Выходите, милый мой,— сказал он и, взяв Леона за пуговицу сюртука, повел его за собой в спальню.

Растерявшись, побледневшая пьемонтка бросилась в кресло. Кастанье уселся на диванчике у камина, предоставив любовнику Акилины стоять перед ним.

— Вы бывший военный,— сказал Леон,— я готов дать вам удовлетворение.

— Как вы глупы,— сухо ответил Кастанье.— Мне нет нужды в дуэли, кого хочу, я убью взглядом. Дитя, я расскажу вам вашу историю. К чему мне вас убивать? У вас на шее я вижу красную полосу. Вас ждет гильотина. Да, вы умрете на Гревской площади. Вы достояние палача, ничто не может вас спасти. Вы принимаете участие в венте карбонариев. Вы участвуете в заговоре против правительства.

— Об этом ты мне не говорил! — крикнула пьемонтка Леону.

— Так, значит, вы не знаете,— продолжал кассир,— что министерство нынче утром решило принять меры против вашего сообщества? Генеральный прокурор получил ваши списки. Предатели на вас донесли. В настоящий момент собираются материалы для обвинительного акта.

— Так это ты его предал? — сказала Акилина, взревев, как львица, и поднялась, готовая растерзать Кастанье.

— Ты слишком хорошо меня знаешь, чтобы этому поверить,— ответил Кастанье с хладнокровием, заставившим оцепенеть его возлюбленную.

— Как же ты об этом узнал?

— До того как я вошел в гостиную, я ничего не знал, но теперь я все вижу, все знаю, все могу.

Сержант остолбенел.

— Тогда спаси его, мой друг! — воскликнула Акилина, бросаясь перед Кастанье на колени.— Спасите его, раз вы все можете сделать! Я буду вас любить, обожать, не любовницей, но рабой буду я. Самым разнузданным прихотям вашим я буду покорна... будешь делать со мной, что захочешь. Да, больше чем любовь к вам я обрету в себе; то будет дочерняя покорность и вместе с тем... Но... пойми же, Родольф! Словом, какие бы страсти ни владели мной, я всегда буду твоей! Какими еще словами можно тебя растрогать?.. Я изобрету наслаждения... я... Боже мой! Чего бы ты от меня ни потребовал, хотя бы выброситься в окно, тебе достаточно будет напомнить: *Леон!* — и я ринусь в ад, готова буду претерпеть всяческие мучения, всяческие болезни, всяческие горести, все, что ты мне прикажешь.

Кастанье оставался невозмутимым. В ответ он лишь указал на Леона, произнеся с адским хохотом:

— Его ждет гильотина.

— Нет, он отсюда не уйдет, я его спасу! — воскликнула она.— Да, я убью того, кто к нему прикоснется! Почему ты не хочешь его спасти? — кричала она звенящим голосом; глаза ее пылали, волосы растрепались.— Ты можешь это сделать?

— Я все могу.

— Почему же ты не спасешь его?

— Почему? — крикнул Кастанье, и от его голоса задрожал пол.— Я мщу! Злые дела — это мое ремесло.

— Как? Он умрет? — восклицала Акилина.— Умрет мой возлюбленный? Возможно ли?

Она бросилась к комоду, схватила лежавший в корзинке стилет и подошла к Кастанье, который только рассмеялся.

— Ты отлично знаешь, что сталь меня не берет...

Рука Акилины ослабла, как вдруг у арфы слабеет струна.

— Уходите, милый друг,— сказал кассир, обращаясь к сержанту,— занимайтесь своим делом.

Он протянул руку, и военный был принужден подчиниться необоримой силе, исходившей от Кастанье.

— Здесь я у себя дома, я мог бы послать за полицейским комиссаром, выдать ему человека, забравшегося ко мне, но предпочитаю вернуть вам свободу: я демон, а не шпион.

— Я уйду с ним! — сказала Акилина.

— Иди,— ответил Кастанье.— Дженни, Дженни! — Появилась Дженни.— Пошлите швейцара нанять им извозчика. Вот тебе, Наки,— сказал Кастанье, вытаскивая из кармана пачку банковых билетов.— Ты не уйдешь нищенкой от человека, который еще любит тебя.

Он протянул ей триста тысяч франков. Акилина схватила их, швырнула на землю, плюнула на них и, в бешенстве отчаяния топча их ногами, сказала:

— Мы с ним уйдем пешком, не возьмем от тебя ни гроша. А ты, Дженни, оставайся.

— Прощайте,— ответил кассир, подбирая деньги.— Ну, а я вернулся из своей поездки... Дженни,— сказал он, взглянув на остолбеневшую горничную,— мне кажется, ты славная девушка. Ты осталась без хозяйки, иди ко мне! На нынешний вечер у тебя будет хозяин.

Всего опасаясь, Акилина быстро направилась вместе с Леоном к одной из своих подруг. Но он был на подозрении у полиции, за каждым его шагом следили. Спустя короткое время его арестовали вместе с тремя его товарищами, как сообщали о том газеты.

Кассир чувствовал, что он совершенно изменился, и духовно и физически. Того Кастанье, который когда-то в прошлом был влюбленным юношей, храбрым военным, одураченным и разочарованным мужем, кассиром, преступником из-за страстной любви, больше не существовало. Его внутренний облик был разрушен. Мгновенно раздался в ширину его лоб, обострились ощущения. Его мысль объяла весь мир, он все видел, точно его поместили на необычайные высоты. Перед тем как пойти в театр, он испытывал безумнейшую страсть к Акилине: он был готов закрыть глаза на ее измены, только бы не расставаться с ней; это слепое чувство исчезло, как облако тает от солнечных лучей. Дженни, довольная тем, что заступи-

ла место своей хозяйки и завладела ее богатством, теперь исполняла все желания кассира. Но Кастанье, получивший способность читать в душах, открыл истинную причину ее покорности, чисто физической. Он насладился этой девушкой с коварной жадностью — так ребенок съедает сочную мякоть вишни, а косточку бросает. На следующий день, за завтраком, когда Дженни чувствовала себя барыней и хозяйкой дома, Кастанье повторил ей слово за словом, мысль за мыслью все, о чем она размышляла, прихлебывая кофе.

— А знаешь, малютка, что ты думаешь? — сказал он, улыбнувшись.— Вот что: «Прекрасная мебель палисандрового дерева, о которой я так мечтала, и прекрасные платья, которые я примеряла, стали, наконец, моими! И стоили они мне какую-то ерунду, в которой почему-то барыня ему отказывала. Честное слово, чтобы разъезжать в карете, получать дорогие уборы, занимать ложу в театре да сколотить себе ренту,— ради этого я дала бы ему столько наслаждений, что он сдох бы, не будь он крепок, как турок. Никогда не встречала подобного мужчины!» Ведь верно? — продолжал он таким тоном, что Дженни побледнела.— Да, дочь моя, это тебе не по силам, для твоего блага, отпускаю тебя, ты бы себя замучила насмерть. Ладно, расстанемся друзьями.

И он равнодушно ее отослал, уплатив ей весьма незначительную сумму.

Ужасную власть, купленную ценою вечного блаженства, Кастанье прежде всего решил всецело употребить на полное удовлетворение своих инстинктов. Приведя дела свои в порядок и без труда сдав счета г-ну де Нусингену, назначившему в преемники ему какого-то честного немца, он захотел устроить вакханалию, достойную лучших дней Римской империи, и с отчаянием предался наслаждениям, как Валтасар на последнем своем пиру. Но, подобно Валтасару, он ясно видел излучающую свет руку, которая в самый разгар наслаждений чертила ему приговор, только не на стенах тесной залы, а на тех беспредельных сводах, где выступает радуга. В самом деле, его пир был не оргией, ограниченной рамками какого-нибудь банкета, а расточительной игрою всех сил и всяческих наслаждений. Праздничным чертогом была как бы вся земля, уже сотрясавшаяся у него под ногами. То

был последний пир расточителя, который ни о чем уже не думает. Полными пригоршнями черпая в сокровищнице человеческого сладострастия, ключ от которой вручил ему демон, он быстро опустошил ее до дна. Сразу захваченная, неимоверная власть сразу же была испытана, обречена и обессилена. Что было всем, стало ничем. Нередко случается, что обладать — значит убить самые грандиозные поэмы, созданные желанием, так как достигнутая цель редко соответствует мечтам. Такую плачевную развязку, свойственную некоторым страстям, таило в себе и всемогущество Мельмота. Тщета природы человеческой вдруг открылась его преемнику, которому наивысшая власть принесла с собою в дар ничтожность. Чтобы лучше понять то удивительное положение, в котором очутился Кастанье, следовало бы мысленно рассмотреть все пережитые им внезапные изменения и понять, сколь часто они совершались,— обо всем этом трудно составить себе понятие людям, скованным законами времени, места и расстояний. Возросшие его способности изменили прежний характер связей между миром и им самим. Подобно Мельмоту, Кастанье мог в несколько мгновений очутиться в цветущих долинах Индостана, мог пронестись, как крылатый демон, над пустынями Африки и скользить по морям. Как ясновидение позволяло ему постигать любой материальный предмет и самые сокровенные мысли любого человека, лишь только Кастанье устремлял на него свой взор, точно так же его язык сразу как бы схватывал все вкусовые ощущения. Его желания подобны были топору деспота, срубающего дерево для того, чтобы достать плоды. Для него не существовало больше никаких переходов, никаких чередований, которые горе сменяют радостью и вносят разнообразие во все наслаждения человеческие. Его нёбо стало непомерно чувствительным, но вдруг он пресытился, налакомившись всем. Два наслаждения — женщиной и вкусной пищей — были до такой степени им изведаны с тех пор, как он мог лакомиться ими до пресыщения, что ему не хотелось больше ни есть, ни любить. Зная, что ему подвластна будет любая женщина, какую он ни пожелал бы, зная, что он наделен силой, не знающей поражений, он более не желал женщин; заранее видя их покорными самым беспутным при-

хотям, он ощущал в себе ужасную жажду любви, он желал такой любви, которой женщины ему не могли дать. Единственное, в чем отказал ему мир,— это вера и молитва, два вида любви, умиленной и целительной. Ему покорялись. Какое ужасное состояние! Потоки скорби, мыслей и наслаждений, потрясавшие его тело и душу, одолели бы самую могучую человеческую натуру, но в нем заключалась жизненная сила, соответствующая мощи обуревавших его чувствований. Он ощущал в себе какую-то беспредельность, удовлетворить которую земля уже не могла. Он проводил целые дни в томлении, простирая свои крылья, желая пронестись через сияющие сферы, которые он воспринимал интуицией, отчетливой и полной отчаяния. Он внутренне иссох, ибо взалкал и возжаждал того, чего не едят и не пьют, но что влекло его неудержимо. Его губы, как у Мельмота, пламенели от желаний, он задыхался от тоски по *неведомому*, ибо знал все. Зная основу и механизм мира, он уже не восхищался их проявлениями и вскоре ко всему стал выказывать глубокое презрение, делающее человека высшего порядка подобным сфинксу, который все знает, все видит и пребывает молчалив и недвижим. Ни малейшей потребности сообщать свои знания другим он не чувствовал. Его богатством была вся земля, мгновенно мог он промчаться по ней из конца в конец, но это богатство и власть уже не имели для него никакой ценности. Он ощущал ту ужасную меланхолию наивысшего могущества, исцеление от которой сатана и бог находят для себя в деятельности, но тайна ее известна только им. Кастанье не обладал присущей его повелителю неистощимой способностью ненавидеть и творить зло: он чувствовал себя демоном, но демоном лишь возникающим, тогда как сатана — демон во веки веков, искупления для него не существует, он это знает, и потому ему нравится ворошить мир, как навоз, своими трезубыми вилами, внося путаницу в планы господа бога. К несчастью, у Кастанье оставалась еще надежда. Итак, он вдруг получил возможность мгновенно перенестись от одного полюса до другого, как птица в отчаянии летает между двух стенок клетки; но, совершив, как птица, этот полет, он увидал беспредельные пространства. Созерцание бесконечного уже не позволяло ему смотреть на человеческие дела че-

ловеческим взором. Безумцы, жаждущие демонического могущества, судят о нем с точки зрения человеческой, не предвидя того, что, получив власть демона, они воспримут и его мысли, оставаясь людьми, живя среди существ, которые уже не способны их понимать. Новый Нерон, мечтающий сжечь Париж, чтобы полюбоваться пожаром, как любуются искусственным пожаром на сцене, не подозревает, что Париж сохранит для него не больше значения, чем для торопливого путника муравейник возле дороги. Науки стали для Кастанье скучнее логогрифа, разгадка которого уже известна. Цари, правительства внушали ему чувство жалости. Безудержный разгул был для него в некотором смысле плачевным прощанием со своей человеческой природой. Ему тесно сделалось на земле, ибо адское могущество позволяло ему присутствовать при зрелище творения, сущность и цель которого он уже прозревал. Зная, как недоступно для него то, что на всех языках люди называют небом, он ни о чем другом не мог помышлять, кроме неба. Он постиг тогда внутреннюю опустошенность, выражавшуюся на лице его предшественника, он понял, как далеко устремлялся этот взгляд, воспламененный надеждой, вечно обманываемой, он ощутил жажду, которая жгла эти красные губы, постиг тревоги непрестанного поединка между двумя началами, достигшими необычайных размеров. Он еще мог быть ангелом — и обретал в себе демона. Он уподоблялся прекрасному существу, злым хотением волшебника заключенному в уродливое тело, помещенному под стеклянный колпак договора и нуждающемуся в чужой воле для того, чтобы разбить ненавистную оболочку. Подобно тому, как подлинно великий человек, испытав разочарование, еще с большим жаром ищет бесконечности чувства в женском сердце,— и Кастанье вдруг был подавлен единой идеей, которая, может быть, служила ключом к высшим мирам. Именно потому, что он отрекся от вечного блаженства, он думал теперь лишь о будущей жизни тех, кто верует и молится. Когда после разгула, в котором он проявил все свое могущество, Кастанье ощутил, как его гнетут эти новые мысли, он познал тогда скорби, изображенные в столь гигантских чертах священными поэтами, апостолами и великими провозвестниками веры. Подстрекаемый пылающим мечом,

острие которого вонзалось в его чресла, он поспешил к Мельмоту, чтобы узнать о судьбе своего предшественника. Англичанин жил близ церкви св. Сульпиция, на улице Феру, в мрачном, темном особняке, сыром и холодном. Как все улицы, выходящие под прямым углом на левый берег Сены, то есть обращенные на север, она принадлежит к самым унылым парижским улицам, что придает общий характер обоим рядам ее домов. Вступив на порог, Кастанье увидал, что дверь затянули черным, что так же задрапирован и сводчатый потолок. Под этим сводом во множестве пылали погребальные свечи. Воздвигнут был катафалк, с каждой стороны которого стоял священник.

— Нет нужды спрашивать, почему вы явились сюда,— обратилась к Кастанье старая привратница,— так вы похожи на дорогого нашего покойника. Но если вы и впрямь его брат, слишком поздно пришли вы, чтобы проститься с ним. Славный джентльмен умер позавчера ночью.

— Как он умирал? — спросил Кастанье у одного из священников.

— Будьте спокойны,— отвечал ему старый священник, приподнимая черное сукно покрова.

Кастанье увидал перед собой одно из тех лиц, которым вера придает возвышенный характер, тех лиц, в которых как бы светится душа, озаряя других людей и согревая их чувством непрестанного милосердия. Священник был духовником сэра Джона Мельмота.

— Завидна кончина вашего почтенного брата,— продолжал священник,— ангелы возликуют. Вы знаете, какой радостью исполняются небеса при обращении грешной души. По милости божией слезы раскаяния текли у него, не иссякая, одна лишь смерть могла их остановить. Дух святой почил на нем. Его речи, пылкие и живые, достойны были царя-пророка. Ежели за всю мою жизнь я не слышал ничего ужаснее, чем исповедь этого ирландского дворянина, то никогда не слыхивал я и молитв более пламенных. Как ни глубоки его прегрешения, своим раскаянием в одну минуту он до краев заполнил эту бездну. Рука господня явственно простерлась над ним, ибо черты лица его изменились до неузнаваемости, столь святая красота обнаружилась в них. Его суровые глаза

смягчились от слез; его голос, устрашавший своими раскатами, приобрел нежность и мягкость, свойственные речам людей смиренных. Его слова так возвышали души окружающих, что люди, привлеченные зрелищем сей христианской кончины, падали на колени, слушая, как он прославляет бога, как говорит о его бесконечном величии и повествует о жизни на небесах. Ежели и ничего не оставил он своим родственникам, зато, конечно, они получили такое благо, выше которого нет ничего для семьи усопшего,— святого заступника, который бдит над всеми вами и приведет вас на путь праведный.

Такие слова оказали столь сильное действие на Кастанье, что он немедленно ушел и направился к церкви св. Сульпиция, подчиняясь какому-то року: раскаяние Мельмота его ошеломило. То были годы, когда знаменитый своим красноречием священник в установленные дни произносил по утрам проповеди, поставив себе целью доказать истины католической веры современному юношеству, о чьем безразличии к вопросам религии провозгласил другой, не менее красноречивый оратор. Проповедь была приурочена к похоронам ирландца. Кастанье явился как раз в тот момент, когда проповедник с чарующей умилительностью, с той проникновенностью, которой он и обязан был своей славой, уже подводил итог доказательствам предстоящего нам блаженства. Отставной драгун, в которого вселился демон, находился в состоянии, особенно благоприятном для того, чтобы не бесплодно упало семя божественных слов, истолкованных священником. В самом деле, разве нельзя считать установленным нравственное явление, именуемое в народе «верой угольщика»? Сила веры находится в прямой зависимости от того, какое дал человек употребление своему разуму. Это видно по людям простым, по солдатам. Кто всю свою жизнь брел под стягом инстинкта, тот более способен воспринять свет истины, чем люди, утомившие ум и сердце тонкостями мира сего. С шестнадцати лет почти до сорока Кастанье, по происхождению южанин, служил французскому знамени. Простому кавалеристу, обязанному сражаться и нынче, и вчера, и завтра, приходилось больше думать о своем коне, чем о самом себе. Пока он обучался военному делу, не много оставалось у него времени для размышления о предстоящем человеку

будущем. Став офицером, он занялся солдатами, он перекочевывал с одного поля битвы на другое, никогда не думая о том, что будет после смерти. Особой работы ума военная служба не требует. Люди, неспособные подняться до высших соображений, объемлющих взаимные связи наций, планы политические не менее, чем план кампании, военную тактику и тактику администратора,— живут в таком же невежестве, как самый грубый крестьянин самой отсталой французской провинции. Они наступают, покорно повинуются голосу командира и убивают людей, оказавшихся на их пути, как дровосек рубит деревья в лесу. Они постоянно переходят то к схваткам, требующим полного применения физических сил, то к отдыху, во время которого восстанавливаются их силы. Они разят и пьют вино, они разят и едят, разят и спят, для того чтобы еще лучше разить. В этом вихре духовные способности изощряются мало. Душевная жизнь сохраняет у таких людей свою природную простоту. Когда они, столь энергичные на поле битвы, возвращаются в цивилизованную среду, то оказывается, что в большинстве случаев те, кто оставался в низших чинах, не обнаруживают ни выработанных взглядов, ни способностей, ни значительности. Вот отчего юное поколение и удивлялось тому, что люди, принадлежавшие к нашим грозным и славным армиям, по развитию своему стоят не выше приказчика, что они простоваты, как дети. Капитан императорской гвардии, поражавшей врагов, едва способен выписывать квитанции в конторе газеты. Ветераны сохраняют девственность в области умозаключений, зато душа их покоряется сильным импульсам. Преступление, совершенное Кастанье, относится к фактам, возбуждающим столько вопросов, что моралисту, обсуждая его, следовало бы его *расчленить* (если воспользоваться словечком парламентского языка). Это преступление было внушено страстью, женским колдовством, которое бывает иногда таким непреодолимым и жестоким, что если сирена вступит в борьбу и изощрит свое обаяние, она доводит мужчину до галлюцинаций, он ни о чем не может сказать: «Этого я никогда не сделаю». Итак, живое слово было воспринято сознанием человека, еще незнакомого с религиозными истинами, которыми в условиях Французской революции и своей военной профессии Кастанье не интересо-

вался. Ужасная фраза: «Вас ждет блаженство или муки на веки веков!» — поразила его с особенной силой, так как земля уже ничего ему не давала, словно он тряс дерево, лишенное плодов, и он, всемогущий в своих желаниях, стремился лишь к тому уголку земли или неба, который был для него запретен. Если позволительно сопоставлять столь высокие явления с нелепостями общественной жизни, то он походил на некоторых банкиров-миллионеров: все доступно им в обществе, но, раз их не принимает знать, они только и думают о том, как бы с ней свести знакомство, и ни во что не ставят все добытые ими социальные привилегии, если им отказано только лишь в одной. Человек более могущественный, чем все короли, вместе взятые, человек, способный, подобно сатане, бороться с самим богом, стоял, прислонившись к пилястру церкви св. Сульпиция, согнувшись под бременем чувства, и погружался в мысль о будущем — мысль, до него поглотившую и Мельмота.

— Счастливец! — воскликнул Кастанье.— Он умирал в уверенности, что пойдет на небо.

Мгновенно величайший переворот произошел в мыслях кассира. Побыв несколько дней демоном, он был теперь лишь человеком, воплощением того первородного греха, о котором повествуют все космогонии. Но, снова став малым по видимости, он приобрел основу величия, он закален был созерцанием бесконечности. Обладая адским могуществом, он постиг могущество божественное. Он сильнее жаждал небесного блаженства, чем прежде алкал земных наслаждений, исчерпанных им так быстро. Обещаемые демоном удовольствия — это те же земные удовольствия, только в большем размере, тогда как наслаждения небесные беспредельны. И вот он поверил в бога. Слово, предоставлявшее ему сокровища мира, потеряло для него всякое значение, и сами сокровища показались ему такими же ничтожными, как булыжники в глазах знатока бриллиантов; они представлялись ему стекляшками в сравнении с вечными красотами иной жизни. Мирские блага были в его глазах проклятием. В пучину мрака и скорбных мыслей погрузился он, слушая отпевание Мельмота. «Dies irae» [1] его устрашило.

[1] «День гнева» *(лат.)* — начальные слова одного из католических погребальных песнопений.

Он постиг во всем его величии этот вопль кающейся души, трепещущей перед всемогуществом божьим. Его испепелял святой дух, как пламя испепеляет солому. Слезы потекли у него из глаз.

— Вы родственник покойника? — спросил причетник.

— Наследник,—отвечал Кастанье.

— Пожертвуйте на причт! — обратился к нему привратник.

— Нет,— отвечал кассир, не желавший давать церкви дьяволовы деньги.

— На бедных!

— Нет.

— На обновление храма!

— Нет.

— На часовню девы Марии!

— Нет.

— На семинарию!

— Нет.

Кастанье отошел в сторону, чтобы не привлекать раздраженных взоров служителей церкви.

«Почему,— подумал он, оглядывая церковь св. Сульпиция,— почему люди воздвигли эти гигантские соборы, встречавшиеся мне во всех странах? Чувство, разделяемое массами во все времена, должно быть на чем-то основано».

«Для тебя бог — «что-то?» — кричало ему сознание.— Бог! Бог! Бог!»

Отозвавшись внутри, слово это угнетало его, но ощущение страха смягчилось далекими аккордами сладостной музыки, которую он неявственно слышал и прежде. Эти гармонические звуки он принял за церковное пение и окинул взглядом портал. Но, прислушавшись внимательнее, он заметил, что звуки доносились к нему со всех сторон; он выглянул на площадь — музыкантов там не оказалось. Эта мелодия несла его душе поэзию лазури и дальние лучи надежды, но вместе с тем она усиливала и угрызения совести, мучившие проклятого грешника; он побрел по парижским улицам, как бредет человек, подавленный горем. Он смотрел на все невидящими глазами, он шел, как праздношатающийся; беспричинно останавливался, сам с собой разговаривал, не заботился о том, как бы его не ударило доской, не зацепило колесом эки-

пажа. Раскаяние неприметно погружало его в чувство благодати, заставляющее сердца человеческие трепетать от нежности и страха. В его лице, как и у Мельмота, вскоре появилось нечто величественное и вместе с тем какая-то рассеянность; холодное выражение печали, как у человека, предавшегося отчаянию, и беспокойный трепет, возбуждаемый надеждой; но более всего его охватывало отвращение ко всем благам этого ничтожного мира В глубине его глаз, пугавших своим блеском, таилась смиренная молитва. Он страдал из-за своей власти. От страстных волнений души согбенным сделалось его тело — так порывистый ветер сгибает высокие ели Подобно своему предшественнику, он не мог расстаться с жизнью, ибо не хотел умереть подвластным аду. Муки его становились невыносимы. Наконец, однажды утром он подумал: ведь Мельмот, достигший теперь блаженства, предложил ему некогда обмен, и он на это согласился; вероятно, и другие поступили бы, как он; в эпоху рокового равнодушия к религии, провозглашенного теми, кто унаследовал красноречие отцов церкви, не трудно будет ему встретить человека, который подчинится условиям договора, чтобы воспользоваться его выгодами.

«Есть такое место, где котируется королевская власть, где прикидывают на весах целые нации, где выносится приговор политическим системам, где правительства расцениваются по стоимости пятифранковой монеты, где идеи и верования переведены на цифры, где все дисконтируется, где сам бог берет взаймы и в качестве гарантии оставляет свои прибыли от поступивших душ, ибо у папы римского имеется там свой текущий счет. Если где покупать душу, то, конечно, там».

Радостно Кастанье направился к бирже, думая, что приторгует себе душу, как заключают сделку на государственные процентные бумаги. Всякий обыватель побоялся бы, не подымут ли его на смех, но Кастанье знал по опыту, что человек отчаявшийся все принимает всерьез. Как приговоренный к смертной казни выслушает сумасшедшего, когда тот будет ему говорить, что, произнеся бессмысленные слова, можно улететь сквозь замочную скважину,— так и страдающий человек становится легковерным и отвергает какой-нибудь замысел только в случае полной его неудачи, подобно пловцу, уносимому течени-

ем, который отпускает веточку прибрежного куста, если она оторвется. К четырем часам дня Кастанье появился среди людей, которые по окончании котировки государственных бумаг собираются в группы, заключая сделки на частные бумаги и производя операции чисто коммерческие. Дельцы его знали, и он, прикинувшись, что кого-то разыскивает, мог подслушивать, не говорят ли где о людях, запутавшихся в делах.

— Ни за что, милый мой! Бумагами «Клапарон и Компания» не занимаюсь. Банковский конторщик унес сегодня обратно все их векселя,— бесцеремонно сказал кому-то толстяк-кассир.— Если у тебя они есть, забудь о них.

Упомянутый Клапарон вел во дворе оживленную беседу с господином, про которого было известно, что он учитывает векселя из ростовщических процентов. Тотчас же Кастанье направился к Клапарону, биржевику, известному тем, что он ставил крупные куши, рискуя или разориться или разбогатеть.

Когда Кастанье подошел к Клапарону, с ним только что расстался ростовщик, и у спекулянта вырвался жест отчаяния.

— Итак, Клапарон, вам сегодня вносить в банк сто тысяч франков, а теперь уже четыре часа: значит, времени не хватит даже на то, чтобы подстроить банкротство,— сказал ему Кастанье.

— Милостивый государь!

— Потише,— продолжал кассир.— А что, если я вам предложу одно дельце, которое даст вам потребную сумму?..

— Оно не даст мне покрыть мои долги,— ведь не бывает таких дел, которые можно состряпать сразу.

— А я знаю дельце, которое покроет их сию же минуту,— ответил Кастанье,— только оно потребует от вас...

— Чего?

— Продажи вашего места в раю. Чем это дело хуже других? Все мы — акционеры великого предприятия вечности.

— Известно ли вам, что я могу дать вам пощечину?— сказал Клапарон, рассердившись.— Позволительно ли так глупо шутить с человеком, когда он в беде!

— Говорю вполне серьезно,— отвечал Кастанье, вынимая из кармана пачку банковых билетов.

— Имейте в виду,— сказал Клапарон,— я не продам свою душу дьяволу за гроши. Мне необходимо пятьсот тысяч франков, чтобы...

— Кто же станет скаредничать? — прервал его Кастанье.— Вы получите столько золота, что оно не вместится в подвалы банка.

Он протянул огромную пачку билетов, убедительно подействовавшую на спекулянта.

— Ладно! — сказал Клапарон.— Но как это устроить?

— Пойдемте вон туда, там никого нет,— ответил Кастанье, указывая на уголок двора.

Клапарон и его соблазнитель обменялись несколькими фразами, уткнувшись в стену. Никто из наблюдавших за ними не догадался о теме их секретной беседы, хотя все были живо заинтригованы странной жестикуляцией обеих договаривавшихся сторон. Когда Кастанье вернулся, гул изумления вырвался у биржевиков. Как на французских званых вечерах, где малейшее событие привлекает общее внимание, все обратили взор на двух людей, вызвавших этот гул, и не без ужаса увидали происшедшую в них перемену. На бирже все прохаживаются и беседуют, каждый участник этого сборища всем знаком, за каждым наблюдают,— ведь биржа—подобие стола, за которым играют в бульот, причем люди опытные всегда угадают по физиономии человека, каковы его игра и состояние кассы. Итак, все обратили внимание на лицо Клапарона и лицо Кастанье. Последний, подобно ирландцу, был мужчиной жилистым и крепким, глаза его сверкали, цвет лица отличался яркостью. Всякий дивился его лицу, величественно ужасающему, спрашивая себя, откуда оно взялось у добродушного Кастанье; но, лишившись власти, Кастанье сразу увял, покрылся морщинами, постарел, одряхлел. Когда он уводил Клапарона, он похож был на горячечного больного или же наркомана, который довел себя опиумом до экстаза; а возвращался он осунувшийся, точно после приступа горячки, когда больной готов испустить дух, или словно в состоянии ужасной прострации от злоупотребления наркотиками. Адское одушевление, позволявшее ему переносить раз-

гульную жизнь, исчезло: тело, лишившись его, оказалось истощенным, без помощи и опоры против угрызений совести и тяжести истинного раскаяния. Напротив, когда появился Клапарон, тревоги которого ни для кого не составляли тайны, его глаза сверкали, а на лице была запечатлена гордость Люцифера. Банкротство перешло с одного лица на другое.

— Подыхайте с миром, старина,— обратился Клапарон к Кастанье.

— Умоляю, пришлите мне экипаж и священника, викария из святого Сульпиция! —ответил отставной драгун, присаживаясь на тумбу.

Слово «священника» донеслось до многих, и зубоскалы биржевики весело загалдели в ответ,— ведь если они во что и верят, то разве лишь в то, что клочок бумаги, именуемый записью, стоит поместья. Главная книга государственного казначейства — вот их библия.

— Хватит ли мне времени достойно принять кончину? — сам себе сказал Кастанье жалким голосом, поразившим Клапарона.

Извозчик увез умирающего. Спекулянт поспешил в банк заплатить по векселям. Впечатление от внезапной перемены в физиономии их обоих стерлось в толпе, как след от корабля расходится по морю. Внимание биржевого мира привлекла гораздо более важная новость. Когда вступают в игру все денежные интересы, тогда сам Моисей, появись он здесь со своими светящимися рогами, едва ли был бы удостоен даже каламбура,— люди, занятые репортами, отвергли бы его. После оплаты векселей Клапарона объял страх. Он уверился в своей власти, вернулся на биржу и предложил сделку людям, также запутавшимся в делах. «Запись в главной книге адского казначейства и связанные с пользованием оной права», по выражению нотариуса, ставшего преемником Клапарона, были куплены за семьсот тысяч франков. Свои права по дьявольскому договору нотариус переуступил за пятьсот тысяч франков подрядчику, который избавился от них за сто тысяч экю, передав договор торговцу скобяным товаром, а тот переуступил его за двести тысяч франков плотнику. Наконец, в пять часов уже никто не верил в этот удивительный контракт, и сделки остановились за отсутствием доверия.

В половине шестого держателем этой ценности оказался маляр, который стоял, прислонившись к двери временного здания биржи, в те годы находившегося на улице Фейдо. Маляр был человек простой и не знал, что с ним творится. «*Со мной было этакое*»,— сказал он жене, вернувшись домой.

Как известно всем фланерам, улицу Фейдо обожают молодые люди, которые, за отсутствием любовницы, готовы сочетаться со всеми особами женского пола. Во втором этаже дома, отличавшегося отменной мещанской благопристойностью, жило очаровательное существо из числа тех, что награждены по милости неба редчайшей красотой, но, не имея возможности стать ни герцогинями, ни королевами, ибо хорошеньких женщин на свете гораздо больше, чем титулов и тронов, довольствуются биржевым маклером или банкиром, доставляя им счастье по установленной цене. За этой красивой и славной девушкой, по имени Евфрасия, волочился писец нотариальной конторы, карьерист свыше всякой меры. В самом деле, младший писец нотариуса Кротта́ влюбился в нее, как может влюбиться молодой человек двадцати двух лет. Писец зарезал бы папу и всю священную коллегию кардиналов из-за жалкой сотни луидоров, которая требовалась, чтобы приобрести Евфрасии шаль, вскружившую ей голову, в обмен на эту шаль горничная и посулила писцу свою хозяйку. Влюбленный молодой человек шагал взад и вперед под окнами Евфрасии, как в Зоологическом саду ходят по клетке белые медведи. Засунув руку за жилет, он приложил ее к левой стороне груди, готовый на части разорвать сердце, а пока что крутил эластические свои подтяжки.

— Как добыть десять тысяч франков? — вслух рассуждал он сам с собою.— Присвоить ту сумму, которую надлежит зарегистрировать в акте о продаже? Боже мой? Неужели таким займом я разорю покупателя, обладателя семи миллионов!.. Отлично, завтра брошусь ему в ноги, скажу: «Милостивый государь! Я взял у вас десять тысяч франков, мне двадцать два года, я люблю Евфрасию,— вот повесть о моих деяниях. Отец у меня богатый, он вам возместит, не губите меня! Разве вам самим не было когда-то двадцать два года, разве не безумствовали вы от любви?» Подлые эти собственники, да есть ли у них

душа? Мой миллионер не только не расчувствуется, а попросту напишет на меня жалобу королевскому прокурору. Проклятие! Если бы можно было продать душу дьяволу! Но нет ни бога, ни дьявола, все это чепуха, все только сказки да болтовня старух. Как быть?

— Если вам угодно продать душу дьяволу,— сказал ему маляр, подслушавший речи писца,— вы получите десять тысяч.

— Евфрасия будет моя,— сказал писец, поспешно заключая сделку, предложенную дьяволом, который принял облик маляра.

По заключении договора неистовый писец отправился за шалью и явился к Евфрасии; так как дьявольская сила была в его теле, он провел у нее безвыходно двенадцать дней, растратив свой рай целиком, думая лишь о любви и ее оргиях, в которых потонуло воспоминание об аде и его привилегиях.

Так затерялась огромная власть, приобретенная благодаря открытию ирландца, сына достопочтенного Матюрена.

Востоковедам, мистикам и археологам, занимавшимся подобными вопросами, не удалось исторически установить, как можно вызвать демона. Произошло это вот почему.

На тринадцатый день после неистовых наслаждений несчастный писец лежал на одре в чердачном помещении дома на улице Сент-Оноре, принадлежавшего его патрону. Стыд,— эта тупая богиня, не дерзающая на себя смотреть,— овладел заболевшим молодым человеком; решил он лечиться сам и ошибся в дозе того целебного снадобья, которое составил ему некий гений, весьма популярный на окраинах Парижа. Таким образом, от тяжести ртути писец умер, и труп его был черен, как кротовая спина. Очевидно, один из дьяволов побывал здесь, но какой? Может быть, Астарот?

— Уважаемый юноша перенесен на планету Меркурий,— сказал старший писец немецкому демонологу, явившемуся исследовать это событие.

— Что ж, это вполне вероятно,— ответил немец.

— Вот как?

— Да, милостивый государь, подобное мнение находится в полном согласии с подлинными словами Якова

Беме, содержащимися в сорок восьмой пропозиции «Тройственной жизни человека», где сказано: «Ежели господь все произвел глаголом «да будет», то, значит, это «да будет» и есть сокровенное лоно, содержащее и объемлющее природу, образуемую духом, рожденным от Меркурия и бога».

— Как вы сказали?

Немец повторил ту же фразу.

— Нам это неизвестно,—сказали писцы.

— «Да будет»,— произнес один из них,— «да будет свет!»

— В правильности приведенной цитаты,— продолжал немец,— вы можете убедиться, прочитав эту фразу на странице семьдесят пятой трактата о «Тройственной жизни человеческой», отпечатанного в тысяча восемьсот девятом году господином Миньере и переведенного философом, который был великим почитателем славного башмачника.

— Ах! Он был башмачник? — спросил старый писец.— Вот так раз!

— В Пруссии! — ответил немец.

— И все шили у него сапоги за счет прусского короля? — дурашливо спросил писец второго разряда.

— Ему бы следовало прикинуть подметки к своим фразам,— сказал писец третьего разряда.

— Колоссально! — воскликнул писец четвертого разряда, указуя на немца.

Каким первоклассным демонологом ни был иностранец, он не знал, что за дьяволята эти писцы; он удалился, ничего не поняв в их шуточках, убежденный в том, что молодые люди признали Беме колоссальным гением.

— Есть во Франции образованные люди,— сказал он себе.

Париж, 6 мая 1835 г.

ПРОКЛЯТОЕ ДИТЯ

Баронессе Джемс де Ротшильд.

I. КАК ЖИЛА МАТЬ

Однажды зимою, около двух часов ночи, графиня Жанна д'Эрувиль почувствовала сильнейшие боли и тогда, несмотря на свою неопытность, догадалась, что у нее близятся роды; повинуясь инстинкту, который заставляет больного ворочаться с боку на бок в надежде, что ему станет легче, она приподнялась,— то ли затем, чтобы прислушаться к таким новым для нее невиданным мукам, то ли обдумать свое положение. Она испытывала жестокий страх, но не столько перед опасностями первых родов, которые так пугают всех женщин, сколько перед участью, ожидающей ее ребенка. Чтобы не разбудить мужа, лежавшего рядом с нею, бедняжка, терзаясь ужасом, двигалась с величайшей осторожностью, словно узник, совершающий побег из тюрьмы. Боли все возрастали, однако она перестала их чувствовать, ибо все свои силы сосредоточила на труднейшем деле: упираясь влажными от холодной испарины ладонями в подушку, она старалась заставить свое обессилевшее от страданий тело тихонько передвинуться и принять более удобную позу. При малейшем шорохе огромного, крытого зеленым муаром стеганого одеяла, под которым ей так плохо спалось на брачном ложе, она замирала, словно раздавался удар колокола. Ей надо было следить, не проснулся ли граф, и, опасливо прислушиваясь к шелесту хрустящего плот-

ного шелка, она в то же время не сводила взгляда с широкого обветренного мужского лица, перечеркнутого длинными усами, касавшимися ее плеча. Стоило вырваться у спящего короткому храпу, она вздрагивала, кровь бросалась ей в лицо, усиливая лихорадочный румянец, горевший на ее щеках от двойного волнения. Преступник, пробравшийся ночью к двери своей темницы и стремящийся бесшумно повернуть ключ в безжалостной, скрипучей замочной скважине, не мог бы испытывать больше отваги и робости. Когда графине удалось приподняться и сесть на постели, не разбудив своего стража, она сделала веселый детский жест, в котором сказалась вся ее трогательная наивность; но улыбка, промелькнувшая на ее устах, тотчас угасла, какая-то дума омрачила ее чистое чело, а голубые миндалевидные глаза вновь приняли печальное выражение. Она тяжело вздохнула и с великой осторожностью опять оперлась ладонями о роковое изголовье супружеского ложа. Затем, словно впервые со дня свадьбы чувствуя себя свободной в своих поступках и мыслях, она внимательно посмотрела вокруг, быстро вытягивая шейку, точно птица в клетке. Увидев ее в это мгновение, каждый без труда угадал бы, что когда-то она была жизнерадостна и шаловлива, но судьба внезапно подкосила под корень юные ее надежды и обратила ее простодушную веселость в уныние.

Спальня принадлежала к числу тех покоев, которые еще и в наши дни восьмидесятилетние старички привратники показывают путешественникам, осматривающим старинные замки, и говорят при этом: «Вот парадная опочивальня, здесь однажды ночевал Людовик Тринадцатый». Стены обтянуты были гобеленами темного колорита, их окаймляла широкая рама орехового дерева, отделанная тонкой резьбой, но почерневшая от времени. Выступающие потолочные балки образовывали кессоны, украшенные арабесками столетней давности, и сохраняли естественный цвет каштанового дерева. Убранство этой спальни, отличавшееся суровыми тонами, так мало отражало света, что трудно было различить рисунки гобеленов даже в такие часы дня, когда солнце озаряло всю эту высокую и просторную комнату продолговатой формы. Серебряный светильник, стоявший на колпаке обширного камина, освещал ее так слабо, что дрожащий его

огонек напоминал тусклую звездочку, минутами проливающую свет сквозь сероватую пелену облаков в осеннюю ночь. С облицовки камина, сложенного напротив кровати, на графиню смотрели высеченные в мраморе смешные уродцы, такие безобразные, что она не решалась остановить на них взгляд,— ей боязно было: вдруг они зашевелятся, а из их широко разинутых искривленных ртов понесется громкий хохот. В этот час на дворе бушевала ужасная буря, порывы шквала проникали в камин, там эхо вторило их завываниям и придавало им что-то зловещее; широким своим дымоходом очаг этот хорошо сообщался с небесами, и многочисленные головни, тлевшие в нем, казалось, дышали, как живые: по воле ветра они то вспыхивали, то угасали. Высеченный из белого мрамора герб д'Эрувилей с резными украшениями над ним и с фигурами, державшими его, придавал сходство с гробницей этому монументальному сооружению, парному с кроватью,— вторым монументом, воздвигнутым во славу Гименея. Современному архитектору было бы трудно решить, рассчитаны ли пропорции опочивальни для помещения в ней этой огромной кровати, или же кровать сделана именно для этой огромной опочивальни. Два амура, игравшие меж резных гирлянд на шатровом навесе орехового дерева, могли сойти за ангелов, а на колонках из того же дерева, поддерживавших этот деревянный купол, изображены были мифологические аллегории, объяснение которым следовало искать в библии и в «Метаморфозах» Овидия. Уберите кровать — и шатровый навес с таким же успехом мог бы осенять кафедру проповедника у церковного амвона или же выситься на середине храма над скамьями знатных прихожан. Супруги поднимались к своему ложу по трем ступенькам,— оно стояло на помосте и с двух сторон было задрапировано зеленым муаром с крупным блестящим узором, именуемым «щебетанье»,— может быть, потому, что он представлял собою символическое изображение певчих птиц. Эти огромные полотнища шелка ниспадали такими жесткими складками, что ночью они могли показаться металлическими. На задней и единственной стене навеса, устроенного над этим ложем владетельного сеньора, суеверные графы д'Эрувили всегда вешали большое распятие, и раз в год, в вербное воскресенье, капеллан замковой

«ПРОКЛЯТОЕ ДИТЯ»

«ГАМБАРА»

часовни украшал его новой освященной веткой букса и менял «святую воду» в кропильнице, врезанной в подножие креста.

По одну сторону камина стоял красивый ларь драгоценного дерева и великолепной работы,— в те времена девушки еще получали такие лари в подарок в день своей свадьбы. Эти старинные сундуки, за которыми так охотятся наши антиквары, представляли собою арсенал, откуда женщины черпали сокровища своих богатых и изящных уборов: там хранились кружева, парчовые юбки, высокие кружевные воротники, дорогие платья, кошелечки, которые привязывали к поясу, маски, перчатки, воздушные покрывала, словом, все изобретения кокетства XVI века. По другую сторону камина для симметрии стоял второй высокий ларь, в котором графиня держала свои книги, бумаги и драгоценности.

Убранство этого покоя завершали два старинных кресла, обитые узорной шелковой камкой, и большое, вывезенное из Венеции зеленоватое зеркало в красивой раме, поставленной на колесики,— своего рода передвижной туалет. Пол устлан был дорогим персидским ковром, свидетельствовавшим о любезном внимании графа к жене. На верхней ступеньке помоста стоял маленький столик, на который служанка каждый вечер ставила серебряный или золотой кубок с пряным напитком.

Уже с первых шагов в жизни мы познаем тайное влияние места, в котором находимся, на наше расположение духа. Кому не случалось в бедственные минуты искать в окружающих нас предметах залог утешительной надежды? И в счастье и в несчастье человек приписывает особое значение вещам, среди которых он живет, вслушивается в их прорицания, просит у них совета,— настолько он по природе своей суеверен. Вот и графиня обводила таким взглядом вещи, стоявшие в ее опочивальне, словно то были живые существа; она как будто просила у них помощи и покровительства, но вся эта мрачная роскошь казалась ей неумолимой!

Вдруг буря усилилась. Молодая женщина уже не смела надеяться ни на что хорошее, слыша грозный голос урагана, ибо в те века суеверия перемены погоды истолковывались каждым по-своему, в зависимости от его

мыслей и привычек. Графиня устремила взгляд в дальний конец комнаты, к двум стрельчатым окнам. Но сквозь маленькие стеклышки, скрепленные частым свинцовым переплетом, она не могла увидеть, что творится на небосводе, и решить — не началось ли светопреставление, которое предсказывали монахи, алчущие даров от верующих. Сейчас было бы нетрудно поверить их пророчествам: так страшно ревело разбушевавшееся море, так били волны о стены замка, так грозно завывал ураган, казалось, сотрясавший даже скалы.

Хотя схватки следовали одна за другой и становились все мучительнее, графиня не осмеливалась разбудить мужа; она лишь пристально всматривалась в его черты, как будто ждала от него поддержки, пав духом от множества грозных предзнаменований. Но если все вокруг было угрюмым, лицо ее мужа даже в спокойствии сна было еще угрюмее. Колеблемый ветром огонек догорающего светильника, проливая слабый свет на край постели, мгновеньями озарял голову графа, и дрожащие светлые блики, пробегавшие тогда по неподвижному лицу, придавали ему странное выражение — как будто спящего даже в сонном забытьи волновали бурные мысли. Графиня затрепетала и успокоилась, лишь когда поняла причину такого явления. Всякий раз, как луч света падал на это широкое лицо, а тени подчеркивали его характерные бугристые выпуклости, ей казалось, что муж сейчас откроет глаза и устремит на нее нестерпимо суровый взгляд.

Лицо его было беспощадно, как война, которая шла тогда между католической церковью и кальвинизмом, и оставалось грозным даже во сне; резкие складки — следы волнений бранной жизни — придавали ему смутное сходство с каменными, источенными непогодой изваяниями, украшавшими здания тех времен; до времени поседевшие волосы, подобно кустикам белого мха на стволах старых дубов, совсем некрасиво окаймляли это лицо, на котором запечатлелись лютые страсти, порожденные религиозной нетерпимостью. Орлиный нос, формой своей действительно напоминавший клюв сей хищной птицы, темные тени под желтыми глазами, помятые веки, острые скулы и впалые щеки, жесткие и глубокие морщины, презрительно опущенные уголки губ — все обличало в нем

честолюбие, деспотизм, силу воли, тем более страшную, что узкий лоб говорил о полном отсутствии мысли у этого человека и о храбрости, лишенной великодушия. Лицо графа было донельзя обезображено широким красным шрамом, который шел через правую щеку до самого уха и походил на второй рот. В возрасте тридцати трех лет, желая прославиться в злополучной религиозной войне, начало которой положила резня Варфоломеевской ночи, граф был тяжело ранен. Это злосчастье, говоря языком того времени, еще усилило его ненависть к врагам католической религии, но, по вполне естественному душевному состоянию, ненависть эта распространялась и на всех мужчин, даже на его единоверцев, ежели они были красивы. Еще и до своего ранения граф был так уродлив, что ни одна дама не желала принимать его ухаживаний. Единственной женщиной, к которой он в молодости пылал страстью, была знаменитая куртизанка, прозванная Прекрасной Римлянкой.

Недоверчивость, развившаяся в нем вследствие злополучной раны, нового уродства, внушала ему необоримое подозрение, что теперь никакая женщина не может искренне полюбить его; характер графа стал свирепым, и если ему и случалось иметь успех в любовных делах, то он обязан был этим лишь страху, который вызывала его жестокость. Довершающим штрихом портрета нашего неистового католика будет описание его руки, которая свешивалась сейчас с постели. Эту огромную волосатую руку он протянул словно для того, чтобы охранять жену, как скупец охраняет свое сокровище, и корявая эта рука, поражавшая переплетением толстых жил и выпуклых мышц, походила на ветку бука, обвитую пожелтевшими стеблями плюща. Посмотрев на лицо графа, ребенок принял бы его за того самого людоеда, о котором нянька ему рассказывала страшные сказки. А по одному уж тому, какое большое место в длину и ширину граф занимал в постели, можно было угадать в нем гиганта. Лохматые, нависшие над орбитами брови оттеняли светлые глаза, горевшие свирепым огнем, словно у волка, притаившегося в густых кустах. Ноздри были выпуклые, как у льва. Верхнюю губу скрывали густые, но совсем не холеные усы, ибо граф до крайности пренебрегал заботами о своей внешности. Уста его в ту минуту безмолвствова-

ли,— к счастью для графини, ибо ее охватывала дрожь даже при самом тихом звуке его хриплого голоса.

Хотя графу д'Эрувилю едва исполнилось пятьдесят лет, на первый взгляд ему можно было дать все шестьдесят,— настолько поблекло его лицо в утомительных походах, не отразившихся, однако, на его мощном сложении; впрочем, граф нисколько не желал походить на придворных красавчиков.

Графиня, которой шел тогда восемнадцатый год, представляла собою столь разительный контраст этому грубому великану, что было больно смотреть на нее. Каштановые волосы, кое-где отливавшие золотом, спускались на ее шейку пушистым облачком, а меж темных локонов выглядывало прелестное тонкое лицо,— именно такою нежной красотой Карло Дольчи наделял своих мадонн, поражающих белизною, подобной цвету слоновой кости, и страдальческим выражением, как будто они вот-вот скончаются от жестоких телесных мук. Она казалась чистым видением, ангелом, ниспосланным для того, чтобы смягчить суровость графа д'Эрувиля.

«Нет, он не убьет нас! — мысленно воскликнула она, всматриваясь в лицо мужа.— Ведь он такой честный, благородный, храбрый и верен своему слову. Верен своему слову?» Повторив про себя это утверждение, она вздрогнула всем телом и замерла, словно оцепенела.

Чтобы понять весь ужас положения, в котором оказалась графиня, необходимо добавить, что ночная сцена происходила в 1591 году, то есть в те времена, когда во Франции шла гражданская война и когда законы не имели силы. Жестокости Лиги, противившейся восшествию Генриха IV на престол, превосходили все бедствия гражданской войны. В стране царило беззаконие, никто не удивлялся, если знатный человек приказывал заколоть своего врага среди бела дня на глазах у всех. Когда кто-нибудь в своих личных интересах снаряжал и вел в поход войско под знаменем Лиги или же короля, это вызывало величайшие похвалы одной из враждующих сторон. Таким образом, вояка Баланьи чуть было не стал владетельным принцем у ворот Франции. Что же касается убийств, происходивших, так сказать, в семейном кругу, то о них, по словам современника, беспокоились не более чем об охапке сена, если только эти преступления

не совершались с чересчур зверской жестокостью. Незадолго до смерти короля некая придворная дама убила дерзкого дворянина, который вел о ней непристойные речи. Один из любимцев Генриха III сказал ему: «Клянусь богом, она его ловко зарезала!» Суровыми казнями граф д'Эрувиль, один из самых ярых приверженцев короля в Нормандии, держал в повиновении Генриху IV всю западную часть этой провинции, соседствующую с Бретанью. Он был главой одного из знатнейших во Франции и богатейших семейств да еще значительно увеличил доходы от своих многочисленных поместий, женившись за семь месяцев до той ночи, с описания которой начинается наше повествование, на юной девице де Сен-Савен; по воле случая, довольно часто бывавшего в те времена, когда люди мерли, как мухи, она внезапно оказалась наследницей достояния двух ветвей дворянского рода де Сен-Савенов. Основами этого супружеского союза были только необходимость и страх. Два месяца спустя, на пиру, который город Байе задал графу и графине д'Эрувиль в честь их бракосочетания, поднялся спор, который в ту невежественную эпоху был найден весьма нелепым; речь зашла о таком вопросе: признавать ли законными детей, родившихся через десять месяцев после смерти мужа, и тех, что родились через семь месяцев после первой брачной ночи.

— Сударыня,— резко сказал граф, повернувшись к жене,— ежели вы подарите мне ребенка через десять месяцев после моей смерти, тут я бессилен. Но не вздумайте рожать через семь месяцев после свадьбы!..

— А что бы вы тогда сделали, старый медведь? — спросил молодой маркиз де Верней, полагая, что граф хочет пошутить.

— Напрочь свернул бы голову и матери и ребенку.

Столь решительный ответ сразу оборвал обсуждение вопроса, неосторожно поднятого одним из нормандских сеньоров. Гости умолкли и с каким-то ужасом смотрели на прелестную графиню д'Эрувиль. Все были уверены, что свирепый феодал наверняка осуществит свою угрозу. Слова эти отозвались в груди его юной супруги, которая уже была тогда беременна; предчувствие, как молния, мелькнуло в ее душе и, озарив будущее, сказало ей, что она родит семимесячного младенца. Вся кровь волной хлыну-

ла у нее к сердцу, жар побежал по жилам, однако тело стало таким холодным, как будто ее бросили в ледяную воду. С тех пор не проходило ни одного дня, чтобы тайный ужас не омрачал самые невинные порывы ее души. И, вспомнив сейчас, как взглянул на нее муж, как зловеще прозвучал его голос, когда он произнес свой приговор, графиня вся холодела от страха, даже не чувствовала своих страданий и, наклонясь над спящим, вглядывалась в его лицо, надеясь увидеть в нем хоть искру жалости, коей тщетно искала она в часы бодрствования. Дитя, которому еще до рождения его грозила смерть, должно было появиться на свет божий, и мать, голосом еле слышным, подобным вздоху, воскликнула: «Бедный мой!» Она не докончила,— есть мысли для матери нестерпимые. Да в эту минуту она и не в силах была рассуждать. Неведомая мука сдавила ей грудь и стеснила дыхание. Слезы покатились по щекам и, оставив за собою блестящий влажный след, повисли на краю беленького подбородка, словно капли росы на лепестке лилии. Какой ученый посмеет сказать, что на ребенка не влияют волнения матери, когда она объемлет его душой и телом, сообщая ему свои впечатления, когда ее мысль вливается в его кровь целительным бальзамом или тлетворными флюидами? Ужас, от которого содрогалось дерево, не приводил ли в содрогание его плод? Быть может, слова «Бедный мой!» были пророчеством, подсказанным видением будущего? Как затрепетала тогда несчастная мать, каким пронзительным был ее взгляд!

Угроза кровавой расправы, которая вырвалась у графа д'Эрувиля, была звеном, таинственным образом соединявшим прошлую жизнь его жены с преждевременными ее родами. Публично выраженные гнусные подозрения отравили ее воспоминания и должны были отразиться на ее будущем. Со дня рокового празднества она со страхом гнала прочь сладостные картины, которые другая женщина с наслаждением воскрешала бы в памяти, и все же, вопреки ее усилиям, ее воображение часто рисовало их. Она отказывала себе в радости вспоминать те счастливые дни, когда сердце ее вольно было любить любимого. Подобно песням родной страны, исторгающим слезы у изгнанников, эти воспоминания возрождали столь сладостные чувства, что совесть юной графини д'Эру-

виль упрекала ее за них, словно они были преступными, и тогда еще страшнее становилась угроза графа,— вот в чем была тайная причина смертельной тоски, томившей Жанну.

У спящих лица бывают исполнены безмятежного покоя, но хотя отдохновение тела и ума почти не изменяло злобного выражения уродливого лица графа, утешительные иллюзии несчастных манят их столь привлекательным миражем, что это спокойствие в конце концов внушило графине некоторую надежду. За окном потоками низвергался ливень, но буря уже улеглась, слышались лишь унылые завывания ветра; утихли и страхи графини, а муки, терзавшие ее тело, дали ей передышку. Глядя на человека, с которым была связана ее жизнь, графиня задумалась, отдавшись грезам столь сладким, что у нее не было сил разрушить очарование. В краткий миг волшебная сила воспоминаний, граничащая с божественным могуществом, возродила прошлое, и перед ней пронеслись картины безвозвратно утраченного счастья.

Сначала Жанна увидела смутно, словно при свете далекой, едва занимавшейся зари, небольшой замок, где протекло ее беззаботное детство; вот знакомая зеленая лужайка, и прохладный ручей, и та уютная горенка, в которой так весело было играть. Вот она рвет в саду цветы, втыкает их в землю и никак не может понять, почему все они вянут, а расти не желают, хотя она так усердно их поливает. Но вот вырисовываются другие картины: огромный город и потемневшие от времени стены большого особняка. куда мать привезла ее в возрасте семи лет. В памяти всплыли смешные лица стариков-наставников, ее учителей и мучителей. Потоком хлынули заученные испанские и итальянские слова, а в душе зазвучали любимые романсы, которые пела она под звуки красивой лютни, и за всем этим встал образ отца. Вот отец, председатель суда, возвращается домой из Дворца правосудия, и дочка выбегает навстречу ему, смотрит, как он, слезая с мула, становится на каменный приступок у крыльца, потом она берет отца за руку и поднимается с ним по лестнице, детским своим лепетом прогоняет заботы отца — ведь не всегда он их сбрасывал с плеч вместе с черной или красной мантией, с которой шалунья Жанна отстри-

гала ножницами оторочку из белого меха с черными хвостиками. Лишь мельком бросила она мысленный взгляд на духовника ее тетушки, настоятельницы женской обители, не хотелось вспоминать этого строгого, фанатичного священника, на которого возложили обязанность приобщить девочку к тайнам религии. Закоснев в суровости, необходимой для подавления ереси, старик то и дело потрясал цепями ада, говорил лишь о карах небесных и стращал Жанну уверениями, что господь бог всегда надзирает за ней. Испуганная девочка от робости опускала глаза долу и не смела их поднять, к матери относилась с сугубой почтительностью, тогда как прежде заставляла ее принимать участие в детских своих забавах. Теперь ее юное сердце переполнял благоговейный страх, когда ей казалось, что мать сердито смотрит на нее. Потом в ее воспоминаниях предстала вдруг вторая пора детства,— когда она была подростком, ничего еще не понимающим в жизни. С сожалением, почти насмешливым, вспомнила она те дни, когда ее радости были такими наивными: она любила рукодельничать с матерью в высоком зале, где стены обтянуты были гобеленами, молиться в большой церкви, спеть романс, аккомпанируя себе на лютне, прочесть украдкой рыцарский роман, погадать, обрывая лепестки цветка, выведать, что ей подарят в день рождения, да разгадывать недомолвки и намеки, которыми старшие, случалось, обменивались при ней. Но тотчас иные мысли стерли, как стирают слово, написанное карандашом в альбом, те детские радости, что рисовало ей воображение в эту минуту отдыха от страданий, избрав их среди многих утех, которые принесли ей первые шестнадцать лет жизни. Очарование этого океана призрачных видений сразу же затмил свет более свежих воспоминаний. Покой радостного детства не дал ей того сладостного чувства, которое она изведала за два последних года, полных треволнений, годы, богатые сокровищами, навеки погребенными в ее сердце. И сразу графине вспомнилось чудесное солнечное утро, когда она вошла в большую приемную с резными дубовыми панелями, служившую столовой, и впервые увидела красивого юношу, своего родственника. Семья его матери, испуганная мятежами, происходившими в Париже, отправила этого молодого придворного в Руан, надеясь, что там он приготовит-

ся под руководством двоюродного дяди к отправлению судейских обязанностей и впоследствии должность дяди перейдет к племяннику. Графиня невольно улыбнулась, вспомнив, как живо она упорхнула из комнаты, догадавшись, что незнакомец — тот самый родственник, которого ждали в доме. Она только отворила дверь и тотчас исчезла, едва успев взглянуть на пришельца, но эта встреча оставила столь сильное впечатление в ее душе, что и поныне Жанна видела его таким, каким он был в ту минуту. Тогда она лишь мельком полюбовалась роскошной его одеждой: но в воспоминаниях она была смелее и окидывала мысленным взором весь его наряд — от лилового бархатного плаща, расшитого золотом и подбитого атласом, до застежек на его башмаках, и от красивых продолговатых прорезей на камзоле и коротких пышных штанах до кружевного отложного воротника, открывавшего стройную молодую шею, такую же белую, как это дорогое кружево. Она ласкала взором его тонкое лицо с маленькими закрученными усиками и узенькой эспаньолкой, похожей на черные хвостики, разбросанные по горностаевой оторочке судейской мантии ее отца. В глубокой ночной тишине она отдалась своим думам, устремив невидящий взгляд на тяжелые складки шелкового полога; она позабыла и о буре и о своем грозном муже и даже осмелилась вспомнить, как после многих дней, которые казались ей долгими годами: так были они полны счастья,— старый сад, окруженный почерневшей оградой, мрачные стены отцовского дома засияли золотом и светом. Она любила и была любима! Ей вспомнилось, как украдкой от строгой матери она однажды утром проскользнула в отцовский кабинет и открыла отцу свою тайну. Сначала она уютно устроилась у отца на коленях, принялась шаловливо ласкаться к нему и, дождавшись, когда улыбка заиграла на красноречивых устах председателя суда, она спросила:

— Хотите, батюшка, я кое-что скажу вам? Не будете меня бранить?

И все еще ей слышалось, как отец подвергнул ее допросу, как она впервые заговорила о своей любви и как он ответил:

— Ну что же, дитя мое, посмотрим. Ежели он будет усерден в учении, ежели пожелает стать моим преемни-

ком, ежели по-прежнему будет тебе по сердцу, вступлю и я в твой заговор.

Больше она ничего уже не слушала, поцеловала отца и, опрокинув по дороге стопку бумаг, бросилась со всех ног к развесистой липе, у которой каждое утро, до того часа, когда поднималась с постели ее строгая матушка, она встречалась с красавцем Жоржем де Шаверни. Сей придворный кавалер дал ей обещание изучить своды законов и обычаев, расстался с богатыми нарядами дворянства, носителей шпаги, и заменил их строгой одеждой служителей правосудия.

— В черном вы мне гораздо больше нравитесь,— говорила ему Жанна.

Она говорила неправду, но благодаря такому невинному обману ее любимый меньше печалился, что навсегда распрощался с кинжалом. И вспомнилось графине, какими хитростями она защищала от суровой матери счастье невинной, дозволенной и взаимной любви. Свидания в саду, когда без свидетелей так свободно шла беседа; беглые объятия, похищенный поцелуй — словом, все наивные залоги нежной и чистой любви. Словно во сне Жанна д'Эрувиль перенеслась в светлые дни, когда она корила себя за то, что слишком стала счастлива, и мысленно она покрывала поцелуями прекрасное юношеское лицо, озаренное блеском огненных глаз. Она полюбила Жоржа де Шаверни, он был беден, но сколько сокровищ обрела она в его доброй и мужественной душе! И вдруг отец Жанны скончался. Шаверни не сделали его преемником, а тут запылало пламя гражданской войны. Заботами Шаверни его возлюбленная с матерью нашли себе тайное убежище в маленьком городке Нижней Нормандии. Вскоре умерли один за другим несколько родственников Жанны, и благодаря доставшемуся от них наследству она стала одной из самых богатых невест во Франции. Но вместе со скромным достатком пропало и счастье. Появилась свирепая и страшная фигура — граф д'Эрувиль: он попросил ее руки. Словно грозовая туча, таящая в себе молнии, простерла свой траурный покров над сокровищами земли, позлащенными солнечным сиянием. Бедняжка графиня старалась отогнать воспоминания о тяжелых сценах, вызванных долгим ее сопротивлением, о слезах отчаяния, пролитых ею. Страшным видением предстала пе-

ред ней картина пожара, охватившего весь городок. Потом гугенота Шаверни бросили в тюрьму, ему грозили пытки и ужасная казнь. И вот пришел страшный вечер, когда ее мать, бледная, как смерть, бросилась к ногам дочери: «Ты можешь спасти своего брата». Жанна уступила... И ночью уже явился граф, еще покрытый кровью жертв, убитых им в сражении; все готово, все к его услугам: священник, свечи и церковный алтарь. Жанну обрекли несчастью. Зато Шаверни выпустили из темницы. Едва удалось ей проститься с прекрасным юношей.

— Жорж, если ты любишь меня, никогда не ищи со мной встречи!

Она все еще слышит удаляющиеся шаги благородного своего друга. Никогда она с тех пор его не видела, но хранила в глубине сердца его прощальный взгляд: он часто снился ей и чистым светом озарял ее сны.

Как кошка, запертая в клетку льва, молодая супруга графа повсечасно опасалась страшных когтей своего повелителя, всегда грозивших ей. Графиня не решалась даже надевать в иные дни, отмеченные нежданным праздничеством, те одежды, которые носила девушкой, те платья, в которых ее видел любимый. Ведь теперь, чтобы стать счастливой, ей следовало забыть прошлое и не думать о будущем. «Мне кажется, я ни в чем не виновата, но если граф признает меня виновной, значит, так оно и есть. А может быть, я и в самом деле виновата? Разве пресвятая дева не зачала без...»

И в эту минуту, когда в голове бедной женщины все мешалось и мысли ее блуждали в мире фантазии, она в простоте души приписала взорам своего возлюбленного, вложившего всю жизнь свою в прощальный взгляд, ту силу, которой исполнено было явление богоматери архангела в день благовещения. Такое предположение, достойное дней невинности, к которым она перенеслась в мечтах, рассеялось при омерзительном воспоминании: супружеская близость с графом д'Эрувилем была для нее горше смерти. Бедняжка не могла сомневаться, что дитя, шевелившееся у нее под сердцем, законный ребенок графа. Во всем своем ужасе предстала перед нею страшная сцена первой брачной ночи, за которой последовали другие ночи и столько печальных дней!

— Ах, бедный Шаверни! — шептала она, проливая

слезы.— Ты был такой кроткий и ласковый, ты всегда делал мне только добро!

Она обратила взгляд на мужа, словно желая увидеть в его чертах залог милосердия, купленного ею столь дорогой ценой. Граф уже не спал. Желтые глаза его, светившиеся, как у тигра, блестели под лохматыми бровями, и еще никогда взгляд их не был таким свирепым, как в это мгновение. Встретив этот страшный взгляд, графиня юркнула под одеяло и замерла, не смея пошевелиться.

— Почему вы плачете? — спросил граф, отдергивая одеяло, под которое спряталась его жена. В грубом его голосе, всегда так пугавшем графиню, звучала притворная мягкость, породившая у нее обманчивые надежды.

— Мне очень нездоровится,— ответила она.

— Нездоровится? Так что же, милочка, разве это преступление? Отчего вы дрожите, когда я смотрю на вас? Увы! Как добиться вашей любви?

И глубокие складки легли на его лбу меж бровей.

— По-прежнему я внушаю вам только ужас, я это вижу,— сказал он со вздохом.

Уклонившись от ответа по инстинкту слабых душ, графиня прервала мужа и, застонав, воскликнула:

— Боюсь, что у меня прежде времени будут роды! Вечером я все бегала по скалам, и, верно, мне это повредило.

Услышав эти слова, сир д'Эрувиль бросил на жену столь подозрительный взгляд, что она вздрогнула и густо покраснела. Страх, который питала к нему эта робкая женщина, граф принял за угрызения совести.

— Но, может быть, у вас настоящие роды начинаются? — спросил он.

— А что тогда? — прошептала она.

— Да то, что и в том и в другом случае нужен искусный лекарь, и я сейчас отправлюсь за ним.

Он произнес это с таким мрачным видом, что графиня вся похолодела и, упав на подушки, застонала, скорее скорбя о горькой своей участи, нежели боясь предстоящих мук. Ее стенания окончательно убедили графа, что подозрения, зародившиеся в его душе, верны. С подчеркнутым хладнокровием, которому противоречили его жесты, его голос и взгляд, он вскочил с постели, накинул

на себя халат, лежавший на кресле, и прежде всего запер дверь, прорезанную возле камина и соединявшую эту парадную опочивальню с приемными покоями, которые выходили на главную лестницу

Увидав, что муж вынул из замочной скважины ключ и оставил его при себе, графиня затрепетала, предчувствуя какую-то беду; потом она услышала, что он отпирает противоположную дверь, которая вела в другую опочивальню, где спали графы д'Эрувили в те ночи, когда они не удостаивали супругу своим посещением. Графиня только понаслышке знала о назначении этой комнаты: ревность всегда держала графа возле жены. Если какой-нибудь военный поход вынуждал его расстаться с брачным ложем, он оставлял в замке аргусов, и непрестанное их шпионство свидетельствовало об оскорбительном недоверии графа. Настороженно прислушиваясь, Жанна старалась уловить малейший шум, но больше не услыхала ничего. Граф вышел в смежную с его спальней длинную галерею, расположенную в западном крыле замка. Его двоюродный дед, кардинал д'Эрувиль, большой любитель печатного слова, собрал в этой галерее библиотеку, примечательную по числу книг и красоте переплетов, и принял меры предосторожности, являвшиеся выдумкой одиночества или же монашеского страха. Стоило дернуть серебряную цепочку, и отходящие от нее потайные проволоки сотрясали колокольчик, висевший над изголовьем кровати верного слуги. Граф дернул за цепочку, и вскоре по гулким каменным плитам застучали сапоги и зазвенели шпоры графского конюшего,— он поднимался по винтовой лестнице, устроенной в высокой башне, в западном углу замка, со стороны моря. Услышав его шаги, граф отодвинул железные засовы и, отперев замок потайной двери, через которую галерея сообщалась с башней, впустил в святилище науки рубаку, крепким сложением своим и видом достойного своего господина. Еще не проснувшись как следует, он шел безотчетно; в руке он держал роговой фонарь, так слабо освещавший длинную галерею, что фигуры конюшего и графа вырисовывались в полумраке, словно два привидения.

— Седлай моего боевого коня, живо! Поедешь со мной.

Приказ дан был таким взволнованным голосом, что

сонный слуга очнулся; он поднял на господина глаза и встретил пронзительный взгляд, подействовавший на него, словно электрический разряд.

— Бертран,— добавил граф, положив руку на плечо своего конюшего.— Сними кирасу и оденься капитаном гугенотского отряда.

— Боже великий! Мне одеться заговорщиком?.. Прошу прощения, ваша милость, я, понятно, ослушаться не смею, но, право, лучше бы меня повесили!

Ответ, приятный для фанатика графа, вызвал у него улыбку, совсем не соответствовавшую выражению его лица, но тотчас же он нахмурился и сказал резким тоном:

— Возьми в конюшне лошадь посильнее, чтоб тебе не отставать от меня. Мы понесемся, как пули из аркебуза. Держись начеку; когда я буду готов, я опять позвоню тебе.

Бертран молча поклонился и вышел, но, спустившись на несколько ступенек, пробормотал, прислушиваясь к завываниям урагана:

— Все дьяволы разгулялись, прах их побери. Где же нашему-то дома усидеть... В такую же вот погоду мы захватили Сен-Ло.

Граф отыскал в своей спальне костюм, который частенько служил ему для военных хитростей. В дрянном камзоле он стал похож на одного из наемных рейтаров, которым так неисправно платил жалованье Генрих IV. Переодевшись, он вернулся в опочивальню, где стонала его жена.

— Потерпите немного! — сказал он.— Если понадобится, я загоню лошадь, лишь бы поскорее привезти лекаря и успокоить ваши страдания.

В словах этих не было ничего зловещего, и графиня, осмелев, хотела было задать ему вопрос, вертевшийся у нее на языке, как вдруг граф сказал:

— Скажите, где у вас лежат маски?

— Маски! — повторила она.— Бог мой, зачем вам маски?

— Где у вас маски? —спросил он с обычной своей резкостью.

— В ларе,— ответила графиня.

В те времена носить маски считалось для дам делом столь же естественным, как для нынешних жен-

щин носить перчатки. Но графиня невольно вздрогнула, увидев, как ее муж, порывшись в ларе, выбрал для себя короткую маску На голову граф надел дрянную фетровую шляпу с общипанным и сломанным петушиным пером и стал совершенно неузнаваем. Он потуже стянул на себе широкий кожаный пояс с ножнами и, против своего обыкновения, вложил в них кинжал. В этом жалком одеянии он был столь страшен и двинулся к постели с таким грозным видом, что графиня подумала: «Пришел последний мой час».

— Не убивайте! Не убивайте нас! — воскликнула она.— Пощадите ребенка, и я буду всегда любить вас.

— Видно, вы чувствуете себя очень виноватой, раз предлагаете мне во искупление своих грехов любовь, которую вы и так обязаны питать к супругу.

Голос графа звучал зловеще под бархатной маской, а тяжелый взгляд, устремленный на жену, совсем ее уничтожил.

— Боже мой! — горестно воскликнула она.— Я ни в чем не повинна. За что я должна погибнуть?

— Не о смерти вашей идет речь,— ответил ее господин и повелитель, выйдя из задумчивости, в которую он погрузился.— Но ради любви ко мне вы должны в точности выполнить то, что я от вас потребую сейчас.

Он бросил на постель одну из двух масок, которые держал в руке, и жалостливо улыбнулся, увидев, как вздрогнула и безотчетно прикрылась рукою его жена, когда на плечо ей упал легкий лоскуток черного бархата.

— Ну вы уж непременно родите мне трусливого неженку! — воскликнул он.— Пусть на вас будет эта маска, когда я вернусь. Я не желаю, чтобы какой-то мужлан похвалялся, что он видел графиню д'Эрувиль.

— Зачем звать мужчину для такого дела? — тихонько спросила она.

— О-о, милочка!.. Или я здесь не хозяин? — ответил граф.

— Значит, еще одна тайна? К чему же, к чему это?— в отчаянии воскликнула графиня.

Господин ее уже исчез, и этот возглас не представлял для нее опасности. Ведь зачастую угнетатель теснит свою жертву тем больше, чем сильнее говорит в ней страх.

В краткую минуту затишья меж двумя порывами

бури графиня услышала бешеный топот двух коней, летевших словно на крыльях через гибельные дюны у подножия скал, на которых был воздвигнут старый замок. Быстрый этот топот был заглушен шумом волн. И вот графиня оказалась пленницей в своем мрачном обиталище, одна среди ночи, то безмолвной, то грозно ревущей, одна, бессильная отвратить беду, приближавшуюся к ней гигантскими шагами. Графиня старалась придумать какую-нибудь хитрость, чтобы спасти своего ребенка, зачатого в слезах, ребенка, уже ставшего для нее утешением, основой всех ее мыслей, всех ее будущих радостей материнской любви, ее единственной и такой хрупкой надеждой.

Исполнившись мужества матери, она взяла медный рог, в который трубил ее муж, вызывая слуг, отворила окно и поднесла рог к губам, но извлекла из него лишь слабые дрожащие звуки, потерявшиеся над морской ширью, словно воздушный шар, выпущенный из рук ребенком. Она поняла бесполезность этой жалобы, неслышной людям, и принялась осматривать соседние покои, надеясь, что не все выходы заперты. Тщетно искала она в библиотеке, нет ли там какого-нибудь потайного хода; пройдя через длинную галерею, уставленную книгами, она выбрала окно, находившееся ближе всех других к главному двору, и снова затрубила в рог, но безуспешно боролась она с голосом бури. Совсем упав духом, она подумала было довериться одной из своих служанок, хотя все они были ставленницами ее мужа, но, пройдя в свою молельню, убедилась, что граф запер дверь, которая вела в людскую. Это было ужасное открытие. Сколько принято предосторожностей, чтобы отрезать ее от всего мира! Это говорило о намерении совершить без свидетелей какую-то ужасную казнь. И по мере того, как угасала последняя надежда, вновь поднялись боли, еще мучительнее, еще тяжелее, чем прежде. Предчувствие возможного убийства, утомительные попытки найти путь к спасению лишили ее последних сил. Она была подобна пловцу с затонувшего корабля, который преодолел уже много грозных валов, но, обессилев, идет ко дну от удара еще одной, хотя и менее страшной волны. В голове у нее мутилось от жестоких страданий,— начались роды, и она

не замечала, как бегут часы. И в то мгновение, когда ей казалось, что дитя вот-вот родится, меж тем она совсем одна, без помощи, и когда ко всем ее душевным терзаниям прибавился еще страх перед каким-нибудь несчастным случаем, которым грозит ее неопытность, внезапно в комнате появился граф,— она и не слышала, как он вошел. Он предстал перед ней, словно дьявол в час истечения договора с грешником, продавшим ему свою душу: он глухо зарычал, увидя, что лицо его жены открыто; но, довольно ловко надев на нее маску, он схватил ее на руки, отнес в свою опочивальню и уложил в постель.

От ужаса перед появлением мужа и внезапным этим похищением у графини на мгновение стихли боли, и она окинула беглым взглядом действующих лиц происходившей таинственной сцены и не узнала среди них Бертрана, ибо он был переодет, а лицо его, так же как у графа, тщательно скрывала надетая маска. Верный слуга торопливо зажег несколько свечей, и свет их смешался с первыми лучами солнца, окрасившими багровым цветом стекла, затем Бертран встал в углу оконной амбразуры. Повернувшись лицом к стене, он как будто измерял ее толщину и был совершенно неподвижен, словно каменное изваяние рыцаря. Посреди комнаты графиня увидела низенького толстяка, стоявшего в полной растерянности, глаза у него были завязаны, а лицо так искажено ужасом, что невозможно было угадать обычное его выражение.

— Смерть господня! Слушай ты, чучело,— воскликнул граф, резким движением сбросив на шею незнакомца повязку, закрывавшую ему глаза,— не вздумай здесь ничего разглядывать да подсматривать! Смотри только на ту несчастную, на которую обратишь свои познания, а не то я надену на тебя ожерелье весом в сто фунтов и швырну тебя вон в ту реку, что течет у меня под окнами.

И он легонько потянул повисший на груди перепуганного лекаря шарф, которым завязаны были его глаза.

— Сначала установи, не выкидыш ли это. В таком случае ты отвечаешь своей жизнью только за жизнь роженицы... Но если ребенок жив, принеси мне его.

Закончив эту речь, граф схватил в охапку несчастного акушера, поднял его, как перышко, перенес с того ме-

ста, где он стоял, к кровати и поставил перед графиней. Затем сеньор отошел к окну и, встав в амбразуру, принялся барабанить по стеклу пальцами; оглядываясь, он то смотрел на своего слугу, то на кровать, то на волны океана, словно желая, чтобы пучина морская стала колыбелью младенцу, рождения которого он ждал.

Человек, которого граф и Бертран, совершая неслыханное насилие, пробудили от сладчайшего сна, смежившего его веки, и посадили на лошадь позади замаскированного всадника, помчавшегося затем с такой быстротой, словно его преследовали все демоны ада, был фигурой, характерной для того времени и к тому же оказавшей влияние на судьбу дома д'Эрувилей.

Ни в одну эпоху дворяне не были так несведущи в естествознании, как в те времена, и никогда еще так не были в чести предсказания астрологии, ибо никогда еще люди не жаждали так горячо знать свое будущее. Это невежество и это всеобщее любопытство внесли великую путаницу в разные области человеческих знаний; все в них устанавливалось на практике и только личным опытом, ибо систематизации и теории тогда еще не было, печатные книги стоили очень дорого, научные связи осуществлялись медленно; церковь преследовала стремление ученых основываться на исследовании явлений природы. И они стали действовать втайне. И вот для простого народа так же, как и для знатных людей, в образе медика сливалось шесть категорий ученых: физик и алхимик, математик и астроном, астролог и некроман. В те времена каждого глубоко сведущего врача всегда подозревали в колдовстве; врачуя больных, они должны были также составлять гороскопы. Впрочем, владетельные принцы оказывали покровительство этим гениям, которым открывалось будущее, и охотно давали им в своих замках кров и пищу. Знаменитый Агриппа Корнель, приехавший во Францию в качестве придворного врача Генриха II, не пожелал предсказывать будущее по примеру Нострадамуса, и тогда Екатерина Медичи уволила непокорного, заменив его Космой Руджиери. Выдающиеся ученые, опередившие свое время, редко встречали справедливую оценку своей деятельности. Зато все они внушали страх, ибо им приходилось заниматься оккультными науками и применять их в своей практике.

Человек, похищенный графом, хотя и не принадлежал к числу знаменитых астрологов, пользовался в Нормандии двусмысленной славой, которая окружает лекаря, обладающего некоей таинственной силой. Человек этот был своего рода колдун,— во многих местах Франции таких лекарей до сих пор именуют костоправами. Так называли даровитых самородков, которые как будто ничему не учились, а на деле обладали зачастую наследственными познаниями в искусстве врачевания, долгим опытом, запасом практических наблюдений, передававшихся в семье из поколения в поколение, и занимались ремеслом костоправа, то есть вправляли вывихнутые руки и ноги, сращивали сломанные кости, излечивали животных и людей от некоторых несложных болезней и якобы обладали волшебными секретами исцеления тяжелых недугов. У Антуана Бовулуара — так звали нашего костоправа — и дед и отец были прославленными знахарями, передавшими ему много ценных, проверенных в их практике сведений и приемов, а кроме того, он учился медицине и занимался естественными науками. Крестьяне видели множество книг в его кабинете и всякие странные предметы, придававшие его врачебным успехам оттенок магии. Антуана Бовулуара не считали настоящим колдуном, но все же на тридцать лье в окружности он внушал простому люду почтение, граничившее с ужасом; более опасным для него обстоятельством было то, что он располагал тайнами, касавшимися жизни и смерти местной знати. Так же, как и его дед и отец, он приобрел славу искусного акушера, и его призывали помогать при родах, при вытравлении плода, при выкидышах. В те смутные времена любовные грехи случались довольно часто, страсти были грубые, и высшему дворянству частенько приходилось посвящать мэтра Антуана Бовулуара в постыдные или страшные семейные тайны. Испытанное его умение хранить такие секреты обеспечивало ему безопасность. Клиенты платили ему щедро, и благодаря этому его наследственное состояние значительно увеличилось. Вечно он был в дороге — то его хватали насильно, как это сделал сейчас граф, то держали по многу дней у какой-нибудь знатной дамы; у него недоставало времени жениться; впрочем, его темная слава отталкивала от него девушек. Он не способен был искать

себе утешения в случайных связях, которые могло бы доставить его ремесло, дававшее ему такую власть над женскими слабостями. Бедняга костоправ чувствовал, что он создан для радостей семейной жизни, и был их лишен. У этого толстяка было золотое сердце, таившееся под обманчивым обликом жизнерадостного сластолюбца: он отличался пухлой физиономией, двойным подбородком, проворством движений тучного тела и откровенной речью. Он мечтал о женитьбе и мечтал иметь дочь, которая принесла бы отцовское состояние в приданое какому-нибудь бедному дворянину,— он не любил свое ремесло «костоправа» и желал, чтобы его семья вышла из унизительного положения, на которое ее обрекали предрассудки того времени. Впрочем, нрав его довольно хорошо соответствовал веселью пиров, венчавших главные его операции. Привычка быть повсюду человеком самым нужным добавила к его врожденной веселости некоторую долю важности и тщеславия. В критические минуты он любил действовать с некоторой величественной медлительностью, позволял себе дерзости, которые почти всегда принимались благосклонно. Кроме того, он был любопытен, как соловей, привередлив в пище, как борзая, и болтлив, как дипломат, который говорит очень много, но никогда не выдает своих мыслей. Несмотря на эти недостатки, развившиеся у него в многочисленных приключениях, которыми он обязан был своей профессии, Антуан Бовулуар слыл наименее зловредным человеком в Нормандии. Хотя он принадлежал к небольшому числу выдающихся умов своего времени, здравый смысл нормандского крестьянина подсказывал ему, что надо таить про себя усвоенные им идеи и свои собственные открытия.

Лишь только граф поставил его на ноги у постели роженицы, лекарь сразу обрел присутствие духа. Он стал щупать пульс у дамы, лежавшей в маске, нисколько не думая о ней в эту минуту; при помощи этого ученого приема он мог поразмыслить и действительно поразмыслил над своим положением. Ни в одном из постыдных или преступных приключений, в которых его насильно принуждали участвовать в качестве слепого орудия, не были так тщательно приняты меры предосторожности, как в данном случае. Хотя нередко клиенты обсуждали вопрос о его смерти, как о средстве, обеспечивающем успех пред-

приятия, невольным участником которого он являлся, никогда еще его жизнь не подвергалась такой опасности, как в эту минуту. Прежде всего он решил узнать, кто прибег к его услугам, и, установив грозящую ему опасность, постараться спасти свою драгоценную особу.

— Что надо сделать? — тихо спросил он, укладывая графиню поудобнее и приступая к оказанию ей помощи.

— Не отдавайте ему ребенка.

— Не смейте шептаться! — заорал граф громовым голосом, помешав мэтру Бовулуару расслышать еще какое-то слово, произнесенное несчастной женщиной.— А не то читайте себе отходную,— добавил сеньор, стараясь изменить свой голос.

— Кричите во весь голос,— сказал лекарь роженице.— Кричите, черт побери! У этого человека есть превосходные драгоценные каменья, мне они подойдут не хуже, чем вам! Ну, мужайтесь, мужайтесь, голубушка!

— Эй, легче, легче! — снова послышался голос графа.

— Да он, никак, ревнует! — откликнулся акушер тоненьким ехидным голоском, который заглушили крики графини.

К счастью мэтра Бовулуара, природа проявила милосердие. Недоношенный ребенок появился на свет божий таким тщедушным, что причинил матери не так уж много страданий.

— Клянусь чревом пресвятой девы,— воскликнул любопытный лекарь,— а ведь это, пожалуй, не преждевременные роды!

Граф в бешенстве затопал ногами, так что задрожали половицы, а графиня ущипнула лекаря.

«Ах, вот в чем дело!» — подумал Бовулуар.

— Значит, надо, чтоб это были преждевременные роды? — еле слышно спросил он графиню, и она кивнула головой, как будто не смела выразить свою мысль словами.

— Мне все еще неясно...— рассуждал лекарь.

Как всякому искусному акушеру, Бовулуару не трудно было узнать, что перед ним женщина, впервые «попавшая в беду», как он говорил. Хотя стыдливость и неопытность, сквозившие в каждом жесте графини, открыли ему ее целомудренную чистоту, хитрый лекарь воскликнул:

— А вы, сударыня, так ловко рожаете, будто всегда только этим делом и занимались.

Граф сказал тогда с ледяным спокойствием, более страшным, чем гнев:

— Дайте сюда ребенка.

— Не отдавайте ему, ради господа бога не отдавайте! — взмолилась мать, и почти звериный ее крик пробудил в добром и мужественном сердце низенького костоправа сострадание, привязавшее его больше, чем он сам думал, к этому высокородному младенцу, которого отверг родной отец.

— Ребенок еще не родился. Что по-пустому спорить? — холодно ответил он, заслоняя собою младенца.

Удивляясь, что новорожденного совсем не слышно, лекарь внимательно смотрел на него, опасаясь, что он уже умер. Граф заметил обман и ринулся к постели.

— Лик господень, пресвятые мощи! Отдай мне его сейчас же! — воскликнул сеньор, вырывая из рук врача невинную свою жертву, издававшую слабый писк.

— Осторожней! Ребенок очень слабенький, он почти без дыхания,— сказал мэтр Бовулуар, ухватив за руку графа.— Несомненно, он не доношен, родился семи месяцев.

С нежданной силой, порожденной порывом жалости, он разжал пальцы графа и сказал ему на ухо прерывающимся голосом:

— Избавьте себя от преступления: он и так жить не будет...

— Негодяй! — запальчиво воскликнул граф, у которого лекарь вырвал из рук младенца.— Да кто тебе сказал, что я хочу смерти своего первенца? Разве не видишь, я ласкаю его?

— Подождите, когда ему будет восемнадцть лет, тогда и ласкайте его таким вот образом. Окрестите-ка его поскорее,— добавил он, озабоченный своей собственной безопасностью, ибо он узнал сеньора д'Эрувиля, который, разгорячившись, позабыл изменить свой голос.— Окрестите поскорее и не говорите матери, какой я приговор ему вынес, а не то вы убьете ее.

Слова эти спасли младенца, ибо предсказания лекаря о неминуемой смерти недоноска преисполнили графа

тайной радости, и он весь встрепенулся, невольно выдав свое удовольствие.

Бовулуар поспешил отнести новорожденного к матери, лежавшей в обмороке, и укоризненным жестом указал на нее, желая припугнуть графа, который довел жену до такого состояния. Графиня лишилась чувств, услышав, о чем они шептались, ибо нередко бывает, что в критические минуты жизни органы чувств приобретают у человека неслыханную тонкость восприятий; однако плач младенца, положенного рядом с нею на постели, словно по волшебству вернул ее к жизни; ей почудилось, что она слышит голоса двух ангелов, когда, воспользовавшись криком ребенка, лекарь наклонился к матери и шепотом сказал:

— Ухаживайте за ним хорошенько, и он проживет сто лет. Бовулуар в таких делах толк понимает.

Вздох небесного счастья, слабое пожатие руки были наградой лекарю; прежде чем передать новорожденного нетерпеливой матери, жаждавшей обнять своего младенца, он внимательно осмотрел это хрупкое создание, у которого на коже отпечатались следы железных пальцев графа,— лекарь хотел удостовериться, что отцовская ласка не изувечила слабенького тельца ребенка. Каким-то безумным движением мать схватила своего сына, спрятала его возле себя, и в отверстия маски сверкнули ее глаза, метнувшие на графа такой угрожающий взгляд, что Бовулуар вздрогнул.

— Она умрет, если слишком скоро потеряет сына,— сказал он графу.

Сир д'Эрувиль уже несколько минут ничего не слышал и не видел. Глубоко задумавшись, он неподвижно стоял у окна, только барабанил пальцами по стеклу, но при последних словах лекаря злобно повернулся и выхватил из ножен кинжал.

— Ах ты мужлан! — воскликнул он, именуя лекаря тем оскорбительным прозвищем, которое сторонники короля придумали для гугенотов.— Подлый наглец! Своей ученостью ты обязан чести содействовать дворянам, когда они настоятельно желают иметь или не иметь наследников,— одно лишь это и удерживает меня, а то бы я навсегда лишил Нормандию ее прославленного колдуна.

К великой радости Бовулуара, граф с яростью вложил кинжал в ножны.

— Ужели ты не можешь,— продолжал граф,— очутившись в обществе благородного сеньора и его супруги, хоть раз в жизни отрешиться от жалких подозрений в корыстных расчетах, которые ты допускаешь у черни, забывая при этом, что у нее-то нет никаких уважительных на то причин? Разве в данном случае могут возникнуть соображения государственной пользы, которые побуждали бы меня действовать так, как ты это предполагаешь? Убить своего родного сына? Похитить его у матери? Какую чепуху выдумал! Такое крепкое дитя! Пойми же, что я просто не доверяю тебе, зная твое тщеславие. Если бы ты знал имя благородной роженицы, ты бы везде похвалялся, что видел ее! Страсти господни! Ты, чего доброго, погубишь мать или ребенка чрезмерным леченим. Смотри берегись! Ты своей жалкой жизнью отвечаешь мне и за свое молчание и за их здоровье!

Лекарь был поражен нежданной переменой, несомненно происшедшей в замыслах графа. Прилив отеческой нежности к несчастному недоноску испугал его даже больше, чем нетерпеливая жестокость и угрюмое недоверие, сперва проявленные графом. Последние слова своей тирады он произнес с самым лицемерным выражением, изобличавшим, что он задумал более хитрым способом осуществить свое намерение, оставшееся неизменным. Мэтр Бовулуар объяснил эту неожиданную развязку двумя предсказаниями участи ребенка, которые он дал: одно отцу, а другое матери.

«Все понятно,— думал он.— Сей добрый сеньор не хочет, чтобы жена возненавидела его, и решил тайком прибегнуть к роковой помощи аптекаря. Надо мне предупредить мать — пусть побережет своего высокородного малютку».

И он направился было к постели, но граф, стоявший в эту минуту у раскрытого шкафа, остановил его властным окриком. Сеньор протянул лекарю кошелек, и Бовулуар, с некоторой, правда, опаской, взял его, уступив соблазну принять золото, блестевшее сквозь петли вязаного кошелька красного шелка, презрительно брошенного ему.

— Хоть ты и приписал мне низкие, мужицкие по-

мышления,— сказал граф,— я все же считаю себя обязанным заплатить тебе по-барски. Мне не надо просить тебя держать язык за зубами. Вот этот человек,— добавил д'Эрувиль, указывая на Бертрана,— наверно, уже объяснил тебе, что холопы, дерзнувшие сплетничать обо мне, живо повиснут на каком-нибудь дубе с тугим пеньковым ожерельем на шее или пойдут ко дну реки с булыжным алмазом на груди.

Закончив свою милостивую речь, великан не спеша подошел к ошеломленному лекарю и шумно пододвинул ему стул, как будто приглашая его сесть рядом с ним у постели роженицы.

— Ну вот, милочка, у нас есть теперь сын,— сказал он жене.— Большая радость для нас обоих. Очень вы страдаете?

— Нет,— тихо промолвила графиня.

Изумление и неловкость, которые явно чувствовала мать, запоздалые и деланные проявления отцовской радости убедили мэтра Бовулуара, что некое важное обстоятельство ускользнуло от обычной его проницательности. Подозрения его окрепли. Он положил руку на руку графини, не столько желая узнать, нет ли у нее жара, сколько собираясь подать ей знак.

— Все благополучно,— сказал он.— Нечего бояться каких-либо неприятностей. Конечно, у роженицы позднее будет молочная лихорадка. Но это ничего, не пугайтесь.

Тут хитрый лекарь на мгновение остановился и сжал пальцы графини, чтобы привлечь ее внимание.

— Если не хотите, ваша милость, тревожиться за своего ребенка,— сказал он,— будьте при нем неотлучно. Подольше держите его у груди,— видите, он уже ищет ее маленьким своим ротиком. Кормите его сами и остерегайтесь всяких снадобий аптекаря. Материнское молоко излечивает грудных детей от всех болезней. Мне частенько приходилось принимать семимесячных младенцев, но редко я видел, чтобы роженицы разрешались от бремени так легко, как вы. Не удивительно,— ребенок очень худ. В башмаке уместится! Уверен, что он и одиннадцати унций не весит... Молока, материнского молока! Если он всегда будет у груди матери, вы спасете его.

При этих словах врач вновь сжал ей осторожно паль-

цы. Глаза графа, видневшиеся в отверстия маски, метали пламя, но Бовулуар вел свою речь с полным спокойствием и обстоятельностью, как человек, желающий добросовестно заработать деньги.

— Эй, эй, костоправ! Шляпу забыл,— сказал Бертран, когда лекарь выходил вместе с ним из комнаты.

Итак, отец смилостивился над сыном, а причиной тому были некоторые оговорки нотариуса в брачном контракте. В то мгновение, когда Бовулуар схватил графа за руку, на помощь спасителю пришли алчность д'Эрувиля и обычное право Нормандии. Две эти силы подали знак, и рука сеньора оцепенела, лютая ненависть притихла. Алчность завопила: «Земли твоей жены останутся во владении дома д'Эрувилей лишь в том случае, если они перейдут по наследству к мужскому ее отпрыску!» Обычное право нарисовало графу ужасную картину: графиня умирает бездетной, и все ее имущество требует себе боковая ветвь Сен-Савенов.

Вняв обоим предостережениям, граф решил предоставить природе унести недоноска в могилу, а самому подождать рождения второго сына, здорового и крепкого мальчика: тогда уж можно будет не беспокоиться, жива ли жена и жив ли первенец. Перед глазами у графа уже был не ребенок его, но женины обширные владения, и сразу же алчность надела личину нежности. Приличия ради, он сделал вид, будто его полумертвый первенец отличается крепким телосложением. Зная характер мужа, графиня была удивлена еще больше, чем акушер, и затаила в сердце инстинктивные опасения за сына; порой она восставала против мужа с великой смелостью, ибо в одно мгновение в ней пробудилось мужество матери и вдвое возросли ее душевные силы.

В течение нескольких дней граф почти безотлучно находился у постели больной и окружал ее заботами, которым выгода придавала мнимую нежность. Графиня быстро угадала, что лишь ее одну он дарит таким вниманием. Ненависть его к сыну сквозила в каждой мелочи, он упорно избегал смотреть на малютку, дотрагиваться до него; едва раздавался детский плач, отец вскакивал и спешил уйти из опочивальни, чтобы отдать какие-нибудь распоряжения; казалось, граф прощал сыну, что он еще жив, лишь в надежде, что ребенок вот-вот умрет.

В один прекрасный день, заметив в глубоком взгляде матери, что она чувствует какую-то страшную опасность, грозящую ее сыну, он объявил о близком своем отъезде, решив отправиться в путь на другой же день после обряда «воцерковления», и выставил он в качестве предлога необходимость повести свое войско на помощь королю.

Вот какие обстоятельства сопутствовали и предшествовали рождению Этьена д'Эрувиля. Граф непрестанно желал смерти отвергнутому сыну, и не только потому, что однажды ему пришло такое желание; ведь даже если б он мог заставить умолкнуть в себе плачевную склонность злого человека преследовать тех, кому он уже причинил вред, и даже если б он не был вынужден, к великой своей досаде, притворяться в любви к мерзкому недоноску, которого он считал сыном гугенота Шаверни, бедняжка Этьен все же вызывал бы у него отвращение. Ребенок родился слабеньким, болезненным; беду эту, быть может, еще усугубила пресловутая «ласка» графа, и столь рахитичное существо было непрестанным оскорблением отцовского самолюбия графа. Он ненавидел красивых мужчин, но не меньше ненавидел и людей хилых, у которых телесную силу заменяет сила разума. Чтобы ему угодить, мужчине нужно было отличаться безобразным лицом, высоким ростом, крепким сложением и полным невежеством. Этьен д'Эрувиль, так сказать, обреченный из-за слабого своего здоровья на сидячий образ жизни и занятия науками, должен был найти в отце беспощадного врага. Уже с колыбели началась его борьба с этим великаном, а помощь против столь страшного противника могла ему оказать только мать, в чьем сердце, по трогательному закону природы, любовь к сыну возрастала вместе с грозившими ему опасностями.

Оказавшись в полном одиночестве после нежданного отъезда графа, Жанна де Сен-Савен обязана была своему ребенку проблесками счастья, и они скрашивали ее жизнь. Сына, рождение которого граф вменял жене в преступление, считая его ребенком Жоржа де Шаверни, она обожала, как обожает женщина плод незаконной любви; обязанная сама кормить его грудью, она делала это с радостью. Она не желала, чтоб ей в чем-нибудь помогали служанки, сама одевала и раздевала свое дитя, испытывая величайшее удовольствие от каждой, хотя бы

маленькой, заботы о нем. Непрестанные труды, напряженное внимание, необходимость просыпаться по ночам в определенный час и кормить ребенка — все это наполняло ее блаженством. Лицо ее сияло счастьем, когда она хлопотала вокруг этого маленького существа. Так как Этьен родился преждевременно, приданое ему еще не было готово, мать пожелала сама сшить все, чего недоставало, и с каким совершенством она это сделала, могут себе представить те матери, на которых падали подозрения мужей, те, которые в ночной тиши безмолвно трудились для обожаемых своих детей. При каждом стежке рождалось воспоминание, желание, мечта,— и какие чудесные картины создавало воображение матери, когда она расшивала прелестными узорами нежную ткань! О всех ее «безумствах» докладывалось графу д'Эрувилю, и грозовая туча, уже поднявшаяся на горизонте, темнела все больше. Меж тем для матери, вкушавшей тайное счастье, время бежало стремительно, дни казались слишком короткими для бесчисленных и тщательных забот о младенце, которого она кормила.

Предупреждения лекаря не выходили у нее из головы, и, трепеща за жизнь ребенка, она одинаково страшилась и услуг приставленных к ней женщин, и руки графских людей; ей так хотелось совсем не спать,— ведь кто-нибудь мог подкрасться к Этьену в часы ее сна; она укладывала ребенка возле себя. Словом, с колыбели младенца охраняло недоверие. В отсутствие графа она осмелилась призвать Бовулуара, имя которого хорошо запомнила. Она полна была глубокой признательности к лекарю и считала себя в неоплатном долгу перед ним; но, главное, ей хотелось расспросить его о множестве вещей, касающихся ее сына. Если Этьена замыслили отравить, то как ей спасти его при покушениях? Как беречь его хрупкое здоровье? Долго ли следует кормить его грудью? Возьмет ли на себя Бовулуар в случае ее смерти заботу о здоровье бедного ребенка?

На вопросы графини растроганный Бовулуар ответил, что он, так же как и она, опасается намерений отравить Этьена; но пока она кормит ребенка грудью, бояться нечего, а на будущее он советовал ей всегда самой пробовать пищу, приготовленную для Этьена.

— Если вы, графиня, почувствуете что-то странное

на языке, какой-то необычный привкус у кушанья: пряный, горький, острый, соленый — словом, что-либо подозрительное, выбросьте это блюдо. Одежду ребенка пусть всегда стирают при вас; держите при себе ключ от ларя, в котором будет храниться его платье. Что бы ни случилось, вызовите меня, и я тотчас явлюсь.

Наставления лекаря врезались в память Жанны д'Эрувиль. Она просила его всегда и во всем рассчитывать на нее. И тогда Бовулуар кратко поведал графине, как сеньор д'Эрувиль, которого даже в молодости не желала иметь своим возлюбленным ни одна придворная знатная дама, влюбился в куртизанку, носившую прозвище Прекрасная Римлянка и ранее принадлежавшую кардиналу Лотарингскому. Вскоре, однако, граф бросил ее, и позднее Прекрасная Римлянка, приехав в Руан, тщетно молила его помочь ее дочери, о которой он и слышать не хотел и, ссылаясь на красоту девочки, отказывался признать ее своим отпрыском. После смерти этой женщины, погибшей в нищете, ее дочь, которую звали Гертрудой, красотой превосходившая мать, нашла себе приют в монастыре, где настоятельницей состояла мадемуазель де Сен-Савен, тетка графини. Однажды Бовулуара призвали к одру заболевшей Гертруды, и он так влюбился в нее, что совсем потерял голову.

— Если вы, графиня,— добавил Бовулуар,— пожелали бы вмешаться в это дело, вы отплатили бы мне сторицей за то, что я, по вашему мнению, сделал для вас хорошего. Тогда и мое появление здесь, в замке, преступное в глазах графа, было бы оправдано; рано или поздно граф примет участие в судьбе такой прекрасной девушки и когда-нибудь окажет ей косвенным образом покровительство, сделав меня своим врачом.

Графиня, как и все женщины, сочувствовавшая истинной любви, обещала помочь несчастному врачевателю. Она горячо взялась за дело и после вторых своих родов, воспользовавшись старинным обычаем, который давал роженице право просить какой-либо милости у своего мужа, добилась у графа приданого для Гертруды; незаконнорожденная красавица, вместо того чтобы постричься в монахини, вышла за Бовулуара. Приданое Гертруды и сбережения лекаря дали им возможность купить по соседству с замком д'Эрувилей превосходное имение, про-

дававшееся тогда наследниками. Графиня, успокоенная добрым лекарем, почувствовала, что теперь жизнь ее исполнена радостей, неведомых другим матерям. Конечно, все женщины прекрасны, когда они прикладывают к груди своей младенца, желая успокоить его крики и начавшиеся горькие слезы; но даже на полотнах итальянских художников трудно было бы увидеть образ более трогательный, чем тот, который являла собою графиня, когда она держала у груди Этьена, чувствуя, что с каждым глотком материнского молока она отдает ему и свою кровь, вливает жизнь в это бедное создание, спасает его от смерти, грозящей ему. Лицо ее сияло, она любовалась своим дорогим малюткой и всегда страшилась увидеть в его чертах некое сходство с Шаверни,— ведь она так много думала о своем друге. Эти мысли, выражение счастья, озарявшее ее чело, когда она смотрела на сына, взгляд, горевший желанием передать ребенку силу, которую она чувствовала в своем сердце, и светлые свои надежды, прелесть ее движений — все вместе составляло картину, покорявшую даже враждебных ей прислужниц: графиня победила шпионок.

Вскоре два эти слабые существа уже объединяла одна и та же мысль, они понимали друг друга раньше, чем этому могли служить слова. Как только Этьен с бессознательной жадностью, свойственной малым детям, стал схватывать взглядом все окружающее, он с любопытством глядел на темные панели парадной опочивальни. С тех пор, как его слух начал воспринимать звуки и улавливать разницу меж ними, он слышал монотонный гул моря, разбивавшего свои волны о скалы движением столь же равномерным, как качание маятника. И вот само жилище, звуки, вещи — все, что воздействует на наши чувства, что подготовляет наше сознание и формирует характер, внушали ребенку склонность к грусти. А разве его мать не должна была жить и умереть в атмосфере грусти? Уже с младенческих дней он мог полагать, что его мать — единственное существо, живущее на земле, смотреть на мир, как на пустыню, привыкать к самоуглублению, к которому побуждает человека одиночество, искать счастья в самом себе, прибегая для этого к огромным возможностям, какие дает мысль. Разве графиня не была обречена жить одиноко и искать все свое сча-

стье в сыне, преследуемом так же, как и ее разбитая любовь? Как и все болезненные дети, Этьен почти всегда сидел тихонько в задумчивой позе, в такой же (трогательное сходство!), как и его мать. Восприятия всех органов чувств отличались у него необычайной тонкостью, внезапный сильный шум или общество беспокойного, крикливого человека вызывали у него нечто вроде лихорадки. Он был подобен тем крошечным букашкам, для которых гибельны и резкий ветер и палящий зной; подобно этим насекомым, он не способен был бороться с малейшими препятствиями и так же, как они, уступал без жалоб и сопротивления всему, что имело злобный и грозный вид. Ангельское его терпение вызывало у матери глубокое чувство жалости, и ей не казались утомительными бесчисленные заботы, которых требовал уход за этим слабеньким и болезненным существом.

Она благодарила бога за то, что он создал Этьена, как и множество других своих творений, для жизни в тишине и покое, ибо лишь в таких условиях он мог расти и быть счастливым. Часто бывало, что мать своими нежными и, казалось ему, такими сильными руками поднимала его и несла в верхний ярус замковой башни, подносила к стрельчатым окнам. Тогда его глаза, голубые, как у матери, как будто любовались великолепием океана. И мать и сын часами смотрели на беспредельную морскую ширь, то темную, то блиставшую светом, то немую, то шумную. Долгие эти размышления стали для Этьена школой познания человеческой скорби. Почти всегда взор его матери увлажнялся слезами, в горьком раздумье она склоняла голову. Тогда и сын ее напоминал тонкий стебель тростника, поникший под тяжестью упавшего на него камня. Вскоре детским своим умом, рано развившимся в несчастье, он понял, какую власть над матерью имеют его игры. Он пытался развлечь ее и осыпал ее такими же ласками, какими она старалась его утешить, когда он бывал болен. Он гладил ручонками ее лицо, что-то лепетал, лукаво посмеивался, и всегда ему удавалось отогнать грустные думы матери. Если ему нездоровилось, он из безотчетной деликатности опасался жаловаться.

— Бедное мое чувствительное сердечко! — воскликнула однажды графиня, когда ребенок заснул, устав от

милых шалостей, которыми он рассеял одно из самых горестных ее воспоминаний.— Бедняжка, где ты сможешь жить? Кто поймет тебя? Душа у тебя такая нежная, что достаточно одного сурового взгляда, чтобы ранить ее. И, подобно твоей несчастной матери, ты будешь считать ласковую улыбку благом более драгоценным, чем все богатства земли. Ангел мой, обожаемое дитя мое, кто будет любить тебя? Кто угадает, что под хрупкой оболочкой сокрыты истинные сокровища? Никто этого не узнает. Как и я, ты будешь одинок на земле. Сохрани тебя боже изведать великую любовь, ниспосланную небом, но преследуемую людьми.

Она тяжело вздохнула и заплакала. Спящий малютка лежал на ее коленях в грациозной позе; Жанна д'Эрувиль долго смотрела на него с наслаждением, тайна которого ведома лишь богу да матери.

Зная, как приятно сыну слушать ее голос и звуки мандолины, она пела ему изящные романсы тех времен, и ей казалось, что на губках ребенка, еще испачканных ее молоком, расцветала та нежная улыбка, какой Шаверни благодарил ее, когда она играла ему на лютне. Она корила себя, зачем вспоминает прошлое, и все же постоянно его вспоминала. Ребенок, соучастник ее радостей, улыбался как раз при тех мелодиях, которые любил Шаверни.

В полтора года Этьен был еще так слаб, что графиня не решалась выносить его на воздух; но матовую белизну его личика оживлял теперь легкий румянец, словно на щечки его упали занесенные ветром самые бледные лепестки шиповника. Когда мать уже начинала верить предсказанию лекаря и радовалась, что в отсутствие графа могла окружить сына строжайшими предосторожностями, оберегая его от всяческих опасностей, пришло послание от секретаря ее супруга, сообщавшее о близком возвращении графа.

В одно прекрасное утро графиня, преисполненная ликования, знакомого каждой матери, когда она видит первые шаги своего первенца, играла с Этьеном в какие-то наивные игры, описать которые невозможно, так же как невозможно передать словами самые светлые воспоминания. Вдруг затрещали половицы под чьими-то тяжелыми шагами; в невольном изумлении графиня оста-

новилась, и едва она успела подняться, как увидела перед собой графа. Она испуганно отшатнулась, потом, пытаясь исправить свою нечаянную вину, подошла к мужу и покорно подставила ему для поцелуя лоб.

— Почему вы не предупредили о своем прибытии? — сказала она.

— Конечно, прием был бы тогда более любезным, но менее искренним,— ответил граф, прерывая ее.

Он заметил ребенка. Увидев его не только живым, но и довольно здоровым, он сделал удивленный и злобный жест, но тотчас подавил свой гнев и стал улыбаться.

— А я вам привез приятные вести,— заговорил он.— Я получил наместничество в Шампани, и вдобавок король обещал сделать меня герцогом и пэром. Да еще мы получили наследство от одного вашего родственника: проклятый гугенот Шаверни сдох.

Графиня побледнела и рухнула в кресло. Она угадала тайную причину жестокого торжества, отражавшегося на безобразном лице графа. Злорадство его, казалось, возросло при виде Этьена.

— Монсеньер,— промолвила графиня в глубоком волнении,— вы ведь знаете, что я любила моего двоюродного брата Шаверни... Вы ответите перед богом за то, что причинили мне такое горе.

При этих словах глаза графа сверкнули, губы задрожали, от бешеной злобы он не мог произнести ни слова, только бросил кинжал на стол с такой яростью, что клинок загремел, как удар грома.

— Слушайте меня! — крикнул он зычным своим голосом.— Слушайте и хорошенько запомните мои слова... Я больше не желаю видеть уродца, которого вы держите на руках! Это ваш ребенок, а не мой. Разве он хоть чуточку похож на меня? Лик господень, пресвятая голгофа! Спрячьте его подальше, а не то...

— Боже праведный, защити нас! — воскликнула графиня.

— Тише! — отозвался великан.— Если не хотите, чтоб я пристукнул его, уберите его с моих глаз. Пусть никогда не попадается на моем пути!

— Хорошо,— заговорила графиня, почувствовав в себе мужество бороться с тираном.— Тогда дайте клятву не посягать на его жизнь, если не будете нигде встречать

его. Дайте честное слово дворянина. Могу я на него положиться?

— Это еще что? — возмутился граф.

— Нет? Так убейте нас обоих сейчас же! — крикнула Жанна и бросилась перед ним на колени, сжимая ребенка в своих объятиях.

— Встаньте, графиня! Даю вам честное слово дворянина, что никогда и никак не стану посягать на жизнь этого проклятого недоноска, но при условии, что он не выйдет из-за той гряды прибрежных скал, что стоит ниже замка. Жалую его жилищем — рыбачьей хижиной. И поместьем жалую — песками у берега моря. Но горе ему, если я встречу его за пределами сих владений!

Жанна д'Эрувиль горько заплакала.

— Посмотрите же,— молила она,— ведь это ваш сын!

— Графиня!

Испуганная мать тотчас унесла своего ребенка, сердце у него билось быстро-быстро, как у малиновки, пойманной в гнезде пастушонком. Оттого ли, что очарование невинности действует даже на закоренелых злодеев, оттого ли, что граф недоволен был своей резкостью, боясь довести до полного отчаяния женщину, необходимую и для его утех и для его корыстных замыслов, он постарался смягчить свой голос и, когда жена вернулась, сказал с деланной ласковостью:

— Жанна, душечка моя, не помните зла, дайте мне руку. Право, с вами, женщинами, уж и не знаешь, как себя вести. Лик господень! Я принес вам новые почести, новые богатства, а вы как меня встретили? Не лучше, чем шайка гугенотов встречает королевского жандарма! Как наместник Шампани я вынужден буду подолгу отсутствовать из дому, пока не обменяю эту должность на пост наместника Нормандии. Так уж сделайте милость, душенька, будьте со мною поприветливее, пока я здесь.

Графиня поняла значение этих слов, притворная их мягкость не могла ее обмануть.

— Я знаю свой долг,— ответила она с грустью, которую ее супруг принял за нежность.

У Жанны, робкого создания, была столь чистая, столь высокая душа, что она и не пыталась, как это делают иные ловкие женщины, повелевать своим супругом пу-

тем рассчитанных уловок, своего рода проституции, которая для благородных натур была бы невыносимой грязью. Она молча удалилась, надеясь найти в прогулке с Этьеном хоть малое утешение своему горю.

— Лик господень, святые мощи! Так я, значит, никогда не найду любви! — воскликнул граф, заметив слезы на глазах жены, когда она выходила из спальни.

Материнское чувство, обостренное непрестанной угрозой, стало у Жанны д'Эрувиль настоящей страстью, столь же неистовой, какой бывает у женщин преступная любовь. Волшебной силой внушения, присущей матери, охраняющей своего сына, Жанне удалось внедрить в ребенка сознание опасности, всегда угрожавшей ему, и приучить его страшиться приближения отца. Ужасная сцена, свидетелем которой был Этьен, вызвала в нем болезненное потрясение и запечатлелась в его памяти. В конце концов он стал безошибочно чувствовать появление графа; бывало, едва уловимая, но такая заметная для матери улыбка оживляла его черты, однако стоило его слуху, еще не совершенному, но уже развившемуся под влиянием страха, уловить далекие шаги отца, и черты его искажались,— инстинкт сына опережал даже слух матери. С возрастом эта способность, порожденная паническим ужасом, настолько возросла, что Этьен стал подобен дикарям Америки; он различал отцовские шаги и слышал его голос на очень далеком расстоянии и предсказывал его появление. Чувство необоримого страха перед графом, которое Этьен так скоро перенял от матери, делало его графине еще дороже, укрепляло их союз,— они были словно два цветка, распустившиеся на одной ветке: оба сгибались под одним и тем же порывом ветра и поднимались, движимые одной и той же надеждой, они жили единой жизнью.

После отъезда графа Жанна выносила второго ребенка. Она родила его в положенный срок, не допускающий никаких кривотолков, и произвела на свет в страшных муках крупного младенца мужского пола, и через несколько месяцев он уже отличался поразительным сходством с отцом, который из-за этого еще больше возненавидел старшего сына. Чтобы спасти своего обожаемого ребенка, графиня согласилась со всеми замыслами мужа, желавшего обеспечить младшему своему отпрыску счастье и бо-

гатство. Этьена отец прочил в кардиналы: он должен был пойти в монахи, чтобы его брату Максимильяну достались все земли и титулы дома д'Эрувилей. Только этой ценой несчастная мать могла купить покой Этьену. Отец проклял свое дитя.

Никогда еще не бывало братьев, столь непохожих друг на друга, как Этьен и Максимильян. Младшему нравились шумные игры, грубые физические упражнения и война; поэтому граф полюбил его так же сильно, как мать любила Этьена. И вполне естественно было, что каждый из супругов, словно по какому-то безмолвному договору, взял на себя заботы о своем любимце. Герцог (к этому времени Генрих IV в награду за выдающиеся заслуги дал графу д'Эрувилю титул герцога), не желая, как он говорил, угомлять жену, приставил к Максимильяну по выбору Бовулуара кормилицу, благодушную толстую женщину, привезенную из Байе. К великой радости Жанны, он в одинаковой мере не доверял ее материнскому молоку и ее уму и решил воспитать сына по своему вкусу. Он взрастил Максимильяна в священной ненависти к книгам и ко всякой учености, зато преподал ему чисто механические познания в военном искусстве, с детских лет научил его ездить верхом, стрелять из аркебузы и действовать кинжалом. Когда сын подрос, отец стал брать его с собой на охоту, желая, чтоб у любимца его была та резкость языка и та грубость в манерах, та дикая сила, решительность во взгляде и в голосе, которые, по его мнению, необходимы были настоящему мужчине. В двенадцать лет юный дворянин был весьма неотесанным львенком, опасным для всех не меньше, чем сам герцог, ибо сын получил от отца дозволение тиранить всю округу и действительно всех тиранил.

Этьен жил на берегу океана в рыбачьей хижине, которую отвел ему отец,— правда, герцогиня приказала перестроить и убрать ее так, чтобы сын ее находил там кое-какие удобства, на которые он имел право. Герцогиня уходила к сыну с утра и проводила с ним большую часть дня. Мать и дитя вместе бродили между скал и по берегу моря; мать указывала сыну, где кончаются его маленькие владения, богатые песком, раковинами, мхами и разноцветными камешками; глубокий ужас, охватывавший ее, когда она видела, что Этьен выходит за

условленную черту, убедил мальчика, что за этим рубежом его ждет смерть. Но не меньше, чем за самого себя, он боялся за мать; вскоре одно лишь имя герцога д'Эрувиля вызывало у него жестокое смятение, совершенно лишало его энергии, повергало в безвольную покорность, которая заставляет слабую девушку пасть на колени перед тигром. Если он замечал вдали фигуру отца или слышал голос этого мрачного великана, он весь холодел, и в душе его оживали тяжкие впечатления той минуты, когда отец проклял его. И как лопарь умирает вдали от родных снегов, так и для мальчика родными стали его хижина и скалы; если он выходил за их пределы, то испытывал какую-то неизъяснимую тоску. Предвидя, что бедное ее дитя может найти счастье только в тишине и спокойствии, герцогиня вначале не очень печалилась об участи, на которую он был обречен; она решила подготовить его к этому вынужденному призванию и создать ему возвышенную жизнь, заполнив его одиночество благородным занятием науками; она пригласила Пьера де Себонда приехать в замок в качестве наставника будущего кардинала д'Эрувиля. Несмотря на то, что ее сына ожидала тонзура, Жанна де Сен-Савен не желала, чтобы его воспитание отдавало семинарией, и своим вмешательством придала ему мирской характер. На Бовулуара была возложена обязанность посвятить Этьена в тайны естествознания. Герцогиня сама наблюдала за тем, чтобы занятия шли соразмерно с силами ребенка, и для развлечения Этьена учила его говорить по-итальянски, незаметно открывая ему поэтические богатства этого языка. Пока герцог водил Максимильяна охотиться на кабанов, не боясь, что юноша может быть ранен у него на глазах, Жанна шла рука об руку с Этьеном по Млечному Пути сонетов Петрарки или по исполинскому лабиринту «Божественной комедии». Словно в награду за телесные недуги, природа наделила Этьена таким мелодичным голосом, что трудно было отказаться от удовольствия слушать его; мать обучала сына музыке. Нежные и грустные песни под аккомпанемент мандолины были любимым развлечением Этьена, которое мать обещала в награду за какой-нибудь трудный урок, заданный аббатом де Себондом. Этьен слушал мать со страстным восторгом, который она видела когда-то лишь в глазах Шаверни. Ко-

гда этот долгий взгляд ребенка впервые воскресил в душе несчастной женщины воспоминания о ее девичьей поре, она осыпала его безумными поцелуями. Этьен спросил, почему она как будто больше любит его в эту минуту. Мать, покраснев, ответила, что она с каждым часом любит его все сильнее. Вскоре в заботах о развитии души и образовании ребенка Жанна нашла те же радости, какие она испытывала, когда сама кормила и выхаживала свое дитя. Хоть матери и не растут вместе со своими детьми, герцогиня принадлежала к числу таких женщин, которые в свое материнское чувство вносят смиренное обожание, свойственное любви возлюбленных; но она умела и приласкать и быть судьей; для нее было вопросом самолюбия, чтобы Этьен стал выше ее; быть может, она знала, что неисчерпаемая любовь к сыну поднимает ее на недосягаемую высоту, и поэтому не боялась никакого уничижения. Только черствым сердцам приятно властвовать, а истинному чувству мила самоотверженность, это прекрасное свойство глубокой любви. Когда Этьен не сразу схватывал какое-нибудь объяснение наставника, не понимал задачу, латинский текст или теорему геометрии, бедняжка мать, всегда присутствовавшая на уроках, как будто стремилась влить в его ум все свои познания, так же как стремилась она когда-то при жалобных его криках влить в его тельце жизнь вместе со струей материнского молока. Но зато какою радостью горел взгляд герцогини, когда Этьен схватывал и усваивал смысл того, что ему преподавали. Она могла служить доказательством, как говорил Пьер де Себонд, что мать — существо двойственное, ибо живет она всегда за двоих.

Природное чувство, соединяющее сына с матерью, герцогиня таким образом усиливала нежностью возродившейся девичьей любви. В течение нескольких лет из-за слабого здоровья Этьена ей приходилось ухаживать за ним, как за ребенком; она одевала его, вечером укладывала в постель, сама расчесывала, приглаживала, завивала и душила благовониями волосы сына. Убирая мальчику голову, она все ласкала его: сколько раз легкая ее рука проводила по волосам гребенкой, столько же раз уста касались их поцелуем. Иная женщина вносит нечто материнское в свое чувство к возлюбленному, ей радостно бывает по-домашнему оказывать ему услуги, а тут мать

обращала своего сына в некое подобие возлюбленного, находила в чертах его смутное сходство с Жоржем де Шаверни, которого она не переставала любить и за могилой. Этьен был как бы призраком Жоржа, видимого вдалеке, в магическом зеркале. Она говорила себе, что Этьену больше пристало быть дворянином, чем духовным лицом. И нередко она думала: «Если какая-нибудь женщина полюбит его так же сильно, как я, и захочет приобщить его к любовной жизни, он мог бы быть так счастлив!» Но тут же ей вспоминалось, что ужасные корыстные интересы требуют выстричь на голове Этьена тонзуру, и она со слезами целовала волосы любимого сына, которые католическая церковь должна была срезать своими ножницами.

Вопреки жестокому договору, навязанному ей герцогом, она не могла представить себе Этьена ни священником, ни кардиналом, когда с материнской прозорливостью пронизывала взором густой туман, застилавший будущее. Глубокое равнодушие отца, совсем позабывшего о старшем сыне, позволило ей не отдавать Этьена в монастырь.

«Еще успеется, успеется»,— думала она.

Не признаваясь себе в мысли, закравшейся в ее сердце, она старалась привить Этьену изящные манеры, отличавшие придворных, хотела, чтобы он был любезен и учтив, как Жорж де Шаверни. Вынужденная довольствоваться кое-какими скудными сбережениями, ибо честолюбивый и алчный герцог, сам управлявший своими родовыми владениями, употреблял все доходы на новые приобретения или на поддержание подобающего ему образа жизни, Жанна д'Эрувиль одевалась очень просто и не тратила на себя ничего, зато дарила сыну бархатные плащи, ботфорты с раструбами, отделанными кружевами, колеты из дорогих тканей с разрезами на рукавах. Лишения, на которые она себя обрекала, доставляли ей удовольствие,— ведь радостно бывает скрыть от любимого свою самоотверженность. Ей приятно бывало вышивать для Этьена воротник и представлять себе, как сын ее будет хорош в этом воротнике. Она ни с кем не желала делить заботы об одежде, о белье, о всех уборах Этьена и духах для него. Сама она одевалась только ради него,— ей хотелось, чтобы мальчик всегда видел ее

красивой. Она была вознаграждена за все свои труды, за свою глубокую любовь, поддерживавшую жизненные силы сына. Однажды Бовулуар, оказавшийся прекрасным наставником, которого полюбило «пróклятое дитя» (Этьен знал также, какие услуги Бовулуар оказал его матери), опытный врач, испытующий взгляд которого вызывал трепет у Жанны всякий раз, как он осматривал ее хрупкого кумира, объявил, что Этьен может прожить долгие годы, если только какое-нибудь внезапное потрясение не подорвет его слабый организм. Этьену исполнилось тогда шестнадцать лет.

В этом возрасте рост его достиг пяти футов и дальше этого не пошел; но ведь и Жорж де Шаверни был среднего роста. Сквозь прозрачную и атласную, как у девушки, кожу у него просвечивали тончайшие жилки. Белизну ее можно было назвать фарфоровой. Взор голубых глаз, исполненных несказанной кротости, как будто молил о покровительстве,— этот трогательно молящий взгляд пленял и женщин и мужчин, а мелодичный голос довершал обаяние всего его облика, дышавшего тихой прелестью. Густые и длинные каштановые волосы, разделенные надо лбом ниточкой прямого пробора и завивавшиеся на концах шелковистых прядей, спускались до плеч. Бледность, впалые щеки и тоненькие морщинки на лбу говорили о пережитых с детства страданиях и вызывали жалость. Изящно очерченный рот блистал белоснежными зубами, губы складывались в кроткую улыбку, подобную той, что застывает на устах умирающего. Руки, белые, как у женщины, отличались прекрасной формой.

В часы долгих размышлений он обычно склонял задумчиво голову, напоминая тогда тепличное хилое растение, и такая поза очень шла ко всему его облику: как будто это был последний пленительный штрих, которым художник завершает портрет, раскрывает весь свой замысел. У этого юноши с таким слабым, чахлым телом было болезненное, но прелестное, как будто девичье лицо. Глубокие думы, в которых мы, как ботаники, собирающие богатую жатву, проходим по широким полям мысли, плодотворное сопоставление человеческих идей, восторг, которым наполняет нас совершенство гениальных творений, стали для мечтателя Этьена неисчерпаемым источником тихих радостей в его одинокой жизни. Он

полюбил цветы, очаровательные создания природы, участь коих имела большое сходство с его судьбою. Жанна радовалась невинным пристрастиям сына, предохранявшим его от резких столкновений с жизнью общества, которых он не выдержал бы, как не вынесла бы самая очаровательная рыбка-дорада, выброшенная океаном на песчаный берег, палящего взгляда солнца; и мать поощряла склонности Этьена, приносила ему итальянские песнопения, испанские романсеро, книги, стихи, сонеты. Библиотека кардинала д'Эрувиля перешла по наследству к Этьену, и чтение заполнило его жизнь. Каждое утро юношу встречали в его уединенном уголке красивые благоуханные растения с роскошной окраской. Чтение книг, которым он из-за хрупкого своего здоровья не мог долго заниматься, и прогулки между скалами чередовались у него с наивными размышлениями, когда он часами сидел перед веселыми пестрыми цветниками, собранием милых его друзей, или же, забравшись во впадину скалы, рассматривал любопытную водоросль, мох, морскую траву и изучал тайны их строения. Он искал рифму в душистом цветочном венчике, словно пчела, собирающая мед. Зачастую он просто любовался цветами, с безотчетным наслаждением разглядывая тонкие жилки, выделявшиеся на темных листьях, отмечая изящество богатого одеяния цветов, золотого или лазоревого, зеленого или лиловатого, разнообразнейшие и красивейшие вырезы цветочных чашечек и лепестков, их матовые или бархатистые ткани, разрывавшиеся при малейшем напряжении так же, как должна была разрываться его душа. Позже этот поэт и мыслитель постиг причину бесчисленного разнообразия одних и тех же созданий природы, открыл в нем доказательство драгоценных ее сил; ведь с каждым днем он делал поразительные успехи в истолковании божественного глагола, начертанного на всем сущем. Эти безвестные и упорные исследования в мире таинственных явлений внешне придавали его жизни дремотный характер, свойственный бытию гениальных созерцателей. Этьен целыми днями лежал на песке, счастливый, спокойный, и, неведомо для себя, воспринимал все, как поэт. Внезапно прилетевший золотистый жук, отблески солнца в океане, трепет, пробегавший по светлому зеркалу вод, красивая раковина, морской паук — все было со-

бытием, все радовало его невинную душу. Видеть, как вдали появляется мать, слышать приближавшийся шелест ее платья, ждать ее, обнимать, говорить с нею, слушать ее было для него такой радостью, так волновало его, что зачастую запоздание или самое легкое опасение вызывали у него жар и лихорадку. Он был весь — душа, и для того, чтобы слабое, хрупкое тело не разрушили жгучие волнения этой впечатлительной души, ему необходимы были тишина, ласка, мирный пейзаж и женская любовь. Сейчас любовь и ласку ему щедро дарила мать; среди скал всегда было тихо; цветы и книги вносили столько очарования в его уединенную жизнь; словом, его маленькое царство, состоявшее из песков и раковин, водорослей и зелени, казалось ему целым миром, всегда пленяющим свежестью и новизной.

Этьену пошло на пользу такое существование, глубокая его невинность и эта внутренняя нетронутость, поэтическая и широкая жизнь. Ребенок с виду, зрелый муж умом, он был ангельски чист и телом и душой. По воле матери занятия науками перенесли его волнения в область мысли. Вся его деятельность происходила тогда в нравственном мире, далеко от мира социального, который мог бы убить его или причинить ему мучительные страдания. Он жил душою и умом. Усвоив многие мысли человеческие путем чтения книг, он поднялся до той мысли, что движет материей, он чувствовал ее в воздухе, он читал ее начертанной в небе. Словом, он рано взошел на ту горную вершину, где мог найти тонкую пищу для своей души, пищу опьяняющую, но обрекавшую его несчастью — в тот день, когда к накопленным им сокровищам прибавятся богатства любовной страсти, внезапно вспыхнувшей в сердце. Иной раз Жанна де Сен-Савен страшилась этой будущей любовной бури, но тут же ей приносила успокоение мысль о печальной участи, предстоящей ее сыну: бедняжка не видела иного лекарства от страшной беды, кроме менее страшного несчастья. Каждая ее радость была полна горечи!

«Этьен будет кардиналом,— думала она,— будет жить любовью к искусствам, сделается их покровителем. Любовь к искусству заменит ему женскую любовь, и ведь искусство никогда не изменит».

Итак, радости страстного материнского чувства не-

престанно омрачались горькими мыслями о странном положении Этьена в родной семье. Оба сына герцога д'Эрувиля уже вышли из юношеского возраста, но до сих пор они еще не знали друг друга, ни разу друг друга не видели и даже не подозревали о существовании брата-соперника. Герцогиня долго надеялась, что в отсутствие мужа ей удастся соединить их узами братства, сделав сцену признания торжественной и душевной. Она так хотела вызвать у Максимильяна сочувствие к Этьену, сказав младшему брату, что он должен оказывать старшему больному брату покровительство и любить его за то отречение от своих прав, которое Этьен будет соблюдать свято, хотя оно и является вынужденным. Однако надежды, которые она долго лелеяла, рухнули. Мать уже не мечтала о сближении сыновей, теперь она даже больше боялась встречи Этьена с Максимильяном, нежели встречи Этьена с отцом. Максимильян, веривший только дурному, конечно, решил бы, что брат когда-нибудь потребует себе отнятые у него права, и, боясь этого, бросил бы Этьена в море с камнем на шее. Трудно было встретить сына, более непочтительного к матери. Едва только Максимильян стал способен рассуждать, он заметил, как мало уважения герцог питает к жене. Старик наместник лишь сохранял кое-какую внешнюю учтивость в обращении с герцогиней, а Максимильян, которого отец почти не сдерживал, причинял матери множество огорчений. И вот Бертран непрестанно следил за тем, чтобы младший брат никогда не столкнулся с Этьеном; впрочем, от Максимильяна тщательно скрывали, что у него есть старший брат. В замке все люди герцога от души ненавидели маркиза де Сен-Сэвер, как именовался Максимильян, и те, кто знал о существовании старшего брата, смотрели на Этьена как на мстителя, которого господь бог держит в запасе. Итак, будущность Этьена была сомнительной: может быть, его станет преследовать брат! У бедняжки герцогини не было родных, которым она могла бы доверить жизнь и защиту интересов своего обожаемого сына. А что, если Этьен, облаченный Римом в пурпуровую мантию, возжелает радостей отцовства, как она сама изведала счастье материнства? Эти мысли да и вся ее унылая, полная затаенных горестей жизнь были подобны затяжному недугу, плохо умеряемому мяг-

ким режимом. Сердце ее требовало тончайшей бережности, а между тем вокруг нее были люди жестокие, не ведавшие жалости. Какая мать не страдала бы непрестанно, видя, что ее старший сын, поистине человек высокого ума и высокой души, человек, в котором уже сказывались прекрасные дарования, лишен принадлежащих ему прав; тогда как младшему сыну, мерзкому негодяю, существу, не обладающему ни единым талантом, даже военным, предназначено носить герцогскую корону и быть продолжателем рода д'Эрувилей? Дом д'Эрувилей отрекся от славы своей! Кроткая Жанна де Сен-Савен была не способна проклинать, она могла лишь благословлять и плакать; но часто поднимала она глаза к небу и спрашивала у него отчета в столь странном его предначертании. Глаза ее наполнялись слезами, когда она думала о том, что после ее смерти Этьен совсем осиротеет и окажется во власти младшего брата, существа грубого, у которого нет ни стыда, ни совести. Подавленные душевные терзания, непозабытая первая любовь, никому не ведомое горе, ибо герцогиня таила от дорогого сына самые мучительные свои страдания, тоска, всегда омрачавшая ее радости, непрестанные муки подточили жизненные силы Жанны д'Эрувиль, и у нее развилась болезненная апатия, которая не только не уменьшалась, но все увеличивалась. Герцогиня чахла с каждым днем все больше, и наконец последний удар совсем доконал ее: она было попыталась объяснить герцогу весь вред его воспитания Максимильяна, муж оборвал ее; она ничего не могла сделать, чтобы уничтожить посеянные семена зла, которые уже дали ростки в душе ее младшего сына. Недуг ее вступил в такую стадию, что больная таяла на глазах, и тогда герцогу пришлось назначить Бовулуара врачом дома д'Эрувилей и Нормандского наместничества. Бывший костоправ переехал в замок. В те времена такие посты отдавали ученым, которые находили тут и досуг, необходимый для их трудов, и вознаграждение, необходимое для их нелегкого существования. С некоторых пор Бовулуар очень желал добиться этой должности, ибо его познания и его богатство вызывали зависть, и у него появилось много заядлых врагов. Несмотря на покровительство знатной семьи, воспользовавшейся его услугами в одном щекотливом деле, его недавно объявили заме-

шанным в каком-то преступлении, собирались судить, и только вмешательство наместника Нормандии, заступившегося за Бовулуара по просьбе герцогини, остановило преследование. Герцогу не пришлось раскаяться в могущественном своем покровительстве бывшему костоправу: Бовулуар спас маркиза де Сен-Сэвер от столь опасной болезни, что у всякого другого врача лечение кончилось бы неудачей. Но застарелый недуг герцогини исцелить было невозможно, тем более, что окружающие постоянно растравляли ее душевную рану. Вскоре жестокие страдания показали, что близится кончина этого ангела, которого тяжкая судьба подготовила к лучшей участи, и тогда у матери к думам о смерти примешалась мрачная тревога за сына. «Что станется без меня с Этьеном? Бедное дитя мое!» — вот горькая мысль, возникавшая ежечасно, словно вздымавшаяся волна.

А когда герцогиня слегла, она стала быстро клониться к могиле,— ведь ее лишили близости любимого сына, он не мог быть у ее изголовья по условиям договора, соблюдать который был обязан ради спасения жизни. Сын горевал не меньше, чем мать. Вдохновленный гениальной догадливостью, которой наделяют нас подавленные наши чувства, Этьен нашел тайный язык для своих бесед с матерью. Проверив все оттенки и силу своего голоса, как это сделал бы самый искусный певец, он приходил петь под окнами герцогини, если Бовулуар подавал ему знак, что около нее никого нет. Когда-то в детстве он утешал свою мать необыкновенно милыми, ласковыми улыбками; теперь, став поэтом, он утешал ее нежнейшими мелодиями.

— Эти песни вливают в меня жизнь! — говорила герцогиня Бовулуару, вдыхая воздух, в котором звучал голос Этьена.

Наконец настала минута расставания, с которой должна была начаться долгая скорбная пора в жизни проклятого сына. Уже не раз он находил некое таинственное соответствие между своими волнениями и движениями волн в океане. Занятия оккультными науками приучили его находить особый смысл в явлениях природы, и для него язык моря был более красноречив, чем для кого бы то ни было. В тот роковой вечер, когда ему предстояло навеки проститься с матерью, на море было вол-

нение, показавшееся ему каким-то необычайным. Океан бушевал, и открывавшаяся бездна как будто бурлила изнутри; вздымавшиеся волны разбивались о берег с мрачным гулом, зловещим, как вой собак, чующих бедствие. Этьен невольно сказал вслух:

— Да что ж он хочет от меня? Он весь содрогается и стонет, как живое существо! Матушка часто говорила мне, что в ту ночь, когда я родился, ужасная буря сотрясала океан. Что же случится сегодня?

Мысль эта не давала ему покоя, и, стоя у окна своей хижины, он устремлял взгляд то на окно опочивальни матери, где мерцал слабый огонек, то на океан и прислушивался к его непрестанным стонам. Вдруг тихонько постучался Бовулуар, и в дверях показалось его лицо, омраченное отсветом несчастья.

— Монсеньер,— сказал он,— герцогиня очень плоха и хочет проститься с вами... Приняты все предосторожности, чтобы с вами не случилось в замке никакой беды. Но надо все-таки остерегаться, ведь мы должны будем пройти через опочивальню герцога — ту самую комнату, где вы родились...

При этих словах слезы выступили на глазах Этьена, и он воскликнул:

— Океан сказал мне!..

Он машинально последовал вслед за лекарем до двери угловой башни, через которую поднялся Бертран в ту ночь, когда герцогиня родила проклятое дитя. Конюший уже поджидал их с фонарем в руке. Этьена провели в библиотеку кардинала д'Эрувиля, и там ему пришлось подождать вместе с Бовулуаром, пока Бертран отворит двери и посмотрит, может ли проклятый сын пройти без опасности для себя. Герцог не проснулся. Этьен и Бовулуар ступали легким шагом. В огромном спящем замке слышались лишь слабые стоны умирающей. Итак, обстоятельства, сопровождавшие рождение Этьена, повторялись при смерти его матери. Даже буря, даже смертельная тоска, даже страх разбудить безжалостного великана, который на этот раз спал очень крепко. Во избежание беды конюший взял Этьена на руки и пронес его через опочивальню грозного своего господина, решив, что если внезапно надо будет объяснить свое появление в спальных покоях, он сошлется на тяжелое состояние

герцогини. У Этьена тяжко щемило сердце, ему передавался страх, томивший обоих верных слуг, но это мучительное волнение, так сказать, подготовило его к печальному зрелищу, представшему перед его глазами в пышной опочивальне, куда он пришел в первый раз с того дня, когда отцовское проклятие изгнало его из дома Он окинул взглядом широкое ложе, к которому никогда не приближалось счастье, и среди складок богатых тканей с трудом рассмотрел свою любимую мать,— так она исхудала. Она лежала бледная как полотно, едва отличаясь восковой белизной лица от кружевных своих подушек, и с трудом переводила угасающее дыхание; собрав последние силы, она взяла сына за руки: ей хотелось излить всю душу в прощальном долгом взгляде, как некогда Шаверни в последнем прости завещал ей одной всю свою жизнь. Снова очутились вместе Бовулуар и Бертран, сын, мать и спящий отец; но вместо радости материнства пришла могильная скорбь, черный мрак смерти вместо света жизни. И в эту минуту вдруг разразилась буря, которую с заката солнца предвещал угрюмый рев моря.

— Жизнь моя! Цветик мой ненаглядный! — шептала Жанна де Сен-Савен, целуя сына в лоб.— Родила я тебя под завывания бури, и вот опять воет буря, а я ухожу от тебя. Меж двух этих бурь все было для меня жестокой бурей, кроме тех часов, когда я видела тебя. Вот и сейчас ты принес мне последнюю радость, пусть смешается она с последним моим страданием. Прощай, единственная любовь моя! Прощай, прекрасный образ двух душ, что скоро соединятся! Прощай, единственная моя радость, чистая радость! Прощай, мой любимый!

— Позволь мне уйти вместе с тобою! — молил Этьен, распростершись на постели матери.

— Так было бы лучше всего для тебя! — ответила она, и слезы покатились по ее бледному лицу,— ведь, как и прежде взгляд ее, казалось, прозревал будущее.

— Никто его не видел? — спросила она, взглянув на слуг.

В это мгновение герцог повернулся на своей постели. Все вздрогнули.

— Даже последняя моя радость отравлена! — сказала герцогиня.— Уведите его! Уведите!

— Нет, матушка, нет! Хоть еще минутку дай поглядеть на тебя, а потом умереть,— промолвил бедный юноша и лишился чувств. По знаку герцогини Бертран поднял Этьена на руки и показал его матери в последний раз. Она устремила на сына жадный взгляд. Бертран ждал, желая выслушать последнюю волю умирающей.

— Любите его! Любите крепко! — сказала она конюшему и лекарю.— У него нет иных заступников, кроме вас и господа...

Умудренная инстинктом, никогда не обманывающим матерей, она заметила, какую глубокую жалость внушал конюшему старший отпрыск могущественного дома д'Эрувилей, к которому Бертран питал глубочайшее почтение, как евреи к святому граду Иерусалиму. Что касается Бовуарa, то он уже давно был союзником герцогини. Обоих слуг растрогало, что умирающая их госпожа только им могла завещать заботу о своем высокородном сыне. В ответ оба они торжественным жестом обещали быть покровителями своего юного господина, и мать поверила этому безмолвному обещанию.

Несколько часов спустя, поутру, герцогиня скончалась. Самые забитые, обездоленные слуги оплакивали ее и вместо всяких речей говорили у ее могилы: «Уж такая славная была женщина, будто из рая на землю сошла».

Этьеном овладела глубокая и долгая скорбь, скорбь к тому же немая. Он больше не бродил в скалистых ущельях, у него не было сил ни читать, ни петь. Целыми днями он сидел, забившись во впадину скалы, равнодушный к ветрам и непогоде, сидел неподвижно, словно прирос к граниту, подобно мху, покрывавшему камень; плакал он очень редко, но весь поглощен был единой мыслью, огромной, беспредельной, как океан, и, как океан, эта мысль принимала тысячи форм, становилась то грозной, то бурной, то спокойной. Это было больше, чем горе,— для Этьена началась новая жизнь, неотвратимая беда постигла это прекрасное создание, которому уже не довелось улыбаться. Есть страдания, подобные алой крови, которая, брызнувши в ручей, лишь на краткое время окрасит прозрачную волну,— струя за струей, пробегая, восстановит чистоту воды; но у несчастного Этьена

замутился сам источник, и каждая волна времени приносила ему ту же долю горечи.

Бертран и в старости сохранял за собою обязанности конюшего, не желая утратить привычный свой вес в доме герцога. Жилище его находилось неподалеку от хижины, в которой отшельником жил Этьен, поэтому Бертран мог опекать осиротевшего юношу и делал это с неизменной искренней привязанностью, с простодушными хитростями — свойства, характерные для старых солдат. Сразу исчезала вся его суровость, когда он говорил с Этьеном; в дождливую погоду он осторожно подходил к нему и, оторвав его от мечтаний, уводил домой. Для него стало вопросом самолюбия заменить сыну умершую мать, и если старик не мог дать Этьену такой же любви, он по крайней мере окружил его такими же заботами. Жалость его походила на нежность. Этьен без ропота и без сопротивления переносил деспотические заботы слуги; но слишком много связующих нитей между проклятым сыном и другими людьми было порвано, чтобы в его сердце могла возродиться теплая привязанность. Он машинально позволял своему покровителю ухаживать за ним, потому что стал чем-то средним между человеком и растением, а может быть, между человеком и богом. С кем же еще сравнить существо, которому неведомы законы общества и фальшивые чувства света и которое сохраняет чудесную невинность сердца, повинуясь лишь безотчетным его велениям! И все же, несмотря на мрачную жизнь, в нем вскоре заговорила потребность любить, обрести вторую мать, родную душу; но он был отделен от света глухой стеной, ему трудно было встретить создание, которое так же походило бы на цветок, как он сам. Тщетно искал он кого-нибудь, кто стал бы его вторым я, человека, которому он мог бы доверить свои заветные мысли и кто жил бы единой с ним жизнью; в конце концов он стал искать сочувствия себе в морской стихии. Океан стал для него существом одушевленным, мыслящим. Всегда у него перед глазами была эта беспредельность, скрытые сокровища которой представляют такую резкую противоположность с красотами земли; он открыл в ней основу многих тайн. На берегу знакомой с колыбели водной равнины, море и небо говорили с ним, и эти немые беседы исполнены были див-

ной поэзии. Для него картина моря, казалось бы, столь однообразная, была бесконечно изменчивой. Как все люди, у которых душа господствует над телом, он обладал острым зрением и с поразительной легкостью, никогда не утомляясь, мог улавливать на огромном расстоянии самые беглые блики света, самую мимолетную рябь на поверхности воды. Даже при полном затишье он различал тысячи разнообразных оттенков морской шири; подобно женскому лицу, море имело свой особый характер, как будто его оживляли улыбки, отражение каких-то мыслей и причуд; тут оно было темно-зеленое и мрачное, здесь — лазурное и веселое; то блестящие его борозды сливались с темнеющей линией горизонта, то тихо колыхались под оранжевыми облаками. Великолепными, пышными празднествами были для него закаты солнца, когда багряные лучи как будто набрасывали на волны пурпуровый плащ. Среди дня, когда море трепетало, искрилось и в тысячах его граней ослепительно переливался солнечный свет, оно казалось веселым, игривым, задорным; но какую грусть навевало оно, какие слезы исторгало, когда, смиренное, тихое и унылое, оно отражало низкое, затянутое тучами серое небо. Океан говорил с юношей. Этьен постиг таинственный, безмолвный язык этого исполина. Приливы и отливы казались ему мелодичным дыханием, в котором каждый вздох выражал какое-либо чувство, и он понимал сокровенный смысл этих немых речей. Ни один моряк, ни один ученый не могли бы вернее его предсказать даже малейшее недовольство океана, самые легкие изменения его лика. По тому, как угасали волны, докатываясь до берега, он угадывал приближающуюся мертвую зыбь, качку, бури, шторм, силу прилива. Когда ночь протягивала по небу свои покрывала, Этьен и при сумеречном свете видел море и беседовал с ним; он участвовал в его многообразной жизни; когда море гневалось, в его душе поднималась настоящая буря, он вдыхал этот гнев в пронзительном дуновении ветра, он бежал наперегонки с пенными волнами, разбивавшимися о скалы тысячами брызг; он чувствовал себя таким же отважным и грозным, как море, и так же, как море, он, отбежав от берега, огромными скачками возвращался на прежнее место; так же, как море, он хранил мрачное молчание, подражал внезапным

порывам его милосердия. Словом, он сроднился с морем, море стало его наперсником и другом. Ранним утром, пробежав по мелкому блестящему песку, он поднимался на скалы и, посмотрев на море, тотчас узнавал, в каком оно расположении духа; зорким взглядом он окидывал весь морской пейзаж и, казалось, парил над водами, словно ангел, сошедший с неба. Если веселая, шаловливая белая дымка набрасывала на море прозрачную завесу, тонкую, как фата на челе невесты, он с радостью влюбленного следил за ее прихотливыми колыханиями; он восхищался, видя, как море поутру облекается в кокетливый наряд, словно женщина, которая встает с постели еще полусонная; он восторгался прелестной картиной, как супруг любуется красотой своей молодой жены, дарящей ему наслаждение. Сила мысли человеческой, сродни силе божественной мысли, утешала несчастного в его одиночестве; тысячеструйный родник фантазии чудесными вымыслами украшал его тесную пустыню и радовал его душу. В конце концов юноша стал угадывать во всех движениях волн морских тесную их связь с колесиками небесного механизма и провидел, что в природе все слито в единое гармоническое целое, начиная от былинки до светил, блуждающих в эфире, как семена, уносимые ветром и ищущие, где можно им прорасти. Чистый, как ангел, не ведающий тех мыслей, что унижают человека, простодушный, как ребенок, он жил, словно чайка, словно цветок, и богат был лишь сокровищами поэтического воображения и познаниями в дивной науке, плодотворную широту которой чувствовал только он один. Он представлял собою невероятное сочетание двух натур: то он в молитве возносился душой к небесам, то, смиренный и вялый, опускался до блаженного бездумного покоя сонного животного. Для него звезды были цветами ночи, солнце было ему отцом, птицы — друзьями. Повсюду он чувствовал душу своей матери, нередко видел ее в облаках; он говорил с ней, он поистине общался с ней языком небесных явлений; он слышал ее голос, радовался ее улыбке — словом, бывали дни, когда он как будто и не терял матери. Казалось, бог дал ему могущество древних отшельников, наделил его внутренним зрением, обострил в нем все органы чувств, дабы он мог проникать в самую суть вещественного мира. Он обла-

дал неслыханными нравственными силами и мог глубже, чем другие люди, постигать тайны нетленных творений. Его скорбь и память об умершей матери были как бы узами, соединявшими его с царством теней; вооруженный любовью, он шел туда на поиски матери, осуществляя в возвышенной гармонии экстаза символическое путешествие Орфея. Он уносился душою в будущее или в небеса, так же как с вершины любимой скалы пролетал он над океаном от одного края горизонта до другого. Но случалось также, что он забирался в глубокий, выдолбленный морем грот с прихотливо закругленными сводами с узким входом,— грот, напоминавший нору,— и когда лучи солнца, проникая сквозь щели, ласково пригревали его и освещали мягким светом красивые завитки мха, украшавшего это убежище, настоящее гнездо морской птицы, нередко бывало, что тут его охватывал непреодолимый сон. Только солнце, его повелитель, говорило ему, сколько времени он проспал, позабыв любимую картину моря, золотые свои пески и раковины. Лежа в этом гроте, он видел в мираже, сверкающем, как свет небесный, огромные города, о которых ему рассказывали книги, видел с удивлением, но без всякой зависти придворные празднества, королей, кровавые битвы, толпы людей, величественные здания. После этих грез наяву, среди бела дня, ему всегда еще дороже были нежные цветы, солнце и красивые гранитные утесы. Как будто некий ангел-хранитель, желая укрепить в нем склонность к уединению, открывал его взору нравственное падение людей и ужасы цивилизации. Он чувствовал, что в этом человеческом океане душа его быстро будет истерзана, раздавлена и погибнет в уличной грязи, словно жемчужина, выпавшая из диадемы какой-нибудь принцессы при торжественном въезде короля в столицу.

II. КАК УМЕР СЫН

В 1617 году, через двадцать пять с лишним лет после той ужасной ночи, когда появился на свет Этьен, герцог д'Эрувиль, уже старик семидесяти шести лет, дряхлый, разбитый недугами, едва живой, сидел на закате солнца в огромном кресле у стрельчатого окна своей

спальни, на том самом месте, где когда-то графиня огласила воздух слабыми звуками рога, тщетно взывая к людям и к небу о помощи. Герцог очень походил на каменную статую с гробницы какого-нибудь сеньора. Его энергичное лицо, с которого годы и страдания стерли отпечаток мрачной свирепости, было мертвенно-бледным, под стать седым как лунь волосам, длинными прядями обрамлявшим лысый желтый череп, казавшийся таким хрупким; блестящие, как у тигра, глаза все еще горели огнем воинственности и фанатизма, хоть и укрощенного религиозным чувством. Набожность придала что-то монашеское суровым чертам, выражение их смягчилось. Отсветы заката окрашивали мягкими красноватыми тонами эту все еще гордую голову. Слабое старческое тело закутано было в темные одежды, и вялая его поза, совершенная неподвижность так ясно говорили об однообразном, унылом существовании, о вынужденном покое, ужасном для человека, когда-то столь предприимчивого, деятельного, полного ненависти и энергии.

— Довольно,— сказал он своему капеллану.

Старик священник, читавший вслух евангелие, стоял перед своим повелителем в почтительной позе. Герцог напоминал старых львов в зверинце, одряхлевших, но все еще сохраняющих величавость; повернувшись к другому седовласому приближенному, он протянул ему исхудалую, покрытую редкими волосками, жилистую, но уже бессильную руку.

— Теперь твоя очередь, лекарь,— сказал он.— Проверь, в каком я нынче состоянии.

— Все идет хорошо, монсеньер. Лихорадка прекратилась. Вы проживете еще долгие годы.

— Как бы я хотел, чтобы Максимильян был здесь,— продолжал герцог, улыбаясь довольной улыбкой.— Сын у меня молодец! Уже командует отрядом аркебузиров в войсках короля. Маршал д'Анкр покровительствует ему, да и королева Мария к нему милостива: сделала его герцогом де Невером, а теперь думает сосватать ему какую-нибудь принцессу. Вот достойный продолжатель нашего рода. А какие чудеса отваги он совершил при нападении на...

В эту минуту вошел Бертран, держа в руке письмо.

— Что это? — нетерпеливо спросил старик герцог.

— Грамота от короля. Прислана с гонцом,— ответил конюший.

— От короля, а не от королевы-матери? — удивленно воскликнул герцог.— Что же там происходит? Уж не взялись ли опять за оружие гугеноты? Лик господень, пресвятые мощи! — И, выпрямившись, герцог обвел сверкающим взглядом троих стариков приближенных.— Ну что ж, я подниму опять своих солдат, и бок о бок с Максимильяном мы очистим Нормандию.

— Сядьте, пожалуйста, ваша милость, сядьте! — воскликнул лекарь, обеспокоенный горячностью старика, опасной для выздоравливающего больного.

— Читайте, мэтр Корбино,— сказал герцог, протягивая грамоту духовнику.

Четверо действующих лиц этой сцены являли собой весьма назидательную картину жизни человеческой. Конюший, священник и врач — старики, убеленные сединами,— стояли перед своим господином, сидевшим в кресле, и у каждого из них тусклый взгляд, которым они обменивались, выдавал какую-нибудь неотвязную мысль, из числа тех, что завладевают человеком на краю могилы. Ярко освещенные последним лучом заходящего солнца, эти молчаливые старцы представляли грустную и богатую контрастами картину. Темная торжественная опочивальня, где за двадцать пять лет почти ничего не изменилось, была красивым обрамлением этой поэтической страницы жизни, полной угасших теперь страстей, омраченной смертью, порабощенной религией.

— Маршал д'Анкр убит на Луврском мосту по повелению короля! Потом... Боже мой...

— Говори! — воскликнул герцог.

— Монсеньер, ваш сын, герцог де Невер...

— Что с ним?

— Умер.

Герцог уронил голову на грудь и тяжело вздохнул, но не промолвил ни слова. Трое приближенных молча переглянулись. Им казалось, что прославленный и богатый дом д'Эрувилей гибнет на их глазах, идет ко дну, как затонувший корабль.

— Всевышний выказывает мне черную неблагодарность! — произнес наконец герцог.— Видно, он не по-

мнит, сколько ратных подвигов я совершил во имя его святого дела!..

— Это кара божья! — строго сказал священник.

— Бросить в темницу дерзкого! — крикнул герцог.

— Меня-то вам легче заставить умолкнуть, чем свою совесть.

Герцог д'Эрувиль снова задумался.

— Род мой угаснет! Имя мое исчезнет! Нет, мне надо жениться, я хочу иметь сына! — сказал он после долгого молчания.

Как ни грустно было смотреть на герцога д'Эрувиля, лицо которого выражало глубокое отчаяние, лекарь невольно улыбнулся. В эту минуту послышалась песня: голос, свежий, как весенний воздух, чистый, как небо, пел песню, простую, как синь океана, она перекрывала рокот моря и летела ввысь, чаруя всю природу. Грустный напев, поэзия слов, прелестный голос проникали в сердце и как будто распространяли вокруг нежное благоухание. Мелодия возносилась к облакам, наполняла воздух, проливала целительный бальзам на душевные раны, вернее, утешала в скорбях, выражая их в чудесных звуках. Голос сливался с плеском волн так гармонично, как будто исходил из недр морских. Это пение ласкало слух стариков и было для них слаще, чем нежнейшие слова любви для слуха юной девушки: это пение пробуждало в их сердцах веру и надежду и звучало для них, словно голос ангела небесного.

— Что это? — спросил герцог.

— Соловушка наш поет,— ответил Бертран.— Не все еще потеряно ни для него, ни для нас.

— Кого ты называешь «соловушкой»?

— Да так мы прозвали вашего старшего сына, монсеньор,— ответил Бертран.

— Моего сына? — воскликнул герцог.— Так у меня есть сын? Кто-то носит мое имя и может передать его потомству? — Он встал с кресла и принялся ходить по комнате взад и вперед то медленным, то быстрым шагом; потом вдруг остановился и повелительным жестом выслал приближенных, оставив при себе лишь капеллана. На следующее утро герцог, опираясь на плечо старика конюшего, пришел на берег моря и долго бродил между скал, разыскивая своего сына, которого он когда-

то проклял. Наконец он увидел его вдалеке: Этьен беспечно грелся на солнышке, забравшись во впадину гранитного утеса; он лежал, положив голову на охапку мягкой травы, грациозно подогнув под себя ноги, и походил на отдыхающую ласточку. Лишь только высокая фигура старого герцога показалась на берегу и послышался глухой хруст гравия под его ногами, сливавшийся с рокотом волн, Этьен поднял голову, встрепенулся, словно испуганная птица, и, вскрикнув, исчез, будто скрылся в скале, словно мышь, юркнувшая в норку так проворно, что просто глазам не верится, была она тут или нет.

— Эх, лик господень, пресвятые мощи! — воскликнул герцог, подойдя к скале, у которой только что лежал его сын.

— Он там,— ответил Бертран, указывая на узкую расщелину, края которой были отполированы волнами высоких прибоев.

— Этьен! Возлюбленное дитя мое! — позвал старик.

Проклятый сын не откликнулся. Все утро герцог д'Эрувиль упрашивал, молил, угрожал, журил Этьена и не мог добиться никакого ответа. Порой он умолкал и, приложив ухо к расщелине, прислушивался, но ослабевшим своим слухом не мог уловить быстрый, глухой стук сердца в груди Этьена, гулко отдававшийся под сводами грота.

— Да жив ли он наконец? — вопрошал старик душераздирающим голосом. В полдень, дойдя до отчаяния, он снова прибегнул к мольбам.

— Этьен,— сказал он,— дорогой мой сын! Бог покарал меня за то, что я отверг тебя,— он лишил меня младшего сына, твоего брата. Ныне ты мое единственное, мое последнее дитя. Я люблю тебя, потому что люблю себя самого. Я признал свою ошибку,— я знаю, что в твоих жилах течет моя кровь и кровь твоей матери. Я виновник ее страданий. Прости меня, приди! Я постараюсь загладить свою вину, я буду лелеять тебя, ты заменишь мне все, что я потерял. Этьен, сейчас ты уже стал герцогом де Нивроном, а после моей смерти будешь герцогом д'Эрувилем, пэром Франции, кавалером ордена Золотого руна, военачальником, главным бальи Бессена, наместником короля в Нормандии, сеньором двадцати семи ленов, в которых насчитываются шестьдесят

девять селений с храмами, будешь маркизом де Сен-Сэвером. Ты женишься на дочери какого-нибудь владетельного принца. Ты станешь главой дома д'Эрувилей... Да что же ты молчишь? Ужели ты хочешь, чтобы я умер от горя? Приди, приди... Я буду стоять на коленях перед твоим тайником, пока не увижу тебя. Твой старый отец просит тебя. Видишь, я смирился перед тобою, как перед самим господом богом.

Проклятого сына не трогали эти сумбурные речи, эти мысли, полные непонятного ему тщеславия, ведь он жил в стороне от общества. Душа его замирала от невыразимого ужаса. Он молчал, и тоска терзала его. К вечеру старый герцог, исчерпав всю силу красноречивых слов, жалостных молений, горького раскаяния, пришел в какой-то экстаз покаянного сокрушения и воззвал к помощи религии. Он преклонил на песке колена и произнес такой обет:

— Клянусь воздвигнуть часовню святому Иоанну и святому Этьену, покровителям моей жены и моего сына, клянусь внести вклад на сто обеден с молебном богоматери, если только господь бог и святые угодники возвратят мне сына моего, монсеньера герцога де Ниврона, здесь присутствующего!..

Стоя на коленях, он смиренно сложил руки и погрузился в молитву. Однако его сын, его надежда, наследник его имени все не показывался, и тогда из глаз старика, так долго не плакавших, полились слезы, стекая по его увядшим щекам.

В эту минуту Этьен, не слыша больше его голоса, подполз к отверстию своей пещеры, словно молодой уж, стосковавшийся по солнцу, и, увидя слезы убитого горем старика, внял немому языку скорби. Он схватил руку отца и поцеловал ее, сказав с ангельской кротостью:

— Матушка, прости!

Не помня себя от счастья, наместник Нормандии схватил в объятия и понес на руках своего хилого наследника, дрожавшего, словно похищенная девушка. Чувствуя, как он трепещет, отец пытался успокоить его тихими поцелуями, касаясь устами его лица осторожно, словно то был нежный цветок, и для проклятого сына у него нашлись ласковые слова, которых он еще никогда не произносил.

— Истинный бог, как ты похож на бедную мою Жанну, дорогое дитя! — говорил он.— Ты только скажи мне, чего тебе хочется, я тебе подарю все, все, что пожелаешь. Только поправляйся, будь здоровым, будь крепким. Я научу тебя ездить верхом, дам тебе лошадку смирную и красивую, ведь ты у меня такой тихий, такой ты у меня красавец! Никто не посмеет ни в чем перечить тебе. Лик господень, пресвятые мощи! Все будут склоняться перед твоей волей, как тростник перед ветром. Я дам тебе полную власть в нашем замке. Я и сам буду тебе повиноваться как богу всего нашего рода...

Вскоре отец уже был с сыном в парадной опочивальне, где протекала печальная жизнь Жанны д'Эрувиль. Этьен вдруг подошел к окну этого покоя, где началась его жизнь, к тому самому окну, из которого мать подавала ему знаки, возвещая, что его преследователь уехал. А теперь, неизвестно почему, этот враг стал вдруг его рабом, словно те страшные великаны в сказках, которым волшебник силой своей магической власти приказывал служить юному принцу. Волшебником этим оказался феодализм. Увидев сумрачную комнату, из окна которой его младенческий взор приучался созерцать океан, Этьен взволновался, и на глазах у него выступили слезы: вдруг вспомнились ему долгие годы страданий, вспомнилась и светлая радость, которую он изведал в единственной дозволенной ему любви, беспредельной любви матери. В сердце его словно зазвучали мелодичные строки некоей поэмы, чудесной и вместе с тем страшной. Движения души этого юноши, привыкшего к восторженному созерцанию природы, как другие привыкают к светской суете, не походили на обычные волнения людей.

— Будет ли он жить? — спросил старый герцог, поражаясь телесной слабости своего наследника, на которого он, к собственному своему удивлению, боялся теперь дохнуть.

— Жить я могу только здесь,— просто сказал Этьен, услышав отцовский вопрос.

— Прекрасно, пусть это будет твоя опочивальня, дорогое мое дитя.

— Что там такое? — спросил молодой д'Эрувиль, услышав голоса обитателей замка, которых герцог собрал

в кордегардии, желая представить им своего сына. Он заранее уверен был в успехе этой церемонии.

— Пойдем,— сказал отец и, взяв Этьена за руку, повел его в большой зал. В те времена герцоги и пэры Франции, имевшие такие владения, как герцог д'Эрувиль, и такие, как у него, должности да еще права королевских наместников, жили не хуже принцев крови; младшие представители знатных родов не гнушались служить им; у них был свой двор и свои офицеры; первый лейтенант его личного военного отряда занимал то положение, какое отводится теперь адъютанту маршала. Несколько лет спустя кардинал Ришелье обзавелся отрядом телохранителей своей особы. Многие принцы, состоявшие в родстве с королевской фамилией,— Гизы, Конде, Неверы, Вандомы — имели своих пажей, которых они выбирали из лучших домов,— последний уцелевший обычай умершего рыцарского уклада. Огромное состояние и древность нормандского рода д'Эрувилей, на каковую указывала и сама фамилия (herus villa — дом предводителя), позволяли герцогу не уступать в пышности богачам дворянам, куда менее знатным, чем он,— Эпернонам, де Линь, Баланьи, д'О, Заме, на которых тогда смотрели, как на выскочек, что не мешало им жить по-княжески. Для Этьена оказалось чрезвычайно внушительным зрелищем это собрание людей, состоявших на службе у его отца. Герцог д'Эрувиль поднялся по ступенькам на помост, где под резным деревянным навесом стояло высокое кресло: с таких «тронов» в некоторых провинциях выносили свои приговоры сеньоры, еще вершившие суд в своих владениях,— один из тех обычаев феодализма, которые исчезли в правление Ришелье. Эти своеобразные троны, похожие на деревянные резные скамьи, которые ставятся для знатных прихожан посредине церкви, стали теперь предметом любопытства. Когда Этьен очутился на помосте возле старика отца, он затрепетал, заметив, что на него устремлены все взоры.

— Не бойся,— шепнул герцог, склоняя лысую голову к уху своего сына,— ведь это все наши люди.

В полумраке, царившем в зале, который слабо освещало заходящее солнце, окрасившее багрецом узкие стрельчатые окна, Этьен заметил бальи, вооруженных капитанов и лейтенантов, явившихся в сопровождении

нескольких солдат, увидел конюших, капеллана, писарей, лекаря, дворецкого, приставов, эконома, егерей, псарей, загонщиков, всю челядь и всех лакеев. Хотя все стояли в почтительных позах, ибо старик герцог внушал страх даже самым значительным особам, жившим под его властью в замке или в его провинции, в зале стоял глухой гул тихих разговоров, вызванных скукой ожидания и любопытством. От этого гула сердце Этьена сжалось, впервые он дышал спертым воздухом комнаты, где собралось так много людей, и это болезненно подействовало на него, ибо он привык на берегу моря к чистому и здоровому воздуху,— подействовало очень быстро, что говорило о необычайной тонкости его органов чувств. Грудь его сотрясалась от ужасного сердцебиения, вызванного, вероятно, каким-то органическим недостатком в строении сердца, а тем временем старик герцог, обязанный показаться собравшимся, поднялся, как старый лев, и произнес торжественным тоном следующую краткую речь:

— Друзья, вот мой сын Этьен, мой первенец и законный мой наследник, герцог де Ниврон. Король, несомненно, передаст ему должность, которую занимал его покойный брат. Представляю вам его, дабы вы знали его и повиновались ему, как мне самому. Предупреждаю: если кто-либо из вас или жителей провинции, коей я управляю, в чем-нибудь не угодит молодому герцогу или в чем-либо вздумает перечить ему - да я о сем узнаю, то лучше было бы тому наглецу и на свет не родиться... Все слышали? А теперь займитесь своими делами, и да благословит вас бог... Похороны Максимильяна д'Эрувиля состоятся здесь, когда тело привезут в замок. Неделю в доме будет траур. А затем мы отпразднуем вступление моего сына Этьена в свои наследственные права.

Раздались громовые крики, от которых задрожали стены:

— Да здравствует герцог! Да здравствует дом д'Эрувилей!

Слуги принесли факелы, чтобы осветить зал. Эти крики, этот яркий свет, впечатление от отцовской речи и пережитые в тот день волнения совсем ошеломили юношу, он рухнул в кресло, оставив свою тонкую, как у женщины, руку в большой руке отца. Герцог знаком подозвал лейтенанта своего отряда и сказал ему:

— Ну вот, барон д'Артаньон, я рад, что утрата моя не оказалась незаменимой. Подойдите, познакомьтесь с моим сыном.

Но вдруг отец почувствовал, что рука сына похолодела в его руке, взглянул на герцога де Ниврона и, подумав, что он умер, испустил вопль ужаса, напугавший всех собравшихся.

Бовулуар взбежал на помост, поднял юношу на руки и унес, сказав своему господину:

— Вы убили сына. Надо было подготовить его к этой церемонии.

— Но если он такой, у него, значит, не может быть детей! — воскликнул герцог, проследовав за Бовулуаром в парадную опочивальню, где лекарь уложил молодого наследника в постель.

— Ну как, лекарь? — с тревогой спросил отец.

— Ничего, все пройдет,— ответил Бовулуар, указывая своему господину на Этьена, уже ожившего от сердечного лекарства, которое врач накапал для него на кусочек сахару, вещества нового и драгоценного, продававшегося в аптеках на вес золота.

— На, возьми, старый плут,— сказал герцог, протягивая Бовулуару свой кошелек.— Да, смотри ходи за моим сыном, как за наследным принцем! Если он умрет по твоей вине, я тебя сожгу на костре.

— Вот что... Будьте помягче, а не то герцог де Ниврон умрет по вашей вине,— резко сказал врач.— Оставьте его, он сейчас уснет.

— Спокойной ночи, любовь моя! — тихо промолвил старик, целуя сына в лоб.

— Спокойной ночи, отец,— ответил юноша, и при этих словах герцог вздрогнул, ибо Этьен впервые назвал его отцом.

Герцог взял Бовулуара под руку, увел в соседний покой и, втолкнув в амбразуру окна, сказал:

— Ну-ка, старый костоправ, посчитаемся!

В ответ на эту угрозу, которая была любимой шуточкой герцога, врач улыбнулся,— он уже давно не занимался костоправством.

— Ты ведь знаешь,— продолжал герцог,— я тебе зла не желаю. Ты два раза принимал ребенка у моей жены, ты вылечил моего сына Максимильяна от тяжкого недуга,

и, кроме того, ты состоишь при моем дворе. Максимильян, бедное мое дитя! Я отомщу за него. Уж я разыщу того, кто его убил! Но все будущее славного рода д'Эрувилей в твоих руках, лекарь. Я хочу женить Этьена, и немедля. Только ты один можешь знать, хватит ли у этого недоноска силы произвести на свет маленьких д'Эрувилей... Понял, Бовулуар? Ну, как ты думаешь?

— Его жизнь на берегу моря была так чиста и целомудренна, что здоровье у него окрепло, а живи он в вашем мире, ему бы несдобровать. Но Этьен юноша очень чувствительный, тело его — покорный слуга души. Монсеньер, он должен сам выбрать себе жену, а не по вашему повелению, и все тогда пойдет согласно природе человеческой. Он будет любить простодушно и, повинуясь сердечному влечению, сделает то, что вы требуете от него ради вашего имени. Дайте ему в жены знатную разряженную дылду,— он убежит и спрячется в своих пещерах. Скажу более: его может убить не только сильный и внезапный страх, но избыток счастья тоже оказался бы гибельным для него. Во избежание такой беды, по-моему, лучше всего предоставить Этьену самому, по своему желанию и выбору, найти себе подругу. Послушайтесь меня, монсеньер. Хотя вы большой и могущественный человек, но в таких делах вы ничего не понимаете. Лучше окажите мне неограниченное доверие, и у вас будет внук.

— Добейся любым колдовством, чтоб у меня был внук, и я сделаю тебя дворянином. Хоть это и трудно, старый плут, но ты станешь бароном Форкалье. Все пусти в ход — огонь и воду, черную и белую магию, молебны в церкви и свистопляску на шабаше, только добейся, чтоб у меня было мужское потомство — и благо тебе будет!

— Беда только, что вы сами способны устроить шабаш, и ваше колдовство может все испортить. Я вас хорошо знаю: вам ведь вынь да положь потомство мужского пола, подай немедленно. Вы завтра же вздумаете определить, в каких условиях должны у вас появиться внуки, и будете мучить сына.

— Боже меня упаси!

— Ну так вот, отправляйтесь к королевскому двору. Из-за смерти маршала и освобождения короля от опеки

там, верно, идет ужасная кутерьма. У вас там, конечно, найдутся дела,— ну хотя бы добивайтесь получения обещанного вам маршальского жезла. А мне предоставьте руководить монсеньером Этьеном. Но дайте слово дворянина, что вы ни в чем решительно препятствовать мне не будете.

В знак полного своего согласия герцог ударил с Бовулуаром по рукам и удалился в свои покои.

Когда дни высокопоставленного и могущественного старика вельможи сочтены, врач становится важной особой в его доме. Не следует поэтому удивляться, что Бовулуар запросто обращался с герцогом д'Эрувилем. Помимо уз побочного родства, которыми женитьба связала лекаря с его господином и которые шли ему на пользу, герцог так часто на опыте убеждался в здравом смысле ученого лекаря, что сделал его своим любимым советником. Бовулуар занял при нем такое же положение, как Койктье при Людовике XI. Но как бы высоко герцог ни ценил его познания, врач не мог оказывать на губернатора Нормандии, в котором не угасала свирепость вожака религиозных войн, такое же влияние, как весь уклад феодализма. Лекарь догадывался, что в душе герцога предрассудки дворянина борются с чувствами отца. Бовулуар, будучи действительно крупным врачом, понял, что при столь тонкой душевной организации, как у Этьена, женитьба должна быть следствием постепенного развития сладостного влечения, которое сообщит ему новые силы, вдохнув в него любовный пламень. Как он и говорил герцогу, навязать Этьену нелюбимую жену — значило убить его. В особенности следовало остерегаться того, чтоб этот юный отшельник, ничего не знавший о тайнах брака, стал их бояться и чтоб ему было известно, чего хочет от него отец. Этьен, безвестный поэт, допускал только благородную и красивую любовь, как у Петрарки к Лауре, как у Данте к Беатриче. Подобно покойной своей матери, он весь был — чистая любовь, весь — светлая душа; надо было дать ему возможность полюбить, ждать этого события, а не предписывать его. От приказа иссякли бы в нем источники жизни.

Мэтр Антуан Бовулуар был отцом, у него имелась дочь, воспитанная почти в тех же условиях, что и сам Этьен, будто ее готовили в жены ему. Так трудно было

предвидеть события, которые юношу, предназначавшегося для сана кардинала, сделали вдруг признанным наследником герцога, главой рода д'Эрувилей, что Бовулуар никогда не задумывался над сходством судьбы Этьена и Габриеллы. Мысль эта внезапно пришла лекарю в голову, и ее подсказала ему скорее преданность этим двум юным созданиям, нежели честолюбие. Несмотря на все его искусство акушера, жена Бовулуара умерла в родах, оставив после себя дочь, девочку такого слабого здоровья, что, казалось, мать передала ей зачатки смерти. Бовулуар любил Габриеллу, как любят все старики отцы единственное свое дитя. Его врачебные познания и неустанные заботы искусственно поддерживали жизнь в этой хрупкой девочке, которую он лелеял, как садовод лелеет чужеземный цветок. Она росла вдали от посторонних глаз, в его имении Форкалье, и от бедствий того времени ее защищала всеобщая благожелательность к ее отцу, ибо каждый должен был поставить свечу за лекаря Бовулуара, и к тому же могущество его научных познаний внушало всем нечто вроде почтительного страха. С тех пор как он вступил на службу д'Эрувиля, возросла неприкосновенность, которой он пользовался в провинции: положение приближенного при особе грозного наместника избавило его от преследований врагов; но, поселившись в замке, он благоразумно поостерегся привезти с собой Габриеллу, тепличный цветок, который он тайком растил в Форкалье, владении более примечательном прекрасными землями, чем жилым домом; лекарь рассчитывал, что благодаря этому имению ему удастся устроить судьбу дочери сообразно своим планам. Пообещав старому герцогу потомство от Этьена и взяв с него слово ни в чем ему, Бовулуару, не мешать, он вдруг вспомнил о Габриелле, кроткой девочке, мать которой была позабыта герцогом так же, как позабыл этот деспот своего сына Этьена. Бовулуар дождался его отъезда и лишь тогда принялся осуществлять свои планы, ибо предвидел, что, знай о них герцог, громадные трудности, стоявшие на пути к успеху, стали бы непреодолимыми.

Дом Бовулуара, обращенный фасадом на юг, стоял на склоне одного из холмов, окружающих нормандские долины; с севера его прикрывал густой лес; высокий за-

бор и живые изгороди, окаймленные глубокими рвами, представляли собою неприступную ограду. Сад, разбитый на пологом скате, спускался к реке, орошавшей поемные луга на низменном берегу, а на высоком берегу уступ, укрепленный двумя рядами деревьев, был как бы естественной пристанью. На этом уступе, вдоль излучины реки, извивалась в тени густых ив, буков и дубов скрытая от глаз дорожка, похожая на лесную тропинку. От дома и вплоть до берега шли густые заросли растений, свойственных этим плодородным краям, и прекрасные их массивы, подобные коврам чудесной раскраски, были окаймлены рядами деревьев редких пород; в одном месте нежные тона серебристой ели красиво выделялись на темной зелени ольхи, а в другом — перед купой старых дубов тянулся к небу острой верхушкой стройный пирамидальный тополь; подальше плакучие ивы склоняли свои ветви с бледной листвой меж округлых крон ореховых деревьев. Эта густолиственная древесная кайма позволяла в самые знойные часы дня дойти до реки, не боясь палящих лучей солнца. С фасада, перед которым желтой полосой тянулась посыпанная песком площадка, комнатам давала тень деревянная галерея, окутанная плащом из вьющихся растений, которые в мае месяце закидывали свои цветы до окон второго этажа. Сад был не так уж велик, но казался огромным благодаря умелому расположению рассекавших его аллей, и виды, открывавшиеся из верхней его части, гармонически сочетались с широкими просторами на другом, низменном берегу, который взгляду ничто не мешало обозревать свободно. По безотчетной прихоти мысли Габриелла могла то укрыться в уединенном уголке и не видеть ничего, кроме густой травы да синевы небес меж верхушками деревьев, или же, поднявшись вверх по аллее, любоваться богатой панорамой, следить за оттенками растительности на гряде холмов, от ярко-зеленых на первом плане до нежно-дымчатых на горизонте, сливавшихся с голубым океаном воздуха и с проплывавшими в небе белыми горами облаков.

Габриелла жила, окруженная заботами старухи бабушки и своей кормилицы, и выходила из скромного отцовского дома только в приходскую церковь, колокольня которой виднелась на вершине холма, да и то в цер-

ковь ее всегда сопровождали бабушка, кормилица и отцовский слуга. Так достигла она семнадцати лет, пребывая в сладостном неведении жизни, которое девушкам нетрудно было хранить в те времена, когда книги были редкостью и образованные женщины представляли собою явление необычайное. Уклад в доме Бовулуара напоминал монастырский, только свободы было больше, да не было обязательных молитв; Габриелла жила спокойно под надзором благочестивой старушки и под покровительством отца, единственного мужчины, которого она видела. Она росла с колыбели в уединении, и Бовулуар тщательно его оберегал. Такому слабенькому ребенку был необходим покой и тишина. Заботливый уход близких и чистый морской воздух оказывали благотворное действие, и, достигнув юношеского возраста, хрупкая девочка окрепла. Однако столь сведущий врач, как Бовулуар, не мог обманываться, видя, как личико Габриеллы, пленительное перламутровой белизной, то бледнеет, то заливается краской, то все темнеет под влиянием волнующих ее чувств. Долгий опыт говорил ему, что все это — безошибочные признаки телесной слабости и силы души; кроме того, небесная красота Габриеллы заставляла его опасаться посягательств на нее, весьма обычных во времена насилий и мятежей. Словом, у любящего отца было множество оснований усиливать мрак тайны и уединения вокруг своей дочери, крайняя чувствительность которой его пугала: картина буйных страстей, грабежа, вооруженного нападения нанесла бы ей смертельную душевную рану. Хотя и редко случалось, что Габриелла давала повод пожурить ее, но достаточно было одного укоризненного слова, чтобы привести ее в жестокое смятение; она не могла забыть упрека и, затаив обиду в глубине сердца, погружалась в грустную задумчивость, уходила куда-нибудь поплакать и плакала долго. Итак, духовное развитие Габриеллы требовало не меньше забот, чем ее физическое развитие. Старому лекарю пришлось отказаться от волшебных сказок, которые так любят слушать дети,— они слишком волновали впечатлительную девочку. И вот старик, умудренный долгим жизненным опытом, старался развить у своей дочери телесные силы, чтобы ослабить удары, которые наносила им слишком чувствительная душа.

Габриелла была всей его жизнью, беспредельной его любовью, единственной его наследницей, и он не жалел ничего, чтобы достать для нее те вещи, которые могли способствовать желанным ему результатам. Он сознательно отстранял книги, картины, музыку, все произведения искусства, которые будят мысль. При содействии своей матери он старался заинтересовать Габриеллу ручным трудом. Ей полагалось ткать гобелены, шить, плести кружева, выращивать цветы, хлопотать по хозяйству, собирать созревшие ягоды и фрукты в саду,— вот что должно было давать пищу уму этой прелестной девушки; Бовулуар привозил ей красивые прялки, лари искусной работы, богатые ковры, цветную майолику Бернара Палисси, мозаичные столы, красивые скамеечки для коленопреклонений на молитве, кресла резного дерева, обитые драгоценными тканями, вышитое белье, драгоценности. Руководствуясь верным чутьем любящего отца, старик всегда дарил дочери такие изделия, на которых орнамент носил характер фантастический, принадлежал к числу так называемых арабесок, ничего не говоривших ни уму, ни сердцу, а просто доставлявших удовольствие изобретательностью фантазии. Странное дело! Затворнический образ жизни, который Этьену д'Эрувилю был навязан ненавистью отца, Бовулуар предписал своей дочери из горячей любви к ней. Оба эти юные существа были слабы физически, и душа могла убить в них тело; если б не глубокое уединение, в котором Этьен жил по воле случая, а Габриелла по требованиям врачебной науки, оба они могли погибнуть: юноша под гнетом ужаса, а девушка, не выдержав слишком живых волнений любви. Но увы! Габриелла родилась не в стране каменистых степей и зарослей вереска, на лоне скудной природы, поражающей взгляд застывшими суровыми очертаниями пейзажа, который все великие художники писали в виде фона, создавая своих богоматерей,— нет, Габриелла жила в плодородной равнине, богатой сочной растительностью. Бовулуар не мог уничтожить гармонического расположения естественных рощ, изящного устройства цветников, мягкого зеленого ковра свежих трав и символов любви, выраженных в сплетении вьющихся растений. У этой живой поэзии был свой язык, к которому Габриелла прислушивалась, еще плохо его понимая, ко-

гда отдавалась смутным мечтам в тенистом отцовском саду, прогуливаясь в погожие дни, любуясь пейзажем, красота которого была такой изменчивой в зависимости от времени года и от колебаний воздуха на этом морском побережье, где тают последние туманы Англии и начинается светлое небо Франции; все тут навевало ей неясные грезы, но постепенно сквозь них как будто забрезжил далекий свет, занялась заря, разгоняя мрак, в котором ее держал отец.

Бовулуару не удалось также освободить Габриеллу от любви к богу: восхищение природой сочеталось у нее с восхищением творцом; чувства девушки устремлялись на первый путь, открытый женскому сердцу: она любила бога-отца, любила Иисуса, богоматерь и святых, любила церковь и пышные богослужения, она была католичкой наподобие святой Терезы, видевшей в Иисусе небесного супруга, навеки вступившего с нею в брак. Но этой любви, захватывавшей страстные натуры, Габриелла предавалась с трогательным простодушием, и детская наивность ее речей обезоружила бы самого закоренелого циника.

Но куда же ее вела столь невинная жизнь? Как просветить душу чистую, словно вода прозрачного тихого озера, доселе отражавшего лишь небесную лазурь? Какие образы написать на этом нетронутом белом холсте? Вокруг какого дерева обвить расцветшие белоснежные колокольчики этой повилики? Задумываясь над такими вопросами, отец всегда испытывал невольный внутренний трепет. И вот добрый старик ехал теперь к дочери на своем муле так медленно, словно хотел, чтобы никогда не кончалась эта дорога от замка Эрувиль до Уркама, как называлась деревня, близ которой находилось его имение Форкалье. Беспредельная любовь к дочери подсказала ему дерзкий замысел. Лишь один человек в мире мог дать ей счастье,— и этим человеком был Этьен. Конечно, ангельски чистый юноша, сын Жанны де Сен-Савен, и невинная девушка, дочь Гертруды Морана, были родственными душами. Всякая другая женщина, кроме Габриеллы, отпугнула бы Этьена, близость с нею убила бы наследника герцога д'Эрувиля; так же, как и Габриелла, думалось Бовулуару, погибла бы, если бы ей дали в мужья человека, у которого и наружность и чув-

ства не имели бы девственной чистоты, отличавшей Этьена. Разумеется, бедняга лекарь никогда и не помышлял о таком союзе, лишь по воле случая брак этот становился возможным и даже необходимым. Но подумайте только, в царствование Людовика XIII добиться от герцога д'Эрувиля согласия, чтобы единственный его сын женился на дочери какого-то нормандского костоправа! А между тем лишь в этом браке у Этьена могло появиться потомство, которого так властно требовал старый герцог. Сама природа предназначила друг для друга эти прелестные создания, бог сблизил их путем невероятного сочетания обстоятельств, тогда как взгляды и законы людей вырыли между Этьеном и Габриеллой непреодолимую пропасть. Хотя старик Бовулуар видел в возможности брачного союза меж ними перст божий и помнил, какое обещание он вырвал у герцога, его охватил страх при мысли о ярости этого необузданного деспота, и он готов был повернуть обратно, когда въехал на вершину холма напротив Уркама и заметил за деревней на склоне другого холма дымок, поднимавшийся над кровлей его дома, скрытого деревьями сада. Однако он приободрился, вспомнив о своем побочном родстве с герцогом,— обстоятельстве, которое могло благоприятно подействовать на расположение духа его господина. И Бовулуар решил не отступать, положившись на судьбу,— ведь герцог мог умереть до свадьбы Этьена, и к тому же имелись примеры весьма неравных браков: не так давно крестьянка из провинции Дофине, Франсуаза Миньо, вышла замуж за маршала де Лопиталя; сын коннетабля Анн де Монморанси женился на Диане, незаконной дочери Генриха II и пьемонтской красавицы по имени Филиппа Дюк.

Пока любящий отец предавался этим размышлениям, учитывая в них все возможности, обсуждая все шансы на успех, всю опасность неудачи, и строил предположения о будущем, взвешивая все обстоятельства, Габриелла прогуливалась по саду и рвала цветы, намереваясь поставить их в вазы, творения знаменитого керамиста, который в фаянсовых изделиях совершал такие же чудеса с цветной глазурью, каких Бенвенуто Челлини достигал чеканкой драгоценных металлов. Одну из этих ваз, украшенную выпуклыми изображениями жи-

вотных, Габриелла поставила на стол посреди зала и принялась наполнять ее цветами, чтобы порадовать бабушку, а, может быть, также и для собственного удовольствия. Когда цветы были окончательно подобраны, вставлены в большую вазу так называемого лиможского фаянса, а ваза поставлена на стол, накрытый дорогой скатертью, Габриелла сказала: «Посмотри, бабушка!» — и тут вошел Бовулуар. Дочь бросилась в его объятия. После первых излияний нежности Габриелла потребовала, чтобы отец полюбовался ее букетом; но, посмотрев на цветы, отец устремил на дочь пристальный взгляд, заставивший ее покраснеть.

«Пора!» — подумал он, поняв язык этих цветов,— букет, несомненно, был составлен обдуманно, каждый цветок, отборный и по форме и по цвету, находился в таком сочетании с соседними цветами, что производил волшебное впечатление.

Габриелла стояла перед отцом, нисколько не думая о цветке, который она начала вышивать на пяльцах. Бовулуар залюбовался дочерью; слезы покатились из его глаз по круглому лицу, еще с трудом принимавшему серьезное выражение, и падали между бортами распашного камзола на белоснежную сорочку, выпущенную по тогдашней моде над поясом сборками. Бросив на стул фетровую шляпу с красным старым пером, он нервно потирал рукой свою плешивую голову. Он не сводил глаз с дочери, стоявшей перед ним в этом зале, где на потолке выступали темные балки мореного дуба, стены обтянуты были тисненой кожей, где все шкафы, лари, столы и кресла были из черного дерева, на дверях висели портьеры из плотного шелка, а высокий камин был настоящим украшением комнаты; любуясь своей Габриеллой, озаренной мягким светом, старик радовался, что дочь еще принадлежит ему, и утирал влажные от слез глаза. Любящему отцу всегда хочется, чтобы его дети оставались маленькими и не разлучались бы с ним; и если отец не испытывает глубокого горя, когда дочь его переходит под власть мужа, значит, он не способен на высокие чувства и легко может опуститься до низменных расчетов.

— Что с тобой, сын мой? — спросила старуха мать, снимая очки и вглядываясь в лицо Бовулуара,— она

старалась разгадать причины необычной молчаливости своего сына, всегда такого благодушного и веселого человека.

Лекарь указал рукой на дочь, и старушка с довольной улыбкой закивала головой, словно хотела сказать: «Да, да, она у нас очень мила!»

Кто бы не залюбовался дочерью Бовулуара, чью красоту выгодно подчеркивал наряд того времени и нежный румянец, которым ее наделил свежий воздух Нормандии! На девушке был корсаж, спереди спускавшийся мысом, но с прямой спинкой; именно в таком корсаже итальянские художники изображали своих святых мучениц и мадонн. Изящный этот корсаж из небесно-голубого бархата, такого же красивого оттенка, как одеяние стрекозы, что проносится над водой, обтягивал талию как влитой, чуть-чуть сжимая ее и обрисовывая прелестные формы с четкостью, достойной кисти искуснейшего художника; у шеи он заканчивался продолговатым вырезом, окаймленным легкой вышивкой, сделанной шелком светло-коричневого цвета, и обнажавшим плечи ровно настолько, чтобы показать красоту женщины, но недостаточно для того, чтобы возбуждать чувственные желания. Светло-коричневая юбка, покроем своим продолжавшая линии, намеченные бархатным лифом, ниспадала до полу мелкими и как будто заглаженными складками. Фигура была так стройна, что Габриелла казалась высокой. Бессильно опустив тонкие ручки, она стояла неподвижно, и вся ее поза говорила о глубокой задумчивости. В эту минуту она казалась живым образцом наивных шедевров скульптуры, создававшихся в те времена,— изваяний, поражающих изяществом прямых, но совсем не жестких линий и твердостью в очертаниях тела, отнюдь не лишенных жизненности. Даже силуэт ласточки, проносящейся ввечеру возле самых окон, не мог бы превзойти ее легкой грацией. Черты лица были тонкие, но не острые, на шее и на висках виднелись голубые жилки; они, как узорчатый рисунок агата, просвечивали сквозь кожу, такую прозрачную, что, казалось, видно было, как бежит по ним кровь. Изумительную белизну лица оттенял легкий румянец. Из-под голубого бархатного чепчика, расшитого жемчугом, золотистой волной сбегали кудрявые волосы, и крупные кольца их до-

ходили до плеч. Теплый тон этой шелковистой шевелюры, падавшей на шею, оживлял ее ослепительную белизну и нежными отсветами подчеркивал чистые контуры лица. Продолговатые глаза с тяжелыми веками гармонировали с изяществом хрупкого стана и красивой головкой; серо-голубые эти глаза блестели, но не сверкали. Невинность притушила огонь страстей. Линия носа могла бы показаться слишком тонкой и холодной, если б розовые бархатистые ноздри не раздувались так часто, что это как будто не соответствовало целомудренной мечтательности, запечатленной в выражении лица, нередко удивленном, иногда веселом, но всегда говорившем о душевном спокойствии. И, наконец, взгляд привлекали маленькие хорошенькие ушки, выглядывавшие из-под чепчика меж двумя локонами; вдетые в них рубиновые серьги с подвесками горели багряными огонька-ми на молочной белизне шеи.

Габриелла не походила ни на пышнотелых красоток Нормандии, ни на тоненьких и смуглых южанок, пышущих зноем страсти, ни на холодных и грустных красавиц севера; ее отличало небесное и глубокое очарование пре-красных мучениц католической церкви, в ней была и гибкость и величавость, суровость и нежность.

«Где еще найдется такая прелестная герцогиня?» — думал Бовулуар, с удовольствием разглядывая Габриеллу, которая, вытянув шейку, смотрела на пролетавшую за окном птицу и была в эту минуту похожа на газель, когда та придет к ручью утолить жажду и, остановившись, настороженно прислушивается к журчанию воды.

— Ну-ка иди сюда, иди,— многозначительно сказал Бовулуар и, хлопнув себя по колену, поманил Габриеллу рукой.

Габриелла поняла и, подойдя к отцу, легкой птицей порхнула к нему на колени, потом обвила рукой его шею, сразу смяв широкий отцовский воротник.

— Какие у тебя мысли были, когда ты рвала цветы? Ты еще никогда так красиво не составляла букет.

— Какие мысли? Разные,— ответила девушка.— Любовалась цветами и думала: цветы созданы для нас, а вот для кого мы созданы? Кто на нас, на людей, смотрит,— какие существа? Вы мне отец, я вам все могу сказать, что со мной творится. Вы ведь такой ученый, та-

кой умный, вы все мне объясните. Какую-то я силу в груди чувствую, рвется она на волю, и вся я как будто борюсь с чем-то. Когда небо хмурое, серое, мне легче. Скучно, конечно, но спокойнее. А когда день ясный, тепло и цветы так славно пахнут, я сама не своя. Сяду на свою любимую скамейку, ту, что под кустами жимолости и жасмина, сижу тихонько, не могу пошевелиться, а в груди словно волны вздымаются, вскипают и разбиваются о недвижную скалу. И мысли в голове проносятся такие быстрые, обгоняют друг друга, сталкиваются... Не удержать их,— ну вот, словно птицы, что под вечер целой стаей пролетают мимо наших окон. А ежели делаю я букет, то цветы подбираю один к другому, так же, как шелка, когда вышиваю на пяльцах: вот тут белый цвет подчеркивает красные оттенки, а тут переплетаются зеленые и коричневые тона; и цветов так много, и ветерок их колышет, чашечки друг с другом сталкиваются, смешиваются приятные запахи цветов, и на сердце делается хорошо,— думается тогда: вот и во мне то же самое происходит. А вот как бывает в церкви: играет орган, хор ему вторит,— получаются две разные песни: будто музыка и человеческие голоса переговариваются между собой. И мне тогда так радостно, песнопения отзываются в сердце, и так сладко бывает молиться, всю жаром обдает...

Бовулуар слушал дочь и смотрел на нее испытующим взглядом мудреца: взгляд этот мог бы показаться тупым именно из-за сосредоточенной силы мысли, подобно тому как вода, низвергающаяся в водопаде, кажется неподвижной. Он приподнимал пелену, сотканную из живой плоти, скрывавшую от него потаенный механизм воздействия человеческой души на тело; знакомые симптомы, так хорошо изученные им за долгие годы врачевания людей, которых доверяли его заботам, он сравнивал теперь с тем, что замечал в своей дочери, и ему становилось страшно, что она такая хрупкая, что у нее такие тонкие кости, такая молочная белизна кожи, что слишком она воздушна; на основе своих познаний в медицине он старался представить себе будущее этой ангельски чистой девочки, и у него кружилась голова, как будто он стоял у края бездны: слишком вибрирующий голос, неразвившаяся грудь Габриеллы вы-

зывали у него беспокойство, и, расспросив девушку обо всем, он глубоко задумался.

— Тебе здесь скучно! — воскликнул он наконец, выразив вслух вывод, к которому его привели размышления.

Девушка мягко склонила голову.

— Господи помилуй! — со вздохом промолвил старик.— Так уедем отсюда. Я увезу тебя в замок д'Эрувиль. Ты будешь там купаться в море. Это очень полезно для здоровья.

— Правда, батюшка? Вы не смеетесь надо мной? Мне так хочется посмотреть на герцогский замок, на солдат, на военачальников, на монсеньера.

— Прекрасно, дочка. Поедем. Возьмем с собой кормилицу и Жана.

— А скоро, батюшка?

— Завтра,— ответил старик и бросился в сад, желая скрыть от Габриеллы и от своей матери охватившее его волнение.

— Видит бог, нет у меня никаких честолюбивых помыслов! — воскликнул он.— Мне только одно надо: спасти дочь и сделать Этьена счастливым. Иных побуждений у меня нет.

Бовулуар старался убедить в этом самого себя и все же чувствовал в глубине души великую гордость: ведь в случае успеха дерзкого замысла Габриелла когда-нибудь станет герцогиней д'Эрувиль. Отцам не чужды бывают человеческие слабости. Бовулуар долго прогуливался по аллеям сада и, возвратившись к ужину, весь вечер любовался дочерью среди привычного ему темного и поэтического убранства своих покоев.

Перед сном бабушка, кормилица, Габриелла и сам Бовулуар преклонили колена, чтобы прочесть вместе вечернюю молитву, и лекарь сказал:

— Помолимся, попросим у бога благословения делам нашим.

У бабушки, знавшей его намерение, в глазах показались скупые старческие слезы. Габриелла вся раскраснелась, сгорая от любопытства и полная счастья. У Бовулуара дрожали руки, так он страшился катастрофы.

— Ну полно, чего ты так боишься, Антуан? — сказала бабушка.— Не убьет же герцог свою внучку?

— Нет, не убьет,— ответил Бовулуар,— но может насильно выдать ее за какого-нибудь барона, за грубого рубаку, который замучает ее.

На следующий день Габриелла отправилась в замок Эрувиль; сама она ехала на ослике, Бовулуар на муле, кормилица шла пешком, а вслед за ней слуга вел в поводу двух лошадей, нагруженных пожитками; маленький караван прибыл на место лишь к вечеру. Желая скрыть от всех это путешествие, Бовулуар выбрал для него окольные дороги, приказал выехать рано утром и взять с собой съестных припасов, чтобы можно было подкрепиться в пути, не останавливаясь на постоялых дворах. Когда уже стемнело, Бовулуар, не замеченный никем из герцогской челяди, добрался до хижины, где долго жил проклятый сын; теперь там поджидал гостей Бертран, единственный человек, которого лекарь посвятил в тайну. Старик конюший помог Бовулуару, кормилице и слуге снять с лошадей вьюки, перенести их в дом и устроить дочь лекаря в прежней комнате Этьена. Наружность Габриеллы поразила Бертрана.

— Ни дать ни взять — покойная герцогиня! — воскликнул он.— Такая же тоненькая, будто тростиночка, и бледненькая, и волосы белокурые. Старый герцог полюбит ее.

— Дай бог! — сказал Бовулуар.— Только признает ли он свою кровь в моей дочери?

— Ну уж как ему тут отречься? — заметил Бертран.— Я частенько поджидал его у дверей Прекрасной Римлянки. Она жила на улице святой Екатерины. Кардиналу Лотарингскому поневоле пришлось уступить красотку нашему герцогу, потому как его высокопреосвященство натерпелся сраму,— его избили, когда он выходил из этого дома. Нашему-то герцогу шел тогда двадцатый год. Верно, он и до сих пор помнит, какую тогда задали трепку кардиналу. Наш-то и тогда уже был смельчаком. Можно сказать, был вожаком своих приятелей-головорезов.

— Да теперь он о таких делах и думать позабыл,— ответил Бовулуар.— Ему известно, что моя жена умерла, но вряд ли он знает, что у меня есть дочь.

— Мы с вами два старых вояки,— сказал Бертран.— Сумеем своего добиться. Все будет хорошо. А уж

на худой конец, если герцог рассердится, пускай с нас взыскивает. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Мы уж свой век отжили.

Перед своим отъездом герцог д'Эрувиль, под страхом самых суровых наказаний, запретил всем обитателям замка ходить на тот берег, где до сих пор протекала жизнь Этьена,— исключение допускалось лишь в том случае, если герцог де Ниврон возьмет кого-нибудь туда с собою. Это распоряжение было подсказано Бовулуаром: он убедил герцога, что необходимо дать Этьену возможность жить привычной для него жизнью,— и таким образом никто не смел нарушить неприкосновенность той полоски берега, где поселилась Габриелла со своей кормилицей, а им самим Бовулуар строго наказал не выходить оттуда без его разрешения.

Два дня Этьен провел, запершись в парадной опочивальне, где его удерживали чары горестных воспоминаний. Вот на этом пышном ложе почивала его мать; в соседней комнате произошла страшная сцена родов, когда Бовулуар спас жизнь и матери и ребенку; вот этим вещам, что стоят в опочивальне, она поверяла свои думы; она пользовалась вот этим ларем, этим креслом; взгляд ее блуждал по этой дубовой панели; сколько раз она подходила вот к этому окну, чтобы позвать возгласом или знаками бедного своего сына, проклятого отцом. Сидя один в этом покое, куда он еще недавно пробирался украдкой, чтобы в последний раз поцеловать умирающую мать, он словно возрождал ее к жизни, он говорил с нею, слышал ее голос; он утолял свою жажду из того неиссякаемого источника, из которого рождается столько песен, подобных псалму «На реках вавилонских».

На следующий день после своего возвращения Бовулуар навестил молодого герцога и ласково пожурил его, зачем он хочет жить затворником в четырех стенах, тогда как прежде жил на вольном воздухе.

— Мне тут вовсе не тесно,— ответил Этьен.— Ведь здесь я чувствую душу своей матери.

Все же лекарю удалось сердечными уговорами добиться от Этьена обещания, что он каждый день будет совершать прогулки по берегу моря или в полях и лугах, которых он до сих пор совсем не знал. Тем не менее

Этьен по-прежнему был во власти воспоминаний и весь следующий день просидел у окна, глядя на море; картина эта была удивительно многообразной, и никогда еще она не казалась Этьену столь прекрасной. Созерцание чередовалось с чтением: Этьен избрал в тот день Петрарку, одного из любимейших своих поэтов, чьи стихи о постоянстве и единственной в жизни любви больше всего доходили до его сердца. Он и сам был бы не способен на многократные любовные увлечения, мог почувствовать любовь только одного склада и только к одной женщине. Любовь эта должна была быть глубокой, как всякое цельное чувство, а по внешнему своему выражению спокойной, нежной и чистой, как сонеты Петрарки. На закате солнца Этьен, дитя одиночества, запел своим чудесным голосом, который звучал, как песня надежды даже в душе его отца, человека самого глухого к музыке; и грусть свою певец излил в прекрасной мелодии, варьируя ее, подобно соловью, много раз. Это была песня, которую приписывали покойному королю Генриху IV,— но не та, что называлась «Габриелла», а другая, превосходившая ее и ритмом, и мелодией, и лиричностью, песня, в словах которой знатоки Возрождения сразу узнают почерк великого короля. Мелодия же, несомненно, была заимствована из напевов, баюкавших короля в дни его детства, протекавшего в Беарнских горах.

Молю, взойди, заря,
Веселье мне даря,
Из мрака предрассветного тумана.
Признаюсь, не тая,
Что милая моя —
Она одна, как ты, свежа, румяна.
Две розы на заре,
В росе, как в серебре,
Потупят взор, сравниться не мечтая
С пастушкою моей,
Что вешних роз нежней,
Белее лилий, тоньше горностая [1].

Излив в бесхитростной песенке заветную мечту, Этьен обратил взор к морю и долго смотрел на него, говоря себе: «Вот моя нареченная, вот единственная моя любовь».

---

[1] Перев. И. Миримского.

Потом он запел другую песенку:

С моей светлокудрой
Никто не сравнится!

И он все повторял эту арию, в которой робкий юноша, осмелев в часы одиноких грез, говорит о своей любви. Сколько мечтательности было в этой плавной мелодии. Она обрывалась, звучала вновь, стихала и опять неслась вдаль и наконец замерла в последних переливах голоса, подобных отзвукам умолкнувшего колокола. И вдруг послышался другой голос, как будто запела сирена морская; незнакомый Этьену женский голос повторил мелодию, которую он только что пел, но голос звучал неуверенно, словно этой женщине впервые открылась прелесть музыки; юноша распознал в этом пении первый лепет сердца, родившегося для поэзии музыкальных аккордов. Долгие занятия пением научили Этьена понимать язык музыки, в которой душа может выразить свои чувства так же свободно, как и словами, и теперь он сразу угадал в нерешительных модуляциях голоса застенчивость и удивление певицы. С каким благоговейным вниманием, с каким изящным восхищением она слушала его! Вечер был необыкновенно тихий, малейший звук разносился далеко, и Этьен вздрогнул, явственно услышав шорох развевающихся складок платья; еще так недавно жестокие волнения души, потрясенной ужасом, едва не привели его к смерти, а сейчас он был объят столь же сладостным чувством, как в те минуты, когда ждал появления матери.

— Ну довольно, Габриелла, довольно, дитя мое! — послышался голос Бовулуара.— Ведь я запретил тебе гулять у моря после заката солнца. Иди домой, дочка!

«Габриелла! — подумал Этьен.— Красивое имя».

Вскоре пришел Бовулуар, и появление его вывело Этьена из задумчивости, похожей на мечтания. Уже поднималась луна.

— Монсеньер,— сказал лекарь,— вы сегодня так и не выходили из дому? Это неблагоразумно!

— А мне, значит, можно гулять у моря после заката солнца? — ответил вопросом Этьен.

Лукавый намек, скрывавшийся в этих словах, свиде-

тельствовал о первом желании, которое возникло у юноши. Старик Бовулуар улыбнулся.

— У тебя есть дочь, Бовулуар?

— Да, монсеньер. Габриелла — дорогое мое дитя, утешение старости моей. Монсеньер герцог, ваш прославный отец, строжайшим образом повелел мне быть возле вас неотлучно, охраняя ваше драгоценное здоровье, и я теперь уже не могу навещать свою дочь в Форкалье, где она находилась. Пришлось мне, к великому моему сожалению, привезти ее сюда, и, чтобы укрыть ее от посторонних глаз, я поселил ее в том домике, где вы прежде жили, монсеньер. Она такая хрупкая, и я так боюсь за нее! Для нее все опасно, даже слишком сильное волнение. Поэтому я не учил ее ничему, боялся убить ее ученостью.

— И она ровно ничего не знает?

— Габриелла — прекрасная хозяйка, но жила она, можно сказать, растительной жизнью. Неведение, монсеньер,— святое дело, так же как познания. Ничего не знать или знать много — вот два способа существовать, и то и другое сохраняет жизнь: вас спасла от смерти наука, для моей дочери спасительно невежество. Хорошо укрывшиеся жемчужные раковины не попадают в руки искателей жемчуга и живут счастливо. Мою Габриеллу можно сравнить с жемчужинкой,— у нее и цвет лица жемчужный, и душа светлая, а домик в Форкалье до сих пор служил ей раковиной.

— Пойдем со мной,— сказал Этьен, закутываясь в плащ,— мне хочется прогуляться к морю. Вечер теплый.

Бовулуар и его молодой господин шли молча, пока не увидели луч света, пробивавшийся сквозь неплотно затворенные ставни рыбачьей хижины и золотой дорожкой протянувшийся по морю.

— Не могу и передать, какое впечатление производит на меня полоса света, отражающаяся в море,— сказал лекарю робкий наследник герцога д'Эрувиля.— А как часто я смотрел вон на то окно, пока не угасал в нем свет!— добавил он, указывая на окно опочивальни покойной своей матери.

— Как ни слаба здоровьем Габриелла,— весело отозвался Бовулуар,— а пожалуй, и ей можно сегодня прогуляться с нами. Вечер в самом деле теплый, в воздухе

нет сырости. Я схожу за ней. Но будьте осторожны, монсеньер.

По робости характера Этьен не предложил Бовулуару пойти вместе с ним в рыбачий домик; к тому же на него нашло какое-то оцепенение, в которое погружает человека прилив чувств и ощущений, возникающих на заре любви. Бовулуар ушел, Этьену стало как-то свободнее, и он воскликнул, глядя на море, освещенное луною:

— Океан проник и в мою душу!

При виде живой статуэтки, озаренной серебристым лунным сиянием, сердце Этьена заколотилось, но это не было болезненным сердцебиением.

— Дитя мое,— сказал дочери Бовулуар,— вот монсеньер д'Эрувиль.

Ах, как в эту минуту Этьен хотел бы обладать таким же исполинским ростом, как его отец, как жаждал он показаться силачом, а не заморышем! Множество тщеславных желаний, свойственных влюбленному мужчине, как шипы, вонзились ему в сердце, и он замкнулся в мрачном молчании, впервые почувствовав, как велики его недостатки. Девушка поздоровалась с ним, Этьен от смущения ответил лишь неловким поклоном, прогуливаясь по берегу моря, не отходил от Бовулуара и сначала разговаривал только с ним; однако Габриелла держала себя так робко и почтительно, что он осмелел и даже решился заговорить с нею. Недавний эпизод с пением Габриеллы был делом случая,— Бовулуар ничего не стал бы подстраивать, он полагал, что между юношей и девушкой, которые выросли в одиночестве и сохранили чистоту сердца, любовь возникнет без всяких хитростей. А попытка Габриеллы вторить пению Этьена дала им тему для разговора. Во время прогулки Этьен почувствовал какую-то необыкновенную легкость собственного тела,— ощущение, которое испытывают все люди в миг зарождения первой любви, когда у влюбленного источник его жизни вдруг переносится в другое существо. Он предложил Габриелле учить ее пению. Бедный мальчик был счастлив, что эта девушка увидит в нем какое-то преимущество перед другими людьми; он вздрогнул от радости, когда она согласилась брать у него уроки. В эту минуту лунный свет падал прямо на Габриеллу, и тут

Этьен увидел, что у нее есть смутное сходство с покойной его матерью. Дочь Бовулуара была такая же тоненькая и изящная, как Жанна де Сен-Савен; так же, как у герцогини, болезненность и грусть наделяли ее какой-то таинственной прелестью. Ее отличало врожденное благородство, свойственное высоким душам, в которых все прекрасно, потому что все в них естественно. Но ведь в жилах Габриеллы текла и кровь Прекрасной Римлянки, хотя бы и во втором поколении,— у этой целомудренной девочки было сердце пылкой куртизанки; вот почему взгляд ее, казалось, горел восторгом страсти, меж тем как чело окружал ореол небесной чистоты; от нее как будто исходило сияние, но движения полны были томной неги. Бовулуар затрепетал, усмотрев в ее наружности явление, которое ныне называли бы фосфоресценцией мысли,— лекарь смотрел на него со страхом, как на предвестника смерти. Этьен заметил, как мило девушка вытягивает шейку и озирается вокруг, словно робкая пташка. Габриелла пряталась за отца, но явно желала хорошенько рассмотреть Этьена, в глазах ее сквозило любопытство и удовольствие, взгляд был и благосклонный и смелый. Этьен не казался ей чахлым, а только хрупким, она находила в нем столько общего с нею самой, что нисколько не боялась этого сюзерена; ей все нравилось в нем: его бледность, его красивые руки, страдальческая улыбка, кудрявые волосы, рассыпавшиеся локонами по широкому кружевному воротнику, благородный лоб, прорезанный ранними морщинками, противоположные друг другу черты роскоши и убожества, могущества и слабости. И разве он не вызывал в ней материнского чувства, желания взять его под свое покровительство, зачатки которого всегда несет в себе любовь? И у Габриеллы и у Этьена с необычайной силой вдруг забурлили новые мысли, новые чувства, у обоих ширилась душа; и тот и другой были как будто поражены изумлением, и оба молчали,— чем глубже чувства, тем меньше изливаются они в красноречивых словах. Долгая любовь всегда начинается с мечтательной задумчивости. Быть может, и следовало, чтобы первая встреча этой девушки и этого юноши совершилась при мягком лунном свете, иначе их ослепил бы внезапно вспыхнувший огонь любви, так и следовало им повстречаться на берегу моря, ставшего

для них символом беспредельности их чувства. Расстались они, переполненные мыслями об этой встрече, и каждый боялся, что не понравился спутнику.

Из своего окна Этьен долго следил за огоньком, мерцавшим в домике, где была Габриелла. И в этот час надежды и мучительных страхов юноше-поэту открылось новое значение сонетов Петрарки. Воображение рисовало ему Лауру, тонкий, прелестный образ, чистый и светлый, как луч солнца, одухотворенный, как ангел, слабый, как женщина. Все, что он узнал за двадцать лет ученья, получило связность, он постиг таинственное единство всего прекрасного на земле; понял значение женщины в прекрасных творениях поэтов; понял, что, сам того не ведая, он любил уже давно, все его прошлое слилось с волнением, пережитым в ту прекрасную ночь. Сходство Габриеллы с его матерью показалось ему небесным велением. Полюбив, он не изменил своей любви к матери, его новое чувство было продолжением прежнего. О девочке, спящей в его хижине, он думал в ночной тиши с такою же нежностью, с какою думала о нем мать, когда он жил там. Это сходство еще более связывало для него прошлое с настоящим. В его воспоминаниях, словно среди облаков, всплыло такое родное лицо матери, он видел ее слабую улыбку, слышал ее ласковый голос; она склонила голову и заплакала. Свет в рыбачьей хижине погас. Этьен запел милую песенку Генриха IV, запел ее с новой выразительностью. Издали отозвался голосок Габриеллы, пробовавшей вторить ему. Девушка тоже совершала свое первое путешествие в волшебную страну любовных восторгов. Этот отклик наполнил радостью сердце Этьена; он чувствовал, как по жилам его вместе с током горячей крови разливается могучая сила, дотоле ему неведомая,— ею наделила его любовь. Одни лишь слабые существа могут понять, как сладостно такое преображение, совершающееся с ними в жизни. Несчастным, страждущим, обездоленным бывают ведомы несказанные радости: в малом они открывают целый мир. Этьен всем своим существом принадлежал к числу обитателей Града скорби. Недавнее возвышение вызвало у него только ужас; любовь пролила на его раны целительный бальзам и одарила его силой; он полюбил истинной любовью.

На следующий день Этьен встал очень рано и побежал к бывшему своему домику, а Габриелла, полная живейшего любопытства, сгорая от нетерпения, в котором она не хотела себе признаться, уже спозаранку успела убрать кудрявую свою головку и надеть прелестный наряд. Оба влюбленных жаждали встречи и боялись ее. А Этьен-то — подумайте только! — надел в то утро тончайший кружевной воротник, самый нарядный свой плащ, камзол лилового бархата — словом, на нем было точно такое же красивое одеяние, какое, верно, всем запомнилось по портрету, с которого смотрит на нас бледное лицо Людовика XIII, видимо, столь же подавленного среди своего величия, столь же жалкого, каким был до сих пор Этьен. Сходство между подданным и монархом не ограничивалось одеждой. Этьен обладал такой же тонкой чувствительностью, как и Людовик XIII, обоих отличало целомудрие, грусть, какие-то смутные, но вполне реальные страдания, робость, рыцарское благородство в любви, боязнь, что он не сумеет выразить словами эту чистую любовь, страх перед слишком быстро подаренным счастьем, которое высокие души не любят торопить; обоим власть казалась тяжелым бременем, у обоих была склонность к покорности, встречающаяся у людей слабохарактерных и чуждых корысти, поклоняющихся всему, что «возносит к звездам», как сказал некий верующий гений.

При всей своей неопытности в житейских делах и обычаях света Габриелла все же думала, что огромное расстояние отделяет дочь костоправа, безвестную обитательницу Форкалье, от герцога де Ниврона, наследника дома д'Эрувилей, что она не ровня Этьену; ей ни разу не приходила мысль достигнуть знатности путем любви. Простодушное создание не видело для себя оснований занять то место, которое стремилась бы захватить любая другая девушка на ее месте,— нет, Габриелла видела перед собой одни лишь препятствия. Еще не ведая, что такое любовь, она полюбила Этьена, и недоступное счастье любви манило ее, как манит ребенка золотистая спелая гроздь винограда, висящая слишком высоко. Девушку, умилявшуюся красотой какого-нибудь цветка, смутно угадывавшую образы любви в песнопениях литургии, сладостно и сильно взволновала встреча, про-

исшедшая накануне, растрогала и успокоила застенчивость и слабость этого властителя. Но за ночь Этьен как будто вырос, возмужал; девушке уже казалось, что все высоты доступны ему, и она так вознесла его в мечтах, что потеряла всякую надежду подняться до него.

— Вы разрешите мне иногда навещать вас в вашем домике? — спросил юный герцог, робко потупив взгляд: ведь он успел обожествить дочь Бовулуара. Видя, как он с ней робок и полон смирения, Габриелла смутилась, не зная, что делать со скипетром, который он ей вручал, но была глубоко растрогана и польщена такой покорностью. Только женщины знают, сколько соблазна сокрыто в почтительности, которую выказывает им человек могущественный. Однако Габриелла боялась обмануться и, будучи столь же любопытной, как праматерь наша Ева, захотела поближе его узнать.

— А ведь вы, кажется, вчера обещали учить меня музыке. Или я ослышалась? — ответила она, надеясь, что музыка окажется предлогом для частых встреч.

Если бы бедняжка знала прежнюю жизнь Этьена, она бы не решилась высказать некоторое сомнение в его искренности. Для него слова были отзвуком души, и вопрос Габриеллы глубоко огорчил его. Ведь он пришел с открытым сердцем, был полон восторга, боялся малейшей тенью омрачить свой светлый праздник и вдруг встретил сомнение! Вся радость его угасла, вновь он почувствовал себя в пустыне и больше уж не находил в ней прекрасных цветов, которые нежданно расцвели для него. С безотчетной прозорливостью чистых душ, вероятно, ниспосланных на землю по милости неба для утешения скорбящих, Габриелла угадала, какую боль она ему причинила. Она горько раскаялась в своей вине, ей хотелось бы обладать всемогуществом бога, чтоб открыть свое сердце Этьену; она испытывала жестокое волнение, как будто он упрекнул ее, бросив на нее суровый взгляд; наивная девочка не могла скрыть облака печали, подобного золотистой дымке, поднявшейся на заре ее любви. На глазах у нее выступили слезы, и горе Этьена обратилось в радость, он готов был считать себя тираном. К счастью для них обоих, они с самого начала узнали, как чувствительны их сердца, и поэтому им удалось из-

бежать многих случаев, когда они могли больно задеть друг друга. Вдруг Этьен, нетерпеливо стремившийся прикрыть свое волнение каким-нибудь занятием, подвел Габриеллу к столу, стоявшему у маленького оконца, возле которого он пережил столько мучений и где теперь ему предстояло любоваться чудесным живым цветком, превосходившим прелестью все цветы, которые он изучал до сих пор.

Какую трогательную картину являли собою два этих юных существа, наделенных сильной душой и таким слабым телом и все же пленительных страдальческой красотой! Габриелла не ведала уловок кокетства: лишь только Этьен молча молил ее подарить ему взгляд, тотчас мольба его бывала исполнена, и лишь из робости они отводили друг от друга сияющий взор; Габриелле было приятно сказать Этьену, что его голос ей очень нравится; когда он объяснял ей расположение нот на нотной линейке и смысл поставленных там значков, она не столько слушала, сколько смотрела на него,— простодушная лесть, с которой начинается истинная любовь. Габриелла находила, что Этьен очень хорош собой, ей хотелось погладить бархат его плаща, потрогать кружевной воротник. А в Этьене совершалось великое превращение: ее лукавые и ласковые взгляды вливали в него живительную силу, от которой заблестели его глаза и просияло лицо: внутренне он сделался другим человеком; и в этом преображении не было ничего болезненного,— наоборот, он чувствовал приток бодрости. Счастье стало пищей, укреплявшей все его существо на пороге новой жизни.

Они никак не могли расстаться, пробыли вместе до вечера и провели так не только этот день, но еще много дней, ибо с первой же встречи каждый отдался во власть любви, и они передавали друг другу ее скипетр, играя, как дети, не знающие жизни, и оба были счастливы. Сидя у моря на золотистом песке, они рассказывали друг другу о своем прошлом: у Этьена оно было горестным, но полным прекрасных мечтаний; Габриелла не знала горестей, но прежде мечты не приносили ей радости.

— Я выросла без матери,— сказала однажды Габриелла,— но отец у меня очень добрый, добрый, как бог.

— А я рос без отца,— отозвался проклятый сын,— но мать была для меня добрее, чем ангелы небесные.

Этьен рассказывал о своей юности, о своей матери, о своей любви к цветам. Когда он заговорил о цветах, девушка глубоко вздохнула. Этьен спросил, что с ней. Она покраснела и сначала не хотела отвечать; но когда бледное лицо Этьена, которого как будто смерть коснулась своим крылом, омрачила грусть и затуманился взор, отражавший малейшие волнения его души, она промолвила:

— Да ведь и я тоже ужасно любила цветы.

Не было ли это косвенным признанием в любви? Целомудренным девушкам всегда кажется, что они и в прошлом были связаны с любимым одинаковыми вкусами и склонностями. Любовь всегда хочет казаться старше — это кокетство юности.

На следующий день Этьен принес ей редких цветов, которые привезли по его приказу, как привозили некогда для него самого редкостные растения, за которыми посылала его мать. Кто знает, какие глубокие корни пустило чувство в душе юноши, который, помня о ласковых заботах матери, когда-то вносивших радость в его жизнь, расточал их теперь любимой девушке! Как много значения имели эти мелочи,— в них смешивались две его привязанности. Цветы и музыка стали для Этьена и Габриеллы языком их любви. В ответ на цветы, которые посылал ей Этьен, девушка тоже дарила ему букеты,— а ведь недавно по одному из ее букетов старик Бовуларуар угадал, что его невежественная дочь знает сердцем слишком много.

Неведение материальной жизни, отличавшее обоих влюбленных, было как бы черным фоном, на котором так четко выделялись малейшие штрихи в этой картине духовного сближения, исполненного тонкой и чистой прелести, как сцены античной жизни, написанные красной краской на этрусских вазах. В их беседах каждое слово влекло за собой множество мыслей, ибо оно было плодом долгого раздумья. Обоим несмелым влюбленным начало любви казалось и последним ее пределом. Никто не стеснял их свободы, но оба они были в плену своей наивности, и каждый из них пришел бы в отчаяние, ес-

ли б разгадал тайный смысл своих смутных желаний. Оба они были поэтами и живой поэзией.

Музыка, искусство, которое больше всего чувствуют влюбленные, стало истолкователем их мыслей, и они с наслаждением повторяли друг за другом какую-нибудь музыкальную фразу, без помехи изливая в волнах прекрасных звуков страстную любовь, переполнявшую их сердца.

Зачастую любовь растет, проходя через свою противоположность,— тут и размолвки и примирение, в будничной форме идет борение духа с материей. Но лишь только взмахнет белыми своими крылами истинная любовь, она сразу возносится над этими битвами, и тогда уж не отличишь двух сторон человеческого существа,— все в нем одухотворяется, любовь подобна тогда творению великого художника, где нашел наибольшее свое выражение его гений: все в его шедевре залито светом, самым ярким, чистым светом, который нет надобности подчеркивать тенью, чтобы добиться рельефности. Габриелла по врожденной женской интуиции и Этьен как человек, много перестрадавший и много размышлявший, быстро прошли тот путь, по которому идет обыденная влюбленность, и вскоре уже были за ее пределами. Как все слабые натуры, они быстрее прониклись верой друг в друга, которую сравнить можно с зарей, окрашивающей пурпуром небеса; и эта вера стала их силой, поднимала их душу. Для них всегда сияло солнце. Вскоре их взаимное доверие достигло уже той высоты, где невозможны ни ревность, ни мучительство; каждый всегда был готов к самопожертвованию, всегда полон обожания. В их любви не было страданий. Оба были одинаково слабые существа, но обоих делал сильными их союз; если юный герцог д'Эрувиль превосходил дочь лекаря ученостью и высоким положением, все его условные преимущества затмевала красота Габриеллы, ее возвышенные чувства, ее тонкое очарование. Как две белокрылые чайки, вознеслись они рядом в ясное небо, Этьен горячо любит и горячо любим, настоящее безмятежно, будущее безоблачно: замок отцом отдан сыну, он тут полновластный хозяин, море принадлежит обоим влюбленным; ни малейшая тревога не нарушает гармонии песни любви, которую они поют так согласно; девственная чистота сердца и ума

расширяет их кругозор, мысли текут свободно, рождаясь одна из другой без всякого усилия; чувственное желание, с удовлетворением которого увядает очень многое, вожделение, этот грех земной любви, еще не коснулось их. Как два Зефира, присевших вместе на ветку ивы, они довольствуются счастьем любоваться отражением друга в зеркале прозрачных вод; их очаровывает беспредельность, они с восторгом созерцают морскую ширь, даже и не помышляя скользить по ней в ладье, которую ведет надежда, поставив белые паруса и обвив снасти гирляндами.

В любви бывает краткое время, когда она сама себе довлеет, когда влюбленные счастливы уж тем, что она существует. Это весенняя пора любви, пора еще не распустившихся почек, и случается, что тогда влюбленный прячется от своей любимой, желая усилить удовольствие от любовной игры и, притаясь, лучше рассмотреть свою избранницу. Но Этьен и Габриелла по-детски бесхитростно наслаждались своим счастьем: то они, словно две сестры, обменивались невинными признаниями, то по смелости пытливой мысли могли назваться братьями. Обычно в любви один бывает рабом, а другой кумиром, но наши влюбленные воплощали мечту Платона: они стали единым богоподобным существом. То он, то она защищали его от самих себя. Постепенно, медленно, одна за другой пришли и ласки, но такие чистые и шаловливые, веселые и задорные, как игры двух зверьков, едва вступивших в жизнь. Чувство, заставлявшее их вкладывать всю душу в звуки страстных песен, вело их к любви через множество превращений, но они были неизменно счастливы. Радости любви не лишали их сна, не повергали в безумие. То было лишь начало все возраставшего наслаждения, для них еще не расцвели алые цветы страсти, венчающие ее стебель. Они всецело отдавались своему чувству, не подозревая об опасности. Каждый простодушно осыпал похвалами красоту друга и, воспевая ее в этих тайных идиллиях, расточал целые сокровища поэтических эпитетов, угадывал те нежные преувеличения, те страстные ласкательные слова, которые нашла античная муза Тибулла и пересказали нам итальянские поэты. Слова, слетавшие с их уст, рождавшиеся в их сердцах, были подобны пенным волнам, омывавшим мелкий

песок на берегу моря, таким одинаковым и таким непохожим друг на друга. Радостная и вечная верность.

Если считать по дням, то прошло всего пять месяцев, но если в счет включить бесчисленные впечатления, мысли, мечты, глубокие взгляды, расцветшие цветы, воплотившиеся надежды, бесконечные радости, распущенные и так изящно разбросанные по плечам локоны, тотчас же подобранные заколками и украшенные цветами; задумчивые разговоры, прерванные, вновь завязавшиеся и вновь оставленные, веселый смех, промокшие на прогулках ноги, детскую охоту за ракушками, прилепившимися к скалам, поцелуи, восторги, объятия,— то, можно сказать, прошла целая жизнь, и смерть подтвердит, что это сущая правда. Бывают существования неизменно мрачные, протекающие под хмурым, серым небом, но представьте себе ясный день, яркое солнце, пылающее в голубом небе,— такова была весенняя пора этой нежной любви, веселый месяц май, когда Этьен, черпая утешение в сердце Габриеллы, позабыл все прошлые горести, а Габриелла в сердце своего властителя черпала надежду на бесконечные радости в будущем. Единственным глубоким горем для Этьена была смерть матери; единственным счастьем для него могла быть лишь любовь Габриеллы.

Тихий ручеек этой сладостной жизни превратился в бурный поток из-за грубого вторжения в нее некоего честолюбца. У герцога д'Эрувиля, старого вояки и жестокого, но хитрого дипломата, заговорило в душе недоверие, после того как он дал своему лекарю обещание, которое тот потребовал. Подручным и доверенным лицом наместника Нормандии во всех его политических интригах состоял барон д'Артаньон, лейтенант его личного отряда. Барон как раз был таким человеком, какие нравились герцогу: рослый силач, похожий на мясника, с широким мужественным лицом, язвительный и холодный — наемный убийца, охранитель трона, грубый рубака, непреклонный в исполнении приказа и готовый на все что угодно; прибавим еще, что он происходил из знатного, но захудалого рода, был честолюбив, известен солдатской честностью и хитростью. Руки его были под стать лицу — большие и волосатые руки кондотьера. В обращении с людьми барон был резок и славился краткостью и точностью речи. И вот наместник приказал ему последить,

как Бовулуар ведет себя с новым хозяином замка, признанным наследником герцога. Пребывание Габриеллы в Эрувиле держали в тайне, но лейтенанта личного отряда герцога было трудно обмануть; он слышал, как мужской и женский голоса пели дуэтом, по вечерам видел свет в домике, стоявшем у моря, догадался, что все заботы Этьена, который требовал для кого-то цветов и отдавал различные распоряжения, относятся к женщине; потом он несколько раз встречал на дорогах кормилицу Габриеллы, то ехавшую в Форкалье за каким-нибудь убором Габриеллы, то увозившую туда белье для стирки, то доставлявшую девушке пяльцы или еще какие-нибудь вещи. Барону д'Артаньону захотелось посмотреть на обитательницу домика, он увидел дочь костоправа и влюбился в нее. Бовулуар был богат. Герцога, несомненно, привела бы в ярое негодование дерзость лекаря. Барон д'Артаньон мог воздвигнуть на двух этих основах свое благополучие. Узнав, что сын его влюблен, герцог, конечно, подыщет ему в жены высокородную и богатую наследницу, владеющую многими поместьями, и, решив отвратить Этьена от возлюбленной, сделает так, чтобы Габриелла нарушила верность ему, вышла замуж за кого-нибудь промотавшегося дворянина, который заложил свои земли у ростовщика. У барона не было земель. Словом, все могло сложиться превосходно, если б д'Артаньон имел дело с такими характерами, какие обычно встречаются в свете, но, столкнувшись с Этьеном и Габриеллой, он должен был потерпеть неудачу. Впрочем, уже не раз барона выручал случай.

Приехав в Париж, герцог отомстил за смерть своего сына Максимильяна, убив его соперника, и присмотрел для Этьена невесту, да еще такую завидную, что и сам не ожидал: наследницу всех владений одной из ветвей дома Гранлье, высокую надменную красавицу, которую соблазнила перспектива носить после смерти свекра титул герцогини д'Эрувиль. Герцог надеялся, что он уговорит сына жениться на девице де Гранлье. Узнав, что Этьен влюбился в Габриеллу, он решил не уговаривать, а заставить сына. В замене одной невесты другой герцог не видел ничего особенного. Этот грубый политик очень грубо понимал любовь. Возле него умирала мать Этьена, он не услышал, не понял ни единого ее сто-

на. Герцог, пожалуй, никогда еще так не гневался, как в тот час, когда гонец привез ему послание, в котором барон д'Артаньон сообщал, что планы лекаря Бовулуара, несомненно, питающего самые честолюбивые намерения, осуществляются с неимоверной быстротой. Тотчас же герцог приказал снарядиться в дорогу и повез из Парижа в Руан, а оттуда в свой замок графиню де Гранлье, ее сестру маркизу де Нуармутье и девицу де Гранлье, якобы желая показать им Нормандию. За несколько дней до его приезда неизвестно кто и каким образом распространил слух о романе Этьена, и повсюду, от Эрувиля до Руана, только и было разговоров, что о страстной любви герцога де Ниврона к Габриелле Бовулуар, дочери знаменитого костоправа. В Руане рассказали об этом и старому герцогу как раз за обедом, устроенным в его честь: гости обрадовались случаю подпустить шпильку деспоту, тиранившему всю Нормандию. Известие это разъярило его до последней степени. Он приказал написать барону, чтобы тот держал в строжайшей тайне предстоящий вскоре приезд герцога в замок. Затем старик отдал некоторые распоряжения, чтобы предотвратить неравный брак, почитая его величайшим несчастьем.

А в это время Этьен и Габриелла блуждали по огромному лабиринту любви и, размотав весь клубок путеводной нити, нисколько не стремились выбраться на волю, мечтая всегда жить в своей темнице. Однажды они сидели у окна, в том покое, где совершилось столько событий. Они провели вместе несколько часов, тихая беседа сменилась задумчивым молчанием. В них уже поднималось безотчетное стремление к полному обладанию, они уже поверяли друг другу свои неясные мысли об этом, отражавшие прелестное неведение двух чистых душ. В эти еще безмятежные часы глаза Этьена не раз наполнялись умиленными слезами, и он молча приникал поцелуем к руке Габриеллы. Так же как умершая его мать, но более счастливый в любви, чем она, проклятый сын смотрел на море, золотое у берега, черное на горизонте, вспыхивавшее там и сям серебряными гребнями волн, предвещавших бурю. Габриелла, подобно своему любимому, в молчании созерцала эту картину. Чтобы сообщить друг другу свои мысли, для них достаточно было обменяться взглядом, идущим от сердца к сердцу. По-

следний шаг к сближению не был бы для Габриеллы жертвой, а у Этьена требованием. Они полюбили друг друга навеки, любовью чудесной, всегда неизменной, не искавшей самозабвенных жертв, не боявшейся ни разочарования, ни долгого ожидания. Но оба они совсем не ведали, что означает их томление. Когда угасли слабые отсветы заката и сумерки спустили над морем свою завесу, когда тишину уже нарушал только мерный шорох волн, набегавших на берег, Этьен встал, и вслед за ним поднялась Габриелла, движимая каким-то смутным страхом, ибо он выпустил ее ручку из своей руки. Этьен ласково притянул ее к себе; Габриелла, угадывая его желание, слегка прижалась к нему, чтобы он почувствовал, что она принадлежит ему, но не утомился от тяжести ее тела. Он положил закружившуюся голову ей на плечо, прильнул губами к бурно вздымавшейся груди; густые его кудри упали на белую спинку Габриеллы, щекотали ей шею; с простодушной заботой о любимом девушка склонила голову, чтобы Этьену было удобнее, и, ища себе опоры, обвила рукой его шею. Не проронив ни слова, стояли они так, пока совсем не стемнело. Запели в своих норках сверчки, и влюбленные слушали эту музыку, словно хотели заворожить ею все свои чувства. В эту минуту их можно было сравнить с ангелом, который стоит на земле, ожидая того мгновения, когда он вновь улетит на небо. Они осуществили прекрасную мечту Платона, мистического гения, и всех, кто ищет смысла в жизни человеческой; они слились душой воедино, они поистине были таинственной жемчужиной, достойной украшать чело какого-нибудь неведомого светила, воплощенной грезой каждого из нас.

— Ты меня проводишь? — спросила Габриелла, первая очнувшись от сладостного забытья.

— Зачем нам расставаться? — сказал Этьен.

— Всегда быть вместе,— прошептала она.

— Останься.

— Хорошо.

В соседнем покое послышались тяжелые шаги старика Бовулуара. Когда лекарь вошел, они уже отпрянули друг от друга, меж тем только что он видел их в окне — они стояли, обнявшись. Даже самая чистая любовь любит тайну.

— Нехорошо, дитя мое,— сказал Габриелле отец.— Зачем так поздно сидеть тут, да еще без света?

— А почему нельзя? — спросила девушка.— Ведь вы же хорошо знаете, что мы любим друг друга, и ведь Этьен — хозяин в замке.

— Дети мои,— возразил Бовулуар,— если вы любите друг друга, то для вашего счастья вам нужно пожениться,— тогда вы можете вместе прожить жизнь. Но пожениться вы можете только с согласия герцога...

— Отец обещал исполнить любое мое желание! — воскликнул Этьен, прервав Бовулуара.

— Так напишите ему, монсеньор,— сказал лекарь,— и выразите свое желание. Письмо дайте мне, я присоединю его к тому письму, которое сейчас написал. Бертран немедленно отправится в путь и передаст оба письма герцогу в собственные руки. Я только что узнал, что монсеньор уже в Руане. Он привез с собою богатую наследницу девицу де Гранлье, и не думаю, чтобы он сделал это для себя. Мне бы следовало послушаться своего предчувствия и нынче же ночью увезти отсюда Габриеллу.

— Разлучить нас? — воскликнул Этьен и, едва не лишившись чувств от ужаса, оперся на плечо своей подруги.

— Отец!..

— Подожди, Габриелла,— сказал лекарь и, взяв со стола склянку, протянул ее дочери. Та дала Этьену понюхать снадобье, содержащееся в склянке.— Совесть говорит мне,— продолжал Бовулуар,— что вы самой природой предназначены друг для друга... Я хотел подготовить монсеньора к вашему союзу, ибо знаю, что такой брак оскорбляет все его понятия. Но вот некий дьявол предупредил его; и теперь старый герцог ополчится против вас... Ведь Этьен уже стал герцогом де Нивроном, а ты, Габриелла, дочь какого-то несчастного лекаря.

— Отец поклялся ни в чем мне не перечить,— спокойно сказал Этьен.

— Он и мне дал клятву не мешать мне найти для вас подходящую жену,— заметил лекарь.— Но что, если он не сдержит слова?

Этьен рухнул на стул, будто громом пораженный.

— Нынче вечером море было такое угрюмое,— прошептал он.

— Если бы вы умели ездить верхом, монсеньор,— промолвил лекарь,— я бы сказал вам: бегите сейчас же вместе с Габриеллой. Я хорошо знаю вас обоих и уверен, что брачный союз с кем-нибудь другим для вас будет гибельным. Узнав про ваше бегство, герцог, конечно, бросил бы меня в темницу и держал бы там до конца моих дней. Но я с радостью отдам свою жизнь, лишь бы вы были счастливы. Увы! Где же вам ускакать на лошади! Только подвергнете опасности свою жизнь и жизнь Габриеллы. Придется здесь выдержать столкновение с герцогом.

— Да, здесь,— повторил бедный Этьен.

— Нас выдал кто-то из живущих в замке,— продолжал Бовулуар,— и доносчик распалил гнев вашего отца.

— Пойдем бросимся вместе в море,— прошептал Этьен на ухо Габриелле, стоявшей на коленях возле его кресла.

Она, улыбаясь, кивнула головой. Бовулуар все угадал.

— Монсеньор,— заговорил он.— Вы много знаете, вы умны и обладаете даром слова. Любовь одарит вас неодолимой силой убеждения. Заявите герцогу, что вы любите Габриеллу, подтвердите доводы, которые я, кажется, довольно толково изложил в письме. Мне думается, еще не все потеряно. Я не меньше вашего люблю свою дочь и надеюсь защитить ее.

Этьен покачал головой.

— Море было нынче вечером очень угрюмое,— повторил он.

— Нет, у наших ног оно было словно золотой меч,— промолвила Габриелла мелодичным своим голосом.

Этьен приказал подать свечу и, сев за стол, принялся писать письмо. Рядом с ним, по одну сторону, молча стояла на коленях Габриелла: она смотрела, как он пишет, но не читала написанных строк, для нее все было начертано на лице Этьена; по другую сторону стола стоял Бовулуар; обычно веселое его лицо было сейчас мрачным, такой же мрачной была и эта опочивальня, где умерла мать Этьена. Тайный голос предчувствия говорил лекарю: «Сын уйдет вслед за матерью».

Окончив письмо, Этьен протянул его старику, и тот

поспешил передать оба послания Бертрану. Лошадь старого конюшего уже была оседлана, сам Бертран ждал наготове; он тотчас поскакал, но в четырех лье от Эрувиля встретился с герцогом.

— Проводи меня до башенной двери,— сказала Этьену Габриелла, когда они остались одни. Оба прошли через библиотеку кардинала, в башне спустились по винтовой лестнице и вышли через дверь, ключ от которой Габриелле дал Этьен.

Этьен оставил в башне канделябр, которым освещал своей любимой дорогу, и, томимый предчувствием несчастья, проводил ее до дому. В нескольких шагах от палисадника, служившего цветником для этого скромного жилища, влюбленные остановились. В ночной тиши и мраке Этьен, терзаясь смутной тревогой, обнял Габриеллу, и они обменялись поцелуем, в котором впервые слились порыв души и волнение чувств, открыв обоим влюбленным еще неведомое им наслаждение. Этьен постиг две стороны любви, а Габриелла спаслась бегством, боясь, что сладострастие повлечет ее к чему-то страшному. К чему? Она сама не знала.

В ту минуту, когда герцог де Ниврон, заперев дверь башни, поднимался по лестнице, до слуха его донесся крик ужаса, и Этьен вздрогнул, как от внезапно полыхнувшей ослепительной молнии,— он узнал голос Габриеллы. Пробежав по приемным покоям, он стремглав спустился по главной лестнице замка и помчался на берег к домику Габриеллы, где горел свет.

Войдя в свой садик, Габриелла заглянула в окно и при свете канделябра, горевшего возле прялки ее кормилицы, увидела, что на месте старушки сидит какой-то мужчина. Услышав шаги Габриеллы, он встал и двинулся ей навстречу, до смерти перепугав ее. Впрочем, грозный вид барона д'Артаньона оправдывал ужас Габриеллы.

— Вы дочь Бовулуара, лекаря монсеньора? — спросил барон, когда девушка немного оправилась от страха.

— Да, монсеньор.

— Мне надо сделать вам важнейшее сообщение. Я барон д'Артаньон, лейтенант отряда, находящегося под личным командованием герцога д'Эрувиля.

При тех обстоятельствах, в которых оказались наши

влюбленные, слова барона и солдатская его резкость потрясли Габриеллу.

— Тут ваша кормилица, ей незачем слышать наш разговор. Пойдемте,— сказал барон.

Он вышел из садика, Габриелла последовала за ним. Они завернули за домик и спустились к морю.

— Ничего не бойтесь,— сказал барон.

Женщину более опытную слова эти испугали бы, но простодушная и страстно влюбленная девушка всегда считает себя в безопасности.

— Дорогое дитя мое,— сказал барон, стараясь говорить ласковым тоном,— вы и ваш отец находитесь сейчас на краю бездны, и завтра вы упадете в нее. Я не могу этого видеть, я должен предупредить вас. Монсеньор разгневался и на вашего отца и на вас. Он подозревает, что вы завлекли его сына, но герцог скорее предпочтет, чтобы Этьен умер, чем женился на вас. Таковы его чувства относительно сына. А касательно вашего отца герцог принял такое решение. Девять лет тому назад Бовулуар был замешан в одном преступном деле: он будто бы участвовал в подмене младенца при родах некоей знатной дамы, на которые его якобы и призвали для такой цели. Зная, что ваш отец невиновен, герцог заступился за него и спас его от преследования парламента; но теперь он прикажет схватить Бовулуара и потребует, чтобы его предали суду. Отца вашего заживо колесуют. Возможно, в уважение к услугам, которые он оказал своему господину, приговор смягчат: колесование заменят виселицей. Мне неизвестно, что герцог решил сделать с вами. Но я знаю, что вы можете спасти герцога де Ниврона от гнева отца, спасти Бовулуара от ужасной казни, которая его ждет, и спасти свою собственную жизнь.

— Что надо сделать? — спросила Габриелла.

— Бросьтесь к ногам монсеньора, признайтесь, что его сын влюбился в вас помимо вашей воли, скажите, что вы-то его не любите. И в доказательство этого заявите герцогу, что вы выйдете за любого, кого он соблаговолит назначить вам в мужья. Герцог — человек щедрый. Он даст вам большое приданое.

— Я готова все сделать, но от любви своей отречься не могу.

— А если надо отречься, чтобы спасти и вашего отца, и вас, и герцога де Ниврона?

— Этьен тогда умрет, и я тоже!

— Потеряв вас, герцог де Ниврон погрустит, но не умрет, он будет жить ради чести высокого рода д'Эрувилей. Вы смиритесь со своей грустью, станете только баронессой, а не герцогиней, и ваш отец останется жив,— ответил барон, человек положительный.

В эту минуту в хижину вбежал Этьен и, не увидев там Габриеллы, пронзительно закричал.

— Вот он! — воскликнула Габриелла.— Позвольте мне успокоить его.

— Завтра утром я приду за ответом,— сказал барон.

— Я посоветуюсь с отцом,— тихо промолвила девушка.

— Отца вы больше не увидите. Я получил приказ взять его под стражу, заковать в цепи и отправить в Руан,— невозмутимо сообщил барон и ушел, поклонившись потрясенной ужасом Габриелле.

Девушка бросилась к дому и услышала, как Этьен в смертельном испуге спрашивал упорно молчавшую кормилицу:

— Где же она? Где?

— Я здесь! — воскликнула Габриелла дрожащим голосом. В лице ее не было ни кровинки, поступь вдруг отяжелела.

— Где ты была? Почему закричала?

— Ничего... Я ушиблась...

— Нет, любовь моя,— прервал ее Этьен,— я слышал мужские шаги.

— Этьен, мы, верно, прогневили бога... Преклоним колени и помолимся. А потом я все тебе скажу...

Этьен и Габриелла опустились рядом на колени; кормилица, перебирая четки, тихонько шептала молитву.

— Боже великий! — воскликнула девушка в страстном порыве, уносившем ее прочь от земли.— Если мы не согрешили против святых твоих заповедей, если не оскорбили мы ни церкви, ни короля, воззри на нас, господи. Вот мы перед тобой, душой единые и нераздельные, и любовь наша светла, как жемчужины морские, тобой сотворенные. Смилуйся над нами, господи, не разлучай нас ни в жизни, ни в смерти.

— Матушка,— молил Этьен,— будь нашей заступницей на небесах, проси за нас пресвятую деву... Если нет нам с Габриеллой счастья на земле, пусть умрем мы, но вместе и без страданий. Призови нас, матушка, к себе.

Когда он умолк, Габриелла, как всегда, прочитала вечернюю молитву, а потом передала Этьену свой разговор с бароном д'Артаньоном.

— Габриелла,— сказал юноша, черпая мужество в своей оскорбленной любви.— Я не уступлю отцу...

Он поцеловал невесту, но уже не в губы, а в лоб, и возвратился в замок, исполненный твердой решимости восстать против деспота, угнетавшего его всю жизнь. Бедняга не знал, что как только он расстанется с Габриеллой, ее домик оцепят солдаты.

На следующее утро Этьен пошел навестить Габриеллу и, к ужасу своему, узнал, что она стала пленницей; но девушка через кормилицу передала любимому, что она скорее умрет, чем изменит ему; что она к тому же нашла способ усыпить бдительность своих стражей и, ускользнув из домика, спрячется в библиотеке кардинала, где никто и не подумает ее искать; только она еще не знает, когда именно ей можно будет убежать. Этьен заперся в своей спальне, его томило мучительное ожидание, надрывая ему сердце.

В три часа дня прибыла свита герцога, его челядь и обоз с поклажей, а сам он должен был приехать с гостями к ужину. В самом деле, на исходе дня он уже был в замке. Графиня де Гранлье под руку с дочерью, герцог и маркиза Нуармутье поднялись по главной лестнице, встреченные глубоким молчанием, ибо нахмуренное чело наместника Нормандии внушало страх всем его людям. Д'Артаньону было уже известно о побеге Габриеллы, но он заверил герцога, что ее хорошо стерегут; однако барон очень опасался, что все его надежды на блестящее будущее рухнут, если бегство дочери костоправа помешает замыслам герцога. Безобразные лица обоих рубак выражали свирепую злобу, плохо скрытую любезными ужимками, которые им предписывала галантность. Герцог приказал, чтобы Этьен ждал гостей в зале.

— Вот мой сын,— сказал старый герцог и, взяв Этьена за руку, подвел его к дамам.

Этьен молча поклонился. Графиня де Гранлье и дочь

ее переглянулись, что не ускользнуло от старика д'Эрувиля.

— Плохой муж для вашей дочери,— шепотом сказал он графине.— Так вы думаете, правда?

— Вот уж чего я не думаю, дорогой герцог. Совсем наоборот! — улыбаясь, ответила мать невесты.

Маркиза Нуармутье, сопровождавшая сестру, лукаво усмехнулась. Усмешка этой знатной дамы была как нож острый для Этьена. А посмотрев на рослую девицу де Гранлье, он почувствовал отвращение.

— Ну как, герцог? — игриво сказал ему отец, понизив голос.— Красивую лошадку я для вас нашел? Что скажете, ангелочек мой? Хороша девица, верно?

Старик герцог нисколько не сомневался в покорности сына. Этьен, по его мнению, был по характеру вылитая мать, натура мягкая, как воск.

«Дай мне внука, а потом можешь подыхать! — думал старик.— Невелика беда!»

— Батюшка,— кротким голосом сказал Этьен,— я вас не понимаю.

— Пойдемте в вашу комнату, мне надо вам кое-что сказать,— сердито пробормотал герцог, направляясь в парадную опочивальню.

Этьен последовал за отцом. Дамы, сгорая от любопытства, которое разделял и барон д'Артаньон, сначала прохаживались по залу, а потом все остановились кучкой у дверей опочивальни, которые герцог оставил полуоткрытыми.

— Дорогой мой мальчик,— сказал старик, смягчая свой грубый голос.— Я выбрал тебе в жены ту высокую и статную девицу, которую ты сейчас видел. К ней перейдут по наследству все земли младшей ветви дома Гранлье, а это старинный дворянский род, один из самых лучших в Бретонском герцогстве. Прошу тебя, будь учтивым кавалером, припомни самые галантные комплименты из твоих излюбленных стишков. Так уж полагается: сначала любезные слова, а потом и дела.

— Батюшка, верность своему обещанию — первый долг дворянина, не так ли?

— Конечно.

— Вспомните, ведь это вы виноваты, что моя мать скончалась безвременно. И когда я простил вам ее смерть,

признав вас отцом, разве вы не дали мне слова никогда не противоречить моим желаниям? «Я сам буду повиноваться тебе, как богу нашего рода»,— сказали вы тогда. Я ничего от вас не требую, ни на что не посягаю, я желаю только, чтобы мне предоставили свободу самому принять решение в том деле, от которого зависит моя жизнь и которое касается только меня одного.

У старого герцога вся кровь бросилась в лицо.

— А я полагал,— сказал он,— что ты не станешь противиться продолжению нашего высокого рода.

— Вы не ставили мне никаких условий,— сказал Этьен.— Не знаю, что общего между любовью и высоким родом, но хорошо знаю, что я люблю дочь вашего старого друга Бовулуара, внучку былой вашей возлюбленной, Прекрасной Римлянки.

— Но ведь девица Бовулуар умерла! — ответил старый великан, произнеся эти слова с мрачным и насмешливым видом, выдававшим его намерение убрать Габриеллу с дороги.

На мгновение воцарилась глубокая тишина.

Старик заметил трех дам и барона д'Артаньона, стоявших у двери. И в этот драматический момент Этьен, обладавший тонким слухом, различил донесшийся издали голос Габриеллы. Желая послать возлюбленному весть, что она уже проникла в библиотеку, девушка пропела:

Белее лилий, тоньше горностая.

Из бездны смерти, в которую низвергли его слова отца, проклятый сын вознесся к жизни на крыльях этой песенки. Хотя у него едва не разорвалось сердце при столь внезапном переходе от ужаса к счастью, он собрал свои силы и, впервые в жизни взглянув отцу прямо в глаза, ответил на презрение презрением и с ненавистью сказал:

— Дворянин не должен лгать!

Бросившись к двери, которая вела в галерею, он крикнул:

— Габриелла!

Во мраке, словно лилия из темной листвы, появилось вдруг прелестное личико Габриеллы, но тотчас она отшатнулась, увидев группу насмешливо улыбавшихся дам, уже осведомленных о «любовных шашнях» Этьена. Ста-

рый герцог, онемев от неописуемого бешенства, стоял мрачнее грозовой тучи, черным пятном выделяясь на фоне блистающих богатых нарядов трех придворных дам. Любой отец задумался бы, выбирая между жизнью сына, продолжателя рода, и неравным браком, но в этом старике вмиг вспыхнула привычная свирепость, с которой он разрешал все трудности человеческой судьбы. Он выхватил на всякий случай шпагу, как единственное знакомое ему средство разрубать те гордиевы узлы, что завязывает жизнь. От злобы мысли мешались в его голове, натура деспота взяла верх надо всем. Дважды его уличили во лжи, и кто уличил? Ненавистный сын, которого он проклинал тысячу раз, и проклинал в эту минуту больше, чем когда-либо, ибо это хилое существо, достойное презрения и бесконечно презираемое им, восторжествовало над непререкаемым доселе могуществом герцога д'Эрувиля. Он уже не был человеком, не был отцом: лютый тигр вышел из своего логовища, где он прятался. Казалось, помолодев от жажды мести, старик с ненавистью устремил тяжелый взгляд закоренелого убийцы на чету двух прекрасных ангелов, слетевших на землю.

— Так околевайте оба! Сдохни, поганый недоносок, позор рода моего. Подыхай и ты, нищая распутница, змея, отравившая своим ядом мой дом.

Свирепое это рычание наполнило ужасом две светлые души. Увидев меч, занесенный широкой дланью герцога над головой Габриеллы, Этьен упал бездыханным, Габриелла хотела подхватить его и рухнула мертвой вместе с ним.

Старик в бешенстве захлопнул дверь и сказал девице де Гранлье:

— Я сам женюсь на вас!

— А что ж, вы еще молодец! У вас будут прекрасные дети,— сказала графиня на ухо старому герцогу, служившему при семи королях Франции.

Париж, 1831—1836 гг.

ГАМБАРА

Маркизу де Беллуа.

Как-то утром у камелька, в великолепном и таинственно уединенном особняке, который надолго останется в наших воспоминаниях, хотя его уже не существует, в том уголке, откуда открывалась перед нами панорама Парижа — от холмов Бельвю до холмов Бельвиля, от Монмартра до Триумфальной арки, что стоит на площади Этуаль,— за чашкой чая шла беседа, в которой вы, как всегда, бросали столько тонких мыслей, рождавшихся внезапно в вашем чудесном уме, сверкавших, как ракеты фейерверка, и мне так хотелось взяться за перо, ибо из ваших слов передо мною возник образ, достойный Гофмана, носитель неведомых миру сокровищ души, пилигрим, уже стоящий у врат рая, уже улавливающий изощренным слухом пение ангелов, но бессильный повторить эти звуки устами,— и вот, призвав на помощь клавиши рояля, он в порыве божественного вдохновения пробегает по этим пластинкам слоновой кости напряженными худыми пальцами, и кажется ему, что он передает пораженным слушателям дивную музыку небес.

«Гамбара» создан вами, я только воплотил вашу идею. Позвольте же мне воздать кесарево кесарю и выразить сожаление, что вас не тянет взяться за перо. В наше время дворянин в борьбе за спасение своей страны должен владеть пером так же хорошо, как и шпагой. Вы вольны, конечно, не думать о себе, но обязаны подумать о своем таланте.

Первый день 1831 года уж раздарил все свои фунтики с конфетами, уже пробило четыре часа дня, уже в Пале-Руаяль хлынула толпа гуляющих, начали заполняться и рестораций. Как раз в это время перед входом в Пале-Руаяль остановилась двухместная каретка, и из нее вышел молодой человек с гордой осанкой, несомненно, иностранец, иначе на козлах его экипажа не

сидел бы выездной лакей в треуголке с пышным плюмажем, а на дверцах кареты не красовались бы гербы, которые все еще вызывали негодование в героях Июльских дней. Молодой человек вошел в Пале-Руаяль и смешался с толпой, двигавшейся по галерее; его не удивляло, что идти приходилось весьма медленно из-за этого скопления зевак: по-видимому, для него была привычной неторопливая поступь, иронически именуемая «посольским шагом», однако достоинство его облика немножко отдавало театральностью; черты его были красивы, выражение лица строгое, но шляпа, из-под которой выбивались у левого виска черные локоны, слишком задорно была сдвинута набекрень, и эта ухарская манера не вязалась с его степенным видом; прищурив глаза, он рассеянно и презрительно поглядывал на толпу. Миловидная гризетка, посторонившись, чтобы дать ему дорогу, вполголоса воскликнула:

— Какой красивенький молодчик!

— Очень уж много воображает о себе! — громко ответила ей дурнушка подруга.

Пройдясь по галерее, молодой человек достал из кармана часы, поглядел на циферблат, а затем на небо и досадливо щелкнул пальцами, после чего вошел в табачную лавку, зажег там от горевшей свечи сигару, встал перед зеркалом и, осмотрев свое одеяние, несколько более богатое, чем это дозволяется во Франции законами хорошего вкуса, поправил воротник фрака и черный бархатный жилет, по которому в три ряда была пущена толстая золотая цепочка, несомненно, генуэзской работы, затем он ловким движением набросил на левое плечо теплый плащ, подбитый бархатом, изящно задрапировался в него и возобновил свою прогулку, не обращая внимания на мещаночек, строивших ему глазки. Когда в лавках стали зажигаться огни, а на улице, по его мнению, достаточно стемнело, он направился к площади Пале-Руаяль и словно опасался, как бы его не узнали: он обогнул площадь, но, дойдя до фонтана, юркнул за вереницу фиакров и под этим прикрытием свернул на улицу Фруаманто, весьма грязную, темную и подозрительную улицу, своего рода сточную канаву, которую полиция все еще терпит близ Пале-Руаяля, уже подвергнутого очистке,— подобно тому, как итальянский дворец-

кий терпит, что неряха-лакей сгребает в угол, под лестницу, весь мусор, который выметает из барских покоев. Молодой человек в нерешительности остановился — точь-в-точь прифрантившаяся мещаночка, когда она, вытянув шею, смотрит на мутный ручей, бегущий после дождя по канаве, и не решается перепрыгнуть через него. Однако ж, если незнакомец хотел удовлетворить какую-нибудь постыдную свою прихоть, час был выбран удачно: приди он раньше, его могли бы выследить, а позже— опередить.

Поддаться призывному, но не вызывающему взгляду, целый час, а может быть, целый день ходить следом за молодой хорошенькой женщиной; увидеть в сей незнакомке богиню и весьма выгодно для нее истолковать ее легкомыслие; поверить вдруг в неодолимое, внезапное и взаимное влечение; нарисовать в воображении, воспламененном мимолетной влюбленностью, заманчивый роман, хотя в наш век романы пишут именно потому, что их в жизни больше уже не бывает; мечтать о балконах, серенадах, любовных хитростях, замках и драпироваться в плащ Альмавивы; создать при свете фантазии прекрасную поэму — и вдруг очутиться у дверей притона, а в довершение всего понять, что сдержанность твоей Розины — просто-напросто осторожность, вызванная страхом перед полицией,— какое разочарование, не правда ли? И ведь многие мужчины изведали его, хотя ни за что в нем не признаются. Труднее всего признаваться в том, что уязвляет самые естественные наши чувства, а тщеславие как раз и принадлежит к числу таких чувств. Если приключение дальше не заходит, парижанин воспользуется уроком или все позабудет,— словом, беда невелика; но для иностранца все могло обернуться поиному, и молодой красавец уже побаивался, как бы ему не пришлось дорого заплатить за свое парижское воспитание.

Наш любитель прогулок был миланским дворянином, вынужденным бежать из родной страны, ибо он оказался на подозрении у австрийского правительства из-за некоторых своих либеральных выходок. В Париже графа Андреа Маркозини встретили с чисто французской любезностью, как всегда у нас встречают человека, обладающего просвещенным умом, громким именем, а вдобавок

годовым доходом в двести тысяч ливров и обворожительной наружностью. Для такого счастливца изгнание стало приятным путешествием; в Италии его имущество находилось просто под секвестром, и друзья уведомили графа, что года через два самое большее он без опаски может возвратиться на родину. Граф Андреа, имевший несчастье быть поэтом, написал десяток сонетов, в которых crudelli affani рифмовались с miei tiranni [1], оказал из своего кошелька помощь несчастным итальянским эмигрантам и после этого счел себя свободным от обязанностей патриота. С первых же дней он, не долго думая, ринулся в море всяческих удовольствий, которые Париж даром предоставляет всякому, кто достаточно богат, чтобы покупать их. Благодаря своей красоте и дарованиям итальянец пользовался особым успехом у женщин, тем более что он, как это свойственно юношам, любил их всех скопом, но еще ни одну среди них не отличал особо. Склонность к женщинам, впрочем, занимала в его душе второе место, а на первом стояла любовь к музыке и поэзии, которую он развивал в себе с детских лет; и ему казалось, что достигнуть в них успеха будет куда более славной победой, чем покорение женских сердец, поскольку в любовных приключениях природа избавила его от трудностей, которые мужчинам нравится преодолевать. Натура сложная, как и многие другие, он с легкостью поддался соблазнам роскоши, без которой не мог бы жить, и очень дорожил социальными привилегиями, хотя в своих убеждениях отвергал их. Теории этого художника, мыслителя и поэта зачастую вступали в противоречие с его вкусами и привычками дворянина и миллионера; но он не очень этим огорчался, замечая подобные же несообразности у многих парижан — либералов из корыстных побуждений и аристократов по природе. Итак, 31 декабря 1830 года, когда в Париже была нередкая у нас оттепель, граф Андреа Маркозини, к собственному своему удивлению и большому беспокойству, убедился, что его очень заинтриговала женщина, за которой он шел,— женщина, одежда которой свидетельствовала о глубокой, укоренившейся, застарелой, привычной нищете, женщина, которая вовсе не превосхо-

[1] Жестокие разбойники, мои тираны *(итал.)*.

дила красотою дам, встречавшихся ему ежевечерне в Итальянском театре, в Опере или в свете, и, несомненно, не такая молодая, как г-жа де Манервиль, назначившая ему свидание как раз на этот день и, быть может, все еще поджидавшая его. Но в нежном и боязливом, глубоком и быстром взгляде черных глаз этой женщины, который она украдкой бросила на него, было столько скорби и подавленной страсти! А как она покраснела, как вспыхнула, когда вышла из магазина, где пробыла с четверть часа, и встретилась взглядом с глазами молодого итальянца, поджидавшего ее в нескольких шагах от двери!.. Словом, тут было столько «но» и «если б», что граф, поддавшись яростному влечению, которому нет имени ни в одном языке, даже в языке распутства, пустился вслед за незнакомкой, охотясь за встреченной гризеткой, словно какой-нибудь старый парижанин. И дорогой, случалось ли ему опередить эту женщину или идти позади нее, он подробнейшим образом рассмотрел и ее самое и ее костюм. Ему хотелось избавиться от нелепой, сумасшедшей прихоти, крепко засевшей в его мозгу, но скоро в этом разглядывании он уже находил наслаждение более пламенное, чем то удовольствие, какое испытывал накануне, любуясь сквозь благоуханную волну надушенной ванны безупречными формами своей возлюбленной. Порой незнакомка, опустив голову, глядела на него искоса, словно козочка, которую привязали к слишком низкому колышку, вбитому в землю, и видя, что преследователь не отстает, ускоряла шаг, как будто пыталась убежать. Однако ж когда скопление экипажей или какая-либо иная помеха останавливали ее и Андреа удавалось ее догнать, наш миланский дворянин замечал, что хоть его взгляд и смущает незнакомку, черты ее не выражают ни малейшей досады. Эти верные признаки подавленного волнения подхлестнули его разгоряченное воображение, и он неотступно следовал за незнакомкой до улицы Фруаманто, куда она устремилась после многих поворотов, полагая, что скрыла свои следы от иностранца, и тот был крайне удивлен таким маневром. Уже настал вечер. Две размалеванные женщины, стоя у прилавка в бакалейной, пили черносмородинную наливку и, увидев молодую женщину, окликнули ее. Она остановилась у порога, коротко, но ласково ответила на

их сердечное приветствие и двинулась дальше. На глазах у Андреа, не отстававшего от нее, она вдруг исчезла в одном из самых темных подъездов на этой улице, названия которой он не знал. От омерзительного вида трущобы, где скрылась героиня его романа, итальянцу стало тошно. Отойдя немного, чтобы рассмотреть это место, он оказался рядом с каким-то подозрительным субъектом и вздумал его расспросить. Субъект оперся правой рукой на узловатую палку, левой подбоченился и ответил одним-единственным словом:

— Ловкач!

Но, смерив взглядом итальянца, на которого падал свет уличного фонаря, он изобразил на своем лице благодушную улыбку.

— Ах, прошу прощения, сударь!—заговорил он, уже совсем другим тоном.— В этом доме помещается также и ресторация, нечто вроде кухмистерской, но готовят там скверно и в суп, представьте, кладут сыр! Но, может быть, вам эта стряпня понравится, так как по платью вашему видно, что вы итальянец: все итальянцы любят бархат и сыр. Если угодно, я могу, сударь, указать вам другую ресторацию, получше, в двух шагах отсюда: заведение держит моя жена, и она очень любит иностранцев.

Андреа закутался плащом до самых усов и бросился прочь, гонимый отвращением к гнусному своему собеседнику, у которого и физиономия, и одежда, и жесты вполне соответствовали тому отталкивающему дому, где скрылась незнакомка. Очутившись в своих покоях, он с радостью смотрел на изысканное их убранство и, переодевшись, отправился на вечер к маркизе д'Эспар, надеясь смыть таким образом грязную фантазию, тирански властвовавшую над ним несколько часов. Но когда он лег в постель и задумался, в ночной тиши вновь возникло перед ним видение, очаровавшее его днем, только более светлое, более живое и одухотворенное, нежели в действительности. Вновь незнакомка шла впереди него; порой, переступая через канаву, она приподнимала платье, и тогда видна была ее округлая ножка; она шла нервной поступью, бедра ее покачивались при каждом шаге; вновь Андреа хотелось заговорить с нею, и он не решался (это он-то, граф Маркозини, миланский дво-

рянин!). Затем он увидел, как она вошла в темные сени, скрылась от него, и теперь Андреа упрекал себя, зачем он не устремился вслед на нею.

«Ведь если она убегала от меня,— говорил он себе,— как будто хотела, чтобы я потерял ее следы, стало быть, я понравился ей. У женщин такого пошиба сопротивление становится доказательством любви. Если бы я довел до конца нынешнее приключение, я, может быть, почувствовал бы к ней отвращение, зато спал бы спокойно».

Граф имел обыкновение подвергать разбору самые живые свои чувства, как это невольно делают люди, обладающие в равной мере и умом и сердцем, и его удивляло, что незнакомка с улицы Фруаманто предстает перед ним не в сказочной прелести одежды, подобающей видениям, а в неприкрашенной, горькой, реальной нищете. Да если бы фантазия избавила эту женщину от нищенского ее одеяния, это бы все испортило: ведь он хотел ее, желал ее, любил ее именно такою, какова она была: в забрызганных грязью чулках, в стоптанных башмаках, в старенькой шляпе из рисовой соломки! Он желал обладать ею в том самом мерзком доме, куда она вошла на его глазах!

«Неужели меня увлекает порок? — испуганно спрашивал он себя.— Нет, до этого я еще не дошел. Мне двадцать три года, и я не похож на пресыщенных старых распутников».

Самая сила прихоти, игрушкой которой он оказался, несколько успокаивала его. Эта странная борьба, эти размышления и любовь «на ходу» справедливо могут показаться удивительными некоторым людям, привыкшим к парижским нравам, но им следует помнить, что граф Андреа Маркозини не был французом.

Андреа, которого воспитывали два аббата и, согласно воле ханжески благочестивого отца, их питомца редко отпускали на волю, не был в одиннадцать лет влюблен в свою кузину, а в двенадцать не соблазнял горничной своей матери; он не учился в тех коллежах, где дают самое усовершенствованное, но иное образование, чем в казенных учебных заведениях, и, наконец, в Париже он жил всего лишь несколько лет; итак, он был еще доступен внезапным и глубоким впечатлениям, против коих воспитание и нравы французов воздвигают мощную

преграду. В южных странах великая страсть зачастую рождается с первого взгляда. Некий гасконский дворянин, много размышлявший о том, как умерить свою чувствительность, составил для себя тысячу мелких рецептов против внезапных ударов, парализующих и ум и сердце, советовал графу по крайней мере раз в месяц предаваться грандиозной оргии, чтобы предотвратить эти бури душевные, которые без такой предосторожности разражаются весьма некстати. Андреа вспомнил этот совет. «Прекрасно,— решил он.— Начну завтра же, первого января».

Вот почему граф Андреа Маркозини, опасливо лавируя, направился на улицу Фруаманто. Человек элегантный мешал влюбленному, и он долго колебался; но, воззвав последний раз к своему мужеству, итальянец довольно твердыми шагами двинулся вперед и дошел до дома, который узнал без труда. Тут он опять остановился. А что, если эта женщина совсем не такова, какой он вообразил ее себе? Вдруг да сделаешь ложный шаг! Тогда он вспомнил об итальянской кухмистерской и поспешил воспользоваться этим безобидным средством: оно могло послужить его прихоти и избавить от отвращения. Решив пообедать здесь, он вошел в темный коридор и в глубине его после долгих поисков ощупью нашел наконец лестницу с сырыми и липкими ступенями, столь крутую, что важному итальянскому синьору она должна была показаться простой стремянкой. Лампочка, поставленная прямо на пол на площадке второго этажа, и сильный кухонный чад привели его к цели; он толкнул полуотворенную дверь и вошел в большую комнату, где все почернело от грязи и копоти и где какая-то старая ведьма хлопотала вокруг обеденного стола, накрытого человек на двадцать. Никого из посетителей еще не было. Окинув взглядом полутемную комнату, в которой обои отстали от стен и висели клочьями, наш дворянин уселся возле печки, дымившей и гудевшей в углу. Внезапно появился хозяин, привлеченный шумом, который произвел граф, входя в кухмистерскую и пристраивая на вешалку свой плащ. Вообразите себе повара, тощего, долговязого, наделенного непомерно большим и толстым носом, порой озиравшегося с лихорадочной живостью и бросавшего вокруг быстрый взгляд, казавшийся ему

проницательным. Увидев Андреа, весь облик которого говорил о большом достатке, il signor Джиардини почтительно поклонился. Граф выразил желание столоваться в его заведении в обществе своих соотечественников, заранее оплатил некоторое количество билетов и, желая поскорее перейти к цели, искусно придал беседе приятельский характер. Едва он заговорил о своей незнакомке, il signor Джиардини сделал комический жест и, хитро улыбаясь, посмотрел на гостя.

— Basta! — воскликнул он.— Capisco [1], ваше сиятельство, вас привел сюда двоякий аппетит. Синьора Гамбара зря времени не потеряла, если ей удалось заинтересовать такого щедрого синьора, каким вы кажетесь. Я в нескольких словах расскажу все, что нам известно об этой бедной женщине, поистине достойной жалости. Муж ее, кажется, уроженец Кремоны, сюда приехал из Германии; он, видите ли, хотел ознакомиться с новой музыкой и с новыми музыкальными инструментами. У кого? У этих Tedeschi [2]. Ну, не жалость ли? — сказал Джиардини, пожимая плечами.— Синьор Гамбара считает себя великим композитором, но в житейских делах он, по-моему, простак. Впрочем, человек он деликатный, здравомыслящий и даже глубокого ума, иной раз весьма приятный, в особенности, когда подвыпьет, что случается редко ввиду крайней его бедности. День и ночь он сочиняет воображаемые оперы и симфонии вместо того, чтобы зарабатывать кусок хлеба, как все порядочные люди. Его жена, бедняжка, вынуждена гнуть спину за иглой, обшивать заказчиц,— признаться сказать, всякую шваль! Что поделаешь! Она любит своего мужа! Как отца, любит и заботится о нем, как о ребенке. Много молодых людей обедало у меня, чтобы поухаживать за синьорой Гамбара, но ни один не имел успеха,— добавил синьор Джиардини, подчеркивая последние три слова.— Синьора Марианна добродетельна, милостивый государь, слишком добродетельна, на свою беду. А нынче поклонники даром ничего не дают. Бедняжка умрет, надорвавшись на работе. И вы думаете, муж вознаграждает ее за такую преданность? Как бы не так! Синьор

---

[1] Довольно! Понял! *(итал.)*.
[2] Немцев *(итал.)*.

композитор даже не улыбнется ей. Они сидят на одном хлебе, потому что этот дьявол ни гроша не зарабатывает да еще тратит плоды тяжких трудов своей жены на музыкальные инструменты и целыми днями то обтачивает их, то удлиняет, то укорачивает, разбирает и опять собирает — до тех пор мудрует над ними, пока не извлечет из них такие звуки, что кошки и те разбегаются. Зато он тогда доволен! Но вот посмотрите на него и убедитесь, что он кротчайший и милейший из людей. И совсем не ленивец, он вечно трудится. Знаете, что я вам скажу? Он сумасшедший и не сознает этого. Я видел, как он обрабатывал свои инструменты напильником, молотком и ел за работой черный хлеб с таким аппетитом, что мне даже завидно стало, а ведь у меня, сударь, лучший стол во всем Париже. Да-с, ваше сиятельство, через четверть часика вы узнаете, что я за человек. Я ввел в итальянскую кухню самые изысканные блюда! Вы будете поражены. Ваше сиятельство, я неаполитанец и, стало быть, прирожденный повар. Но к чему нам инстинкт без науки? Я отдал тридцать лет жизни, чтобы овладеть ею, и вот до чего она довела меня! Повесть моей жизни печальна, как у всех даровитых людей. Мои искания, мои опыты разорили три ресторана, которые один за другим я открывал — в Неаполе, в Парме и в Риме. Даже и теперь, когда я вынужден обращать свое искусство в ремесло, я слишком часто предаюсь страсти, господствующей надо мною. Я угощаю бедных изгнанников своими любимыми кушаньями. Я, таким образом, разоряюсь. По собственной глупости, скажете вы. Знаю! Но что поделаешь! Призвание влечет меня, и я не могу противиться своему таланту, готовлю чудесные блюда собственного изобретения. Мои столовники всегда это замечают. Клянусь, они сразу угадывают, кто—я или моя жена—состряпал блюдо. И что же получается? Из шестидесяти с лишком гостей, которых я ежедневно видел за своим столом, когда открыл эту жалкую ресторацию, нынче у меня бывает человек двадцать, да и тех я кормлю по большей части в кредит. Уроженцы Пьемонта и Савойи ушли, но знатоки, люди со вкусом — словом, настоящие итальянцы — остались мне верны. Ради них-то я иду на любые жертвы! Зачастую я за двадцать пять су с головы даю им обед, который мне самому обходится вдвое дороже.

В речах синьора Джиардини чувствовалось столько простодушной неаполитанской хитрости, что граф был очарован: ему казалось, что он в театре Жероламо.

— Раз так, дражайший хозяин,—фамильярно сказал он повару,— раз благодаря случаю и вашему доверию я проник в тайну ваших ежедневных жертв, позвольте мне удвоить сумму.

С этими словами Андреа пустил волчком по крышке переносной печки золотой в сорок франков. Джиардини торжественно вручил ему сдачи — два франка пятьдесят сантимов, очень позабавив даятеля церемонными ужимками.

— Через несколько минут вы увидите свою donnina [1]. Я посажу вас рядом с мужем, и, если вы желаете понравиться ему, заведите разговор о музыке... Я пригласил их обоих. Бедняжки! По случаю Нового года я угощу своих гостей необыкновенными блюдами, в приготовлении коих, думается мне, я превзошел самого себя!..

Голос синьора Джиардини заглушили шумные поздравления гостей, являвшихся по двое, поодиночке, довольно неаккуратно, как то обычно бывает в табльдотах. Джиардини подчеркнуто держался подле графа и, взяв на себя роль чичероне, характеризовал ему своих завсегдатаев. Он старался шуточками вызвать улыбку на устах графа, верным чутьем неаполитанца угадывая в нем богатого покровителя, у которого можно будет поживиться

— Вот этот,— говорил он,— горе-композитор. Жаждет перейти от романсов к опере, да не может. Жалуется на директоров, на владельцев нотных магазинов, на всех решительно, кроме самого себя, хотя он сам-то и есть злейший свой враг... Посмотрите, какой он румяный, цветущий, сколько самодовольства в его чертах, как мало в них твердости и воли. Такому только романсы и сочинять!.. А тот, который пришел с ним, похож на уличного торговца спичками, не правда ли? Меж тем это одна из величайших в музыке знаменитостей — Джигельми! Крупнейший итальянский дирижер. Но он оглох и доживает свой век очень печально, лишившись всего, что украшало его жизнь! О! Вот и наш великий Отто-

---

[1] Тут — дамочка *(итал.)*.

бони, простодушный старец, добрейшее на свете существо. Но его заподозрили в том, что он самый ярый из тех, кто жаждет возрождения Италии. Подумайте! Как можно было подвергнуть изгнанию такого почтенного старца!

Тут Джиардини посмотрел на графа, но тот, догадываясь, что его прощупывают в отношении политики, из осторожности застыл в чисто итальянской неподвижности.

— Ресторатор, обязанный стряпать на всех, должен запретить себе иметь какие-либо политические убеждения, ваше сиятельство,— продолжал Джиардини.— Но любой человек, взглянув на этого доброго старика, больше похожего на овечку, нежели на льва, сказал бы то же самое при ком угодно, даже при самом австрийском после-нике. К тому же настало время, когда свободу уже не преследуют, и вскоре она возобновит свое триумфальное шествие! Так, по крайней мере, думают эти славные люди,— сказал он на ухо графу.— Зачем же я буду разрушать их надежды? Однако сам я не питаю ненависти к абсолютизму, ваше превосходительство! Каждый великий талант тяготеет к абсолютизму! А, знаете, Оттобони, при всей своей гениальности, несет неслыханно тяжкий труд ради просвещения Италии,— он сочиняет маленькие книжечки, способствующие умственному развитию детей и простолюдинов, и очень ловко переправляет их в Италию; он всячески старается содействовать нравственному усовершенствованию нашей несчастной родины, которая свободе предпочитает наслаждения,— в чем она, быть может, и права.

Граф по-прежнему хранил бесстрастный вид, и повару-кухмистеру не удалось угадать истинные его политические убеждения.

— Оттобони,— продолжал он,— святой человек, золотое сердце, готов каждому помочь, все наши изгнанники его любят; ведь и либерал, ваше превосходительство, может иметь добродетели!.. Ага, вот и журналист,— оживился Джиардини, указывая на человека, одетого так, как рисовали прежде поэтов, обитающих на чердаках: на нем был потертый фрак, рваные сапоги, засаленная шляпа и жалкий, пришедший в полную ветхость редингот.— Ваше сиятельство, вот даровитый и неподкуп-

ный человек! Только ему бы не в наше время жить: он режет людям правду в глаза, все его терпеть не могут. Он дает в двух безвестных газетках отчеты о театральных спектаклях, а ведь такой образованный литератор мог бы писать в больших газетах. Бедняга!.. Других не стоит вам представлять, они того не заслуживают, да вы, ваше сиятельство, и сами их разгадаете,— сказал Джиардини, заметив, что граф уже не слушает его, ибо увидел жену композитора.

Синьора Марианна при виде Андреа вздрогнула и залилась краской.

— Вот он,— тихо сказал Джиардини и, сжав локоть графа, указал на высокого, худого человека.— Смотрите, какой он бледный, какое суровое лицо! Ах, бедняга! Должно быть, у него сегодня незадача. Сел на своего конька, а тот не слушается, скакать не хочет.

В любовные замыслы Андреа внесло расстройство поразительное обаяние Гамбара, привлекавшее к нему каждую истинно художественную натуру. Композитору исполнилось сорок лет; его широкий лоб с залысинами прорезали преждевременные, еще неглубокие морщины; от худобы виски у него как бы ввалились, сквозь тонкую гладкую кожу просвечивали синие жилки, глубоко запали в орбиты глаза с тяжелыми веками и светлыми ресницами; однако плавные линии и мягкие очертания нижней части лица придавали ему большую моложавость. Наблюдая его со стороны, можно было с первого же взгляда понять, что у этого человека подавлены все страсти и за их счет господствует интеллект, что постарел он в каком-то великом душевном борении. Андреа бросил испытующий взгляд на Марианну: ее прекрасная итальянская головка, поражавшая благородством пропорций, правильные черты, великолепные краски свидетельствовали, что в ее организме гармонически уравновешены все силы человеческие, и ему стало ясно, что глубокая пропасть разделяет два эти существа, соединенные волей случая. Усматривая в этом различии между супругами счастливое для себя предзнаменование, он, однако, вовсе не думал отказываться от другого чувства, которое могло воздвигнуть преграду между ним и красавицей Марианной. К человеку, чьим единственным сокровищем она была, он уже чувствовал нечто вроде почти-

тельной жалости; по его кроткому и грустному взгляду Андреа угадывал в нем страдальца, с достоинством и спокойствием встречающего свои несчастья. Он ожидал увидеть в лице этого музыканта одного из тех комических персонажей, каких столь часто выводят на сцену немецкие сочинители и поэты, кропающие либретто, а перед ним появился человек простой и сдержанный, у которого и манеры и одежда не имели в себе ничего странного и даже не лишены были известного изящества. Костюм его, исключавший всякую мысль о роскоши, был более приличен, чем то соответствовало крайней бедности; белизна сорочки говорила о том, что кто-то с нежной заботой печется о всех мелочах его жизни. Андреа устремил влажный взор на Марианну, и на этот раз она ничуть не покраснела,— даже легкая улыбка тронула ее губы, улыбка гордости, вызванной этим безмолвным восхищением. Граф, влюбленный страстно и подстерегавший малейший знак благосклонности, счел себя любимым, раз он был так хорошо понят. С этой минуты он больше старался покорить мужа, чем жену, и направил все свои батареи против бедного синьора Гамбара, который, ничего не подозревая, поглощал bocconi [1] синьора Джиардини, не замечая их вкуса. Граф завел разговор на какую-то избитую тему, но с первых же слов убедился, что Гамбара, быть может, справедливо считавшийся слепым в определенном вопросе, является во всем остальном весьма прозорливым, и нужно постараться не столько льстить фантазиям этого глубокомысленного человека, сколько постараться понять его идеи. Остальные столовники, люди голодные, у которых за обедом, хорошим или дурным, пробуждалось остроумие, выказывали самое недоброжелательное отношение к несчастному композитору и явно ждали только, когда они покончат с тарелкой супа, чтобы пуститься в насмешки над ним. Один из сотрапезников, который то и дело бросал на Марианну нежные взоры, выдававшие его претензии завоевать сердце итальянки, и вообразивший, что он уже значительно преуспел в этом, попытался высмеять Гамбара и повел на него атаку, желая показать новому гостю, какие обычаи здесь царят.

---

[1] Кушанья *(итал.)*.

— Что-то мы давненько не слышим об опере «Магомет»! — воскликнул он, улыбаясь Марианне.— Неужели Паоло Гамбара погряз в домашних заботах и так поглощен житейскими радостями, что пренебрегает своим сверхчеловеческим талантом? Как он допускает, чтобы охладела его гениальность и остыло воображение?

Гамбара знал всех столовников и чувствовал себя настолько выше их, что больше уже не давал себе труда отбивать их нападения: он ничего не ответил.

— Не всем дано столько ума,— заговорил журналист,— чтобы понимать музыкальные творения синьора Гамбара. Это, вероятно, и мешает божественному маэстро проявить свой талант перед славными парижанами.

— Напрасно,— сказал сочинитель романсов, до той минуты открывавший рот лишь для того, чтобы поглощать все, что подавалось на стол.— Напрасно. Я знаю талантливых людей, отнюдь не презирающих мнение парижан. Мои музыкальные произведения пользуются некоторой известностью. Легкие арии, написанные мною для водевилей, и мои контрдансы имеют большой успех в гостиных,— добавил он с самодовольно скромным видом.— Но это только начало: я рассчитываю, что вскоре будет исполнена месса, созданная мною по поводу годовщины смерти Бетховена, и я уверен, что в Париже меня поймут лучше, чем где бы то ни было. Надеюсь, вы, сударь, окажете мне честь присутствовать на этой мессе,— добавил он, обращаясь к Андреа.

— Благодарю вас,— ответил граф.— Я не одарен достаточно тонким слухом, чтобы оценить французские песнопения. Но вот, если бы вы умерли, сударь, и Бетховен написал бы заупокойную мессу, я непременно пришел бы послушать.

Эта шутка оборвала выпады людей, желавших для развлечения нового сотрапезника заставить Гамбара говорить о том, что являлось его манией. Но Андреа было противно, что пошлое здравомыслие этих господ обращало в посмешище столь благородное и трогательное безумие. Без всякой задней мысли он продолжал вести со своим соседом бессвязный разговор, и то и дело, когда собеседники обменивались репликой, между ними просовывал нос синьор Джиардини. Всякий раз, как у Гамбара вырывалась шутка хорошего тона или какое-нибудь

парадоксальное замечание, кухмистер вытягивал шею, бросал на композитора жалостливые взгляды, а на графа — взгляды понимающие и говорил ему на ухо: «E matto» [1].

Настала минута, когда кухмистеру пришлось прервать свои глубокомысленные замечания и заняться второй переменой блюд, которой он придавал величайшее значение. В его недолгое отсутствие Гамбара, наклонившись к Андреа, сказал вполголоса:

— Добряк Джиардини грозил угостить нас сегодня блюдом собственного изобретения: советую оставить сие кушанье в неприкосновенности, хотя оно и приготовлено под наблюдением его супруги. У этого славного человека мания вводить новшества в кулинарию. Он разорился на таких опытах и в результате последнего из них должен был покинуть Рим без паспорта,— об этом обстоятельстве он умалчивает. Он, видите ли, купил прославленный ресторан и получил заказ приготовить парадный обед, который желал дать новопосвященный кардинал, еще не имевший своего хозяйства. Джиардини решил, что ему представился случай отличиться, и действительно отличился: в тот же день к вечеру он был обвинен в намерении отравить весь конклав, и вынужден был бежать из Рима и из Италии, не успев уложить чемоданы. Это было для него последним ударом, и теперь он...

Гамбара приставил палец ко лбу и покачал головой.

— Впрочем,— добавил он,— Джиардини — человек добрый. Жена говорит, что мы ему многим обязаны.

Появился Джиардини, осторожно держа в руках блюдо; поставив его на стол, он скромно сел возле Андреа и ему первому положил кушанье на тарелку. Но, попробовав это яство, граф почувствовал, что второго кусочка ему не проглотить. Это привело его в крайнее смущение, он совсем не хотел огорчать повара, внимательно следившего за ним. Если французский ресторатор не очень тревожится, когда его стряпней пренебрегли,— ему все равно, лишь бы заплатили,— не думайте, что так же ведет себя итальянский ресторатор: для него зачастую мало бывает простой похвалы. Чтобы выиграть

---

[1] Он сумасшедший *(итал.)*.

время, Андреа принялся горячо поздравлять Джиардини. Наклонившись к сему поварских дел мастеру, он сунул ему под столом в руку золотой и попросил сходить в лавку купить несколько бутылок шампанского, предоставив ему право приписать самому себе честь такой щедрости.

Когда Джиардини вернулся, все тарелки были пусты, а в комнате раздавались восторженные похвалы кухмистеру. Шампанское быстро разгорячило головы итальянцев, и разговор, до тех пор сдерживаемый присутствием постороннего, сразу вышел из рамок, предписываемых подозрительностью, устремившись в беспредельную сферу политических и художественных теорий. Андреа, не знавший иного опьянения, кроме опьянения любовью и поэзией, быстро овладел вниманием сотрапезников и ловко направил спор в сферу музыки.

— Благоволите просветить меня, сударь,— сказал он, обращаясь к сочинителю кадрилей,— как это Наполеон легких мелодий снизошел до того, что готов свергнуть с престола и Палестрину, и Перголезе, и Моцарта? Ведь им, беднягам, придется дать тягу, лишь только зазвучит ваша потрясающая заупокойная месса!

— Сударь,— ответил композитор,— музыканту всегда бывает трудно ответить, когда ему для ответа требуется содействие целой сотни искусных исполнителей. Моцарт, Гайдн и Бетховен без оркестра немного стóят.

— Немного стóят? — удивился граф.— Но всему миру известно, что бессмертного создателя «Дон-Жуана» и «Реквиема» зовут Моцарт. А, к сожалению своему, я не знаю имени плодовитого сочинителя кадрилей, пользующихся таким успехом в светских гостиных.

— Музыка существует независимо от исполнения,— заметил дирижер, уловивший, несмотря на свою глухоту, несколько слов из этого спора.— Открыв нотную тетрадь с бетховенской симфонией до минор, настоящий музыкант мгновенно унесется в мир фантазии на золотых крыльях музыкальной темы, взятой в чистом соль и повторенной валторнами в ми. Перед ним предстанет вся природа, то озаренная ослепительными лучами света, то сумрачная, затененная облаками грусти, то оглашаемая ликующими дивными песнями.

— Новая школа превзошла вашего Бетховена,— презрительно бросил сочинитель романсов.

— Бетховен еще не понят,— сказал граф.— Как же это его могли превзойти?

Гамбара осушил большой бокал шампанского, сопроводив это возлияние легкой одобрительной улыбкой.

— Бетховен,— продолжал граф,— раздвинул пределы инструментальной музыки, и еще никто...

Гамбара в знак согласия закивал головой.

— Творения Бетховена прежде всего поражают простотой плана и манерой его осуществления,— развивал граф свою мысль,— у большинства композиторов беспорядочные, сумбурные оркестровые партии переплетаются лишь для мимолетного эффекта,— далеко не всегда они развиваются равномерно, способствуя тем самым цельности впечатления от всей вещи. У Бетховена эффекты, так сказать, распределены заранее. Подобно различным полкам, которые обеспечивают согласованными действиями победоносный исход сражения, отдельные оркестровые партии в симфонии Бетховена развиваются в порядке, заданном в интересах всего произведения, и все они подчинены великолепно задуманному плану. В этом отношении Бетховен равен гению, блистающему в другом виде искусства. В замечательных исторических романах Вальтера Скотта какой-нибудь персонаж, наиболее далекий от развития фабулы, в определенный момент, благодаря нитям, пронизывающим всю ткань интриги, оказывается причастным к развязке.

— E vero! [1]— сказал Гамбара, у которого здравый смысл, по-видимому, возрастал в обратной пропорции с трезвостью.

Желая углубить испытание, Андреа отбросил на минуту все свои подлинные симпатии и принялся подрывать европейскую славу Россини,— он повел против итальянской школы тот же самый спор, в котором она уже тридцать лет остается победительницей более чем в ста театрах Европы. Он взял на себя нелегкую задачу. Первые же его слова вызвали у окружающих глухой ропот неудовольствия; но ни выпады, часто прерывавшие его, ни гневные возгласы, ни нахмуренные брови, ни жа-

---

[1] Правильно! *(итал.)*.

лостливые взгляды не остановили ярого почитателя Бетховена.

— Сравните,— говорил он,— возвышенные творения великого композитора, о коих я сейчас упоминал, с тем, что принято называть итальянской музыкой: какая в ней вялость мысли, какой убогий стиль! Эти однообразные обороты, эта банальность каденций, эти вечные фиоритуры, брошенные где попало, при любой ситуации, эти назойливые крешендо, введенные в моду Россини и ныне ставшие обязательными в каждой пьесе, эти соловьиные трели — все это болтливая, трескучая, раздушенная музыка, у которой только то достоинство, что певцам более или менее легко запомнить ее мелодии и легко передать их голосом. Итальянская школа позабыла о высоком назначении искусства. Вместо того, чтобы поднимать толпу, она сама опустилась до ее уровня; она вошла в моду только потому, что желает всем угодить, обращается ко вкусам людей вульгарных, составляющих большинство публики. Такую же славу могут стяжать и площадные фокусники. Словом, музыкальные композиции Россини — олицетворение этой музыки — и творения всех его подражателей, по-моему, достойны лишь того, чтобы собирать на улице толпу вокруг шарманки, которая их играет, аккомпанируя прыжкам Полишинеля. Право, уж лучше французская музыка. Этим все сказано! Да здравствует немецкая музыка... когда она умеет петь,— добавил он вполголоса.

Этим выпадом закончилась длинная диссертация, которую Андреа защищал больше четверти часа, блуждая в самых возвышенных сферах метафизики с легкостью лунатика, расхаживающего по крышам. Гамбара проявлял живейший интерес ко всем тонкостям дискуссии и ничего не упустил из нее. Лишь только Андреа умолк, очевидно, решив прекратить спор, Гамбара взял слово, и сотрапезники насторожились, меж тем как до этого многие уже собрались было уходить.

— Вы очень энергично нападаете на итальянскую школу,— начал Гамбара, явно оживившись от шампанского.— А, впрочем, мне это довольно безразлично. Я, слава богу, стою вне этих, более или менее мелодических пустячков! Но, право, вы, светский человек, выказываете черную неблагодарность к классической стране му-

зыки, из которой Германия и Франция извлекли для себя первые уроки. В то время как сочинения Кариссими, Кавалли, Скарлатти, Росси исполнялись по всей Италии, скрипачи в оркестре парижского оперного театра имели странную привилегию играть на скрипке в перчатках. Люлли, который расширил пределы гармонии и первым прибегал к диссонансам, прибыв во Францию, нашел в ней только двоих людей — повара и каменщика, обладавших голосом и достаточно толковых, чтобы исполнять его музыку: из первого он сделал знаменитого тенора, а из второго — не менее знаменитого баритона. В Германии в ту пору никто, за исключением Себастьяна Баха, не знал музыки... А вы, сударь,— добавил Гамбара смиренным тоном, как будто боясь, что слова его будут выслушаны с презрением или недоброжелательно,— вы молоды, но, наверно, долго изучали высокие вопросы искусства. Иначе вы не излагали бы их с такой ясностью.

Слово «ясность» вызвало улыбку у некоторых слушателей, ибо они ничего не поняли в различиях, установленных графом. Джиардини, видевший в его тирадах лишь бессмысленный набор фраз, втихомолку посмеиваясь, подтолкнул его локтем, весьма довольный мистификацией, сообщником которой считал себя.

— В том, что вы сейчас говорили нам,— продолжал Гамбара,— многое кажется мне вполне разумным, но будьте осторожны. Защищая музыку, вы бичуете итальянский сенсуализм и, сдается мне, склоняетесь к немецкому идеализму, а ведь он не менее пагубная ересь. Если такие люди, как вы, наделенные воображением и здравым смыслом, покинут один лагерь лишь для того, чтобы перейти в другой, если они не могут остаться нейтральными меж двумя крайностями,— над ними вечно будут иронизировать софисты, которые отрицают прогресс и сравнивают человеческий гений вот с такой скатертью: она слишком коротка, чтобы покрыть весь стол синьора Джиардини, и посему украшает лишь один конец стола в ущерб другому концу.

Джиардини подпрыгнул на стуле, словно его укусил слепень, но тотчас же решил сохранить достоинство амфитриона: он вскинул глаза к небу и вновь подтолкнул графа, который начал уже подозревать, что хозяин кух-

мистерской — еще более сумасшедший, чем Гамбара. Благоговейные и строгие суждения композитора об искусстве в высшей степени заинтересовали его. Он оказался меж двух видов безумия — одно было столь благородным, другое столь пошлым,— и безумцы эти насмехались друг над другом, к великому удовольствию толпы. Наступила минута, когда граф увидел, что должен сделать выбор между патетикой и пародией, двумя сторонами любого творчества. Позабыв о сцеплении невероятных, случайных обстоятельств, которые привели его в эту закопченную харчевню, он счел себя жертвой странной галлюцинации и теперь смотрел на Гамбара и Джиардини как на призрачные фигуры.

Тем временем столовники после заключительной шуточки дирижера по адресу Гамбара с громким хохотом поднялись и стали расходиться. Джиардини отправился на кухню варить кофе, желая попотчевать им избранных гостей. Жена его убирала со стола. Граф сел у печки между Марианной и Гамбара, то есть занял ту самую позицию, которую безумец находил столь желательной: слева у него был сенсуализм, а справа — идеализм. Впервые встретив человека, который не смеялся ему прямо в лицо, Гамбара вскоре вышел из рамок рассуждений на общие темы и заговорил о себе самом, о своей жизни, о своих работах и о необходимости обновления музыки, считая себя его мессией.

— Вы — человек, до сих пор ничем не оскорбивший меня. Послушайте мои слова. Я хочу рассказать вам о своей жизни,— не для того, чтобы похвастаться своим упорством, ибо оно исходит не от меня, но даровано мне всевышним, укрепившим мой дух. Я чувствую в вас доброту и благородство; если вы и не поверите в меня, то хотя бы почувствуете ко мне сострадание: сострадание — черта человеческая, а веру ниспосылает бог.

Андреа, краснея, подобрал под стул ногу, касавшуюся ножки прелестной Марианны, но, слушая Гамбара, смотрел только на итальянку.

— Я родился в Кремоне,— продолжал Гамбара.— Мой отец делал музыкальные инструменты и был довольно хорошим музыкантом, но гораздо больше был он композитором. Итак, я еще на заре жизни мог познать

законы создания музыки в двойном их выражении — материальном и духовном и, будучи любознательным ребенком, делал наблюдения, которые впоследствии всплыли в моем уме, когда я стал уже зрелым человеком. Французы изгнали нас с отцом из нашего дома. Война разорила нас. Уже с десяти лет началась для меня скитальческая жизнь. Скитания были тогда уделом почти всех беспокойных людей, у которых рождаются идеи обновления искусства, науки или политических установлений. Судьба или склад души, которой тесно в клетках, где чинно сидят буржуа, непреодолимо влекут их туда, где человек может получить настоящее образование. Побуждаемый страстью к музыке, я переходил из театра в театр, бродил по всей Италии, живя на гроши, как живут там бедняки. То я играл на контрабасе в оркестре, то пел на сцене в хоре, то орудовал под сценой в качестве помощника театральных машинистов. Я изучал музыку во всех ее эффектах, вслушивался в звуки музыкальных инструментов и в голос человеческий, старался понять, в чем они отличаются друг от друга, а в чем сходствуют; прослушивал партитуры и применял на практике правила, усвоенные мною от отца. Зачастую я в своих странствиях зарабатывал деньги починкой музыкальных инструментов. Я вел голодную жизнь в стране, где всегда блещет солнце, где искусство сияет повсюду, но где нет денег для артистов, с тех пор как Рим только по имени стал владыкой всего христианского мира. То я встречал радушный прием, то нищета гнала меня дальше; но никогда я не терял мужества: внутренний голос предвещал мне славу, и я верил ему! Музыку я считал находящейся в состоянии младенчества. Это мнение я сохранил и поныне. Все наследие, оставшееся нам от предшествующего музыкального мира вплоть до XVII столетия, показало мне, что старые композиторы знали только мелодию, им неведома была гармония и ее огромные возможности. Музыка — это наука и вместе с тем искусство. Ее корни уходят в математику и в физику, что делает ее наукой; искусством же ее делает вдохновение, безотчетно применяющее научные теории. С физикой ее связывает сама субстанция звуков: звук есть колебание воздуха; воздух состоит из определенных элементов, несомненно соответствующих аналогичным элементам нашего

естества, которые на них отзываются как родственные начала и возвеличиваются мощью человеческой мысли. Стало быть, в воздухе должно содержаться столько же частиц, различных по степени их упругости и способных к такому же количеству вибраций различной продолжительности, сколько тонов имеют тела, производящие звуки, а этим частицам, воспринимаемым нашим слухом и используемым музыкантом, соответствуют те или иные идеи, зависящие от нашего телесного и духовного склада. По-моему, природа звука тождественна природе света. Звук — это свет, только в иной форме: тот и другой распространяются путем колебаний, и когда они достигают человека, то превращаются в центрах его нервной системы в мысли. Музыка, так же как и живопись, пользуется телами, обладающими способностью выделять то или иное свойство из основной своей субстанции и созидать из них картины. В музыке инструменты играют ту же роль, что и краски, которые употребляет в живописи художник. Известно, что каждый звук, производимый звучащим телом, всегда сопровождается его мажорной терцией и квинтой, что, проходя над тонким слоем пылинок, насыпанных на натянутый пергамент, звук чертит на них геометрические фигуры, всегда одни и те же, в зависимости от различного объема звука,— фигуры правильные, когда музыкант берет гармонический аккорд, и имеющие расплывчатую форму, когда он производит диссонанс, а потому я утверждаю, что музыка есть искусство, рождающееся из самых недр природы. Музыка повинуется законам физики и математики. Законы физики еще мало исследованы, математика известна нам более; а с тех пор, как люди стали изучать их взаимоотношения, они создали гармонию, которой мы обязаны творениями Гайдна, Моцарта, Бетховена и Россини, славных гениев, несомненно, создавших музыку более совершенную, чем их предшественники, хотя и те были, бесспорно, гениальными людьми. Старые мастера только пели, они не умели соединять искусство с наукой,— меж тем это благородное сочетание позволяет сливать в единое целое красоту мелодии и мощь гармонии. Итак, если открытие математических законов дало нам четырех великих музыкантов, каких только высот не достигнем мы, если откроем физические законы, в силу ко-

торых (заметьте хорошенько!) мы собираем, в большем или меньшем количестве, в зависимости от искомых пропорций, некую эфирную субстанцию, разлитую в воздухе и дающую нам музыку так же, как дает она свет и феномены растительного и животного мира! Понимаете? Эти новые законы вооружили бы композитора новым могуществом, дав ему возможность создать новые и более совершенные музыкальные инструменты и, быть может, грандиозную гармонию сравнительно с той, которая ныне царит в музыке. Если каждое видоизменение звука соответствует определенной силе природы, нужно ее знать, чтобы сочетать все эти силы согласно подлинным ее законам. Композиторы имеют дело с субстанциями, коих они не знают. Почему металлический музыкальный инструмент—валторна и инструмент, сделанный из дерева—фагот так мало походят друг на друга, хотя их звуки распространяются благодаря одним и тем же субстанциям, а именно газам, составляющим воздух? Отчего возникают различия меж ними: от какого-то разложения сих газов или от воздействия их на вещества, каковое они оказывают, изменяя их в силу неведомых своих свойств? Если бы мы знали эти свойства,— выиграли бы и наука и искусство. Все, что расширяет науку, расширяет и искусство. Так вот, я почуял эти открытия и сделал их. Да,— воскликнул Гамбара, оживившись,— до сих пор человек больше отмечал действия, чем изучал причины! Если б он постигал причины, музыка стала бы величайшим из искусств. Разве она не глубже всех искусств проникает в душу? То, что вам показывает живопись, вы видите; то, что говорит вам поэт, вы слышите; музыка идет гораздо дальше: разве не воздействует она на нашу мысль, разве не пробуждает дремавшие воспоминания? Вот в зале тысяча людей, тысяча душ. Из горла Джудитты Паста льется ария, исполнение ее соответствует замыслу, воодушевлявшему Россини; его музыкальные фразы, проникая в эти души, создают в каждой из них поэму, свою, особую: одному грезится женщина, о которой он давно мечтает; другой видит берег реки, по которому он когда-то шел, вновь перед ним плакучие ивы, склонившие густолиственные ветви к светлым водам. вновь надежды ведут хоровод в прохладной тени; вон той женщине вспоминается, какие муки терзали ее в

час ревности; другая думает о неутоленной жажде сердца, в мечтаниях рисует богатыми красками образ идеального возлюбленного и предается ему всем существом своим, млея от наслаждения, как та женщина, что ласкает химеру на римской мозаике; а вот та думает, что нынче вечером осуществится некое ее желание, заранее бросается в поток сладострастия, и кипучие волны обдают жаром ее грудь. Одна лишь музыка обладает властью успокоить нас, вызвать в душе ощущение бесконечности. Остальные искусства приносят нам ограниченные утехи. Но я отвлекся. Таковы были мои первые идеи, весьма еще туманные, ибо всякому изобретателю сперва что-то брезжит вдали, как будто впереди занимается заря. Эти достославные идеи я носил с собою в суме скитальца, благодаря им я весело ел сухую корку хлеба, зачастую запивая ее только водой из родника. Я работал, я создавал арии, исполнял их на том или ином инструменте и шел дальше. Я исходил всю Италию. Наконец, в возрасте двадцати двух лет, я поселился в Венеции; там я впервые жил спокойно и в материальном отношении сносно. Я познакомился со старым венецианским дворянином, которому мои идеи понравились, он поощрял мои исследования и устроил меня в театр Фениче. Жизнь в Венеции была дешевая, квартира обходилась недорого. Я поселился во дворце Капелло, откуда вышла однажды вечером знаменитая Бьянка, которая стала герцогиней Тосканской. Я мечтал, что и моя будущая слава тоже выйдет оттуда и когда-нибудь ее украсят венцом властительницы. Вечера я проводил в театре, а дни за работой. Случилось несчастье. Опера «Мученики», в партитуре которой я воплотил свои музыкальные идеи, потерпела фиаско. Моей музыки совершенно не поняли. Дайте итальянцам Бетховена — они и его не оценят. В зрительном зале ни у кого не хватило терпения подождать подготовленного мною эффекта, когда различные партии, исполняемые каждым инструментом, сольются в единое грандиозное целое. Я возлагал некоторые надежды на свою оперу, ведь люди всегда рассчитывают на успех, особенно мы, артисты, любовники Надежды — богини лазурных далей! Когда веришь в свое призвание, знаешь, что ты предназначен для высокого творчества, трудно утаить это, и люди это угадывают:

как ни держи светильник под спудом, в щели пробивается свет. В доме, где я жил, проживали и родители Марианны. Она часто улыбалась мне из окна, и надежда получить ее руку во многом способствовала моим трудам. Но видя, как глубока пропасть, из которой я не мог выбраться, я впал в черную меланхолию, ведь я так ясно представлял себе, что ждет нас: нищета, непрестанная борьба, жизнь, в которой угаснет любовь. Марианна поступила, как гений, преодолевающий препятствия: просто перешагнула через них. Не стану говорить о недолгих днях счастья, позлатившего начало моей злополучной судьбы. Испуганный провалом моей оперы, я решил, что Италия утратила понимание музыки, погрязла в рутине, дремлет, убаюканная избитыми мотивами, и совсем не расположена воспринимать новшества, которые я замышлял ввести. Я понадеялся на Германию. Путешествуя по этой стране, в которую я направился через Венгрию, я вслушивался в бесчисленные голоса природы и пытался воспроизвести ее величественную гармонию при помощи тех инструментов, какие создавал или видоизменял для этой цели. Мои опыты требовали огромных расходов, и вскоре они поглотили наши сбережения. И все же то было самое светлое для нас время: в Германии меня оценили. Более благодатной поры не было в моей жизни. Какие несравненные, бурные чувства волновали меня близ Марианны, блиставшей всевластной, неизъяснимой прелестью! Да что говорить! Я был счастлив. В эти часы слабости я не раз выражал свою страсть на языке земной гармонии. Мне случалось создавать мелодии, похожие на геометрические фигуры, а такая музыка очень нравится в том мире, где вы живете. Но лишь только я достиг успеха, на пути моем возникли непреодолимые, бесчисленные препятствия, выраставшие стараниями моих собратьев, людей бессовестных или тупых. Я слышал, что во Франции благосклонно принимают всякие новшества, и решил отправиться туда. Жена собрала кое-какие средства, и мы приехали в Париж. До тех пор мне никогда не смеялись в лицо, а тут, в этом ужасном городе, мне пришлось терпеть еще и эту пытку, к которой вскоре присоединились жестокие муки нищеты. Нам пришлось поселиться в этом гнусном квартале, и вот уже несколько месяцев мы жи-

вем единственно на то, что зарабатывает иглой Марианна — она обшивает жалких проституток, для которых эта улица служит местом прогулок и торжищем. Марианна уверяет, что они с нею уважительны и щедры, и я приписываю это воздействию добродетели, столь чистой, что сам порок вынужден чтить ее.

— Не теряйте надежды! — сказал Андреа.— Быть может, ваши испытания подходят к концу. В ожидании тех дней, когда мы с вами соединенными усилиями добьемся известности для ваших трудов, позвольте соотечественнику, такому же артисту, как и вы, предложить вам вперед некоторую сумму, ибо вашу оперу ждет несомненно успех.

— Всем, что относится к условиям материальной жизни, ведает моя жена,— ответил Гамбара.— Она и решит, что можем мы, не краснея, принять от порядочного человека, каким вы, по-видимому, являетесь. Я, знаете ли, давно уже не пускался в столь долгие и откровенные разговоры. Извините, я должен расстаться с вами. Меня зовет, манит мелодия. Вон, я вижу, она пробегает, пляшет, вот стоит передо мною, нагая и трепещущая, словно красавица, умоляющая любовника отдать ее одежды, спрятанные им. Прощайте, надо мне пойти одеть мою возлюбленную. Моя жена еще побудет с вами.

Он удалился поспешно и с таким видом, будто упрекал себя за то, что напрасно потерял драгоценное время. Марианна хотела было последовать за ним. Андреа не дерзнул ее удерживать. Джиардини пришел обоим на помощь.

— Вы же слышали, синьорина,— сказал он.— Муж оставил вас здесь для того, чтобы вы уладили с синьором графом кое-какие дела.

Марианна села на прежнее место, но не решалась поднять глаза на Андреа, а он не смел заговорить с нею.

— Ужели доверие, которым синьор Гамбара почтил меня,— начал он, наконец, взволнованным голосом,— не вызывает доверия и со стороны его супруги? Надеюсь, прекрасная Марианна не откажется поведать мне историю своей жизни.

— Моя жизнь,— ответила Марианна,— подобна жизни плюща.— Вам хочется узнать жизнь сердца моего; но, право, ждать от меня такой повести после того, что

вы сейчас слышали, значит, считать меня лишенной гордости и скромности.

— А у кого же мне об этом спросить?! — воскликнул граф, у которого страсть уже совсем затмила рассудок.

— У себя самого,— ответила Марианна.— Вы или уже поняли меня, или никогда не поймете. Попробуйте сами разгадать.

— Согласен, но вы должны выслушать мой рассказ. Вот я взял вас за руку — оставьте ее в моей руке до тех пор, пока рассказ мой будет верен.

— Я слушаю,— сказала Марианна.

— Жизнь женщины начинается с первой ее страсти,— сказал Андреа.— Моя дорогая Марианна начала жить лишь с того дня, когда она впервые увидела Паоло Гамбара. Ей необходимо было изведать глубокую страсть, ей необходимо было охранять и поддерживать слабое существо. Прекрасные черты душевной организации женщины, быть может, больше влекут ее к материнскому чувству, нежели к любви. Вы вздыхаете, Марианна? Я коснулся одной из кровоточащих ран вашего сердца. Вы понимали, что вам, такой молодой, выпала благородная роль покровительницы высокого, но больного ума. Вы говорили себе: «Паоло будет моим гением, я буду его разумом, вдвоем мы составим то почти божественное существо, что зовется ангелом, то высокое создание, для коего постигать — значит наслаждаться и в коем мудрость не подавляет любви. Затем, отдавшись порыву молодой души, вы услышали тысячи голосов природы, которые ваш поэт хотел воспроизвести. Восторг охватил вас, когда Паоло раскрыл перед вами сокровища поэзии, пытаясь выразить их чудесным, но ограниченным языком музыки; вы восторгались им, когда в среду экстаза он уносился душой далеко от вас; вы верили, что вся эта устремленная в сторону от вас энергия обратится, наконец, к любви. Вам неведома была тираническая, ревнивая власть, которой мысль сковывает мозг человека, страстно увлеченного ею. Гамбара еще до того, как он увидел вас, отдался горделивой и мстительной госпоже, и вы до сего дня оспаривали его у нее. Лишь на мгновение вам улыбнулось счастье. Упав с облаков, где непрестанно парил его дух, Паоло удивился, что действительность так сладостна, и вам уже казалось, что его

безумие уснет в объятиях любви. Но вскоре музыка вновь завладела своей добычей. Ослепительный мираж, возникший перед вами среди восторгов разделенной страсти, внезапно померк, и еще более мрачным, более суровым стал путь одиночества, на который вы вступили. Повесть, которую мы слышали сейчас от вашего супруга, и разительный контраст меж его и вашими чертами привели меня к догадке,— я чувствую ваши тайные горести: вы с мужем друг другу не пара, и в этом союзе на вашу долю выпали только страдания. Пусть вы всегда вели себя героически, пусть ни разу не ослабевала ваша энергия, с которой вы выполняете ваши тяжелые обязанности, но, может быть, в тиши одиноких ночей не раз роптало ваше сердце, которое сейчас так сильно колотится у вас в груди. Горькой мукой было для вас само величие вашего мужа: будь он не так благороден, не так чист душой, вы могли бы его покинуть; но его добродетели укрепляли вашу стойкость; вы задались целью держаться героически, пока не ослабнет героизм Паоло. Вы сознавали реальное величие своей задачи, а Паоло гнался за химерами. Если б одно только чувство долга руководило вами и поддерживало вас, быть может, победа над собою далась бы вам легче,— вам было бы достаточно убить свое сердце и перенести свою жизнь в мир абстракций; религия поглотила бы все остальное, и вы жили бы, как святые угодницы, заглушавшие у подножия алтаря голос природных инстинктов. Однако обаяние, исходящее от всей личности вашего Паоло, его возвышенный ум, редкие, но трогательные свидетельства его нежности к вам непрестанно изгоняют вас из того идеального мира, где добродетель хотела бы удержать вас; любовь возбуждала ваши силы, когда вы, казалось бы, совсем уж изнемогали в борьбе с призраками, затмевавшими ее. Вы долго не поддавались сомнениям, при малейшем проблеске надежды вы устремлялись в погоню за вашей сладостной химерой. Но, наконец, после многих лет разочарования терпение ваше иссякло. Да тут и ангел давно бы не выдержал. И ныне видение, так долго манившее вас, стало просто тенью, а не живым существом. Безумие, так тесно граничащее с гениальностью, по-видимому, неизлечимо в этом мире. Вы были потрясены этой мыслью, вы пожалели о своей молодости, если не

загубленной, то во всяком случае принесенной вами в жертву; вы с горечью признали, что природа совершила ошибку, послав вам отца, меж тем как вы призывали супруга. Вы спрашивали себя, не превзошли ли вы супружеский долг, всецело предавшись человеку, поглощенному наукой (Марианна, не отнимайте у меня свою руку: все, что я сказал,—сущая правда). И тогда вы бросили взгляд вокруг, но в это время вы были уже во Франции, а не в Италии, где люди действительно умеют любить...

— Ах, дайте я сама закончу это повествование,— воскликнула Марианна,— лучше уж я сама все скажу! Я буду откровенна: теперь я чувствую, что говорю с истинным своим другом. Да, я была уже в Париже, когда во мне проснулось то, что вы сейчас так верно объяснили мне; но, увидев вас, я обратилась в бегство, потому что с детских лет не встречала той любви, о какой мечтала. Я так плохо одета да и живу в таком месте, что мужчины, подобные вам, меня не замечают. А те молодые люди, которым их положение не позволяло оскорблять меня, стали мне еще противнее за то легкомыслие, с каким они относились ко мне: одни издевались над моим мужем, видя в нем смешного старика, другие вели себя подло, старались вкрасться к нему в доверие, чтобы обманывать его; все стремились разлучить меня с ним, никто не верил, что я преклоняюсь перед этой чистой душой, далекой от нас лишь потому, что она воспаряет в небо, никто не понимает, что я вижу в Паоло друга, брата и хочу всегда ему служить. Вы один угадали, какие узы привязывают меня к нему. Ведь вы угадали, не правда ли? Скажите мне, что вы принимаете в моем Паоло участие, совершенно искреннее, без всякой корыстной мысли...

— Не уклоняюсь от ваших похвал,— сказал Андреа, прервав ее.— Но остановитесь, не преувеличивайте, не заставляйте меня опровергать ваши слова. Я люблю вас, Марианна, люблю так, как умеют любить в той прекрасной стране, где мы с вами родились; я люблю вас всем сердцем, всеми силами существа моего; но прежде, чем склонять вас к любви, я хочу быть достойным вас. Я сделаю последнюю попытку вернуть вам человека, которого вы любите с детства и которого всегда будете

любить. В ожидании исхода моей попытки — успеха или поражения — примите, не краснея, достаток, который я хочу дать вам обоим; завтра мы с вами подыщем жилище для Паоло. Скажите, уважаете ли вы меня настолько, чтобы разрешить опекать его вместе с вами?

Марианна, удивленная таким великодушием, протянула графу руку, и он удалился, спеша ускользнуть от любезностей синьора Джиардини и его жены.

На следующий день Джиардини повел графа к супругам Гамбара. Хотя Марианна уже знала, что у ее поклонника возвышенная душа — ведь иные души мгновенно распознают друг друга,— она была хорошей хозяйкой, стыдилась, что принимает знатного синьора в такой бедной комнате, и не могла скрыть своего смущения. Однако все тут было опрятно. Марианна целое утро прибиралась и стирала пыль, наводила блеск на странную мебель, которую в часы досуга соорудил синьор Джиардини из обломков музыкальных инструментов, искалеченных опытами Гамбара. Андреа никогда не видел столь необычайной обстановки. Чтобы сохранить надлежащую серьезность, он бросил рассматривать забавную кровать, которую хитроумный кухмистер смастерил из корпуса старого клавесина, и перевел взгляд на кровать Марианны — узкое ложе с одним-единственным тюфяком, застланное белым кисейным покрывалом; при виде его грустное и нежное чувство охватило Андреа. Он зашел поговорить о своих планах и о том, как употребить утро, но энтузиаст Гамбара, радуясь, что встретил наконец благожелательного слушателя, завладел им и заставил прослушать оперу, написанную им для Парижа.

— Прежде всего, сударь,— сказал Гамбара,— позвольте в двух словах рассказать вам сюжет. Здесь люди не переживают в самих себе свои впечатления от музыки, подобно тому, как религия учит нас развивать в молитве какую-либо мысль священного писания; поэтому крайне трудно внушить им, что существует в природе вечная музыка, сладостная мелодия, совершенная гармония, нарушаемые лишь потрясениями, независимыми от воли божьей, как не зависят от воли человека его страсти. Следовательно, я должен был создать огромные рамки. в какие могли бы вместиться и действия и причины

их, ибо в своей музыке я стремлюсь нарисовать жизнь народов, притом с самой возвышенной точки зрения. Моя опера, либретто которой я сам сочинил, ибо ни один поэт никогда бы не мог развить такой сюжет, опера моя говорит о жизни Магомета, а ведь в этом персонаже сочетались магия древнего поклонения огню, солнцу и звездам и восточная поэзия иудейской религии; слившись, они произвели одну из величайших поэм человечества — владычество арабов. Конечно, Магомет заимствовал у евреев идею абсолютной власти, а у религии пастушеских народов и у огнепоклонников — идею поступательного движения, создавшую блистательную империю халифов. Судьба Магомета была предначертана с самого его рождения: отец его был язычник, а мать— иудейка. Ах, чтобы стать великим музыкантом, дорогой граф, надо иметь большие познания! Если нет у композитора образования, не будет в его музыке ни идеи, ни местного колорита. Композитор, который поет лишь для того, чтобы петь,— ремесленник, а не художник. Эта великолепная опера представляет собою продолжение моего большого замысла. Первая моя опера называлась «Мученики», а сюжетом третьей будет «Освобожденный Иерусалим». Понимаете вы красоту этой трилогии и разнообразие возможностей, которыми располагает в ней композитор? «Мученики», «Магомет», «Иерусалим»! Бог Запада, бог Востока и борьба двух религий вокруг гробницы. Но не будем говорить о моих великих, навсегда утраченных надеждах! Вот вкратце содержание моей оперы.

В первом акте,— сказал он после краткой паузы,— Магомет появляется в роли управителя в доме богатой вдовы Хадиджи, куда устроил юношу его дядя; Магомет влюблен и полон честолюбия; изгнанный из Мекки, он бежит в Медину, и начало магометанской эры он ведет от времени бегства (гэджры). Во втором акте Магомет предстает как пророк и основатель воинственной религии. В третьем нарисован конец Магомета; иссякли его силы, отвращение ко всему на свете овладело им, он угасает. Но в последнем порыве гордыни человеческой требует, чтобы смерть его осталась тайной, сокрытой от людей, ибо желает стать для них богом. Сейчас вы будете иметь возможность судить о том, как я в звуках

музыки выражаю огромное событие, которое поэты могли бы лишь очень несовершенно передать словами.

Гамбара с сосредоточенным видом сел за фортепьяно; жена принесла объемистые тетради партитуры его оперы, но он не раскрыл их.

— Вся опера в основном,— сказал он,— зиждется на низких голосах, как на плодоносной почве. У Магомета, вероятно, был величественный бас, а у его первой жены, несомненно,— контральто. Хадиджа считалась старухой — ей было двадцать лет. Слушайте, вот увертюра! Она начинается тремя тактами анданте в *до минор*. Чувствуете вы меланхолию честолюбца, которого не удовлетворяет любовь? Сквозь мелодию его сетований (тут переход к замедленным темпам — и далее четыре такта *аллегро в ми бемоль*) прорываются вопли влюбленного эпилептика, она вся пронизана неистовством и воинственными мотивами, ибо перед глазами Магомета блещет всемогущая сабля халифов. Прелести единственной женщины вызывают у него мысль о множественности любви, которая так поражает нас в «Дон-Жуане». Слыша эти мотивы, не представляете ли вы себе рай Магомета? Но вот слышится плавная, певучая мелодия (*в ля бемоль мажор, в шесть восьмых*), способная растрогать душу, даже самую невосприимчивую к музыке: Хадиджа поняла Магомета! Хадиджа возвещает народу, что пророку бывают откровения, порою он беседует с архангелом Гавриилом. Здесь у меня дано *маэстозо состенуто, тональность фа минор*.

Правители, жрецы — власть и религия,— чувствуя, что на ник идет в наступление новатор, так же, как некогда Сократ и Иисус Христос шли в наступление на власть и на умирающие или отжившие религии,— преследуют Магомета и изгоняют из Мекки (*стретто, в до мажор*). Звучит моя прекрасная доминанта (*соль, четыре такта*): Аравия слушает своего пророка; прибывают всадники (*соль мажор, ми бемоль, си бемоль, соль минор — опять четыре такта*). Поток людей растет! Лжепророк очаровывает кочевое племя, так же как позднее он зачарует целый свет (*соль*). Он обещает арабам владычество над всем миром; ему верят, видя в нем существо, вдохновленное свыше. Тут идет крещендо, начинаясь с той же самой доминанты. Вступают фанфары (*в до мажор*), зву-

ки медных труб, наслаиваясь на гармонию, вырываются и гремят, выражая первые триумфы Магомета. Медина покорилась пророку; начинается поход на Мекку. (*Здесь взрыв звуков в до мажор.*) Мощь оркестра разрастается, как пожар, говорит каждый инструмент, несутся потоки гармоний, вдруг буря стихает, льется прелестный, нежный мотив. Послушайте лебединую песнь самоотверженной любви! Та самая женщина, которая поддерживала великого человека, умирает, скрывая от него свое отчаяние, умирает в дни торжества возлюбленного, обуреваемого теперь безмерной жаждой любви, уже не могущего ограничиться одной женщиной, и, зная это, она обожает его, готова принести себя в жертву жестокому, убивающему ее! Какая пламенная любовь! Но вот воинство пустыни завладевает миром. (*Опять идет мелодия в до мажор.*) Мощь оркестра нарастает, но завершается грозной квинтой, с которой начинается постепенно затихающая басовая партия. Магомет скучает, он уже все исчерпал и хочет теперь одного — умереть, оставаясь в глазах людей богом! Аравия ему поклоняется, молится ему, и все же при поднятии занавеса вновь звучит первая тема — тема грусти (*в до минор*). Не находите ли вы,— сказал Гамбара, перестав играть и повернувшись к графу,— не находите ли вы, что в моей музыке, живой, прерывистой, причудливой, меланхоличной и всегда возвышенной, выражена жизнь этого эпилептика, бешено жаждавшего наслаждений, не умевшего ни читать, ни писать, зато обращавшего каждый свой недостаток в ступень для своего возвышения, а свои ошибки и несчастья — в победы? Не дает ли вам увертюра, образчик всей оперы, представления о том, как он умел прельстить алчный и пылкий народ?

Андреа пытался прочесть в чертах музыканта, сперва спокойных и строгих, те мысли, которые он так вдохновенно передавал словами, но которые невозможно было угадать в немыслимом хаосе звуков; постепенно лицо Гамбара оживилось и, наконец, зажглось огнем экстаза, заразившим и Марианну и кухмистера. Марианну глубоко взволновали те места, в которых она узнавала свое собственное положение, и выражение ее глаз не укрылось от Андреа. Гамбара вытер лоб и устремил вверх взгляд, полный такой страстной силы, что,

казалось, он проникал сквозь потолок и уносился в небо.

— Вы видели перистиль,— сказал он,— сейчас мы входим во дворец. Начинается самая опера. Первый акт. На авансцене Магомет, он поет арию (*в чистом фа, четыре такта*); ее прерывает хор погонщиков верблюдов, собравшихся у колодца, в глубине сцены (*ритм тут уже иной, а счет в двенадцать восьмых.*). Какая величественная скорбь—она растрогает самых легкомысленных женщин, перевернет хотя бы их нутро, если у них нет сердца. Разве эта мелодия не говорит о скованном гении?

К великому удивлению Андреа (а Марианна уже привыкла к этому), у Гамбара от волнения перехватило горло, у него вырывались лишь сдавленные, сиплые звуки, похожие на лай охрипшего сторожевого пса. На губах композитора выступила пена. Андреа содрогнулся.

— Появляется жена Магомета (*ля минор*). Какой великолепный дуэт! Из этой сцены видно, какая сильная воля у Магомета, какой ум и чуткость у его жены. Хадиджа объявляет, что она готова пожертвовать своим счастьем ради дела, которое отнимает у нее любовь ее молодого мужа. Магомет хочет покорить весь мир, его жена угадала это, она помогла мужу, убедив население Мекки, что припадки эпилепсии бывают у него после бесед с ангелами. Теперь слушайте хор первых учеников Магомета; они пришли, чтобы обещать ему свою помощь (*до диез минор, sotto voce* [1]). Магомет уходит искать архангела Гавриила (*речитатив в фа мажор*). Жена Магомета призывает учеников пророка встать на его защиту. Тут мелодия то перемежается с раскатами мужских голосов, то хор вторит торжественной, величественной арии Хадиджи (*в ля мажор*). На сцене появляются Абдулла и Айша, будущая жена Магомета, непорочной девой взошедшая на его ложе; пророк переменил имя ее отца, назвав его Абубекер — отец девственницы. Голоса их, выделяясь на фоне хора, подхватывают арию Хадиджи и сливаются с ней в контрапункте. К ним подходит Омар и его дочь Хафса — вторая девушка, которая тоже станет женой Магомета. Начинается квинтет. Айша — сопрано, Хафса — меццо-сопрано, Абубекер — бас, Омар —

---

[1] Вполголоса (*итал.*).

баритон. Возвращается боговдохновенный Магомет. Он поет первую свою бравурную арию, которой начинается финальная сцена (*в ми мажор*). Магомет обещает первым своим приверженцам господство над всем миром. Пророк замечает Айшу и Хафсу, и тут его ария плавно (*от соль мажор к си мажор*) переходит в любовную песнь, обращенную к двум прекрасным девам. Являются Али, родственник Магомета, и Калед, главный его военачальник (оба исполняют теноровые партии); они возвещают о преследовании, начавшемся против Магомета: правители, судьи, воины, вельможи обрекли пророка на изгнание (*речитатив*). Магомет взывает к небу, возглашает, что архангел Гавриил — его покровитель, и указывает на взлетающего ввысь голубя. Хор правоверных отвечает кликами преданности (*модуляции в си мажор*). Появляются воины, судьи, знать. (*Даны четыре такта в си мажор; темп марша*). Перекличка между двумя враждующими хорами (*стретто в ми мажор*). Магомет (ария его построена на уменьшенных септимах), убоявшись бури, обращается в бегство. Мрачный, грозный колорит финала подчеркнут единственной светлой арией трех женщин, предсказывающих Магомету победу; некоторые музыкальные фразы этого трио развиваются в третьем акте, в той сцене, где Магомет наслаждается своим величием.

В этот миг на глазах Гамбара выступили слезы; он умолк от волнения, затем, справившись с собой, воскликнул:

— Второй акт! Религия уже основана. Арабы охраняют шатер своего пророка, который беседует с богом (*хор в ля минор*). Появляется Магомет (*молитва в фа минор*). Какая блестящая и величественная гармония поддерживает это песнопение; быть может, я тут раздвинул пределы мелодии. Ведь я должен был выразить чудо — великое движение народа, создавшего свою национальную музыку, свою архитектуру, свою поэзию, свои национальные одежды, свои национальные нравы. Слушая мою композицию, вы как будто прогуливаетесь под аркадами Джанералифа, под резными сводами Альгамбры. Фиоритуры арии рисуют прелестные арабески мавританского зодчества и мусульманскую поэзию — галантную и воинственную, которая должна противо-

стоять воинственной и галантной поэзии христианского рыцарства. В оркестре звучат вдруг трубы, возвещая первые победы (*прерывистая каденция*). Арабы поклоняются пророку (*ми бемоль мажор*). Появляются Калед, Амру и Али (*темп марша*). Воинство правоверных взяло города и покорило три Аравии! Какой пышный речитатив! Магомет вознаграждает полководцев и отдает им в жены своих дочерей. Ну тут,— удрученным тоном сказал Гамбара,— пришлось вставить балет, хотя эти мерзкие балеты разрывают нить действия в самых прекрасных музыкальных трагедиях! Но ария Магомета (*в си минор*) вновь облагораживает оперу великим пророчеством, которое у злополучного вольтеровского героя начинается следующей строкой:

Настала, наконец, Аравии счастливая пора.

Эта ария сменяется хором торжествующих арабов (*снова счет в двенадцать восьмых*).

Толпой выходят племена арабов. В оркестре гремят духовые инструменты. Всеобщее ликование, одни за другими вступают в хор голоса, сливаются вместе. На этом празднестве Магомет провозглашает многоженство. Над славословиями возносится голос женщины, столь преданно служившей пророку, она поет великолепную арию (*в си мажор*):

Так, значит, я теперь не буду уж тобой любима?

Магомет отвечает ей:

Нам должно разлучиться. Ты — женщина, а я — пророк.
Могу терпеть я близ себя рабов,
Но равных мне терпеть уже нельзя.

— Послушайте этот дуэт (*в соль диез минор*). Сколько в нем отчаяния! Покинутая женщина понимает величие Магомета, которого она сама возвысила, и она так любит его, что готова принести себя в жертву ради его славы; жена поклоняется Магомету, как богу, все готова снести от него, без единого слова осуждения, без ропота. Бедная женщина, первая жертва своей веры и любви! Какая прекрасная тема для финала (*в си мажор*), скорбные звуки темными узорами вплетаются в ликующий хор, сочетающийся с арией Магомета, в которой он отвергает свою жену как ненужное теперь орудие, но го-

ворит, что никогда ее не забудет! Какие торжествующие звуки, в них сверкают звездами, взлетают ракетами, рассыпаются жемчугом веселые модуляции двух молодых голосов (*сопрано и меццо-сопрано*) Айши и Хафсы, которых поддерживают голоса Али и его жены, Омара и Абубекера!.. Плачьте! Радуйтесь! Триумф и рыдания! Такова жизнь.

Марианна не могла сдержать слез. Да и Андреа был так взволнован, что глаза его увлажнились. Кухмистера-неаполитанца тоже вдруг взволновали идеи, которые Гамбара выражал хриплым дрожащим голосом. Композитор повернул голову и, взглянув на своих слушателей, улыбнулся...

— Наконец-то вы поняли меня! — воскликнул он.

Никогда у триумфаторов Древнего Рима, торжественно ведомых в Капитолий в пурпурных лучах славы, при восторженных кликах народа, не было в чертах такого выражения, даже когда им возлагали на голову лавровый венок. Лицо музыканта сияло, словно у святого мученика. Никто не решался рассеять его заблуждение. Горькая улыбка тронула губы Марианны. Граф же был потрясен наивностью этого безумца.

— Третий акт! — сказал счастливый композитор, вновь садясь за фортепьяно.— (*Андантино соло*). Магомет несчастен. Вот он в серале, окруженный женами. Квартет гурий (*в ля мажор*). Какая роскошь! Поистине, пение счастливых соловьев! (Модуляция — *в фа диез минор*). Определяется тема (*построенная на доминанте ми минор и переходящая затем в ля мажор*). Томные, сладострастные звуки сливаются в мелодию, противоположную мрачному финалу первого акта. После плясок красавиц Магомет встает и в большой арии воспевает единственную преданную любовь, которую дарила ему первая жена, и признается, что он подавлен полигамией. Никогда еще композиторы не брали подобной темы. Оркестр и женский хор воспевают радости гурий, Магомет же вновь охвачен грустью, как в начале оперы. Ах, где Бетховен!— воскликнул Гамбара.— Только он мог бы понять это необычайное возвращение первоначальной темы оперы. И как тут все опирается на басовую партию! Именно так Бетховен и построил свою симфонию до минор. Но у него героический характер создан чисто инструментальными

средствами, а у меня он создается секстетом прекраснейших человеческих голосов и хором правоверных, стоящих на страже у врат священного жилища. В моем распоряжении все богатства мелодии и гармонии, оркестр и голоса! Как тут выражена суть всех человеческих жизней, безразлично, богаты были эти люди или бедны? Вот она — слушайте: *борьба, торжество и скука!* Является Али. Коран восторжествовал повсюду (*дуэт в ре минор*). Магомет открывается отцам двух своих жен: он устал, все ему наскучило, он хочет отречься от власти и, чтобы упрочить свое дело, умереть в безвестности. Великолепный секстет (*си бемоль мажор*). Магомет прощается с близкими (*соло в фа мажор*). Два тестя Магомета, назначенные его наместниками (халифами), созывают народ. Торжественный марш. Всеобщая молитва. Арабы преклоняют колени перед *касбой* — священным домом, из которого взлетает ввысь голубь (*та же тональность*). Молитва, которую поют шестьдесят голосов с женщинами во главе, венчает это гигантское творение, где отражена жизнь народов и жизнь отдельного человека. Перед вами прошли все волнения, человеческие и божественные.

Андреа смотрел на Гамбара в немом изумлении. Сначала его поразила ужасная ирония: человек, так тонко передававший чувства жены Магомета, не замечал тех же чувств у Марианны; но безумие композитора даже затмевало безумие мужа. Не было ни малейшего проблеска поэтической или музыкальной идеи в оглушительной какофонии, резавшей слух: этому бесформенному произведению совершенно чужды были основы гармонии, самые ее элементарные правила. Вместо искусно развернутой музыкальной композиции, которую описывал Гамбара, клавиши под его пальцами производили хаотическое чередование квинт, септим и октав, мажорных терций и наступательное движение кварт без сексты в басовом ключе, дисгармоничное, случайное сочетание звуков, фальшивые аккорды, казалось, нарочно подобранные для того, чтобы терзать слух даже самых немузыкальных людей. Трудно описать это дикое исполнение немыслимой музыки,— тут нужны какие-то новые слова. С грустью убеждаясь в безумии такого славного человека, Андреа испытывал чувство неловкости, краснел и украдкой посматривал на Марианну; она сидела, опустив

глаза, вся бледная, и не могла сдержать слез. А Гамбара, наслаждаясь сумбурным сплетением звуков, время от времени издавал восторженные возгласы, млел от восхищения, улыбался своему фортепьяно, а то смотрел на него с гневом, высовывал ему язык, как юродивый; словом, он был опьянен поэзией, хмелем ударившей ему в голову, и тщетно пытался ее передать. Странные диссонансы, рождавшиеся под его пальцами, звучавшие, как вопли, ему, очевидно, казались небесной гармонией. И, судя по взгляду его голубых глаз, устремленному в иной мир, по нежному румянцу, окрасившему его щеки, а главное, по выражению блаженства, которым экстаз запечатлел его черты, какой-нибудь глухой зритель мог бы подумать, что он присутствует при импровизации, достойной великого артиста. Такая иллюзия возникла бы тем более естественно, что исполнение столь нелепой музыки требовало искуснейшей техники, чудесной беглости пальцев. Должно быть, Гамбара вырабатывал ее в течение многих лет. Надо сказать, что сейчас работали не только его руки. Сложное применение педалей заставляло двигаться все его тело; пот струился по его лицу, когда он силился развернуть крещендо, пользуясь всеми слабыми средствами, какие предоставлял ему неблагодарный инструмент; бедняга весь трепетал, задыхался, вскрикивал; пальцы его быстротой могли бы поспорить с раздвоенным жалом змеи. Наконец с последним грохотом фортепьяно он откинулся назад и оперся головой о спинку кресла.

— Per Bacchus! Я просто одурел! — воскликнул граф, выходя на улицу.— Если бы ребенок вздумал плясать по клавишам, и то лучше получилась бы музыка.

— За целый час ни одного благозвучного аккорда, сплошь диссонансы! Ведь это надо же ухитриться! Вот черт! —воскликнул Джиардини.

— И как это прелестное лицо Марианны не исказится от такой ужасной какофонии, которую она слышит постоянно? — вслух спросил себя граф.— Право, Марианна того и гляди подурнеет.

— Синьор! Надо ее спасти от такой страшной опасности! — отозвался Джиардини.

— Да,— сказал Андреа,— я уже думал об этом. Но, чтобы узнать, не строю ли я свои планы на ложной ос-

нове, мне необходимо проверить свои подозрения, проделать опыт. Я приду сюда еще раз, хочу посмотреть, какие музыкальные инструменты он изобрел. Завтра после обеда мы устроим пирушку. Я сам пришлю ви́на и лакомства.

Кухмистер поклонился. Следующий день граф употребил на то, чтобы обставить квартиру, которую он предназначил для бедной четы. Вечером он пришел к Гамбара и увидел, что присланные им вина и пирожные расставлены на столе с некоторым изяществом,— очевидно, об этом позаботились Марианна и кухмистер. Гамбара с торжествующим видом показал гостю маленькие барабаны: на каждом из них были насыпаны крупинки пороха, при помощи которых он вел наблюдения над природой различных звуков, издаваемых музыкальными инструментами.

— Вот видите,— сказал он,— какими простыми приемами я доказываю великое предположение! Акустика открывает мне таким образом аналогичное воздействие звука на все предметы, до коих он достигает. Все явления гармонии исходят из единого центра и сохраняют тесную связь между собою, вернее, гармонию, единую, как свет, мы нашими искусствами разлагаем на составные части, как призма разлагает солнечный луч.

Затем Гамбара показал музыкальные инструменты, сконструированные по его законам, и объяснил, какие изменения он внес в их устройство. Наконец он с пафосом сообщил, что этот предварительный показ может удовлетворить любопытство только зрительными впечатлениями, но он завершится иначе: гости услышат музыкальный инструмент, способный заменить целый оркестр. Гамбара назвал свое изобретение *пангармоникон*.

— Уж не та ли это штука, что запрятана в большой ящик? — сказал Джиардини.— Когда вы ее пускаете в ход, все соседи жалуются. Долго вам на ней играть не придется,— сразу явится полицейский комиссар. Имейте это в виду.

— Если этот несчастный безумец останется,— сказал Гамбара на ухо графу,— мне будет невозможно играть.

Граф удалил кухмистера, пообещав ему вознаграждение, если он согласится постеречь на улице, чтобы игре не помешали соседи или патруль. Кухмистер, не забывав-

ший и себя, когда подливал вина музыканту, согласился. Гамбара не был пьян, но пришел в такое состояние, когда все умственные силы крайне возбуждены, когда стены комнаты кажутся сияющими, крыша над чердачной каморкой вдруг исчезает и душа уносится в мир духов. Марианна не без труда сняла чехол с инструмента величиною с рояль, но имевшего сверху еще один корпус. Кроме надстройки и ее основы, от этого странного инструмента отходили раструбы нескольких духовых инструментов и заостренные концы каких-то полых стволов.

— Сыграйте, пожалуйста, ту молитву, которую вы находите такой прекрасной,— ну ту, которой кончается ваша опера,— сказал граф.

К великому своему удивлению, Марианна и Андреа с первых же аккордов почувствовали мастерскую игру. Удивление сменилось восхищением, смешанным с недоумением, затем они преисполнились восторга, забыли, где они, кто перед ними играет. Даже целый оркестр не мог бы произвести такого впечатления, как эти духовые инструменты, напоминавшие своим звучанием орган и чудесно сочетавшиеся с гармоническими богатствами струнных инструментов; еще несовершенное устройство этой странной машины мешало композитору широко развернуть тему, но замысел казался от этого еще более великим,— ведь совершенство произведений искусства зачастую препятствует душе придать им величие. Не потому ли эскиз выигрывает по сравнению с законченной картиной, когда судят о нем люди, умеющие в мыслях завершить творение художника вместо того, чтобы воспринять его вполне отделанным? Из-под пальцев Гамбара поднималась, словно облако фимиама над алтарем, такая чистая, такая нежная музыка, какой граф еще никогда не слышал. Голос композитора стал молодым и не только не портил этой богатой мелодии, но объяснял, поддерживал, направлял ее так же, как глухой, дребезжащий голос искусного чтеца, каким был, например, Андрие, углубляет смысл великолепной сцены Корнеля или Расина, внося в нее задушевную поэзию. Музыка, достойная ангелов, раскрывала сокровища, таившиеся в этой мощной опере, которую никогда никто не мог понять, пока Гамбара пытался передать ее, будучи в

трезвом рассудке. Граф и Марианна не могли ни взглядом, ни словом сообщить друг другу свои мысли, так обоих захватила музыка, такое изумление вызывал в них этот стоголосый инструмент, звуки коего минутами давали полную иллюзию человеческого голоса; постороннему слушателю могло бы показаться, будто поют невидимые девушки, где-то спрятанные мастером в комнате. Лицо Марианны озарил чудесный свет надежды, возвращая ему все волшебное очарование юности. Это возрождение красоты, вызванное проявлением гениальности ее мужа, несколько омрачило грустью наслаждение, которое в этот чудесный миг испытывал граф.

— Вы наш добрый гений,—сказала ему Марианна.— Я готова верить, что вы вдохновляете Паоло; ведь я никогда не слышала подобной музыки, хотя мы с ним неразлучны.

—Слушайте прощание Хадиджи! — воскликнул Гамбара и заиграл каватину, которой накануне дал старый эпитет «величественная». Эта ария вызвала у обоих влюбленных слезы,— так дивно в ней была выражена самая возвышенная самоотверженность в любви.

— Кто же мог внушить вам такие песни? — спросил граф.

—Дух,— ответил Гамбара.— Когда он появляется, все вокруг меня как будто объято огнем. Я воочию вижу мелодии, они возникают передо мною, прекрасные, как цветы, свежие и яркие. Они сияют, они звучат, и я их слышу, но нужно бесконечно много времени, чтобы их воспроизвести.

— Еще! — воскликнула Марианна.

Гамбара, не чувствовавший ни малейшей усталости, вновь заиграл, без всяких усилий и без жеманства. Он исполнял свою увертюру так талантливо и раскрыл столько новых музыкальных красот, что граф был потрясен и в конце концов счел эту игру магической, подобной тому колдовству, каким чаровали Паганини и Лист, ибо такое исполнение все меняет, превращает музыку в воплощенную поэзию, возвышающуюся над музыкальными творениями.

— Ну как, ваше сиятельство, исцелите вы его? — спросил кухмистер, когда Андреа вышел от Гамбара.

— Скоро узнаем,— ответил граф.— Разум этого че-

ловека как будто имеет два окна: одно, наглухо запертое, выходит в мир действительности, другое распахнуто в небесную высь; первое окно — это музыка, второе — поэзия; до сих пор он упрямо оставался у затворенного окна, надо подвести его ко второму окну. Вы сами, Джиардини, навели меня на верный путь, сказав, что ваш гость рассуждает разумнее, когда выпьет стакан-другой вина.

— Да, да! — воскликнул кухмистер.— И я догадываюсь, какой у вас план, ваше сиятельство.

— Если еще не поздно добиться того, чтобы поэзия звучала для него в аккордах прекрасной музыки, надо привести его в такое состояние, чтобы он мог ее слышать и судить о ней. И тут только опьянение может способствовать моим целям. Поможете ли вы мне, любезнейший, подпаивать Гамбара? Не повредит ли это вам самому?

— Как прикажете понять вас, ваше сиятельство?

Андреа ушел, ничего не ответив и посмеиваясь над проницательностью, еще сохранившейся у сумасшедшего кухмистера. На следующий день он заехал за Марианной, которая целое утро провела в заботах о своем туалете и, потратив все свои сбережения, придумала для себя простой, но вполне приличный наряд. Такая перемена рассеяла бы иллюзию человека пресыщенного, но у графа прихоть превратилась в страсть. Утратив поэтическую живописность нищеты, превратившись в обычную мещаночку, Марианна вызвала у него мечты о браке; он подал ей руку, чтобы помочь сесть в экипаж, и дорогой поделился с ней своими планами. Она все одобрила и радовалась, что ее возлюбленный еще более благороден, великодушен и бескорыстен, чем она думала. Андреа привез ее в квартиру, в которой он, на память о себе, расставил кое-какие изящные вещицы, пленяющие даже самых добродетельных женщин.

— Я скажу вам слова любви лишь в тот день, когда вы разочаруетесь в своем Паоло,— сказал граф Марианне, возвращаясь с нею на улицу Фруаманто.— Вы будете свидетельницей моих искренних стараний исцелить его; если они достигнут цели, я, может быть, не в силах буду смириться со своим положением друга, и тогда мне придется бежать от вас, Марианна. Я чувствую в себе до-

статочно мужества, чтобы бороться за ваше счастье, но у меня не хватит силы смотреть на него.

— Не говорите так! В великодушии тоже кроется опасность,— ответила Марианна, с трудом сдерживая слезы.— Но что это? Вы уже покидаете меня?

— Да,— ответил Андреа,— будьте счастливы. Я не хочу мешать вам.

Если верить Джиардини, перемена условий жизни оказалась благоприятной для обоих супругов. По вечерам Гамбара, выпив вина, казался менее поглощенным своими назойливыми мыслями, разговаривал больше и более здраво; ему наконец даже захотелось читать газеты. Андреа не мог не огорчаться, видя неожиданно быстрый успех своего замысла; тоска, овладевшая им, открыла ему всю силу его любви, но это не поколебало его добродетельного решения. Однажды он пришел, желая убедиться в успехе столь странного способа исцеления. Сперва его обрадовало состояние больного и тут же привела в волнение красота Марианны — живя в достатке, итальянка обрела прежнее очарование. Граф стал приходить теперь каждый вечер, вел спокойный, тихий разговор, всегда старался высказать умеренные, разумные взгляды, противоположные странным теориям Гамбара. Композитор проявлял теперь чудесную ясность ума во всем, что не соприкасалось слишком близко с его безумием, и, пользуясь этим, Андреа старался внушить ему в различных отраслях искусства принципы, какие позднее можно было применить и к музыке. Все шло хорошо, пока винные пары возбуждали мозг его пациента; но лишь только Гамбара вновь обретал или, вернее, терял рассудок, опять им овладевала его мания. Однако теперь Паоло уже легче было отвлечь впечатлениями внешнего мира, уже его ум схватывал больше восприятий одновременно. Андреа, у которого это полумедицинское начинание вызывало интерес художника, счел, что можно наконец приступить к решающей операции. Он устроил в своем особняке обед, пригласив на него и Джиардини, не желая отделять драму от пародии; пиршество это происходило в день первого представления оперы «Робер-Дьявол», на репетиции которой Андреа присутствовал и нашел тогда, что она может открыть больному глаза. Со второй перемены кушаний Гамбара, уже опьянев, при-

нялся весьма мило вышучивать самого себя, а Джиардини признался, что его кулинарные новшества ни черта не стоят. Андреа ничем не пренебрег, чтобы совершить это двойное чудо. Орвиетто, монтефиасконе, доставленные с бесчисленными предосторожностями, каких требовала их перевозка, лакрима-кристи, жиро—все солнечные вина della cara patria [1] туманили головы сотрапезников двойным опьянением — хмелем виноградного сока и воспоминаниями.

За десертом музыкант и кухмистер весело отреклись от своих заблуждений: один напевал каватину Россини, другой накладывал себе на тарелку лакомые кусочки и в честь французской кухни запивал их мараскином. Воспользовавшись счастливым расположением духа Гамбара, граф повез его в Оперу, и тот с кротостью ягненка согласился поехать. При первых же нотах интродукции у Гамбара как будто совсем рассеялся хмель, уступив место лихорадочному возбуждению, при котором у него иногда гармонически сочетались работа мысли и воображения, меж тем как обычно они находились в полной дисгармонии, что, несомненно, и было причиной его безумия. Великая музыкальная трагедия предстала перед ним в ослепительной своей простоте,— словно молния пронизала глубокий мрак, в коем он жил. Пелена спала с его глаз, эта музыка открыла ему беспредельные просторы мира, в котором он очутился впервые и все же узнавал в нем картины, уже грезившиеся ему когда-то во сне. Он как будто перенесся туда, где начинается прекрасная Италия, в родные края, которые Наполеон так верно назвал редутом Альп. Воспоминания перенесли его в ту пору жизни, когда его молодой и смелый ум еще не туманили экстазы слишком богатого воображения. Он слушал с благоговейным вниманием, не произнося ни единого слова. Граф старался не мешать внутренней работе, совершавшейся в этой душе. До половины первого ночи Гамбара сидел, не шелохнувшись, и завсегдатаи Оперы, вероятно, принимали его за пьяного, да, впрочем, он и был пьян. Возвратившись из театра, граф, желая расшевелить Гамбара, еще находившегося в полу-

---

[1] Милой родины *(итал.)*.

дремоте, хорошо знакомой людям пьющим, принялся нападать на творение Мейербера.

— Какое же колдовство сокрыто в этой бессвязной музыке, что вы ничего не слышите и не видите, будто лунатик? — сказал Андреа.— Сюжет «Роберта-Дьявола», конечно, не лишен интереса. Хольтей весьма удачно развил его в своей драме,— она написана превосходно, полна сильных и захватывающих ситуаций; но французские авторы ухитрились почерпнуть в ней нелепейшую фабулу. Никогда глупым либретто Везари и Шиканедера не сравняться с поэмой «Роберт-Дьявол»,— они сотворили поистине трагический кошмар, который гнетет зрителей, но не вызывает у них сильных волнений. Мейербер отвел дьяволу слишком выигрышную роль. Бертрам и Алиса олицетворяют борьбу добра и зла, благого и дурного начала. Эта противоположность давала композитору возможность создать великолепный контраст: самые нежные мелодии, а рядом с ними язвительные и суровые арии — вот естественное развитие либретто; но в партитуре немецкого композитора демоны поют лучше, чем святые.

У Мейербера небесные песни зачастую не соответствуют своему происхождению, и, если композитор на короткое время расстается с адскими образами, он спешит возвратиться к ним, устав от усилий, которые понадобились ему для того, чтобы отойти от них. Золотая нить мелодии никогда не должна разрываться в широкой музыкальной композиции, а в опере Мейербера она зачастую исчезает. Чувства там нет ни на грош, сердце не играет никакой роли; а потому в ней не встретишь тех удачных мотивов, тех наивных мелодий, которые завоевывают всеобщую симпатию и оставляют в душе глубокое сладостное впечатление. Гармония царит тут полновластно, меж тем ей следует быть фоном, на котором должны выделяться группы музыкальной картины. Резкие диссонансы вовсе не вызывают у слушателей приятного волнения, а порождают у них в душе тревожное чувство, подобное тому, какое испытываешь при виде акробата, который раскачивается под куполом цирка на трапеции, рискуя жизнью. У Мейербера нет милых напевов, успокаивающих после утомительного напряжения. Право, у композитора словно и не было иной цели, как показать себя причудливым, фантастичным; он с готовно-

стью ухватился за представившийся случай произвести диковинное впечатление, не заботясь об истине, о правде, о единстве своей музыки, не думая о бессилии человеческого голоса, для коего невозможно прорваться сквозь эту неистовую инструментовку...

— Замолчите, друг мой! — воскликнул Гамбара.— Я все еще под властью этой музыки. Как изумительны хоры адских сил! Благодаря рупору они делаются еще более грозными! И какая новая инструментовка! Прерывистые каденции придают столько энергии ариям Роберта! Каватина четвертого акта, финал первого акта все еще звучат в моих ушах. В них какие-то сверхъестественные чары. Нет, даже речитативы Глюка не производили такого потрясающего впечатления, и меня изумляют высокие познания композитора.

— Маэстро,— проговорил Андреа, улыбаясь,— позвольте возразить вам. Глюк, прежде чем взяться за перо, долго размышлял. Он рассчитывал все возможности и составлял план, который позднее мог под влиянием вдохновения быть изменен в подробностях, но никогда не позволял композитору сбиться с пути. Вот почему у него такая энергичная акцентировка, такая трепещущая жизнью декламация. Я согласен с вами, что в опере Мейербера чувствуются большие познания автора, но познания становятся недостатком, когда они не окрылены вдохновением; и, думается мне, в этом произведении уж очень заметен тяжкий труд тонкого ума, который извлекал свою музыку из огромного количества мотивов, взятых из не имевших успеха или позабытых опер, и, заимствуя оттуда мелодии, расширял их, изменял или сгущал. Но с ним случилось то, что происходит со всеми сочинителями по чужим образцам,— он злоупотребляет красотами. Сей искусный собиратель гроздьев в музыкальных виноградниках слишком щедро расточает диссонансы, и они так часто царапают слух, что притупляют его, делают привычными те сильные эффекты, которые композитор должен применять бережно,— лишь когда того требует ситуация и когда они производят наибольшее впечатление. А эти назойливо повторяющиеся *энгармоничные* переходы, это злоупотребление *плагальными каденциями* в значительной мере лишают музыку благоговейной торжественности. Я пре-

красно понимаю, что у каждого композитора есть свои излюбленные приемы, к которым он обращается невольно, но ведь нужно следить за собою и избегать этого недостатка. Картина, написанная исключительно в голубых и красных тонах, была бы далека от правды и утомила бы зрение. Вот так же и с увертюрой «Роберта»: ритм ее почти не меняется, и это придает однообразие всей опере. Что же касается эффекта, производимого рупорами, о котором вы говорите, то этот прием давно известен в Германии, и то, что Мейербер выдает за новшество, постоянно употреблял Моцарт,— именно таким образом у него в «Дон-Жуане» поет хор дьяволов!

Прибегнув к новым возлияниям, Андреа попытался своими нарочитыми противоречиями привести композитора к правильному пониманию музыки и доказать, что его подлинная миссия в сем мире состоит вовсе не в полном преобразовании самых основ искусства, ибо это никому не под силу, а в поисках новых форм выражения своей мысли, которые дает поэзия.

— Вы ничего не поняли, дорогой граф, в этой огромной музыкальной драме,— пренебрежительно сказал Гамбара. Подойдя к фортепьяно Андреа, он пробежал пальцами по клавишам, прислушался к звукам, затем сел на табурет и задумался, как будто собираясь с мыслями.— Прежде всего не забывайте,— сказал он,— что я человек понимающий. Мой слух сразу различил ту работу, о которой вы говорите,— работу ювелира, делающего оправу для драгоценных камней. Да, эта музыка подобрана с любовью, но самоцветы найдены в сокровищнице богатого, плодотворного воображения, где наука собрала идеи и извлекла из них музыкальную сущность. Я сейчас объясню вам, что это за работа.

Он встал и вынес в соседнюю комнату свечи, и прежде чем опять сесть за фортепьяно, выпил полный бокал жиро — сардинского вина, в котором таится столько же огня, сколько зажигают его старые токайские вина.

— Видите ли,— начал Гамбара,— эта музыка недоступна неверующим, так же как и тем, кто не знает любви. Если вам не привелось в жизни изведать мучительные борения со злым духом, который отводит вас от цели заветных ваших стремлений, готовит печальный конец

самым светлым вашим надеждам,— словом, если вы никогда не слышали, как злорадно хохочет дьявол в этом мире,— опера «Роберт» произведет на вас не больше впечатления, чем «Апокалипсис» на людей, полагающих, что все кончается вместе с ними. Если вы несчастны и гонимы, вы поймете образ Бертрама — духа зла, этой чудовищной обезьяны, которая ежеминутно разрушает дело господне; если вы представите себе, что он мог не то чтобы полюбить, но силой овладеть женщиной божественной чистоты и прелести и, познав благодаря этой женщине радости отцовства, до такой степени возлюбил своего сына, что предпочитает видеть его близ себя навеки веков несчастным, чем наслаждающимся вечным блаженством в божьем раю; и если вы вообразите себе, как душа матери реет над головою сына, чтобы вырвать его из сетей соблазнов, какими его опутывает отец, вы и тогда получите лишь слабое представление об этой огромной поэме, которой немногого недостает для того, чтобы она могла соперничать с «Дон-Жуаном» Моцарта. «Дон-Жуан» выше ее, совершеннее — я с этим согласен: «Роберт-Дьявол» олицетворяет отвлеченные идеи, а «Дон-Жуан» вызывает волнения чувств. «Дон-Жуан» еще и поныне остается единственным музыкальным произведением, в котором соблюдено верное соотношение между мелодией и гармонией: только в этом и кроется тайна его превосходства над «Робертом», ибо музыка «Роберта» богаче. Да и к чему сравнивать? Оба эти творения прекрасны, каждое своей особой красотой. Меня, не раз стонавшего под ударами дьявола, музыка «Роберта» взволновала сильнее, нежели вас; на мой взгляд, в ней есть и широта и сосредоточенность. Право же, благодаря вам я побывал в мире мечтаний, где все ощущения обостряются, где вселенная возникает перед нами в своей беспредельности, и мы чувствуем, как мы ничтожны перед нею.

Несчастный композитор умолк на мгновение.

— Я все еще трепещу,— заговорил он затем.— Да, я трепещу, вспоминая о четырех тактах литавр, от которых у меня все оборвалось внутри. Ими начинается короткая, резкая интродукция, в которой солируют тромбон, флейта, гобой и кларнет, потрясая душу, рождая в ней фантастические картины. Ах, это анданте в до минор!..

Оно подготовляет тему вызывания душ в аббатстве и возвеличивает всю эту сцену; возвещая предстоящую чисто духовную борьбу... Я весь дрожал!

Уверенной рукой Гамбара ударил по клавишам и мастерски развернул тему Мейербера своими вариациями, излияниями страдающей души. Он играл в манере Листа. Фортепьяно, казалось, превратилось в оркестр, а сам он был в эти минуты олицетворением гения музыки.

— Вот стиль Моцарта! — воскликнул он.— Смотрите, как этот немец манипулирует аккордами, какими искусными модуляциями он вводит тему ужаса и приходит к доминанте, в той же тональности! Я слышу голоса преисподней! Занавес поднимается. Что я вижу? Незабываемое зрелище, которое не назовешь иначе, как инфернальным — оргия рыцарей в Сицилии. А этот хор! В его вакхическом аллегро разбушевались все страсти человеческие. Пришли в движение все нити, за которые дьявол дергает нас, своих марионеток! Вот она, та особая радость, опьяняющая людей, когда они пляшут на краю бездны. Головокружительное ощущение! Безумцы сами его ищут. Сколько движения в этом хоре! И вдруг на его фоне выделяется мелодия в соль минор, выражающая наивную и мещанскую, житейскую действительность: раздается такая простая ария Рембо. На мгновение мне освежила душу песня этого славного человека, сына зеленой и плодородной Нормандии, пришедшего напомнить о ней Роберту среди оргии. Нежная мелодия, в которой изливается любовь к милой родине, струится серебристым ручейком в этом мрачном начале. Потом идет чудесная баллада в до мажор, сопровождаемая хором; эта баллада так хорошо передает сюжет. И тут же гремит ария: «Я Роберт!» В ярости сюзерена, оскорбленного своим вассалом, уже есть какая-то нечеловеческая злоба, но сейчас она стихнет,— на сцене появляется Алиса, и ее партия, это аллегро в ля мажор, полное движения и грации, навеет на Роберта воспоминания детства. А вы слышите крики невинного создания, невинного и уже преследуемого, лишь только оно вступило в круг действия этой инфернальной драмы? «Нет! Нет!» — пропел Гамбара, умевший исторгнуть певучие звуки из самого чахоточного фортепьяно. Сколько волнения вызвали у

Роберта мысли об отчизне! Вновь расцвели в его сердце воспоминания детства. Но вот встает тень матери, пробуждая чистые, благоговейные чувства, слышится прелестный романс в ми мажор, воодушевленный религией. Как прекрасно дано его гармоническое и мелодическое развитие!

И в небесах и на земле
Мать за него воссылает молитвы.

Начинается борьба меж неведомыми силами и тем единственным человеком, который может им сопротивляться, ибо в его крови горит адский огонь. И, чтобы вы знали это, великий композитор отмечает выход Бертрама: в оркестре звучит ритурнель, напоминающая о балладе Рембо. Какое тонкое искусство! Какая связность всех частей! Какая мощь в построении музыки! Под нею прячется дьявол, он весь трепещет от радости... Алиса в ужасе: она узнает дьявола, того самого, которого архангел Михаил повергает на иконе в ее деревенской церкви. Возникает борьба двух начал. В музыке эта тема развивается, проходя через разнообразнейшие фазы! Вот оно, противоположение, необходимое для каждой оперы, здесь оно ярко выявляется превосходным речитативом, достойным Глюка. Происходит диалог между Бертрамом и Робертом:

Ты никогда не узнаешь, как беспредельно тебя я люблю!

Ах, эта дьявольская партия в до минор, этот грозный бас Бертрама! Совершается разрушительная работа, которая сломит все усилия Роберта, человека бешеного темперамента. По-моему, тут все вызывает ужас. Привлечет ли преступление преступника? Станет ли он добычей палача? Угасит ли несчастье гений художника? Убьет ли болезнь больного? Оградит ли христианина от искушений ангел-хранитель? Но вот финальная сцена — сцена игры, когда Бертрам терзает своего сына, вызывая в нем жесточайшие волнения. Роберт разорен, он кипит гневом, жаждет все сокрушить, всех уничтожить, все предать огню и мечу. Бертрам видит в нем истинного своего сына, теперь Роберт похож на него. Какая жестокая веселость в арии Бертрама: «Мне смешны твои удары»! И как великолепно венецианская баркарола от-

теняет этот финал! А какие смелые переходы в музыке, когда на сцене снова появляется вероломный отец и снова вовлекает Роберта в игру! Эта сцена чрезвычайно трудна для исполнителей,— ведь они должны почувствовать в глубине сердца темы, данные композитором, и, подчиняясь его требованиям, передать широту его замысла. Только любовь можно было противопоставить мощной симфонии голосов, в которой вы не найдете монотонности, применения одного и того же приема: она пронизана единством и полна разнообразия — свойства, характерные для всего великого и естественного. Я вздыхаю с облегчением: я перенесен в высокие сферы, я при дворе прекрасной властительницы; я слышу пленительные своей свежестью и легкой грустью короткие арии Изабеллы и хор женщин, разделенный на две группы,— в их перекличке немного чувствуется подражание мавританским песням Испании. В этом месте грозная музыка смягчается, словно стихает буря; наш слух ласкают томные звуки, и наконец раздается нежный, игривый дуэт, прекрасно модулированный и нисколько не похожий на предшествовавшие музыкальные моменты. После бурных сцен, разыгравшихся в лагере искателей приключений, музыка живописует любовь. Спасибо, поэт! А то, право, сердце бы не выдержало. Кабы мы тут не срывали маргариток французской комической оперы да не услышали мягкой шутки женщины, которая умеет любить и утешить, мы бы не выдержали тех грозных, низких аккордов, при которых внезапно появляется Бертрам и отвечает сыну: «Если я тебе дозволю!..» — когда Роберт обещает своей обожаемой принцессе сразить врага оружием, которое она ему вручила. Какие сладостные надежды лелеет игрок, исправленный любовью, любовью прекраснейшей женщины,— ведь вы видели эту пленительную сицилианку! Он взирает на нее взглядом сокола, настигшего свою добычу. (Ах, каких исполнителей нашел композитор!) Но надеждам человека ад противопоставляет свои собственные чаяния в изумительной арии «Тебе ль, Роберт Нормандский?..». Разве не вызывает у вас восхищения глубокий, мрачный ужас, коим проникнуты протяжные, низкие звуки арии «В ближнем лесу»? Тут все очарование «Освобожденного Иерусалима», а в этих хорах с испанским ритмом и в

темпе марша оживают времена рыцарства. Сколько своеобразия вносят в это аллегро модуляции четырех настроенных в лад литавр! Сколько изящества в этом созыве на турнир! Здесь все движение жизни тех героических времен, душа увлечена, ты словно читаешь рыцарский роман и поэму. Повествование закончено; кажется, что все возможности музыки исчерпаны; ничего подобного ты никогда не слышал, а меж тем тут все сводится к одному. Жизнь человеческая предстала перед нами в одном и единственном ее смысле. «Счастлив я буду или несчастен?» — спрашивают философы. «Ждут меня вечные муки или спасется душа моя?» — спрашивают христиане.

На последней ноте финального хора Гамбара остановился, меланхолически взял несколько аккордов и встал, чтобы выпить второй бокал жиро. От этого полуафриканского напитка запылало его лицо, побледневшее в те минуты, когда он так вдохновенно, с такою страстной силой исполнял оперу Мейербера.

— В этой опере есть решительно все,— заговорил он опять,— щедрый гений великого артиста дал нам в ней и комический дуэт, единственную шуточку, которую мог бы позволить себе дьявол,— искушение бедняги трубадура. Рядом с ужасным — издевательская шутка над единственной реальной картиной, нарисованной в этом возвышенном и фантастическом творении: насмешка над чистой и спокойной любовью Алисы и Рембо; дьявол заранее мстит им, внося смятение в их жизнь; только возвышенные души могут почувствовать, сколько благородства в этих комических ариях; вы не найдете тут ни слишком обильных рулад и завитушек нашей итальянской музыки, ни затасканных мелодий французских уличных песенок. Тут какое-то олимпийское величие. Горький смех божества — и удивление донжуанствующего трубадура. Без этой величавости был бы слишком резок переход к общему колориту оперы, запечатленному в этой неистовой буре уменьшенных септим, которая разрешается инфернальным вальсом, где перед нами предстают наконец дьяволы. Какой силы исполнена ария Бертрама в си минор, она гремит на фоне хора адских сил и, рисуя нам отчаяние отцовской любви, сливается с песнями дьяволов! А какой восхитительный контраст — ри-

турнель, возвещающая появление Алисы! Я все еще слышу ангельские, чистые звуки ее голоса. Будто соловей поет после грозы, не правда ли? В этих деталях сказывается великий замысел всей оперы. Что можно было бы противопоставить дикой сцене демонов, кишащих в преисподней, если не эту чудесную арию Алисы:

Когда я Нормандию покинула!..

Золотая нить мелодии пронизывает всю мощную оркестровку, словно небесная надежда, расшивает ее изящнейшим узором. Сколько тут искусства и глубины! Никогда гений не отказывается от науки, которая руководит им. Здесь ария Алисы соединяется с хором дьяволов. Но вот в оркестре звучит тремоло. Это Роберта требуют на сборище демонов. Вновь появляется на сцене Бертрам. Тут кульминационный пункт, самый драматический момент в опере: речитатив, сравнимый лишь с самыми грандиозными творениями великих мастеров. Идет жаркая борьба между двумя силами — небом и адом; ее отражают две арии: «Да, ты меня узнала», построенная на уменьшенной септиме, и вторая — с великолепным верхним фа: «Небо — моя защита!». Перед нами столкновение ада и креста. Бертрам то грозит Алисе (мелодия тут полна самой яростной патетики), то старается ее прельстить, обращаясь, как всегда, к личной корысти. Появляется Роберт; мы слышим великолепное трио в си бемоль, без аккомпанемента. Происходит первая схватка двух соперничающих сил, оспаривающих друг у друга судьбу человека. Посмотрите, как это ясно видно,— заметил Гамбара и воспроизвел эту сцену со страстной выразительностью, поразившей графа.—Вся лавина музыки, начиная с четырех тактов литавр, неслась к этому борению трех голосов. Магия зла торжествует! Алиса убегает, и вы слышите дуэт Бертрама и Роберта. Дьявол вонзает сыну когти в самое сердце, терзает его, чтобы сильнее им завладеть, пользуется всеми соблазнами: честь, надежды, вечное и беспредельное блаженство в блистательных картинах проходят перед его глазами. Как Христа дьявол, возносит он Роберта на кровлю храма и показывает ему все радости земные, сокровища зла; но невольно он пробуждает в нем мужест-

во и добрые человеческие чувства, которые Роберт изливает в возгласе:

Рыцарям моей отчизны
Честь всегда была оплотом!..

Наконец, завершая оперу, звучит та же зловещая тема, с которой начиналась увертюра,— вот она, эта главная, эта великолепная ария, звучащая в сцене заклинания душ:

Под хладным камнем почивая,
Монахини, вы слышите ль меня?

Блистательное развитие этого музыкального шедевра достойно завершается allegro vivace вакханалии в ре минор. Перед нами триумф адских сил! Несись, поток звуков, несись и чаруй нас своими бурными волнами! Духи преисподней схватили добычу, держат Роберта, пляшут вокруг него. Прекрасный гений, чьим назначением в жизни было побеждать и царствовать, гибнет. Демоны ликуют: нищета задушит гения, страсть погубит рыцаря.

И тут Гамбара развил тему вакханалии, импровизируя искуснейшие вариации и напевая их мелодию грустным голосом; казалось, он желал излить тайную боль, томившую его сердце.

— Слышите вы небесные жалобы отвергнутой любви? — заговорил он.— Изабелла призывает Роберта, голос ее звенит, вливаясь в хор рыцарей, отправляющихся на турнир! Тут вновь звучат мотивы, которые мы слышали во втором акте,— композитор хотел подчеркнуть, что действие этого акта, развертывавшееся в сверхъестественной сфере, переходит в сферу реальной жизни. Хор рыцарей затихает, ибо приблизились адские чары: их приносит с собою Роберт, наделенный талисманом; чудеса продолжаются и в третьем акте. Как хорош здесь дуэт двух виол, в нем уж самый ритм прекрасно рисует грубость желаний человека, ставшего всемогущим, а принцесса жалобными сетованиями пытается образумить возлюбленного. Композитор избрал труднейшую ситуацию и вышел из нее победителем, создав изумительный музыкальный отрывок. Как восхитительна мелодия каватины «Да простит тебе небо!»! Женщины прекрасно

уловили ее смысл. Каждая чувствовала, что именно ее на сцене хватают мощные руки и сжимают в объятиях. Одного уж этого отрывка достаточно для блестящего успеха оперы: любая зрительница почувствует себя средневековой красавицей, преследуемой неистовым рыцарем. Никогда еще не было такой страстной и такой драматической музыки. Весь мир ополчился против отверженного. Этому финалу можно поставить в упрек лишь его сходство с финалом «Дон-Жуана»; однако вглядитесь — в ситуации огромная разница: Изабелла полна благородной веры и истинной любви, которая и спасает Роберта; он презрительно отказывается от адского могущества, сообщенного ему талисманом, меж тем как Дон-Жуан упорствует в своем нечестии. Кстати сказать, упрек в сходстве обращают ко всем композиторам, писавшим финалы опер после Моцарта. Финал «Дон-Жуана» — одна из классических форм музыки, найденных раз и навсегда. В конце «Роберта-Дьявола» подъемлет свой голос всемогущая религия, голос, владычествующий над мирами и призывающий всех несчастных, дабы утешить их, всех покаявшихся, дабы примирить их с небом. Весь зрительный зал замирает от волнения — такой силой проникнуты призывы хора:

Все несчастные, все грешники,
Спешите на зов небес.

В буре разнузданных страстей не слышен был божественный глас, но в решающее мгновение он разносится, как раскаты грома; католическая церковь встает, сияя светом. К великому моему удивлению, после стольких сокровищ гармонии композитор порадовал нас новой удачей — и притом капитальной: ведь его хор «Слава провидению» написан в манере Генделя. Появляется Роберт, заблудшая душа, полная отчаянья, и терзает нам сердце своей арией «О, если б я молиться мог!». Повинуясь велениям ада, Бертрам преследует сына и делает последнюю попытку совратить его. Алиса призывает на помощь тень матери. Раздается дивное трио, к которому шла вся опера: в нем торжество души над материей, духа добра — над духом зла. Песнь, исполненная веры в бога, заглушает голоса ада, брезжит лучезарная заря счастья. Но тут музыка слабее: перед нами как будто католи-

ческий собор, и мы слышим обычные церковные песнопения вместо ликующего хора ангелов и дивной молитвы спасенных душ, благословляющих союз Роберта с Изабеллой. А нам следовало бы сбросить с себя адские чары и выйти из театра с сердцем, исполненным надежды. Мне, как музыканту-католику, хотелось бы услышать что-нибудь вроде молитвы Моисея. Хотелось бы посмотреть, как Германия борется с Италией, что́ в состоянии сделать Мейербер, соперничая с Россини.

Несмотря на этот маленький недостаток, композитор может сказать, что парижане пять часов подряд слушали столь основательную музыку. И если публика даже не поняла, что перед ней истинный музыкальный шедевр, она оценила декоративность оперы Мейербера. Вы ведь слышали, какими рукоплесканиями ее наградили? Она выдержит пятьсот представлений...

— Не удивительно! В ней есть глубокая мысль,— заметил граф, прерывая его.

— Нет, это потому, что она с громадной силой создает образ той борьбы, где гибнет столько людей. В личной жизни любого человека найдутся воспоминания, которые можно связать с этой борьбой. Мне, несчастному, так сладостно было услышать призыв небесных голосов, ведь я так о нем мечтал!..

И, вновь отдавшись музыкальному экстазу, Гамбара в чудесной импровизации создал каватину, столь мелодичное, столь стройное творение, какого Андреа никогда еще не слышал,— дивную песнь, спетую с дивным совершенством; по теме своей она была подобна псалму O filii et filiae [1], но проникнута такой прелестью, какую мог вложить в нее лишь самый возвышенный музыкальный гений. Граф охвачен был живейшим восторгом,— облака рассеивались, приоткрывалась небесная лазурь, взору представали ангелы и поднимали покровы, скрывавшие святилище, с неба потоками лился свет. Вдруг настала тишина. Граф, удивляясь, что музыка смолкла, взглянул на Гамбара.

Композитор сидел неподвижно, устремив в одну точку экстатический взгляд, словно курильщик опиума, и бормотал одно-единственное слово — «Бог!». Андреа вы-

[1] Сыны и дщери *(лат.)*.

ждал, пока композитор спустится с горних высот волшебного края, к которым он поднялся на прозрачных крылах вдохновения. Итальянец решил вновь зажечь его огнем, которым Гамбара только что горел.

— Ну! — сказал Андреа, наливая ему еще один стакан вина и чокаясь с ним.— По-вашему, этот немец создал великолепную оперу, не заботясь о теории, тогда как музыканты, которые пишут грамматики, зачастую оказываются так же, как и литературные критики, отвратительными сочинителями.

— Стало быть, вам моя музыка не нравится?

— Я этого не говорю. Но если бы вы, вместо того, чтобы выражать глубокомысленные идеи и делать бесплодные попытки изменить самые основы музыки, что уводит вас в сторону от ваших целей, попросту обращались бы к нашим чувствам, вас лучше понимали бы... Если только вы не ошибаетесь в своем призвании... Ведь вы поэт, великий поэт!

— Что! — воскликнул Гамбара.— Значит, я напрасно учился музыке двадцать пять лет? Мне, по-вашему, следует изучать несовершенный язык людей, когда в руках у меня ключ к небесному глаголу? Ах, если вы правы, мне остается только одно — умереть!..

— Нет, вы не умрете. Вы сильный, рослый человек. Вы начнете новую жизнь, и я окажу вам поддержку. Мы с вами составим благородный и редкий союз, в котором богач и художник понимают друг друга.

— Вы говорите искренне? — спросил ошеломленный Гамбара.

— Но я же вам сказал: по-моему, вы больше поэт, чем музыкант.

— Поэт!.. Поэт!.. Это все-таки лучше, чем ничто. Скажите правду, кого вы больше цените: Моцарта или Гомера?

— Одинаково восхищаюсь обоими.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Так! Еще один вопрос: какого вы мнения о Мейербере и о Байроне?

— Вы уже сами вынесли суждение, соединив два эти имени.

Карета графа ждала у подъезда. Композитор и его

благородный целитель быстро спустились по ступенькам лестницы и через несколько минут уже были у Марианны. Войдя в комнату, Гамбара бросился в объятия жены, она отпрянула и отвернулась; муж, пошатнувшись, оперся на графа.

— Ах, сударь! — сказал он глухим голосом.— Уж лучше бы вы оставили мне мое безумие.

Потом опустил голову и свалился на пол.

— Что вы наделали! Ведь он мертвецки пьян! — воскликнула Марианна, взглянув на распростертое тело мужа с жалостью и отвращением.

С помощью своего лакея граф поднял Гамбара, и его уложили в постель. Затем Андреа удалился. Сердце его полно было нехорошей радости.

На следующий день граф пропустил обычный час своего посещения супругов; у него уже возникли опасения, что он совершил ошибку и, навсегда лишив это бедное семейство покоя и согласия, заставил его слишком дорого заплатить за достаток и возвратившийся рассудок композитора.

Наконец явился Джиардини и принес записку от Марианны.

«Приезжайте,— писала она,— зло не так уж велико, как вы того, быть может, хотели, жестокий.

Марианна».

— Ваше сиятельство,— говорил Джиардини, пока Андреа переодевался.— Вы нас вчера угостили по-княжески. Но сознайтесь, что, за исключением вин, которые были поистине восхитительны, ваш дворецкий не подал ни одного блюда, достойного служить украшением стола настоящего гурмана! Вы, я полагаю, не станете отрицать, что кушанья, которые вам подавали в тот день, когда вы оказали мне честь пообедать за моим столом, были куда выше всех тех яств, которые испачкали вчера вашу великолепную посуду? И вот, как только я проснулся нынче утром, мне вспомнилось, что вы обещали взять меня к себе на должность главного повара. Теперь уж я смотрю на себя как на лицо, принадлежащее к вашему дому.

— Несколько дней тому назад мне самому пришла эта мысль,— ответил Андреа.— Я уже говорил о вас с

секретарем австрийского посольства, и вы теперь можете переправиться через Альпы, когда вам будет угодно. В Хорватии у меня есть замок, куда я изредка заглядываю. Вы будете совмещать там обязанности привратника, кравчего, дворецкого и получать за это двести экю жалованья. Такое же вознаграждение я назначу и вашей жене: на нее будут возложены остальные услуги. Вы можете производить там опыты на живых существах, обращаясь к желудкам моих слуг. Вот чек на контору моего банкира, это вам на дорожные расходы.

Джиардини по неаполитанскому обычаю поцеловал ему руку.

— Ваше сиятельство,— сказал он,— чек принимаю с благодарностью, а места принять не могу. Как же мне покрыть себя бесчестьем, отречься от своего искусства, отказавшись от суждения парижан, самых тонких гурманов на свете?

Когда Андреа появился у Гамбара, композитор встал и пошел ему навстречу.

— Великодушный друг мой,— сказал он с самым открытым видом,— то ли вы вчера злоупотребили слабостью моего организма, желая подшутить надо мной, то ли ваша голова не лучше, чем моя, переносит действия крепких вин нашего родного Лациума. Я хочу остановиться на этом последнем предположении, я предпочитаю усомниться в добротности вашего желудка, чем в доброте вашего сердца. Как бы то ни было, вчерашняя выпивка довела меня до преступных безумств. Подумать только, ведь я чуть было!..— И он с ужасом поглядел на Марианну.— Что касается той убогой оперы, которую вы меня возили слушать, то, поразмыслив, я переменил мнение. Как хотите, а все же это самая заурядная музыка. Обычное нагромождение звуков!.. Целые горы нотных значков, verba et voces [1]. Это просто подонки той дивной амброзии, которую я пью большими глотками, когда передаю небесную музыку,— ведь мне удается иногда ее услышать. А тут что же? Окрошка из рубленых музыкальных фраз. Откуда они взяты, сразу угадываю: «Смотрите, вот этот кусок — «Слава провидению» — очень уж походит на отрывок генделевской оратории;

[1] Слова и голоса *(лат.)*.

хор рыцарей, отправляющихся в поход,— ни дать, ни взять шотландская песня из «Белой дамы». Словом, если опера так уж нравится публике, то именно потому, что музыка отовсюду понадергана и, значит, всем знакома и мила. Извините меня, я должен сейчас покинуть вас, дорогой друг, у меня нынче с самого утра забрезжили кое-какие идеи... Так и рвутся из груди, так и просят вознестись к небу на крыльях музыки. Но мне хотелось дождаться вас, поговорить с вами... До свидания! Бегу просить прощения у моей музы. Вечером пообедаем вместе, хорошо? Но вина пусть не подают, во всяком случае, для меня. О да! Я твердо решил...

— Я, право, в отчаянии! — сказал Андреа, краснея.

— Ах, сразу на душе легче! — воскликнула Марианна.— Я уж больше не смела его расспрашивать. Друг мой, друг мой, это не наша вина... Он не хочет исцелиться.

Шесть лет спустя, в январе 1837 года, большинство музыкантов, имевших несчастье испортить свои духовые или струнные инструменты, приносили их чинить на улицу Фруаманто в грязную, мерзкую трущобу, где на шестом этаже жил старый итальянец по имени Гамбара. Уже пять лет этот музыкант был брошен на произвол судьбы, так как жена покинула его. За это время на него обрушилось много бед. Инструмент, на который он так рассчитывал, надеясь составить себе состояние, и которому он дал название *пангармоникон,* был продан по решению суда с молотка на площади Шатле так же, как и ворох линованной бумаги, исписанной нотными значками. На следующий день после аукциона в листки этих партитур на Главном рынке заворачивали сливочное масло, рыбу и фрукты. Так разлетелись по всему Парижу, попали на лотки торговок и в корзины перекупщиц три большие оперы, о которых с гордостью твердил этот несчастный человек, хотя Джиардини, кухмистер-неаполитанец, державший теперь мелочную лавочку, утверждал, что музыкальные произведения Гамбара — куча глупостей.

Впрочем, это значения не имеет: хозяину дома уплатили за квартиру; пристава получили возмещение судебных издержек. По словам старика Джиардини, продавав-

шего гулящим девицам на улице Фруаманто «остатки» от самых пышных пиршеств, устраиваемых в Париже, синьора Гамбара уехала в Италию с богатым и знатным миланским синьором, и никто не знал, что с нею сталось. Быть может, ей надоело жить в нищете, пятнадцать лет терзавшей ее, и теперь она разоряет своего графа, требуя неслыханной роскоши. Зато уж и любит она его, а он ее прямо обожает! Еще ни разу за долгую свою жизнь старик неаполитанец, по его словам, не видел такой пылкой любви.

В конце января того же года, как-то вечером, когда Джиардини беседовал с проституткою, забежавшей в его лавчонку купить себе что-нибудь на ужин, он рассказывал ей о синьоре Марианне, женщине дивной прелести, красавице, которая исполнена была целомудрия, благородной самоотверженности, а кончила так же, как и все: сбилась с пути,— и как раз в эту минуту бывший кухмистер и его жена заметили, что по улице идет изможденная, худая женщина с почерневшим, запыленным лицом— ходячий скелет; она нервно озиралась, всматривалась в номера, написанные у ворот, должно быть, искала знакомый дом.

— Ecco la Marianna![1] — воскликнул неаполитанец.

Марианна узнала в содержателе убогой лавчонки, торговавшем объедками, бывшего кухмистера Джиардини и удивилась: что за несчастья довели его до такого унижения? Она вошла, села, у нее подкашивались ноги: она шла из Фонтенбло и сделала за день четырнадцать лье; питалась она всю дорогу от Турина до Парижа милостыней, которую ей подавали. Несчастная привела в ужас это ужасное трио. Ничего не осталось от прежней ее чудесной красоты. Правда, глаза еще были хороши, но каким болезненным, угасшим взглядом они смотрели! Одно лишь злосчастье оказалось ей верным всю жизнь. Старик Гамбара, так искусно чинивший музыкальные инструменты, встретил ее ласково. Когда она вошла, лицо его озарилось невыразимой радостью.

— Вот и ты наконец, бедненькая моя Марианна!— приветливо сказал он.— Знаешь, без тебя они продали мой пангармоникон и все мои оперы!..

---

[1] Да это Марианна! *(итал.)*.

Трудно было б ему «заклать жирного тельца» и устроить пиршество в честь возвращения блудной дочери, но Джиардини принес остатки лососины, гулящая девица купила вина, Гамбара отдал весь свой хлеб, синьора Джиардини накрыла стол скатертью, и эти обездоленные, несчастные каждый по-своему, поужинали в чердачной каморке композитора. Потом стали расспрашивать Марианну о ее приключениях, она отказалась отвечать, только подняла к небу прекрасные свои глаза и сказала вполголоса Джиардини:

— Женился на танцовщице!..

— Чем же вы теперь жить-то будете? — спросила гулящая.— Дорога вас совсем убила...

— И состарила,— добавила Марианна.— Нет, тут не усталость, не нищета виноваты, а горе...

— Ах, так! Но почему же вы мужу-то ничего не посылали? — спросила гулящая.

Марианна ответила безмолвным взглядом, и публичную женщину он поразил в самое сердце.

— Ишь ты, гордячка какая! — воскликнула она.— А что ей толку-то с гордости? — сказала она на ухо Джиардини.

В том году музыканты, по-видимому, очень бережно обращались со своими инструментами: заработка от починки не хватало на скудные расходы супругам Гамбара; Марианна тоже зарабатывала гроши, и бедняги были вынуждены в поисках пропитания применять свои таланты в самой низкой сфере искусства. Ежедневно, лишь только начинало смеркаться, они шли на Елисейские поля и пели там дуэты под аккомпанемент дрянной гитары, на которой играл несчастный Гамбара. Дорогой Марианна, которая для этих артистических путешествий надевала на голову дешевенькую вуаль, вела мужа в бакалейную лавку на улицу Сент-Оноре и заставляла его выпить несколько рюмок водки, чтобы он захмелел,— иначе его музыку было просто невозможно слушать. Чета музыкантов останавливалась перед нарядными господами, сидевшими на садовых стульях, и несчастный Гамбара, один из величайших гениев своего времени, безвестный Орфей современной музыки, исполнял отрывки из партитур своих опер; эти отрывки были так прекрасны, что даже равнодушным парижанам случалось рас-

щедриться на несколько су. Если какой-нибудь любитель музыки, завсегдатай Итальянской оперы, случайно оказавшийся тут, не узнавал, из какой оперы взяты исполнявшиеся отрывки, он спрашивал у женщины, одетой в костюм греческой жрицы и протягивавшей ему облезлый металлический поддонник для бутылки, в который она собирала с публики подаяние:

— Скажите, голубушка, откуда эта мелодия?

— Из оперы «Магомет»,— отвечала Марианна.

Так как у Россини есть опера «Магомет II», любитель музыки говорил даме, сопровождавшей его:

— Как жаль, что у Итальянцев не желают ставить незнакомые нам оперы Россини. А ведь это превосходная музыка!

Гамбара улыбался.

Совсем недавно произошел такой случай. Нашей несчастной и смиренной паре нужно было заплатить хозяину за квартиру, в которой они ютились на чердаке, тридцать шесть франков. Ничтожная сумма, а где ее взять? Лавочник не пожелал отпустить в долг водки, которой Марианна подпаивала мужа для того, чтобы он хорошо играл. И Гамбара сыграл так отвратительно, что слух богатой публики был оскорблен: в металлический облезлый поддонник не бросили ни одной монетки. Было десять часов вечера; красивая итальянка principessa [1] Массимила ди Варезе пожалела этих бедняков: она дала им сорок франков и, угадав по благодарственным возгласам спутницы музыканта, что перед нею венецианка, задала им несколько вопросов; князь Эмилио пожелал, чтобы они поведали историю своих злоключений, и Марианна все рассказала, без единой жалобы против неба и против людей.

— Сударыня,— сказал в заключение Гамбара, который был совсем трезвым в тот день.— Мы жертвы собственного нашего превосходства. Моя музыка хороша, но когда музыка от ощущений переходит к идеям, она находит себе слушателей только среди просвещенных людей, потому что только они в состоянии развивать идеи. Я, на свою беду, слышал хоры ангелов и вообразил, будто люди могут их понять. Нечто подобное случается с

---

[1] Княгиня *(итал.)*.

женщинами: когда их любовь становится небесной, мужчины перестают их понимать.

Право, за такие слова стоило подарить бедняку сорок франков, и Массимила не пожалела, что дала золотой; мало того: она вынула из кошелька второй золотой и сказала Марианне, что напишет синьору Маркозини.

— Нет, не пишите ему, сударыня,— сказала Марианна.— И да сохранит вас господь всегда такой же красавицей!

— Позаботимся о них! — попросила княгиня мужа.— Ведь этот человек остался верен идеалу, от которого мы отреклись.

Увидев золотую монету, Гамбара всплакнул. Потом ему пришли на память былые его научные труды, и бедняга композитор, утирая слезы, произнес фразу, которая при его теперешнем положении прозвучала трогательно:

— Вода есть продукт сгорания.

Париж, июнь 1837 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ФИЛОСОФСКИЕ ЭТЮДЫ

ПОИСКИ АБСОЛЮТА

Первое издание «Поисков Абсолюта» вышло в 1834 году; произведение было разбито на семь глав, носивших названия: «Дом Клаасов», «История фламандского семейства», «Абсолют», «Смерть матери», «Преданность молодежи», «Отец в изгнании», «Абсолют найден». В 1845 году Бальзак включил повесть в XIV том «Человеческой комедии» (I том «Философских этюдов»). В этом издании деление на главы отсутствовало.

В «Поисках Абсолюта» Бальзак разрабатывает проблему, встречающуюся и в других его произведениях: развитие страсти, всецело овладевающей человеком, поглощающей все другие его чувства и привязанности.

Однако герой романа Клаас во многом отличается от образов людей, одержимых единой страстью, которые выступают в других произведениях Бальзака 30-х годов (Гобсек, Гранде, Горио). Гобсек и Гранде обуреваемы маниакальной жаждой стяжательства. Клаас же воплощает в себе дух исканий, стремление к овладению тайнами природы.

Но общественный порядок враждебен гармоническому развитию личности; трагедия Клааса в том, что он не может быть одновременно и великим ученым и примерным семьянином, хранящим и приумножающим свои богатства. Он обречен на мучительное одиночество, на постоянную борьбу с самыми дорогими для него людьми. В их глазах он безумец, расточитель, преступник.

Стр. 9. *Ганзейский союз* — торговый и политический союз северонемецких городов. Образован в середине XIV века; власть в ганзейских городах находилась в руках купеческой знати.

С XVI века начался упадок Ганзейского союза. Распался союз в середине XVII века.

Стр. 11. *Праздник Гейана* — старинный праздник в городе Дуэ, связанный с легендарным образом великана Гейана — покровителя Дуэ. Возможно, что прототипом этого образа был народный герой Фландрии Жан Гелон (IX век), отличившийся в борьбе с норманнами.

Стр. 14. *Артевелде, Якоб* (1290—1345) — вождь оппозиционного движения во Фландрии, направленного против политики графа Гентского; возглавил правительство из представителей крупной буржуазии и ремесленников, образовавшееся в Генте в начале Столетней войны.

Стр. 21. *...ясновидящего Сведенборговой церкви.*— В ряде стран образовались секты последователей Эммануила Сведенборга (1688—1772), шведского реакционного писателя-мистика. Особенно они распространились в Англии и Америке.

Стр. 67. *Линней*, Карл (1707—1778) — знаменитый шведский естествоиспытатель, создавший систематику животного и растительного мира.

Стр. 91. *...г-жа Буриньон, так же как писатели квиэтисты и иллюминаты...*— *Буриньон*, Антуанетта (1616—1680) — автор ряда религиозно-мистических сочинений, авантюристка, объявившая себя «невестой святого духа», который передает через нее свои откровения. *Квиэтисты* — мистически-религиозное направление, в основе которого лежит проповедь пассивности, самоотрицания, растворения духа в религиозном созерцании. *Иллюминаты* — сеть тайных религиозно-мистических обществ, распространившихся в странах Европы и особенно в Германии в XVIII веке, проповедовавших нравственное совершенствование; выступали против официальной церкви.

Фенелон, Франсуа (1651—1715) — французский писатель, автор известного романа «Приключения Телемака»; был последователем квиэтизма.

Гийон, Жанна-Мари — автор ряда мистических книг.

МАРАНЫ

Повесть «Мараны» печаталась в газете «Ревю де Пари» в декабре 1832 — январе 1833 года. В 1846 году повесть была включена в «Философские этюды» первого издания «Человеческой комедии». Повесть печатается под редакцией Н. И. Немчиновой.

Стр. 190. *Графиня Марлен* — испанка, жившая в 30-х годах в Париже; в ее салоне бывал Бальзак.

Таррагона — испанский город, был взят французским маршалом Сюше в 1811 году.

...ни пули под Пиццо.— Под Пиццо в Калабрии (Италия) 5 октября 1815 года был расстрелян наполеоновский маршал Иоахим Мюрат (1771—1815), король неаполитанский.

Стр. 191. *Об этом бивуачном развлечении повествуется в другом месте.*— История капитана Бьянки рассказана не в «Сценах парижской жизни», а в книге «Коричневые рассказы», написанной Бальзаком совместно с Ш. Рабу и Ф. Шалем в 1832 году.

Флибустьеры — пираты XVII века, грабившие главным образом испанские корабли. В борьбе с Испанией, своей соперницей на мировом рынке, Англия и Франция часто использовали флибустьеров.

Стр. 192. *Наследник по субституции* — то есть наследник, который вступает в права наследства только в том случае, если первый наследник, упомянутый в завещании, почему-либо не вступит в права.

Стр. 193. *Битва при Сен-Кантене.*— Речь идет о взятии французского города Сен-Кантена испанскими войсками после ожесточенного штурма в 1557 году.

Стр. 194. *Риччо* — политический авантюрист, фаворит шотландской королевы Марии Стюарт, был казнен.

Стр. 196. *Гверильясы* — испанские партизаны, действовавшие во время народной войны против французских войск, которые вступили в Испанию по приказу Наполеона в 1808 году.

Стр. 201. *Нинон де Ланкло, Марион Делорм, Каталина, Империа* — имена куртизанок.

Марион Делорм — героиня одноименной драмы Гюго.

Империа — героиня двух «Озорных рассказов» Бальзака — «Красавица Империа» и «Замужество красавицы Империи».

Маркиза Пескара, Виттория Колонна (1490—1547) — итальянская лирическая поэтесса, оплакивавшая в сонетах раннюю смерть своего мужа маркиза Пескара, известного итальянского полководца.

Стр. 207. *Бартоло* — персонаж комедии Бомарше «Севильский цирюльник» и оперы Россини, написанной на сюжет этой комедии, нарицательное имя старого ревнивца.

Стр. 208. *Ловелас* (или Ловлас) — развратный светский щеголь, персонаж романа английского писателя XVIII века Ричардсона «Кларисса, или История молодой леди», нарицательное имя соблазнителя и волокиты.

Стр. 222—223. *...стих, вложенный неким современным поэтом в уста Марион Делорм.*— Имеется в виду романтическая драма В. Гюго «Марион Делорм» (1829).

Стр. 223. *...отца нашего театра* — то есть Пьера Корнеля, французского драматурга XVII века.

Стр. 229. *Убийство герцога Беррийского.*— Племянник французского короля Людовика XVIII, наследник престола герцог Беррийский был убит 13 февраля 1820 года при выходе из Парижской оперы рабочим-седельщиком Лувелем, который хотел таким образом положить конец династии Бурбонов.

Остров Сен-Луи — одна из старейших частей Парижа.

Стр. 238. *Неконсолидированные долги* — долги, не подлежащие консолидации. Консолидация — кредитная операция, обращающая краткосрочные государственные долги в долгосрочные.

ДРАМА НА БЕРЕГУ МОРЯ

Новелла «Драма на берегу моря» впервые была напечатана в 1835 году в V томе «Философских этюдов»; в 1846 году вошла в XV том «Человеческой комедии» (II том «Философских этюдов»).

История старого Камбремера обнажает трагедию крушения патриархальных устоев под натиском буржуазного образа жизни.

Большую роль в композиции новеллы играет принцип контрастов. С идиллическим вступлением контрастирует картина человеческой нужды, раскрывающаяся при встрече с рыбаком, и затем необычайная, горестная история жизни Камбремера.

Примечателен по всему своему строю рассказ рыбака: это простое, лаконичное повествование, лишенное всяких внешних прикрас и в то же время энергичное и драматически насыщенное.

Стр. 253. *...как Астольфо — своего гиппогрифа...* — *Астольфо* — персонаж из поэмы Ариосто «Неистовый Роланд» (1532). *Гиппогриф* — сказочное фантастическое животное, полуконь, полугриф.

ПРОЩЕННЫЙ МЕЛЬМОТ

Новелла впервые была опубликована в 1835 году. Последнее прижизненное издание — в 1845 году в XIV томе «Человеческой комедии» (I том «Философских этюдов»).

За сюжетную основу Бальзак взял легенду о человеке, вечно странствующем и наделенном сверхъестественным могуществом. Этот сюжет встречался у ряда писателей, в том числе у известного английского писателя, автора «готических романов» (романов «тайн и ужасов») Матюрена («Мельмот-скиталец»).

Бальзак так определяет значение своей новеллы: описанный здесь случай, «может быть, даст пищу умам, достаточно высоким для понимания истинных язв нашей цивилизации, которая после 1815 года принцип «честь» заменила принципом «деньги».

Фантастика служит Бальзаку для сатирического заострения социальной темы.

Речь идет здесь о «фантастичности» самой действительности. «Филиалом ада» становится «город-искуситель» Париж, а сердцем буржуазного мира—всемогущая биржа. «Есть такое место,— пишет о бирже Бальзак,— где котируется королевская власть, где прикидывают на весах целые нации, где выносится приговор политическим системам, где правительства расцениваются по стоимости пятифранковой монеты, где идеи и верования переведены на цифры, где все дисконтируется, где сам бог берет взаймы и в качестве гарантии оставляет свои прибыли от поступивших душ, ибо у папы римского имеется там свой текущий счет. Если где покупать душу, то, конечно, там».

Новеллу «Прощенный Мельмот» высоко ценил Маркс, называя ее «маленьким шедевром».

Стр. 272. *Барон де Померель* — друг семьи Бальзака. В его доме Бальзак жил летом 1828 года и работал над романом «Шуаны».

Стр. 273. *...Тюренн вертел генералом Монтекукули...* — *Тюренн* (1611—1675) — известный французский полководец. *Монтекукули* (1609—1681)—австрийский генерал; в 1675 году оба полководца во главе своих войск четыре месяца маневрировали, избегая решительного сражения.

Стр. 275. *...банкирской конторы «Нусинген и К°»...* — *Нусинген* — повторяющийся персонаж «Человеческой комедии»; образ этого финансиста, «Наполеона биржи», обогатившегося при по-

мощи ряда биржевых спекуляций, разоривших тысячи людей, встречается в целом ряде произведений Бальзака.

Стр. 299. *Карбонарии*—тайная политическая организация в Италии в первой трети XIX века, ставившая целью своей деятельности национальную независимость Италии; во Франции карбонарии в 20—30-е годы XIX века вели борьбу за свержение реставрированной династии Бурбонов.

Стр. 317. *Яков Беме* (1575—1624) — немецкий мистик, автор религиозно-философских произведений.

...за счет прусского короля — поговорка, употребляется в смысле: работал, ничего не получая.

ПРОКЛЯТОЕ ДИТЯ

Первая часть повести под названием «Проклятое дитя» была впервые напечатана в журнале «Ревю де Де Монд» в январе 1831 года, в этом же году она была переиздана в III томе «Философских романов и сказок».

Вторая часть повести была опубликована 9 октября 1836 года в журнале «Кроник де Пари» под названием «Разбитая жемчужина». В 1837 году обе части были соединены под общим заглавием «Проклятое дитя» в издании «Философских этюдов». В 1846 году повесть была включена в «Человеческую комедию» («Философские этюды»).

Действие повести перенесено Бальзаком в XVI век, в жестокую эпоху религиозных войн. Писатель не останавливается подробно на исторических событиях, однако суровые нравы эпохи феодального произвола и насилия показаны ярко и убедительно через трагическую судьбу жены и сына герцога д'Эрувиля, убитых страхом перед жестоким деспотом.

Стр. 318. *Баронесса Джемс де Ротшильд* — жена банкира Ротшильда, о котором Бальзак писал Ганской: «Это настоящий Нусинген и даже еще хуже».

Стр. 320. *«Метаморфозы» Овидия* — поэма римского поэта Публия Овидия Назона (43 год до н. э.— 17 год н. э.), в основу которой положены мифы о различных превращениях богов, героев и людей.

Стр. 322. *...война... между католической церковью и кальвинизмом.*— Кальвинисты, или гугеноты,— сторонники протестантского вероучения, основателем которого был Кальвин (1509—1564). Имеются в виду религиозные войны во Франции (1562—1594).

Стр. 323. *Варфоломеевская ночь* — массовая резня гугенотов, произведенная католиками в Париже в ночь на 24 августа 1572 года. Резня вызвала новую войну между католиками и гугенотами.

Стр. 324. *...Лиги, противившейся восшествию Генриха IV на престол.*— Католическая лига 1576 года — объединение французского католического духовенства, феодальной знати и дворянства (в основном север Франции), северофранцузской буржуазии и ремесленников (главным образом Парижа), выступала против гугенотов-кальвинистов; фактически распалась в конце 1576 года.

В 1585 году Лига была восстановлена; главную роль в ней играла Парижская лига — объединение широких слоев парижского населения. В 1593 году Лига пошла на соглашение с принявшим католичество Генрихом Бурбонским и признала его королем (Генрих IV).

Баланьи — маршал Франции. Во время религиозных войн он поочередно переходил на сторону то одной, то другой враждующей партии.

Стр. 338. *Агриппа Корнель* из Кельна (1486—1535) — немецкий алхимик, был особым советником испанского короля Карла V; автор книги «Оккультная философия».

Нострадамус (1503—1566) — французский врач и астролог; ему приписывалась способность предсказывать будущее.

Косма Руджиери — флорентинский астролог, привезенный Екатериной Медичи в Париж (XVI век). О нем см. книгу Бальзака «Об Екатерине Медичи».

Оккультные науки — общее название лженаук о различных «таинственных силах» и «сверхъестественных свойствах» природы. К оккультизму относятся разные виды магии, гадания, спиритизм и т. д.

Стр. 357. *...по Млечному Пути сонетов Петрарки или по исполинскому лабиринту «Божественной комедии».*— Итальянский поэт Франческо Петрарка (1304—1374) в сонетах воспел платоническую, возвышенную любовь к Лауре. Поэт Алигьери Данте (1265—1321) в поэме «Божественная комедия» прославляет свою возлюбленную Беатриче, являющуюся для него воплощением божественной благодати.

Стр. 372. *Орфей* — мифический древнегреческий поэт и певец; ему приписывалось изобретение стихосложения и музыки. Чтобы вернуть умершую жену Эвридику, Орфей спустился в Аид — царство мертвых.

Стр. 373. *Маршал д'Анкр* — авантюрист Кончини, фаворит матери Людовика XIII—Марии Медичи; был казнен по приказу короля (XVII век).

Стр. 376. *Бальи* — до буржуазной революции 1789 года королевский чиновник в провинции, исполнявший административные функции.

Стр. 383. *Койктье* — придворный врач Людовика XI, имевший на него большое влияние.

Стр. 408. *Платон* — древнегреческий философ-идеалист (427—347 до н. э.). Излагал учение о любви как о сродстве и слиянии душ (платоническая любовь).

Тибулл, Альбий (ок. 50—19 до н. э.) — древнеримский поэт, автор известных любовных элегий.

ГАМБАРА

Повесть «Гамбара» впервые была опубликована в «Ревю э газетт мюзикаль де Пари» в июле—августе 1837 года. В 1839 году повесть вышла отдельным изданием вместе с романом «Музей древности». В 1840 году повесть «Гамбара» вошла в состав «Книги скорбей» («Гамбара», «Массимилла Дони», «Изгнанники», «Серафита»). В 1846 году повесть была включена в первое издание «Человеческой комедии» («Философские этюды»).

Повесть «Гамбара» принадлежит к числу произведений Бальзака, в которых он затрагивает проблемы искусства; основная мысль ее близка к идее повести «Неведомый шедевр».

На примере трагической судьбы талантливого музыканта Бальзак вновь утверждает, что может существовать только искусство реалистическое, понятное людям.

Гамбара одержим стремлением достичь абсолютного совершенства, создать музыку, в которой слышались бы голоса ангелов, и в этих поисках метафизического совершенства он так же, как и герой «Неведомого шедевра» художник Френхофер, разрушает свое искусство. Реалист Бальзак утверждает, что искусство, недоступное пониманию, изменившее реальной жизни, неизбежно погибает, превращается в выражение лишь больной психики художника. «Гамбара» — произведение, имеющее большое значение для понимания реалистической эстетики Бальзака.

В этой повести нашла отражение глубокая любовь писателя к музыке, его большой интерес к творчеству крупнейших композиторов: Бетховена, Россини, Моцарта, Мейербера и др.

Повесть печатается под редакцией Н. Л. Аверьяновой.

Стр. 422. *Маркиз де Беллуа*, Огюст-Бенжамен (1815—1871)— поэт-драматург, друг Бальзака.

Гофман, Эрнст-Теодор-Амедей (1776—1822)—немецкий писатель-романтик, автор новелл и сказок, в которых фантастика причудливо переплетается с реальностью.

Пале-Руаяль — дворец в Париже, построенный в начале XVII века; во время Бальзака в галереях, пристроенных к дворцу, помещались игорные дома, рестораны, увеселительные заведения, модные магазины; галереи эти были местом любовных свиданий.

Стр. 423. *Герои Июльских дней* — то есть буржуа, пожинающие плоды Июльской буржуазной революции 1830 года.

Стр. 424. *Альмавива* — персонаж комедии Бомарше «Севильский цирюльник» и оперы Россини, созданной на сюжет этой комедии.

...оказался на подозрении у австрийского правительства.— Венский конгресс 1814—1815 года закрепил раздробленность Италии. Большая ее часть попала под власть австрийского императора.

Стр. 437. *Конклав* — совет кардиналов, собирающийся для избрания римского папы.

Стр. 438. *Палестрина*, Джованни Пьерлуиджи (1524—1594), известный под именем Палестрина,— итальянский композитор, создатель церковной музыки. *Перголезе*, Джованни Батиста (1710—1736) — итальянский композитор, автор религиозной музыки, а также нескольких опер.

Стр. 441. *Люлли*, Жан-Батист (1633—1687) — французский композитор, приближенный Людовика XIV, один из создателей французской придворной оперы.

Амфитрион — персонаж одноименной комедии Мольера, написанной на мифологический сюжет, заимствованный у древнеримского драматурга Плавта. В переносном смысле — гостеприимный хозяин.

Стр. 445. *Паста, Джудитта* (1798—1865)—известная итальянская певица, неоднократно выступавшая на сцене Парижской оперы.

Стр. 446. *Знаменитая Бьянка* — Бьянка Капелло, дочь венецианского патриция, убежавшая из дома со своим возлюбленным, впоследствии фаворитка и затем жена герцога Франциско Медичи, герцогиня Тосканская (XVI век).

Стр. 456. *Перистиль* — в античной архитектуре колоннада, галерея вокруг площади, двора или сада.

Стр. 466. *«Роберт-Дьявол»* — опера немецкого композитора Мейербера на либретто Эжена Скриба. Опера была поставлена в Париже в 1831 году.

Стр. 471. *«Апокалипсис»* — одна из книг христианского «Нового завета», содержащая мистические «пророчества», рисующая ужасы и страшные бедствия, якобы предстоящие миру.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

Философские этюды

Поиски Абсолюта. *Перевод Б. А. Грифцова* 5
Мараны. *Перевод Н. Л. Аверьяновой* 190
Драма на берегу моря. *Перевод А. С. Кулишер* 252
Прощенный Мельмот. *Перевод Б. А. Грифцова* 272
Проклятое дитя. *Перевод Н. И. Немчиновой* 318
Гамбара. *Перевод Н. И. Немчиновой* 422
Примечания 488

БАЛЬЗАК
Собрание сочинений
в 24 томах. Том XX.

Редакторы тома
Н. Л. Аверьянова, Н. И. Немчинова.

Иллюстрации художника
В. И. Винокура.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 11/X 1960 г. Тираж 349 000 экз. Изд. № 1803. Зак. 2272.
Форм. бум. 84×108 1/32. Бум. л. 7,75 печ. л. 25,42+2 вкл (0,2 п. л.).
Уч.-изд. 27,21 л.

Цена 9 руб. С 1/I 1961 г. цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.